Альберто Моравиа
Римлянка

РЕАЛИЗМ И АНТИФАШИЗМ АЛЬБЕРТО МОРАВИА

Моравиа — это псевдоним. Настоящее имя автора «Римлянки» и «Презрения» — Альберто Пинкерле. Он родился в Риме 28 ноября 1907 года. Отец его занимался архитектурой. Ни талантом, ни артистизмом Карло Пинкерле особенно не блистал. Семья, в которой рос будущий писатель, была самая что ни на есть буржуазная. Из ее унылого обывательского благополучия мальчика вырвала болезнь. В девять лет Альберто заболел костным туберкулезом, его отрочество и юность прошли в горных санаториях Италии, Австрии и Германии. Рассказ «Зима больного» построен на остро пережитом материале личных впечатлений. В «Краткой автобиографии», написанной для книги Оресте дель Буоно (1962), Моравиа скажет: «Болезнь была важнейшим фактом моей жизни». Но тут же добавит: «Другим важнейшим фактом стал фашизм. Я придаю большое значение болезни и фашизму, потому что болезнь и фашизм заставили меня испытать и совершить такое, чего в иных условиях я никогда не испытал бы и не совершил. Характер наш формирует не то, что мы делаем по собственной воле, а то, что мы бываем вынуждены делать».

Моравиа всегда признавал, что писатель не может существовать вне общества, в котором он живет, и не испытывать его влияния. Однако социальный детерминизм никак не исключал для него возможности внутренней свободы. Писателя Альберто Моравиа сформировало нравственное сопротивление сперва итальянскому, а затем европейскому фашизму. Именно это предопределило специфические особенности его гуманизма и сделало из него одного из самых значительных реалистов XX века.

Первый роман Альберто Моравиа появился в 1929 году. Он назывался «Равнодушные». Этот год был отмечен в Европе и Америке экономическим кризисом, и судороги капиталистической системы определенным образом отразились в романе итальянского писателя, хотя, конечно, отнюдь не непосредственно. В «Равнодушных» не упоминалось ни о безработице, ни о классовой борьбе, ни о терроре. Но словам Моравиа, в ту пору, когда он вступал в литературу, его совсем не интересовала политика. Видимо, так оно и было. Но молодой писатель старался писать правду. Это привело его к конфликту сперва с литературной критикой, а потом с тоталитарным режимом Муссолини, опиравшимся не только на насилие, но и на ложь как в политике, так и в искусстве.

Настоящий писатель, даже не будучи революционером, почти всегда новатор. Первый роман Альберто Моравиа стал подлинно новым словом в тогдашней итальянской прозе. В Италии заговорили о кризисе романа еще в 20-е годы. Критики уверяли, будто итальянский роман умер и конце первой мировой войны вместе с Итало Свево и Федерико Тоцци. «Хватит, господа, — говорил Джованни Бойне, теоретик эстетской группы «Ла воче», — хватит романов… Бросим литературу и займемся лирикой». В те годы в Италии укреплялась фашистская диктатура. Несмотря на все старания Муссолини подкупить писателей крупными поощрительными премиями, ему так и не удалось создать свою собственную апологетическую литературу. Даже прозаики с билетом фашистской партии в кармане — такие, как Баккелли, Чекки, Бальдини, Кардарелли, — подобно поэтам-герметикам, наглухо замкнулись в «башне из слоновой кости» и сознательно закрывали глаза на окружающую их действительность. Они погрузились в филигранную отделку лирических фрагментов, доступных лишь избранным, и изящных безделушек так называемой «артистической прозы». Такой крупный прозаик, как Коррадо Альваро, отвергал в это время роман только за то, что роман «для того, чтобы держаться, нуждается в композиции, сюжете — арсенале в известном смысле условном».

Именно Альваро ввел Альберто Моравиа в литературу. Но в «Равнодушных» присутствовало все то, что запрещала теория «артистической прозы». Это был настоящий, почти традиционный по форме роман. В нем имелись и острый сюжет, и эпическая объективность, и подчеркнуто драматическая композиция, которой, кстати сказать, молодой итальянский писатель был во многом обязан автору «Идиота». И в то же время это был в полном смысле слова современный роман. Фашизм как бы катализировал исторические процессы, характерные для последней стадии капитализма, и Альберто Моравиа смог уже в 1929 году уловить зловещие симптомы той неизлечимой болезни современного буржуазного общества, которые экзистенциалистская критика 50-х годов окрестит «отчуждением» и «некоммуникабельностью». На последних страницах романа «Равнодушные» автор говорит о главном герое, студенте Микеле: «Ему стало противно, тошно. В сердце были лишь опустошенность и сознание одиночества, точно он один в целой пустыне. Ни веры, ни надежды. Он видел, что и другие столь же лицемерны, и грязны, и подлы, как он. И все время с отчаянием наблюдал за самим собой, и это отравляло ему жизнь. «Хоть бы мне немного искренности и веры, — твердил он, не в силах избавиться от навязчивой идеи, — и я убил бы Лео… Погубил бы себя, зато стал бы чистым, как вода в ручье»…Мысли его сбивались, путались. «А может, — подумал он, внезапно вернувшись к суровой действительности, — может, у меня просто сдали нервы?.. Может, все дело в деньгах или в неудачном стечении обстоятельств?» Но чем больше он старался упростить, преуменьшить свои проблемы, тем более пугающими и трудными они ему казались. «Так дальше жить нельзя!» Непролазно густой, темный лес жизни обступил его со всех сторон. А вдали — ни единого огонька. И никакого выхода».

В итальянской критике Моравиа нередко объявляют непосредственным предшественником Сартра и Камю. Вряд ли это правомерно. Не следует путать автора и героя. Автор «Равнодушных» не упрощал стоящие перед ним проблемы и не склонен был отождествлять социальные аномалии с космической абсурдностью бытия. Роман появился как раз в то самое время, когда итальянские фашисты всячески рекламировали «семейные добродетели» и демагогически утверждали, будто режим Муссолини укрепил расшатанные «моральные устои» и спас Италию от всеобщего кризиса. «Равнодушные» соскоблили глянец ханжества с фашистской пропаганды и показали, что разрекламированная буржуазная семья столь же гнила и зловонна, как и породивший ее строй. Это было нравственное осуждение фашизма. Моравиа был и остался моралистом. Реализму его это не противоречило. В тех условиях, в которых он создавал свой первый роман, правдивое изображение распада и разложения обычной итальянской семьи приобретало не только нравственное, но и общественно-политическое звучание.

Впрочем, в романе «Равнодушные» Альберто Моравиа не ограничился тем, что сорвал покров святости с лицемерно защищаемой фашистами «здоровой» буржуазной семьи. Этот роман был беспощадным осуждением того человеческого поведения, которое сделало возможным фашизм.

В 1929 году Альберто Моравиа было всего двадцать два года. Он поднялся до уровня большой европейской литературы как-то сразу, одним мощным рывком, вдохнув в свою первую книгу всю силу гнева и отчаяния лучшей части тогдашнего, исковерканного фашизмом молодого поколения Италии.

Молодому Моравиа не всегда хватало жизненного и литературного опыта. Его второй роман «Ложные амбиции» (1935) был явной неудачей. Но вышедший в том же 1935 году сборник рассказов «Прекрасная жизнь» содержал превосходные новеллы. Вошедшие в него рассказы «Преступление в Теннис-клубе» и «Зима больного» развивали проблематику «Равнодушных». Не обращая внимания на насмешки эстетствующих критиков, молодой писатель продолжал думать, чувствовать и упорно совершенствовал свое изобразительное мастерство. Итальянская критика делала вид, что не замечает этого. В фашистских кругах Моравиа обвиняли в безнравственности и пораженчестве. К концу 30-х годов о нем принято было говорить как о случайном авторе, выплеснувшем всего себя в свой

первый роман. Впоследствии Моравиа напишет: «Десятилетие между 1933 годом, годом прихода к власти Гитлера, и 1943-м, когда пал итальянский фашизм, было с точки зрения общественной жизни худшим временем в моей жизни, и я до сих пор не могу вспомнить о нем без содрогания. Чтобы хоть как-то вырваться из отравленной атмосферы лжи, страха и конформизма, я много путешествовал». Моравиа побывал в Греции, в Китае, в Америке. Во Франции он познакомился с антифашистской эмиграцией. Она вызвала в нем двойственное чувство, и это отразилось в парижских сценах романа «Конформист» (1951). Не так давно в беседе с писателем и критиком Энцо Сичильяно Моравиа сказал: «Единственный антифашизм, который действительно имел смысл и был мне симпатичен, был антифашизм коммунистов. Только коммунисты могли и стремились сделать что-то конкретное». В конце 30-х годов Моравиа уже не стал бы утверждать, что политика его не интересует. Однако написать откровенно антифашистское произведение и издать его в Италии было почти невозможно. Тем не менее Моравиа это удалось. В 1941 году он опубликовал роман «Маскарад». Из-под вульгарной маски генерала Терезио, диктатора некоей выдуманной латиноамериканской страны, в романе выглядывало лицо Бенито Муссолини, а полицейская провокация, на которой держалась вся интрига, воскрешала в памяти поджог рейхстага.

Правда, сатирический роман Моравиа не отличался особой глубиной. Автор сознательно придал ему форму мелодраматического детектива. Но все равно это был смелый жест. И он не остался без последствий. «Маскарад» был немедленно изъят и запрещен, а Альберто Моравиа изгнан из литературы. Впредь писателю было категорически запрещено печататься под этим псевдонимом.

Альберто Моравиа снова появился в итальянской литературе в июле 1943 года. Сразу же после падения Муссолини Моравиа публикует на страницах редактируемой Коррадо Альваро газеты «Пополо ди Рома» несколько острых антифашистских памфлетов. Один из них назывался «Эпидемия» и отличался почти свифтовским сарказмом. Когда через некоторое время в Рим вместе с гитлеровскими войсками вернулись чернорубашечники, Моравиа пришлось бежать. Его имя значилось в списке лиц, подлежащих немедленному аресту.

В течение девяти месяцев Альберто Моравиа скрывался в горах близ Фонди. Он жил среди крестьян Чочарии, разделяя их ожидания и надежды. Его антифашизм стал глубже, а горизонт шире. Героиня романа «Чочара» (1957) скажет: «Больше всего я ждала одного — освобождения, потому что свобода не только прекрасна, но и справедлива, если все люди становятся в равной мере свободными. И я вдруг поняла, что жизнь людей, которые ждут и надеются на освобождение, полна более глубокого смысла, чем жизнь тех, кто ничего не ждет и ни на что не надеется. Идя от своего личного и мелкого к общему и большому, я стала думать, что то же самое можно сказать о людях, ожидавших более важных событий, как, например, второго пришествия Христа на землю или установления справедливости для бедняков».

В данном случае за спиной бывшей крестьянки из Чочарии явно стоит автор. В 1944 году, едва вернувшись в освобожденный от гитлеровцев Рим, Альберто Моравиа издал книжку с характерным заглавием «Надежда, или Христианство и коммунизм». В ней утверждалось, что, после того как христианство полностью изжило себя и утратило всякий исторический смысл, один лишь марксизм способен дать людям ту надежду на лучшее будущее, без которой невозможны ни настоящая жизнь, ни настоящее искусство. Моравиа до сих пор иногда именует себя марксистом, но его понимание марксизма никогда не отличалось ясностью. Книжка получилась путаная, но искренняя. Журнал «Ринашита» откликнулся на нее доброжелательной рецензией, написанной Пальмиро Тольятти. В творчестве Альберто Моравиа начался новый и самый плодотворный период. В 1944 году он написал повесть «Агостино». Многие критики называли ее самым ярким произведением Моравиа. В 1947 вышла «Римлянка». Этот роман принес Моравиа мировую славу. Говорить о нем только как об авторе «Равнодушных» стало уже невозможным.

Роман Альберто Моравиа «Римлянка» несколько напоминает «Моль Флендерс» Дефо. Это тоже история проститутки, рассказанная ею самой. Рассказанная просто, иногда даже с трогательной наивностью и в то же время устрашающе деловито. Это история о том, как бедная, простая и необычайно красивая девушка Адриана не только превратилась в публичную женщину, но и стала относиться к проституции как к самой обычной профессии, способной обеспечить ей что-то вроде «приличного существования».

В юности у Адрианы были свои мечты, простые, несколько примитивные, но по-человечески понятные. Ей хотелось жить «нормальной жизнью», жить «так, как все». Она мечтала о хорошем муже и чистом уютном доме. Но жизнь и люди, которым верила Адриана, обманули ее. Первые жизненные уроки научили ее, что «жить, как все», совсем не значит жить так, как она мечтала. Однако это не озлобило Адриану и не вызвало у нее чувства протеста против той действительности, которая убила ее лучшие надежды. Она попыталась приноровиться к этой действительности и жить, никого не обвиняя. Жизнь кажется ей непереносимой, но в то же время она считает, «что никто ни в чем не виноват и что все произошло так, как и должно было произойти».

Образ главной героини романа «Римлянка» сложен и весьма противоречив. Польский писатель Мариан Брандыс в книге «Итальянские встречи» рассказывает, что в беседе с ним работница римской табачной фабрики Антония очень резко отозвалась об этом романе Моравиа: у нее создалось впечатление, будто Альберто Моравиа сознательно обрек свою героиню на гибель и отрезал ей все пути для возвращения к нормальной жизни. «Так нельзя писать, — сказала Брандысу Антония. — Разве Моравиа не знает, что «Союз итальянских женщин» подготовил ряд мероприятий для оказания помощи бывшим проституткам?»

Работница римской табачной фабрики и явно разделяющий ее мнение Мариан Брандыс во многом правы. Но они увидели лишь одну сторону романа Моравиа. От подобной односторонней и слишком прямолинейной оценки и «Римлянки», и всего творчества Альберто Моравиа очень хотелось бы предостеречь.

«Римлянка» меньше всего напоминает те социально-филантропиче-ские романы о проститутках и проституции, которые некогда наводняли литературу западноевропейского натурализма. В этом романе Моравиа не ставил своей целью обличение проституции как одной из язв современного общества, подлежащих, так сказать, терапевтическому лечению. Тема «Римлянки» шире. Трагичность судьбы Адрианы, с точки зрения Моравиа, состоит не в том, что она проститутка, а в том, что Адриана не может подняться над тем обществом, для которого нормальная и «нравственная» жизнь ничем не отличается от обычной проституции.

В изображении Моравиа Адриана — нормальный, «естественный человек». Альберто Моравиа больше всего любит писателей XVIII века, видимо, потому, что он тоже склонен питать некоторые, так сказать, просветительские иллюзии. Однако буржуазная действительность XX века сильно обкорнала идеалистические представления о «естественном» и «общечеловеческом». В представлении Моравиа естественно человеческое ограничивается областью самых простых чувств и ощущений. Главная героиня романа «Римлянка», бесспорно, и искреннее, и нравственно чище покупающих ее буржуа. Но, живя только в сфере пусть искренних, но примитивных чувств, она в своем стремлении к «нормальной жизни» не выходит за пределы чувственности. Уже одно это делает ее жизнь и неестественной, и ненормальной. И реалист Альберто Моравиа, как бы споря с Моравиа-моралистом, очень хорошо показывает это.

Автор «Римлянки» показывает также и другое. Адриана живет не на необитаемом острове и не в условной обстановке сюрреалистического рассказа. Она живет по хотя и неестественным, но вполне реальным законам того мира, в который ей хотелось бы войти. Неправильно видеть в Адриане только обычную девушку из народа. Героиня романа наделена писателем некоторыми хорошими и глубоко человеческими качествами, но в то же время она уже отравлена ядом

мещанской психологии. И чем дальше, тем глубже этот яд проникает в ее сознание. Именно поэтому возвращение к подлинно нормальной жизни становится для Адрианы принципиально невозможным, В этом заложено глубокое осуждение не простой римской девушки, ставшей проституткой, а той буржуазной действительности, к которой стремится приспособиться Адриана и моральные законы которой она принимает. Отсюда очень двойственное отношение писателя — а также и читателя — к главной героине романа «Римлянка». Альберто Моравиа, подобно Адриане, тоже иногда склонен думать, что в окружающей его действительности все непереносимо. Но вряд ли можно сказать, что ему свойственна философия непротивления и приспособленчества, исповедуемая его героиней.

В «Римлянке» есть один очень характерный для Моравиа-романиста персонаж: буржуазный интеллигент Джакомо. Он бунтарь. Это Микеле из «Равнодушных», но оказавшийся в несколько иных жизненных обстоятельствах. Джакомо восстает против того мира, который засасывает Адриану. «Он был хорошо воспитан, — говорится о Джакомо в «Римлянке», — …образован, умен, тонок, серьезен. Но он презирал все эти качества лишь за то, что обязан был ими семье и той среде, в которой родился и вырос». На протяжении всего романа Джакомо не устает утверждать, что презирает и ненавидит людей. Однако, как замечает о Джакомо Адриана, «вопреки всем его разговорам о ненависти к людям, которая, я думаю, была вполне искренней, он в то же время, как это ни странно и ни противоречиво, с неукротимой энергией проповедовал и действовал во имя того, что он считал благом для человечества».

Это стремление приводит Джакомо в антифашистскую организацию. Однако Джакомо отнюдь не борец. Если Адриана живет только чувствами, то Джакомо живет в сфере абстрактных, не переходящих в действие идей. Поэтому, когда он попадает в фашистский застенок, ему начинает вдруг казаться, что все, во имя чего он готов был бороться, — «только слова» и что страдать ради одного звучания слов так же нелепо, как идти на смерть ради рева осла. Джакомо совершает предательство. А потом кончает самоубийством.

Конечно, Джакомо не типичный итальянский антифашист. Моравиа и не ставил своей задачей нарисовать в «Римлянке» образ активного борца против фашизма, точно так же как он не ставил своей задачей нарисовать в этом романе типический характер итальянской девушки из народа; Джакомо не вызывает у писателя даже слабого чувства симпатии. То глубокое презрение к лицемерию буржуазного общества, которым пронизана и «Римлянка», и все лучшие произведения Альберто Моравиа, не имеет ничего общего с анархическим бунтарством буржуазного интеллигента Джакомо. Нигилизм и бунтарство Джакомо — обратная сторона приспособленчества и примиренчества Адрианы. Мир, против которого бунтовал Джакомо, убивает его, потому что в конечном итоге этот буржуазный антифашист не может противопоставить ненавистной ему тоталитарной действительности ничего, кроме мещанского равнодушия и эгоизма.

В чем же автор «Римлянки» видит выход? Этот роман тоже заканчивается словами о надежде. Адриана надеется, что ребенок, который у нее родится, будет жить лучше и счастливее, чем она.

Стоя на позициях прогрессивных писателей, Альберто Моравиа в своих выступлениях как по общественно-политическим вопросам, так и по вопросам, непосредственно связанным с литературой и эстетикой, выражает порой несколько спорные суждения. С Моравиа-публицистом спорить легко, но вряд ли здесь следует это делать. Он принадлежит к тем зарубежным писателям наших дней, творчество которых нередко оказывается гораздо глубже и содержательнее их высказываний и деклараций. Хотя в его романах почти не встретишь положительного героя, Альберто Моравиа, несомненно, обладает, хотя и несколько абстрактными, гуманистическими идеалами. Именно поэтому за внешне спокойным и бесстрастным изложением драматических событий романа «Римлянка» все время ощущаются глубокая скорбь писателя о поруганной

женской красоте и его негодование против того мира, где даже любовь к людям оборачивается слепым и бесцельным человеконенавистничеством. Альберто Моравиа не всегда разделяет с лучшими прогрессивными писателями Запада их веру и их политические убеждения, но, как гуманист, он ненавидит то же, что и они. Сила художника и мастера Моравиа — прежде всего сила ненависти и отрицания.

Художественные особенности творчества Альберто Моравиа и основная проблематика его романов в значительной мере определяются тем кругом читателей, для которого он главным образом пишет. Альберто Моравиа говорит на языке, принятом и понятном в этом кругу. Он прежде всего писатель итальянской интеллигенции. Моравиа ставит своей задачей помочь итальянской интеллигенции разобраться в том мире, в котором она живет.

Мир, который изображает в своих романах Моравиа, — не вся современная Италия, но это значительная часть современной Италии. Это мир, в котором живет итальянская буржуазия и который она устроила по своему образу и подобию. Моравиа хорошо знает этот мир и ненавидит его как антифашист и гуманист. Именно поэтому мир романов Моравиа почти всегда населен равнодушными обывателями. Персонажи его романов весьма различны: разорившаяся аристократка Мариаграция и проститутка Адриана, преуспевающий делец и уличный громила, но это всегда обыватели. Моравиа как бы говорит своему читателю: буржуазный мир враждебен человеку, потому что он превращает его в нравственно порочного конформиста, ко всему безразличного мещанина. Это главная тема большинства романов Моравиа.

Герои Моравиа стремятся к личному счастью, но писатель почти всегда приводит их к краху. Это не один лишь бесплодный скептицизм и не просто мизантропический пессимизм, столь характерный для некоторых современных буржуазных писателей: это разрушение иллюзий о возможности человеческого счастья, когда оно сводится к пошлому мещанскому благополучию.

Пожалуй, нагляднее всего это проявилось в одном из лучших произведений Моравиа, в романе «Презрение» (1954).

«Презрение» в еще большей мере, чем «Римлянка», — роман психологический. Это психологический портрет среднего итальянского буржуазного интеллигента. Но Моравиа не углубляется здесь в дебри иррационального и подсознательного. В «Презрении» не осталось и следа от фрейдизма «Агостино». Попытка кинорежиссера Рейнгольда интерпретировать Гомера по Фрейду встречает самый активный протест со стороны не только героя романа, но и его автора. Не заметно в романе и того интереса к психопатологии, которая испортила антифашистский роман «Конформист». Главный герой романа «Презрение» Риккардо Мольте-ни — интеллигент со здоровой психикой среднего обывателя, он не вызывает такого чувства омерзения, как герой «Конформиста» Марчелло. Именно потому, что Риккардо Мольтени лишен той патологической исключительности, которой Моравиа наделил своего ко всему безразличного фашиста, его образ в романе получился и реалистичнее, и ярче, и, пожалуй, типичнее.

Фабула романа «Презрение» довольно проста. В известном смысле она даже традиционна. В этом романе Альберто Моравиа не касается крупных общественных и политических событий жизни современной Италии. Тем не менее роман обладает глубокой жизненной правдивостью. Его тему никак нельзя назвать незначительной, а ее художественное решение интересно и в известном смысле жизненно актуально. Роман «Презрение» — это горький рассказ героя о тщетной попытке обрести семейное счастье.

В «Презрении» Альберто Моравиа опять вернулся к форме «ро-мана-исповеди», которую он до этого использовал в «Римлянке». Введение героя-повествователя в эпико-драматическую структуру «Презрения» позволило Моравиа достичь того гармонического слияния объектив-но-эпического с лирически-субъективным, к которому тяготеют почти все лучшие образцы современной западноевропейской прозы. Но это значительно усложнило задачу

Моравиа-моралиста. Альберто Моравиа не тождествен Риккардо Мольтени. Внешне Моравиа очень объективен: он предоставляет самому герою излагать факты и делать из них выводы. Естественно, что Мольтени не «разоблачает» себя, он считает, что поступал так, как должен был поступать. Мольтени не осуждает и свою жену Эмилию: он считает, что ее презрение к нему только следствие недопонимания, и не может ее разлюбить. Моравиа не делает никаких выводов, но — и в этом проявляется его мастерство художника-реалиста — он подсказывает читателю выводы, идущие вразрез с выводами героя. Художественное и общественное значение романа «Презрение» заключается в тех мыслях и вопросах, которые вызывает этот роман у каждого задумывающегося над ним читателя.

Почему Риккардо в Эмилия не могут быть счастливы? Когда закрываешь роман Моравиа, ответ напрашивается сам собой: потому, что они оба стремятся только к мещанскому счастью, а такое счастье невозможно именно потому, что оно мещанское.

Жена Риккардо Эмилия во многом напоминает героиню романа «Римлянка», только по-человечески она гораздо мельче. У нее тоже есть свои идеалы. Так же как и Адриана, Эмилия больше всего хочет иметь собственный дом. И так же как у Адрианы, ее любовь к вещам граничит с чувственностью. Эротическая сцена в третьей главе романа и менее откровенна, чем аналогичные сцены в «Римлянке» и «Конформисте», и художественно более оправданна. Она помогает лучше понять характер Эмилии и характер отношений между ней и Риккардо. Более того, она тесно связана с общим замыслом романа. Эта эротическая сцена нужна Моравиа, чтобы показать, во что превращают любовь мещанские идеалы буржуазного мира. На грязном полу еще не обставленной квартиры Эмилия отдавалась не любимому мужу, а человеку, который купил ей квартиру.

Мещанские идеалы Эмилии очерчены четко и ясно. Все ее поведение очень логично и последовательно вытекает из этих «идеалов». Эмилия любит Риккардо, но еще больше она любит материальное благополучие. Разлюбив Риккардо, она продолжает продавать себя мужу, как проститутка. Она легко может поверить в то, что муж хотел «продать» ее своему продюсеру Баттисте: это вполне соответствует ее представлению о нормах человеческого поведения и кажется ей даже чем-то вполне естественным. Она бросает в лицо Риккардо: «Ты не мужчина». Но не только потому, что Риккардо промолчал, увидев, как ее целовал Баттиста. Мужчина для Эмилии — это успех, а успех — это деньги. У Баттисты больше денег, поэтому он, а не Риккардо, «мужчина». Поэтому Эмилия смотрит на расхваставшегося кинопромышленника восхищенными глазами. Поэтому она готова стать его содержанкой. Риккардо Мольтени может убедить жену в том, что он не хотел продавать ее своему продюсеру, но ему никогда не удастся доказать Эмилии, что он такой же «мужчина», как Баттиста.

Эмилия гибнет. Нелепо случайная гибель Эмилии художественно закономерна и даже необходима. Эмилия должна погибнуть потому, что мещанское счастье *не должно* торжествовать, — даже если это такое «счастье», которое мог дать Эмилии Баттиста. Моравиа не оставляет у читателя даже малейшей иллюзии возможности счастья как чисто животного благополучия.

Риккардо Мольтени — человек более образованный, чем Эмилия. Иногда он высказывает очень правильные суждения о том большом и подлинном искусстве, служению которому ему некогда хотелось посвятить всю свою жизнь. Он иронически воспринимает фрейдизм Рейнгольда и очень трезво оценивает Баттисту. Благодаря этому Моравиа, который показывает действительность через восприятие Мольтени, удается создать яркий, почти сатирический образ буржуазного дельца, который тем больше говорит о своей «бескорыстной любви» к искусству, чем большую выгоду собирается извлечь из постановки того или иного коммерческого фильма. Однако всей логикой событий и внутренней логикой характера Мольтени Моравиа заставляет читателя понять, что Риккардо Мольтени не так далек от Эмилии, как это кажется ему самому. Да, Риккардо Мольтени — «цивилизованный человек», а Эмилия — «натура примитивная». Но «цивилизованный человек» Мольтени — такой же обыватель, как и Эмилия. Это

«культурный» мещанин, разменявший на мелочь все то хорошее, что в нем, возможно, было когда-то заложено. Он тоже конформист. И, как это почти всегда бывает у Моравиа, конформизм Риккардо Мольтени тесно переплетается с мерзким мещанским равнодушием к окружающему и окружающим.

В романе «Презрение» есть одна деталь, которая у каждого, кто мало знаком с творчеством Альберто Моравиа и его художественными приемами, может вызвать некоторое недоумение. В начале романа оказывается, что Риккардо Мольтени… коммунист. На первый взгляд это может показаться чем-то лишним. Сам Мольтени рассматривает свое вступление в партию как случайный факт. Для развития сюжета романа этот факт не имеет никакого значения. О том, что Мольтени — коммунист, никто больше не говорит и не вспоминает, в том числе и сам герой. Но в строго рациональном, почти рационалистическом расположении художественного материала романа «Презрение» нет ничего неоправданного. Заставляя Мольтени рассказывать о том, как и почему он вступил в коммунистическую партию, Моравиа разоблачает его как ко всему безразличного обывателя. Мольтени считает, что всякий человек руководствуется только личным и эгоистическим интересом. Он уверен в этом потому, что так поступает он сам. Он завидует богатым и обеспеченным людям, и только поэтому его начинает возмущать «общественная несправедливость». Мольтени не понимает, как он сам выражается, «той алхимии», которая растворяет личный интерес в общественном. Для него это невероятно и невозможно. И именно поэтому для Риккардо Мольтени оказывается возможным отказаться от своей, пусть скромной, мечты о театре и подлинном искусстве и принести ее в жертву мещанскому благополучию. Поэтому Эмилия имела основание — и читатель чувствует это — заподозрить Риккардо в том, что он хотел «продать» ее Баттисте. То, что Риккардо кажется трагическим недоразумением, на самом деле — закономерное следствие всего его поведения и характера.

Мольтени считает, что он не заслуживает презрения. Но Моравиа думает иначе. Моравиа назвал свой роман «Презрение», а не «Недоразумение», как его, несомненно, назвал бы сам Мольтени. Когда Эмилия говорит своему мужу: «Ты не мужчина», она и права и не права. Риккардо такой же «мужчина», как и Баттиста. В этом-то все и дело. Эмилия была бы права, скажи она: «Ты не настоящий человек». Но это говорит не Эмилия, а читатель, и это ему подсказывает Моравиа. Риккардо Мольтени достоин презрения, потому что он обыватель и интеллигентный мещанин. Поэтому Моравиа приводит его к катастрофе: ко всему безразличный мещанин не может и не должен быть счастлив.

В «Презрении» Альберто Моравиа уделяет большое внимание этическим проблемам, но не сводит все только к ним. Его герои действуют отнюдь не в безвоздушном пространстве. Их поведение обусловлено законами того мира, в котором они живут. В этом романе этическая критика еще более тесно, чем в «Римлянке» и «Равнодушных», переплетается с критикой социальной. Для внимательного читателя романа «Презрение» становится совершенно ясно: в том, что Эмилия и Риккардо несчастны, виноваты не только они сами, но и то общество, которое, навязав им свои представления и свою мораль, убило в них подлинно человеческие чувства. Это общество олицетворяет в романе продюсер Баттиста; сначала он покупает Мольтени, а потом и его жену. Он топчет их любовь. Вина Риккардо Мольтени в том, что он отказался от борьбы с Баттистой и позволил убить в себе человека. Моравиа не делает выводов. Так же как и в других романах Моравиа, в «Презрении» нет ни одного положительного героя. Тем не менее этот роман глубоко поучителен. Судьба Риккардо Мольтени заставляет читателя задуматься над тем, кто и что мешает человеку быть счастливым, а также над тем, каким должен стать человек, чтобы не вызывать к себе чувства презрения.

Альберто Моравиа свойствен в некоторой мере и пессимизм и скептицизм. Это наложило отпечаток и на роман «Презрение», и особенно на его развязку. Но из этого вовсе не следует, что автор «Презрения» полностью разуверился в человеке. В романе «Презрение» с Моравиа-скептиком успешно борется Моравиа-гуманист и реалист. Именно потому, что Альберто Моравиа верит в

человека и любит его как гуманист, он с трезвым безжалостным реализмом изобразил в своем романе калечащую человека буржуазную действительность современной Италии.

В нашей критике Альберто Моравиа иногда называли неореалистом и даже ссылались на личные заявления писателя по этому поводу. По-видимому, тут имело место какое-то недоразумение. Моравиа даже в пору создания «Римских рассказов» решительно отрицал свою причастность к этому, теперь уже давно изжившему себя направлению. Но критический реализм «Равнодушных», «Римлянки», «Презрения», «Чочары» вряд ли может быть поставлен под сомнение. Безусловно, критика современной действительности ведется в романах Моравиа в основном с позиций чисто этических, что во многом обусловлено абстрактным характером гуманизма писателя, всем его мировоззрением, а также и тем, что Моравиа-моралист непосредственно обращается к довольно узкому кругу читателей. Это — иногда даже в очень значительной мере — суживает возможности реалистического метода писателя. Но это еще не дает основания выводить Альберто Моравиа за пределы подлинно реалистической литературы XX века. К творчеству Альберто Моравиа, и прежде всего к его роману «Презрение», можно отнести слова Ф. Энгельса, отмечавшего, что в тех условиях, когда «…роман обращается преимущественно к читателям из буржуазных… кругов… роман целиком выполняет… свое назначение, правдиво изображая реальные отношения, разрывая господствующие условные иллюзии о природе этих отношений, расшатывая оптимизм буржуазного мира, вселяя сомнения по поводу неизменности существующего, — хотя бы автор и не предлагал при этом никакого определенного решения и даже иной раз не становился явно на чью-либо сторону».[1]

Еще очевиднее, чем в «Презрении», черты критического реализма обозначились в «Римских рассказах» (1954) и в романе «Чочара». В этих книгах Моравиа шире, чем в «Римлянке», и во многом принципиально по-новому трактует тему народа, которая, как он справедливо замечал, «всегда питала лучшие традиции итальянской литературы».

По замыслу Альберто Моравиа «Чочара» должна была стать романом об итальянском Сопротивлении. То, что автор «Равнодушных», «Римлянки» и «Конформиста» решил рассказать о Сопротивлении именно в середине 50-х годов, когда некоторые писатели подвергли ревизии свои недавние идеалы, было весьма знаменательным и свидетельствовало не только об общественной, но и об эстетической позиции Моравиа. В беседе с критиком Д. Монакорда (опубликованной в журнале «Контемпо-ранео» 18 мая 1957 года) Моравиа сказал: «Сопротивление, бесспорно, самый важный период нашей новейшей истории… Однако сегодня в различных кругах ставится под сомнение самое значение Сопротивления, а вместе с ним и то реалистическое искусство, истоки которого лежат в событиях этого периода». Антифашизм и реализм были для Моравиа почти синонимами.

Роман «Чочара» нашему читателю хорошо известен, и подробно говорить о нем нет надобности. Это едва ли не вершина реалистического мастерства Альберто Моравиа. Образ крестьянки Чезиры стал большой удачей писателя. Дальнейшее углубление в романе получила и антифашистская тема. Его герой Микеле Феста во многом восходит к Микеле Арденго из романа «Равнодушные», но он уже гораздо яснее понимает, за что и против чего ему следует бороться. Микеле Феста твердо убежден, что борьба против Гитлера и Муссолини кончится подлинной победой только в том случае, если после разгрома фашизма будет создан «новый мир, более справедливый, более свободный и счастливый, чем старый». Микеле Феста не поступается своими убеждениями и гибнет, собственным телом заслоняя крестьян

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Избранные письма. Гослитиздат, 1953, с. 395.

от немецких пуль. Однако и его антифашизм, так сказать, программно пассивен. Читая крестьянам евангельскую притчу о Лазаре, Микеле говорит: «Только в тот день, когда мы поймем, что мы умерли, давно умерли, сгнили, разложились и что от нас на километр разит трупом, только тогда мы начнем пробуждаться к жизни». Такая программа во многом объясняла характер реализма Альберто Моравиа, его критики буржуазного общества, но она не намечала реального пути к тому «новому миру», о котором мечтал антифашистский герой «Чочары» и за который он отдал свою жизнь. «Чоча-ра» — роман о войне и о тех ни с чем не сравнимых бедствиях, которые она несет людям. Это — антивоенный роман, но не роман об итальянском Сопротивлении. Пожалуй, ни одно из произведений Моравиа не доказало столь наглядно, что абстрактность гуманизма мешает воссоздать правдивую картину важнейших событий современности в их подлинно историческом развитии.

После «Чочары» в творчестве Альберто Моравиа наступил спад. Он написал три романа — «Скука» (1960), «Внимание» (1965), «Я и он» (1971), и все они, по сути дела, об одном и том же: о бессильных попытках художника — живописца, прозаика, кинорежиссера — понять окружающий мир, эстетически овладеть им и создать подлинное произведение искусства. И это не случайно. Бесспорно, было бы неверным отождествлять сегодняшнего Моравиа с не верящим в свой народ писателем Франческо Мериги (роман «Внимание»), которому именно поверхностное отношение к жизни помогает поставлять читателям буржуазных газет легкое чтиво, какое они ждут от него, и который оказывается неспособен создать серьезный роман о собственной жизни именно потому, что он уже не может не лгать даже себе самому. Но было бы также неверно вообще отрицать какую-либо связь не только между Моравиа и Дино из «Скуки», но даже между Моравиа и вульгарно-гротескным «героем» романа «Я и он». Проблемы, которые ставились в романах Моравиа, всегда оказывались в той или иной мере жизненными проблемами самого писателя. С некоторых пор от Альберто Моравиа начала ускользать та самая реальность, которая столь ощутимо присутствовала в его книгах 30-х, 40-х и 50-х годов.

Альберто Моравиа объясняет свой разлад с действительностью неким Всеобщим Отчуждением, которое якобы, подобно античному Року, тяготеет над каждым художником, живущим в современном «индустриальном обществе», и пытается преодолеть отчуждение, делая его предметом своей прозы. Сегодняшний Моравиа порой прибегает к мифам буржуазной идеологии, и это ведет к серьезным искажениям реальности, влияя как на содержание его произведений, так и на их форму. Реалистический роман сменился в творчестве Моравиа романом-эссе, в котором беседы героев чаще всего напоминают заполнение социологических анкет, а реалистический рассказ оказался вытесненным новеллой-притчей, или, как теперь говорят, апологом. Апологи появились уже в сборнике «Автомат» (1962) и целиком заполнили сборник «Вещь — это вещь» (1967).

Однако причислять теперешнего Альберто Моравиа к писателям-модернистам отнюдь не следует. К произведениям современной модернистской литературы не могут быть отнесены даже роман «Я и он» и сборник «Boh» (1976), произведения, на которые наложила некоторый отпечаток буржуазная «массовая культура». Моравиа — по-прежнему Мастер. Он, как всегда, прост, в меру грубоват, рационалистичен и предельно ясен. В отличие от многих современных итальянских писателей он по-прежнему не считает, что новеллистическое или романное повествование может быть сведено к одним лишь головоломным играм с языком и стилем. У Моравиа сложилось определенное мнение о нравственном облике «общества потребления», и он высказывает его прямо, без недомолвок, порой чуть-чуть навязчиво, не боясь, что читателя это шокирует или покоробит. Бернард Шоу, несомненно, зачислил бы его последние произведения в разряд «неприятных». Чувство почти физического отвращения, которое вызывают роман «Я и он» и рассказы из сборника «Boh», автором предусмотрено и рассчитано чуть ли не с математической точностью.

Анархическое бунтарство, свойственное многим героиням сборника «Boh»,

писателем не только дегероизировано — оно дается как извращенное проявление довольно-таки зловещего буржуазного конформизма. Мещанская ярость, автоматизированная и соответственным образом направленная, может снова представить для всех нас вполне реальную угрозу. Моравиа, который живет в стране, где правый экстремизм усиливается, спекулируя на вполне респектабельной игре буржуазной интеллигенции в маоизм и левую фразу, это известно лучше, чем кому бы то ни было. «Неприятные» притчи «Boh» вызывают не только чувство омерзения к так называемому буржуазному благополучию, но и заставляют задуматься о завтрашнем дне всего человечества. Мастером это тоже предусмотрено. Несмотря на весь свой скептицизм, Альберто Моравиа остался непримиримым антифашистом.

Р. Хлодовский

Альберто Моравиа
РИМЛЯНКА

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

К шестнадцати годам я стала настоящей красавицей. Лицо у меня было правильной овальной формы, оно чуть сужалось к вискам и слегка расширялось книзу, глаза — миндалевидные, большие и лучистые, линия лба плавно переходила в прямой нос, а крупный рот с красиво очерченными розовыми и пухлыми губами обнажал в улыбке ровные ослепительно-бе-лые зубы. Мама говорила, что я вылитая Мадонна. А мне казалось, что я похожа на одну популярную в то время киноактрису, и поэтому стала причесываться так же, как она. Мама говорила, что если лицо у меня красивое, то фигура во сто крат лучше. Другой такой фигуры, говорила она, во всем Риме не сыщешь. Но тогда я еще не придавала этому большого значения: мне казалось, что важно иметь красивое лицо; но теперь могу подтвердить: мама была права. У меня были сильные прямые ноги, полные бедра, ровная спина, узкая талия и широкие плечи. Живот у меня всегда чуть-чуть выдавался вперед, а пупка почти совсем не было видно, так как он утопал в мышцах живота, но мама говорила, что это как раз и красиво, потому что живот у женщины должен быть выпуклый, а не плоский, как модно сейчас. Грудь у меня тоже была полная, но упругая и высокая, так что я могла обходиться без лифчика. Когда же я жаловалась, что грудь у меня слишком большая, мама утверждала, что это как раз хорошо, а что за грудь у теперешних женщин: смотреть не на что! Обнаженная, как я заметила позже, я выглядела высокой и полной, как статуя, но в платье казалась хрупкой девочкой; никто и не подумал бы, что я так хорошо сложена. Как мне объяснил потом художник, которому я начала позировать, все зависело от пропорций.

Художника нашла мама: она до того, как вышла замуж и стала белошвейкой, была натурщицей. Этот художник заказал ей сорочки, и мама, вспомнив о своем прежнем занятии, предложила ему меня в натурщицы. В первый раз, когда я отправилась к художнику, мама решила проводить меня, хотя я и твердила, что прекрасно могу дойти одна. Я испытывала неловкость, пожалуй, не потому, что впервые в жизни мне придется раздеться перед мужчиной, а просто боялась, что мама начнет расписывать мою красоту, чтоб уговорить художника взять меня на работу. Так оно и вышло. После того как мама помогла мне раздеться и вытолкнула на середину комнаты, она с жаром принялась меня расхваливать:

— Вы только посмотрите, какая грудь, какие бедра, посмотрите, какие ноги… где вы найдете такую грудь, такие ноги и бедра?

При этом она ощупывала меня, как барышники ощупывают и расхваливают на рынке скотину, надеясь завлечь покупателя. Художник улыбался, а я сгорала со стыда и дрожала от холода — дело было зимой. Но я понимала, что мама мне зла не желает, она просто гордится моей красотой: ведь это она родила меня, и своей красотой я обязана только ей. Художник, должно быть, тоже понял материнские чувства, он смеялся беззлобно и от души, так что я сразу же почувствовала себя свободнее и, преодолев робость, приблизилась на цыпочках к печке, чтобы хоть немного согреться. Художник выглядел лет на сорок. Это был полный мужчина, с виду веселый и уравновешенный. Я сознавала, что он смотрит на меня без всякого вожделения, как на вещь, и успокоилась. Позднее, когда мы познакомились ближе, он стал относиться ко мне почтительно и любезно, видел во мне уже не вещь, а человека. Я сразу же прониклась к нему симпатией и, пожалуй, влюбилась бы в него из чувства благодарности, только за то, что он был так любезен и мил со мной. Но он никогда слишком не откровенничал и смотрел на меня только как художник, а не как мужчина, и все время, пока я ему позировала, мы держались друг с другом вежливо и сдержанно, как и в первый день знакомства.

Когда мама перестала расхваливать меня, художник молча подошел к стулу, на котором лежала куча каких-то папок, и, порывшись в них, вытащил цветную репродукцию. Показав ее маме, он тихо сказал:

— Вот твоя дочь.

Я отошла от печки, чтобы тоже взглянуть на картинку. На ней была изображена нагая женщина, возлежащая на богато убранном ложе. Позади него спускался бархатный полог, и в его складках парили два младенца с крылышками на манер ангелов Женщина действительно оказалась похожей на меня. Но только, хотя она и была голая, судя по этим покрывалам и по кольцам, которыми были унизаны ее пальцы, было ясно, что она — либо королева, либо еще какая-то важная персона, а я — всего-навсего бедная девушка. Мама сначала не поняла, в чем дело, и недоверчиво разглядывала картинку. Потом вдруг заметила сходство и взволнованно произнесла:

— Верно, верно… похожа, видите, я правду говорила… но кто же это?

— Даная, — с улыбкой ответил художник.

— А кто она, эта Даная?

— Даная — языческая богиня.

Мама надеялась услышать имя живого, реального человека, а потому растерялась и, желая скрыть свое замешательство, принялась объяснять мне, что я должна позировать так, как прикажет художник. Скажем, лежа, как эта женщина на картинке, или же стоя, или сидя, и не шевелиться, пока он будет рисовать. Художник пошутил, что мама в этом деле разбирается лучше него, и мама, польщенная его словами, тотчас принялась рассказывать, как когда-то она сама позировала и весь Рим знал ее как одну из самых красивых натурщиц. И про то, какую ошибку совершила она, выйдя замуж и бросив эту профессию. Тем временем художник заставил меня лечь на софу, стоящую в глубине комнаты, и сам согнул, как нужно, мои руки и ноги, но проделал все это с задумчивой и рассеянной мягкостью, едва касаясь моего тела, будто он уже раньше видел меня такой, какой хотел изобразить. Потом он начал делать первые наброски на холсте, укрепленном на мольберте, а мама все еще продолжала болтать.

Заметив, что художник, поглощенный своим делом, уже перестал ее слушать, она спросила:

— А сколько вы будете платить моей дочери за час?

Художник, не отрывая глаз от холста, назвал сумму. Мама схватила мои вещи, которые я повесила на спинку стула, кинула их мне прямо в лицо и скомандовала:

— А ну-ка, одевайся… Нам здесь делать нечего.

— Да что это с тобой? — удивленно спросил художник, бросив рисовать.

— Ничего, ничего, — отвечала мама, делая вид, что торопится, — пошли, Адриана… У нас еще уйма дел.

— Послушай, — заявил художник, — скажи прямо, сколько ты просишь, к чему вся эта канитель?

И вот тут-то мама закатила страшный скандал, она громко кричала на художника, как видно, он совсем спятил, если решил так мало платить мне, ведь я не какая-нибудь старая грымза, которую уже никто не хочет нанимать, мне всего шестнадцать лет, и я позирую впервые. Когда мама хочет поставить на своем, она всегда кричит, я со стороны может показаться, что она по-настоящему сердится. В действительности, уж я-то ее знаю, она ничуть не сердится и не теряет душевного равновесия. А кричит она просто так, как кричат базарные торговки, когда покупатель предлагает им за их товар слишком низкую цену. Мама кричит главным образом на вежливых людей, так как знает, что из вежливости они в конце концов уступят.

Так было и на сей раз, художник тоже уступил. Пока мама верещала, он только улыбался и несколько раз поднимал руку, будто просил слова. Наконец мама остановилась, чтобы перевести дух, и тогда он опять спросил, сколько же она хочет. Но мама ответила не сразу. Она вдруг задала вопрос:

— А интересно узнать, сколько платил своей натурщице тот художник, который вот эту картинку рисовал?

Художник рассмеялся:

— Какое это имеет отношение к нам… тогда было совсем другое время… может, он налил ей бокал вина… или же подарил пару перчаток.

Мама снова растерялась, как и тогда, когда он сказал ей, что на картине изображена Даная. Художник чуть-чуть подтрунивал над мамой, правда совсем беззлобно, и она этого не замечала. Мама снова принялась кричать, обозвала его скупердяем и начала опять расхваливать мою красоту. Потом притворилась, будто совладала с собой, и назвала сумму, которую хотела получить. Художник поспорил еще немного, и наконец они сошлись на цене немного ниже той, которую запросила мама. Художник подошел к столу, открыл ящик и протянул маме деньги. Мама, довольная исходом дела, дала мне еще несколько последних наставлений и ушла. Художник запер за ней дверь и, вернувшись к мольберту, спросил меня:

— Твоя мать всегда так кричит?

— Мама меня любит, — сказала я.

— А мне кажется, что она больше любит деньги, — спокойно заметил он и принялся рисовать.

— Нет, это неправда, — горячо возразила я. — Больше всего она любит меня… Но она переживает, что я родилась в нищете, и хочет, чтобы я заработала много денег.

Я потому так подробно рассказываю об этом случае у художника, что, во-первых, с этого дня я начала работать, хотя позднее выбрала себе другое занятие, а, во-вторых, мамино поведение в этой истории как нельзя лучше характеризует ее и объясняет те чувства, которые она питала ко мне.

Через час я встретилась с мамой, как мы условились, в молочной. Она спросила меня, как прошел сеанс, заставила подробно передать ей разговор, который вел со мной художник, хотя во время работы он больше молчал. Наконец она заявила, что я должна держать ухо востро. Может, этот художник и не думает ни о чем плохом, но многие из них берут натурщиц для того, чтобы сделать их своими любовницами. Поэтому я должна отклонять любые их предложения.

— Все они голодранцы, — объяснила она, — от них нечего ждать… ты с твоей красотой сможешь устроиться лучше… куда лучше…

Хотя мама впервые завела со мной подобный разговор, говорила она уверенно словно уже давно все это обдумала.

— О чем это ты? — не поняла я.

Мама как-то туманно ответила:

— Все эти люди щедры на посулы, а не на деньги… Такой красивой девушке, как ты, пристало иметь дело с синьорами.

— Какими синьорами?.. Да я не знаю никаких синьоров.

Она посмотрела на меня и уж совсем загадочно сказала:

— Пока поработаешь натурщицей… а там посмотрим… остальное приложится.

И меня испугало выражение ее лица, задумчивое и алчное. В тот день я больше не заговаривала с нею на эту тему.

А вообще говоря, мамины наставления были излишни, потому что в то время, несмотря на молодость, я была очень серьезная девушка. Я нашла работу и у других художников. Вскоре в студиях меня уже хорошо знали. Надо признать: многие художники вели себя учтиво и вежливо, хотя некоторые и не скрывали своих чувств ко мне. Но я решительно отвергала их ухаживания, так что очень быстро за мной утвердилась репутация девушки скромной и порядочной. Я уже сказала, что почти всегда художники держались со мной уважительно; это, я думаю, объяснялось тем, что главное для них было — рисовать меня, а не ухаживать за мной, и когда они работали, то каждый смотрел на меня не глазами мужчины, а глазами художника, как смотрят, скажем, на стул или на какую другую вещь. Они привыкли видеть натурщиц, и мое обнаженное молодое и соблазнительное тело не волновало их; то же самое происходит с врачами. Но зато приятели художников часто приводили меня в смущение. Они являлись в мастерскую и начинали болтать с хозяином. Однако очень скоро я заметила, что, как ни старались они казаться безразличными, они не спускали с меня глаз. Некоторые, забыв всякий стыд, принимались нарочно ходить по мастерской, чтобы получше разглядеть меня со всех сторон. Эти взгляды и туманные намеки мамы пробудили во мне кокетство, я поняла, что хороша собой и что красотой можно выгодно воспользоваться. Постепенно я не только привыкла к бесцеремонности приятелей художника, но даже стала испытывать удовольствие, когда замечала волнение на их лицах, и чувствовала разочарование, когда видела, что они оставались равнодушными. Так я размечталась и невольно пришла к заключению, что стоят мне только захотеть, и я смогу благодаря красоте устроить свою жизнь лучше, а маме только того и надо было.

В то же время я очень много думала о замужестве. Во мне еще все чувства дремали, а мужчины, которые смотрели на меня, пока я позировала, вызывали во мне лишь тщеславие и гордость. Все заработанные деньги я отдавала маме, а в дни, свободные от работы у художников, я оставалась дома и помогала ей кроить и шить сорочки. До сих пор шитье было нашим единственным заработком после смерти моего отца, который служил на железной дороге. Жили мы в маленькой квартирке на втором этаже невысокого длинного дома, выстроенного пятьдесят лет назад специально для железнодорожников. Дом находился на окраине города, к нему вела тенистая платановая аллея. По одной стороне улицы располагались дома, похожие на наш. Это были двухэтажные строения с голыми кирпичными фасадами, с подъездом посредине, с двенадцатью окнами, по шесть на каждом этаже. По другую сторону тянулась городская степа с башнями, она в этом месте хорошо сохранилась и заросла пышным зеленым кустарником. Недалеко от нашего дома находились городские ворота. За воротами прямо от стены шел забор Луна-парка, где с начала летнего сезона загорались огни и играла музыка. Из моего окна, чуть-чуть наискосок от парка, я видела гирлянды цветных фонариков, крыши павильонов, украшенных флагами, и людей, что толпились под тенистыми платанами у входа в Луна-парк. Особенно хорошо было слышно музыку. Слушая ее по ночам, я часто не спала и грезила наяву. Мне казалось, что звуки эти лились из какого-то недоступного для меня мира, чувство это усиливалось еще и оттого, что меня окружали стены тесной и мрачной комнаты. Мне казалось, что все жители города собрались в Луна-парке и только меня там нет. Мне хотелось встать и пойти туда, но я лежала не двигаясь, а музыка, звучавшая почти до утра, навевала мысли о лишениях, которые я вынуждена терпеть бог знает за какие провинности. Иногда, слушая музыку, я горько плакала, чувствуя себя одинокой и заброшенной. Тогда я была еще очень сентиментальна и плакала по любому поводу: от грубого слова подруги, от упрека мамы, от душещипательной сцены в кино на глазах у меня выступали слезы. Возможно, я не считала бы, что весь этот счастливый мир мне заказан, если бы в детстве мама не держала меня

подальше от Луна-парка и других развлечений. Но наша бедность, вдовство мамы и особенно ее предубеждение против всяких развлечений, которыми судьба ее обделила, стали причиной того, что я не ходила в Луна-парк, как, впрочем, и в другие увеселительные места, до тех пор пока я не стала уже девушкой и мой характер сформировался. Вероятно, именно поэтому меня почти всю жизнь не покидало чувство, будто я исключена из какого-то веселого, сверкающего счастьем мира. Даже когда я наверняка знаю, что счастлива, то и тогда мне не удается окончательно избавиться от этого чувства.

Я уже говорила, что в ту пору я больше всего мечтала выйти замуж. И вот как я себе это представляла. Пригородная аллея, на которой стоял наш дом, спускаясь вниз, переходила в квартал, где жили люди более обеспеченные, чем мы. Вместо длинных и низких домов железнодорожников, похожих на старые запыленные вагоны, там стояли небольшие особняки, окруженные садами. Это не были роскошные виллы: здесь проживали служащие и мелкие коммерсанты, но по сравнению с нашими убогими домишками они казались богатыми и блестящими. Прежде всего каждый особняк отличался от соседнего, потом, они не были такими облупленными и закопченными, как наш дом и стоящие рядом, глядя на которые поневоле начинаешь думать о полном равнодушии их обитателей; наконец маленькие, но густые сады вокруг этих особняков внушали мысль о ревностно охраняемом покое вдали от уличного шума и суеты. А наш дом носил клеймо улицы буквально на всем: на больших дверях, которые были похожи на ворота торгового склада, на широкой, грязной и голой лестнице и даже на комнатах, где ветхая и разностильная мебель напоминала о старьевщиках: ведь они выставляют на тротуары именно такую рухлядь для продажи.

Как-то летним вечером, прогуливаясь с мамой по аллее, я увидела в окне одного маленького особняка семейную сценку, которая запечатлелась в моей памяти и которая, как мне тогда показалось, отвечала моим представлениям о нормальной, приличной жизни: небольшая, но чистая комната, стены оклеены цветастыми обоями, буфет, в над накрытым столом висит лампа. За столом сидят пять или шесть человек, среди них, кажется, трое детей в возрасте от восьми до двенадцати лет. Посредине стола красуется суповая миска, мать стоя разливает суп. Странно, но больше всего меня поразил электрический свет или, вернее сказать, тот необычайно мирный и уютный вид, который придавал этот свет окружающим предметам. Всякий раз, вспоминая эту сцену, я приходила к убеждению, что должна поставить себе целью поселиться когда-нибудь в таком доме, как этот, иметь такую семью, как эта, и жить в атмосфере такого же света, который, казалось, является воплощением самых спокойных и безмятежных чувств. Многие, пожалуй, подумают, что мои желания были слишком скромны. Но нужно вспомнить условия, в которых я жила тогда. На меня, выросшую в доме для железнодорожников, маленький особняк производил такое же впечатление, какое, вероятно, на жителей понравившегося мне особняка производят богатые и просторные виллы роскошных городских кварталов. Так каждый видит свой рай там, где для других все стало адом.

У мамы имелись на мой счет иные, более смелые планы, но они, как я вскоре заметила, никак не совпадали с моими. Она считала прежде всего, что я благодаря своей красоте могу надеяться на особую удачу, но для этого мне вовсе не следует выходить, как это принято, замуж и плодить детей. Мы были бедны, и моя красота казалась ей единственным богатством, не только моим, но и ее собственным, потому что как-никак ро-дила-то меня она. И этим богатством я должна распоряжаться с ее согласия, чтобы, не гнушаясь никакими средствами, изменить наше существование. На большее, вероятно, у нее не хватало фантазии. Поэтому-то мысль воспользоваться моей красотой и пришла маме прежде всего. Она как ухватилась за эту идею, так больше и не расставалась с нею.

В ту пору я еще не совсем хорошо разбиралась в маминых планах. И даже значительно позднее, когда я уже поняла, к чему она клонит, я никогда не осмеливалась спросить у нее, как же случилось, что при подобных взглядах на жизнь она сама дошла до такой нищеты и стала женой простого железнодорожника. Из намеков мамы я поняла, что причиной ее неудачи была именно я, мое непредвиденное и нежелательное появление на свет. Короче

говоря, родилась я случайно, мама, не осмеливаясь помешать этому (хотя, по ее словам, следовало бы это сделать), вынуждена была выйти замуж за моего отца и нести бремя этого брака. Много раз мама, имея в виду мое рождение, говорила: «Ты моя погибель!» Поначалу я не понимала ее слов и обижалась, но позднее все стало ясно. Слова эти должны были означать: «Не будь тебя, не вышла бы я замуж и разъезжала бы теперь в автомобиле». Понятно, что, рассуждая таким образом о своей жизни, мама не желала, чтобы и ее дочь, куда более красивая, чем она сама, повторила те же ошибки и чтобы судьба ее детища сложилась точно так же, как ее собственная. Даже теперь, когда я могу смотреть на вещи более опытным глазом, я не решаюсь осудить маму. Семья для мамы означала бедность, кабалу и те скудные радости, которые кончились вместе со смертью мужа. Вполне естественно — а может быть, и вполне справедливо, — мама считала нормальную семейную жизнь несчастьем и не оставляла меня в покое до тех пор, пока я не поддалась тем иллюзиям, осуществить которые сама она уже не могла.

Мама по-своему любила меня. Например, как только я стала позировать художникам, она справила мне два наряда: костюм, то есть юбку и жакет, и платье. По правде говоря, мне больше хотелось получить новое белье, потому что каждый раз, раздеваясь у художников, я стыдилась своего грубого, поношенного, а часто и не совсем свежего белья, но мама говорила, что вниз можно надеть хоть тряпки, самое главное, чтобы сверху все выглядело прилично. Мама выбрала два дешевых отреза яркой расцветки и сама взялась кроить. Но так как она была белошвейкой и платьев никогда не шила, то, несмотря на все свои старания, испортила обе вещи. Помню, платье на груди все время распахивалось и приходилось закалывать его булавкой. А жакет был узок в бедрах и груди, рукава слишком коротки, так что казалось, будто я вся вылезаю из него, юбка же, наоборот, получилась широкая и собиралась на животе складками. Но все равно эти наряды казались мне роскошными, потому что до сих пор я одевалась еще хуже, носила какие-то юбчонки, не доходившие до колен, старые кофточки и платочки. Мама купила мне еще две пары шелковых чулок, а до сего времени я носила гольфы и ходила с голыми коленками. Я радовалась этим подаркам и гордилась, не уставая ими любоваться и постоянно думать о них; я важно шествовала по улице, как будто на мне были не жалкие тряпки, а дорогое платье от модной портнихи.

Маме все время не давала покоя мысль о моем будущем. Через месяц-другой ей уже разонравилась моя профессия натурщицы. По словам мамы, я зарабатывала слишком мало, кроме того, художники и их друзья — люди бедные и в их среде нельзя завести сколько-нибудь полезное знакомство. И вот она вдруг вбила себе в голову, что я могу стать танцовщицей. Мама всегда была полна честолюбивых замыслов, тогда как я — об этом я уже говорила — не переставала мечтать о спокойной жизни с мужем и детьми. Мысль о танцах появилась у мамы после того, как она получила заказ от антрепренера одной труппы варьете, которая выступала на сцене кинотеатра перед началом каждого сеанса. Не то чтобы мама считала профессию танцовщицы такой уж выгодной, но, когда появляешься на сцене, всегда может подвернуться случай познакомиться с каким-нибудь синьором, а «остальное приложится», как любила говорить мама.

В один прекрасный день она заявила, что договорилась с антрепренером и тот велел привести меня. Утром мы отправились в гостиницу, где жили антрепренер и вся его труппа. Гостиница эта, как сейчас помню, находилась в большом старом здании рядом с вокзалом. Время близилось к полудню, но в коридорах было сумрачно. Спертый воздух, скопившийся за ночь в стенах номеров, расползался по коридорам, и было нечем дышать. Мы миновали несколько коридоров и в конце концов очутились в темной прихожей, где три танцовщицы и аккомпаниатор у рояля репетировали в том полумраке, какой обычно царит на сцене. Рояль стоял в углу возле двери уборной с матовыми стеклами, в противоположном конце комнаты высилась огромная груда грязного постельного белья. Аккомпаниатор, тощий старик, играл по памяти, мне показалось, что он думает о чем-то своем и даже как будто дремлет. Три молодые танцовщицы, сняв блузки, остались по пояс обнаженными, в одних юбочках. Они держали друг друга за талию, и, как только пианист ударял по клавишам, все трое

устремлялись вперед, к куче белья, разом поднимая ноги и выкидывая их то вправо, то влево, а потом поворачивались, сильно раскачивая бедрами, и вид у них был вызывающий, что так не вязалось с этим темным и мрачным местом. Когда я увидела, как они четко отбивают такт, дробно стуча ногами об пол, у меня сжалось сердце. Я понимала, что никаких способностей к танцам у меня нет, хотя ноги у меня были длинные и крепкие. Вместе с двумя своими подругами я уже брала уроки в школе танцев нашего квартала. Мои подруги сразу после первых уроков начали ритмично двигать ногами и бедрами, как завзятые танцорши, я же еле-еле передвигалась, будто вся половина моего тела ниже талии была налита свинцом. Мне казалось, что я устроена не так, как все девушки, во мне было что-то громоздкое и тяжелое, даже музыка не могла меня расшевелить. Потом, когда я пробовала танцевать — а было это всего несколько раз, — я, чувствуя, как мою талию сжимает чья-то рука, испытывала такую слабость, что не могла двигаться как положено и едва волочила ноги. Художник как-то мне сказал:

— Тебе бы, Адриана, родиться лет четыреста назад… тогда ценили таких женщин, а теперь, когда пошла мода на хрупких, ты выглядишь белой вороной… года через четыре, через пять ты будешь совсем как Юнона.

В этом он, положим, ошибся, теперь, когда миновали пять лет, я не располнела и не стала похожей на Юнону, но художник был прав, когда говорил, что я не гожусь для нынешнего века хрупких женщин. Я страдала от своей неповоротливости, мне так хотелось похудеть и научиться танцевать, как все девушки. Но несмотря на то, что я ела мало, я все-таки оставалась массивной, как статуя, а во время танцев мне никак не удавалось уловить скачущие и быстрые ритмы современной музыки.

Обо всем этом я объявила маме, так как знала, что визит к антрепренеру обречен на провал, а его отказ ранил бы мое самолюбие. Но мама тут же начала кричать, что я во сто раз красивее всех этих несчастных девиц, которые подвизаются на подмостках, и что антрепренер должен благодарить небо, что я согласна пойти в его труппу, и все в таком же духе… Мама не понимала в современной красоте, она искренне считала, что, чем пышнее грудь и шире бедра у женщины, тем она красивее.

Антрепренер ожидал нас в соседней комнате, вероятно, оттуда он следил через открытую дверь за репетицией. Он сидел в кресле возле разобранной постели. На кровати стоял поднос с кофе, антрепренер как раз кончал завтракать. Это был толстый старик, холеный, напомаженный и необычайно элегантно одетый. Среди этих скомканных простыней, в этом тусклом свете и спертом воздухе он производил особенно странное впечатление. Лицо у него было цветущее, мне даже показалось, что оно подкрашено, потому что сквозь румянец проступали неровные темные нездоровые пятна. Он носил монокль и непрерывно двигал губами, тяжело отдуваясь и показывая зубы такой ослепительной белизны, что невольно заставляло думать об искусственной челюсти. Как я уже сказала, одет он был очень элегантно, особенно мне запомнился галстук бабочкой такого же рисунка и цвета, как носовой платок, торчавший из кармашка пиджака. Он сидел, расставив колени, между ними свисал его толстый живот. Кончив есть, он вытер рот и сказал скучающим и почти жалобным голосом:

— Ну-ка, покажи ноги.

— Покажи ноги синьору, — дрожащим от волнения голосом повторила мама.

Теперь, когда я уже позировала художникам, я перестала стесняться. Я потянула кверху платье и показала ноги. Так я и стояла, держа подол юбки в руке и открыв ноги. Ноги у меня в самом деле хороши: длинные, прямые, ровные, вот только от колен они становятся толще и кверху расширяются вдоль всего бедра. Разглядывая меня, антрепренер покачал головой и потом спросил:

— Сколько тебе лет?

— В августе исполнилось восемнадцать, — без запинки ответила мама.

Антрепренер ничего не сказал. Поднялся с места, тяжело дыша, подошел к патефону, стоящему на столе среди бумаг и тряпок. Он покрутил ручку, выбрал пластинку и поставил

ее на диск. Потом проговорил:

— Теперь постарайся потанцевать под музыку… а юбку все время держи так.

— Она взяла всего несколько уроков танцев, — предупредила мама.

Понимая, что испытание будет решающим, и зная мою неповоротливость, она боялась за исход этого экзамена. Но антрепренер махнул рукой, приказывая ей молчать, включил музыку и тем же жестом предложил мне танцевать. Я начала двигаться, приподняв юбку, как он велел. По правде говоря, я вяло и тяжело передвигалась из стороны в сторону, чувствуя, что все время сбиваюсь с ритма. Антрепренер стоял возле патефона, упершись локтями в стол и повернувшись ко мне лицом. Внезапно он остановил пластинку и пошел к своему креслу, красноречиво указав на дверь.

— Разве не годится? — с тревогой и вызовом спросила мама.

Он ответил, не глядя на нее:

— Да, не годится, — а сам тем временем шарил по карманам, ища портсигар.

Я знала, что, когда мама начинает говорить таким тоном, она непременно затеет ссору, и поэтому потянула ее за рукав. Но она с силой оттолкнула меня и, глядя на антрепренера сверкающими глазами, повторила еще громче:

— Не годится? А нельзя ли узнать почему?

Антрепренер, найдя сигареты, стал искать спички. Он был очень полный, и казалось, каждое движение стоит ему величайших усилий. Он ответил спокойно, хоть по-прежнему тяжело дышал:

— Не годится потому, что у нее нет способностей, и еще потому, что фигура не подходит.

Тут произошло то, чего я так опасалась: мама начала кричать, выкладывая ему все свои обычные доводы: что я настоящая красавица, что лицом я похожа на Мадонну, и пусть он только посмотрит, какие у меня ноги, грудь и бедра. Антрепренер зажег сигарету и закурил, глядя на маму и ожидая, когда она кончит. Потом он сказал грустным и жалобным голосом:

— Года через два из твоей дочери может выйти прекрасная кормилица… но танцовщица никогда.

Он еще не знал, какая неистовая сила таится в маме, и поэтому ужасно удивился тому, что произошло вслед за этим, даже курить перестал, а так и остался стоять с разинутым ртом. Он хотел было что-то возразить, но мама ему не дала произнести ни слова. Мама была худая и слабенькая, и просто непонятно, откуда у нее брался такой голос и такой запал. Она поносила старого антрепренера, а также его танцовщиц, которых мы видели в коридоре. Под конец она схватила куски шелка, из которых должна была шить ему сорочки, и швырнула их старику прямо в лицо с криком:

— Пусть вам шьют сорочки другие… может, ваши танцовщицы с этим справятся… а я, хоть осыпьте меня золотом, не буду вам шить, и все тут!

Такого исхода антрепренер вовсе не ожидал, он стоял пораженный и побагровевший, закутанный с головы до ног материей. Я тянула маму за рукав и чуть не плакала от стыда и унижения. Наконец она послушалась меня, и, оставив старика выпутываться из развернувшихся кусков шелка, мы вышли из комнаты.

На другой день я рассказала об этой сцене художнику, которому поверяла все свои тайны. Он очень смеялся над предсказанием антрепренера, что из меня выйдет хорошая кормилица, а потом заметил:

— Бедная моя Адриана, я тебе уже говорил много раз… опоздала ты родиться… надо было это сделать четыреста лет назад: то, что сейчас считается недостатком, в то время очень ценилось, и наоборот… антрепренер в какой-то мере прав… он знает, что публике нравятся худенькие блондинки с маленькой грудью и узкими бедрами, с лукавым и вульгарным личиком… а ты хотя и не толстая, но крупная, к тому же брюнетка, у тебя пышная грудь, и бедра — тоже, а лицо нежное и спокойное… что тут поделаешь? Мне ты подходишь… продолжай позировать… а потом в один прекрасный день выйдешь замуж и нарожаешь детей, похожих на тебя, таких же смугленьких и пухленьких, с нежными и спокойными

мордашками.

Я твердо сказала:

— А мне большего и не надо!

— Молодец, — одобрил он, — а теперь чуть-чуть повернись на бок… вот так.

Этот художник по-своему привязался ко мне, и, если бы он остался в Риме, я по-прежнему делилась бы с ним своими мыслями, он мог бы помочь мне советом, и тогда, вероятно, жизнь моя сложилась бы иначе. Но он постоянно жаловался, что его картины плохо раскупаются, и в конце концов ему подвернулся случай устроить выставку в Милане, куда он и переехал насовсем. Я по его совету продолжала работать натурщицей. Но другие художники оказались не такими любезными и симпатичными, поэтому я не была склонна рассказывать им о своей жизни. По правде говоря, вся моя жизнь в ту пору состояла из сплошных грез, желаний и надежд, и в ней не происходило ничего особенного.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Итак, я продолжала работать натурщицей, хотя мама ворчала — ей все казалось, что я мало зарабатываю. Мама в то время часто бывала сердита, и, несмотря на то, что она скрывала истинную причину своего дурного настроения, я понимала, что все это из-за меня. Как я уже говорила, она делала ставку на мою красоту, надеясь добиться бог знает каких успехов и удач, моя работа натурщицы была, по ее мнению, лишь первой ступенькой, а остальное, как она любила выражаться, приложится. И то, что я оставалась жалкой натурщицей, огорчало ее и даже вызывало в ней раздражение против меня, будто я своей непритязательностью лишала ее верных денег. Конечно, она не высказывала своих мыслей вслух, но давала это понять грубыми словами, упреками, вздохами, печальными взглядами и другими столь же прозрачными намеками. Все это было настоящей пыткой, и тогда-то я поняла, почему многие девушки, которых, как и меня, пилят их разочарованные и честолюбивые мамаши, в один прекрасный день убегают из дома и вешаются на шею первому встречному, лишь бы избавиться от подобной тирании. Понятно, что мама вела себя так из любви ко мне. Но такая любовь отчасти напоминает любовь хозяйки к курам-несушкам: когда курица перестает нестись, ее начинают щупать, взвешивать на руках, раздумывая, а не выгоднее ли будет ее зарезать.

Как терпелива и наивна молодость! Моя жизнь в то время была ужасной, а я этого не замечала. Все деньги, которые я получала за свои долгие, тяжелые и скучные сеансы в студиях художников, я до единою гроша отдавала маме, а в свободное время, когда я не позировала обнаженная, озябшая и онемевшая, я гнула спину за швейной машиной или сидела с иголкой в руке, помогая маме. Ночь заставала меня за шитьем, а утром чуть свет я поднималась: нужно было ехать в мастерские, они находились далеко от нашего дома, а сеансы начинались всегда очень рано. Но прежде чем отправиться на работу, я прибирала постель и помогала маме навести порядок в доме. Я была неутомима, покорна и нетребовательна и одновременно спокойна, весела и безмятежна, душе моей были чужды зависть, злоба и ревность, наоборот, я была полна какой-то неизъяснимой нежности и благодарности, оттого что чувствовала себя цветущей и молодой. Я не замечала убогости нашего жилища. Одна большая и почти пустая комната служила нам мастерской: середину ее занимал стол, заваленный лоскутами, другие лоскуты висели на гвоздях, вбитых в темные, потрескавшиеся стены, тут же стояло несколько старых, продавленных стульев; в другой комнате мы с мамой спали на широкой двуспальной кровати, и как раз над нами на потолке расплылось большое влажное пятно, а когда шел дождь, капало прямо на нас; в закопченной кухоньке было тесно от мисок и кастрюль, которые не слишком чистоплотная мама никогда не успевала перемыть все до одной. Я не замечала, что приносила в жертву свою молодость, не зная развлечений, не ведая любви и радости. Когда теперь я вспоминаю свои юные годы, свой добрый и простодушный нрав, сердце мое переполняется сочувствием к самой себе, такой слабой и беззащитной, подобное чувство вызывают у нас злоключения героев в

романах, хотелось бы, чтоб все несчастья их миновали, да знаешь — это невозможно. Так уж заведено, люди не понимают, на что им, собственно, нужны доброта и простодушие; и не в этом ли заключена грустная загадка жизни: достоинства, которыми природа щедро наделила людей и которые все восхваляют на словах, на деле лишь усугубляют наши несчастья.

В ту пору мне казалось, что мои надежды обзавестись семьей рано или поздно должны осуществиться. Каждое утро я садилась в трамвай на площади недалеко от нашего дома. На этой площади среди других зданий виднелось длинное и невысокое строение, примыкавшее к городской стене, оно служило гаражом для автомобилей. В этот час у ворот гаража всегда стоял юноша, который мыл и приводил в порядок свою машину. Он пристально смотрел на меня. Черты его смуглого лица были тонки и безукоризненны, нос небольшой, прямой, глаза темные, красиво очерченный рот и белые зубы. Он был похож на популярного в то время американского киноактера, поэтому я обратила на него внимание и даже приняла его сперва не за того, кем он был на самом деле, потому что он прекрасно одевался и держался с достоинством, как хорошо воспитанный человек. Я вообразила, что у него собственная машина, а сам он, вероятно, человек обеспеченный, именно из тех синьоров, о которых так часто твердила мне мама. Он, конечно, нравился мне, но я думала о нем, только пока видела его, а потом, на работе, забывала. Однако он, должно быть, этими взглядами незаметно приручил меня. Однажды утром, когда я стояла на остановке и ждала трамвая, я услышала, что кто-то зовет меня точно так, как зовут кошек, я обернулась и увидела, что он из машины делает мне знак приблизиться, и я, ни минуты не колеблясь, с бессознательной покорностью, которая очень удивила меня, пошла к нему. Он открыл дверцу, и, прежде чем сесть в машину, я увидела, что рука его, лежащая на окне, была большая и загрубевшая, с поломанными почерневшими ногтями, а указательный палец пожелтел от никотина, словом, это была рука человека, занимающегося физическим трудом. Молча я села в машину.

— Куда вас отвезти? — спросил он, захлопывая дверцу.

Я назвала адрес одной из мастерских. Голос у него был тихий и приятный, хотя уже тогда я почувствовала в нем что-то фальшивое и манерное.

Он сказал:

— Прекрасно… сейчас мы прокатимся немного… ведь еще очень рано… потом я отвезу вас, куда вы пожелаете.

Машина тронулась. Мы выехали из нашего квартала на пригородную аллею, которая тянется вдоль городской стены, потом поехали по длинной улице мимо маленьких домишек и лавок и выбрались наконец за город. Тут машина помчалась как бешеная по шоссе, с обеих сторон обсаженному платанами. Не глядя на меня и показывая на спидометр, он то и дело говорил:

— Вот сейчас восемьдесят километров… девяносто… сто… сто двадцать… сто тридцать…

Видно, он хотел поразить меня этой скоростью, но я беспокоилась только о работе и боялась, как бы из-за какого-нибудь несчастного случая машина не застряла по дороге. Вдруг он затормозил, выключил мотор и повернулся ко мне:

— Сколько вам лет?

— Восемнадцать, — ответила я.

— Восемнадцать… я думал больше. — В его голосе действительно было что-то манерное. Иногда он понижал его до шепота, будто разговаривал сам с собой или хотел поведать какую-то тайну. — А как вас зовут?

— Адриана… а вас?

— Джино.

— Чем вы занимаетесь? — спросила я.

— Я коммерсант, — не задумываясь ответил он.

— И эта машина ваша собственная?

Он презрительно оглядел машину и сказал:

— Да, моя.

— А я вам не верю, — откровенно заявила я.

— Не верите… вот так да, а почему? — спросил он удивленным и шутливым тоном, нисколько не смутившись.

— Вы шофер.

Он еще более насмешливо и недоуменно спросил:

— Вы говорите удивительные вещи… смотрите-ка… шофер… а почему вы так думаете?

— Вижу по вашим рукам.

Он спокойно, без смущения посмотрел на свои руки и сказал:

— От синьорины, видно, ничего не скроешь… какой у вас, однако, острый глаз… правильно, я шофер… Ну что, довольны?

— Нет, не довольна, — сухо ответила я, — прошу вас сейчас же отвезти меня в город.

— Но в чем дело? Вы рассердились на меня за то, что я сказал вам неправду?

В эту минуту, сама не знаю почему, я невольно обозлилась на него.

— Не будем говорить об этом… Отвезите меня, пожалуйста.

— Но это же шутка… что тут такого… разве уж и пошутить нельзя?

— Я не люблю подобных шуток.

— А вы с характером… я-то подумал, а вдруг эта синьорина какая-нибудь принцесса… и, если она узнает, что я всего-навсего бедный шофер, она и смотреть на меня не захочет… Скажу-ка ей, что я коммерсант.

Он очень ловко вывернулся, польстив мне и в то же время давая понять, что питает ко мне определенные чувства. А кроме того, он сказал эти слова с такой обольстительной улыбкой, что совсем покорил меня.

— Я не принцесса… я работаю натурщицей и этим живу. Так же как вы работаете шофером.

— А что значит «натурщица»?

— Я хожу в студии художников, раздеваюсь, и художники меня рисуют.

— А мать у вас есть? — возмущенно спросил он.

— Конечно, а почему вы спрашиваете?

— И мать разрешает вам раздеваться перед мужчинами?

Я никогда не думала, что в моей профессии есть нечто постыдное, ведь и в самом деле в ней нет ничего плохого, но мне было приятно, что он именно так смотрит на вещи, это говорит о его серьезном отношении к жизни и его нравственности. Как я уже говорила, мне очень хотелось жить по-человечески, и он, несмотря на свою фальшивость, понял (я до сих пор не знаю, как это ему удалось), что́ он должен был мне говорить и чего не следовало. Другой на его месте, думала я, узнав, что я позирую обнаженной, поднял бы меня на смех либо повел себя нескромно. Так первое неприятное впечатление от его обмана рассеялось незаметно для меня самой, и я подумала, что он все-таки, должно быть, серьезный и честный парень, именно таким я в мечтах представляла себе человека, который станет моим мужем.

— Мама как раз и нашла мне эту работу, — откровенно призналась я.

— Тогда она, видно, не любит вас.

— Нет, — возразила я, — мама меня любит… но она сама в девушках тоже была натурщицей… и потом, уверяю вас, в этом нет ничего дурного… я знаю многих девушек, которые этим занимаются, и все они очень серьезные.

Он с сомнением покачал головой и, прикоснувшись к моей руке, сказал:

— Знаете, мне приятно, что я с вами познакомился… очень-очень приятно.

— И мне тоже, — ответила я просто.

В эту минуту я ощутила вдруг влечение к нему, я почти хотела, чтоб он меня поцеловал. И конечно, поцелуй он меня тогда, я не стала бы противиться. Но он сказал серьезным и покровительственным тоном:

— Будь на то моя воля, вы не стали бы натурщицей. — Я почувствовала себя несчастной и была благодарна ему за эти слова. — Такая девушка, как вы, — продолжал

он, — должна сидеть дома, в крайнем случае работать… но заниматься честным трудом, не принося в жертву свою репутацию… Такая девушка, как вы, должна выйти замуж, вести хозяйство, иметь детей, любить мужа.

Как раз то, о чем я мечтала! Я была очень довольна, что и он думает или делает вид, что думает так же. Я сказала:

— Вы правы… но все равно вы не должны плохо говорить о маме… она хотела, чтобы я стала натурщицей, как раз потому, что любит меня.

— Я бы этого не сказал, — безжалостно отрезал он, и в голосе его послышалось возмущение.

— Нет, она меня любит… только она некоторых вещей не понимает.

Так мы разговаривали, устроившись на переднем сиденье машины. Как сейчас помню, стоял май, воздух был теплый, причудливые тени от платанов застилали дорогу. Изредка мимо нас с бешеной скоростью проносились машины. На зеленом, залитом солнцем поле не было ни души. Наконец он посмотрел на часы и сказал, что пора возвращаться в город. Он только один раз прикоснулся к моей руке. Я ждала, что он хотя бы попытается поцеловать меня, но этого не произошло, потому я была одновременно и разочарована и довольна его сдержанностью. Разочарована потому, что он мне нравился, и я невольно глядела на его красные пухлые губы; а довольна потому, что мое мнение о нем как о человеке серьезном подтверждалось, таким именно я и хотела его видеть.

Он довез меня до мастерской и сказал, что с нынешнего дня он всегда сможет провожать меня на работу, если только я в определенный час буду приходить на трамвайную остановку, так как он в это время свободен. Я охотно приняла его предложение, и в тот день долгие часы, проведенные в мастерских художников, не были для меня такими тяжкими, как обычно. Мне казалось, что жизнь моя приобрела новый смысл. Я радовалась, что могу думать о нем спокойно, без всяких угрызений совести, как о мужчине, который нравится мне не только своей внешностью, но и обладает теми достоинствами, которые я считаю необходимыми в человеке.

Маме я ничего не сказала, так как боялась, и не без оснований, что она не допустит моего брака с бедным шофером, не имеющим блестящих видов на будущее. На другое утро он, как и обещал, приехал за мной и отвез прямо в мастерскую. В последующие дни, когда стояла хорошая погода, он увозил меня на какую-нибудь пустынную пригородную аллею или на шоссе, чтобы спокойно поболтать со мной. Разговоры мы вели на серьезные и пристойные темы, держался он по отношению ко мне почтительно, старался мне понравиться. Я в то время была очень сентиментальна, а все, что касалось отзывчивости, добродетели, нравственности, семейных отношений, в особенности волновало меня, ну прямо до слез, которые часто наворачивались мне на глаза, и душа моя наполнялась томным и упоительным покоем, сочувствием и доверием к людям. Так постепенно я стала считать Джино идеалом. Иногда я задумывалась: какие же у него недостатки? Он красив, молод, умен, честен, серьезен, его действительно нельзя упрекнуть ни в малейшем грехе. Размышляя так, я даже удивлялась: ведь не каждый день приходится встречать идеальных людей. Это почти пугало меня. Что он за человек, спрашивала я себя, сколько его ни испытывай, в нем не проявляется ни одной плохой черты, ни одного недостатка? Я и не заметила, как влюбилась в него. А ведь известно, что любовь смотрит сквозь розовые очки, так что и урод может показаться привлекательным.

Я была так влюблена, что, когда он впервые поцеловал меня на том самом шоссе, где мы вели наш первый разговор, я испытала какое-то облегчение: это был естественный переход от давно созревшего желания к его осуществлению. Однако та непреодолимая страстность, с которой встретились наши губы, немного испугала меня. Я поняла, что отныне мои поступки уже зависели не от меня, а от той сладкой и могучей силы, которая настойчиво толкала меня к нему. Но я совершенно успокоилась, когда сразу же после поцелуя он сказал, что теперь мы жених и невеста. И на этот раз он угадал мои сокровенные мысли и сказал именно то, что полагалось. Так рассеялся мой страх, вызванный первым

поцелуем, и все время, пока машина стояла на шоссе, я целовала его, уже не сдерживая себя, с чувством полной, страстной и естественной отрешенности.

Впоследствии я получила и ответила на много поцелуев, однако, бог тому свидетель, я не участвовала в них ни душой, ни телом — так получают и отдают старую монету, прошедшую через тысячи рук, — но я навсегда запомню тот первый поцелуй за его почти скорбную силу, в него, казалось, я вложила не только свою любовь к Джино, но и все свои надежды, Помню, как я почувствовала, что перед глазами все закружилось, небо и земля поменялись своими местами. В самом же деле я только запрокинула голову немного назад, чтобы продлить поцелуй. Что-то живое и прохладное ударялось и давило на мои зубы, и, когда я их разжала, я почувствовала, что его язык, столько раз ласкавший мой слух нежными словами, теперь, проникая в мой рот, доставляет мне иное, до сих пор еще не изведанное удовольствие. Я не знала, что можно так целоваться и что поцелуй может быть таким продолжительным, поэтому я очень скоро задохнулась и как будто бы опьянела. Когда мы поцеловались, я откинулась на спинку сиденья с закрытыми глазами и затуманенным сознанием, готовая вот-вот упасть в обморок. Так в этот день я поняла, что на свете существуют и другие радости, кроме спокойной семейной жизни. И мне не казалось, что эти радости лишат меня той самой жизни, о которой я до сих пор мечтала. А после обещания Джино жениться на мне я почувствовала, что в будущем смогу наслаждаться и тем и другим, не считая себя грешницей и не испытывая угрызений совести.

Я была уверена, что поступаю правильно и честно, поэтому в тот же вечер, только, пожалуй, с излишним трепетом и радостью, рассказала обо всем маме. Она сидела за швейной машиной возле окна при ослепительном свете лампочки без абажура. Покраснев, я сказала:

— Мама, у меня есть жених.

Я увидела, как мамино лицо исказилось, будто ее окатили с головы до ног ледяной водой.

— Кто он?

— Один юноша, я с ним недавно познакомилась.

— А чем он занимается?

— Он шофер.

Я хотела еще что-то сказать, но не успела. Мама бросила шить, вскочила со стула и схватила меня за волосы.

— У тебя жених… и меня не спросилась… да еще шофер… о, несчастная… ты меня уморить хочешь! — вопила она, пытаясь ударить меня по щеке.

Я изо всех сил закрывала лицо руками, потом вырвалась, но она погналась за мной. Я бегала вокруг стола, стоящего посредине комнаты, она преследовала меня с криком и руганью. Меня страшно испугало выражение болезненного исступления на ее худом лице.

— Я тебя убью, — кричала она, — сейчас я тебя убью!

И казалось, что чем упорнее она твердила слова «я тебя убью», тем больше росло ее бешенство и тем реальнее становилась угроза. Я задержалась у стола и внимательно следила за каждым ее жестом, потому что она действительно была способна если не убить, то, во всяком случае, покалечить первым же подвернувшимся под руку предметом. И в самом деле, она схватила большие портновские ножницы и швырнула их в меня, я едва успела отскочить в сторону. Ножницы с размаху ударились в стену. Мама, испугавшись сама своего поступка, внезапно рухнула на стул, закрыла лицо руками и разразилась нервными и хриплыми рыданиями, в которых, казалось, было больше злобы, чем обиды. Сквозь слезы она произнесла:

— А я-то возлагала на тебя такие надежды… мечтала увидеть тебя богатой… с твоей-то красотой… и нате вам — невеста нищего.

— Но он не нищий, — робко возразила я.

— Шофер, — пожала она плечами и еще раз повторила, — шофер… Несчастная, ты кончишь, как я.

Эти слова она произнесла нараспев, будто смаковала их горечь.

— Он женится на тебе, ты станешь его служанкой, а потом будешь служить своим детям, вот чем все кончится, — добавила она.

— Мы поженимся, когда он накопит достаточно денег и купит свою собственную машину, — сказала я, выдавая один из проектов Джино.

— Это еще на воде вилами писано… Только сюда не смей его приводить! — закричала она вдруг, повернув ко мне свое заплаканное лицо. — Не смей сюда его приводить… Не желаю его видеть… делай что угодно, встречайся с ним где хочешь… Но сюда не смей приводить!

В тот вечер я легла спать без ужина, на душе у меня было грустно и тревожно. Но я понимала, что мама ведет себя так, потому что любит меня и возлагает на мое будущее бог знает какие надежды, а мои отношения с Джино разрушают все ее планы. И гораздо позднее, когда я узнала, чтó это были за планы, я все равно не могла ее осуждать. Ведь всю свою жизнь она честно трудилась, а видела одни лишь огорчения, заботы и бедность. Что же тут удивительного, если она желала своей дочери совсем другой участи? Должна добавить, что у мамы, скорей всего, не было определенных и точных планов, просто она тешила себя неясными и радужными мечтами, которые как раз за эту их неопределенность можно было лелеять без всяких угрызений совести. Таково мое предположение, но, возможно, мама в глубине души все-таки решила направить меня когда-нибудь по тому роковому пути, на который мне пришлось позднее ступить самой. Я не ставлю это ей в упрек, а говорю так, потому что до сих пор сама не разобралась, о чем же она тогда думала. Кроме того, я по собственному опыту знаю, что можно одновременно одинаково относиться к совершенно противоположным вещам и не замечать при этом противоречия, а выбирать то, что тебя больше всего устраивает в данный момент.

Мама заклинала меня не приводить в дом Джино, и я какое-то время выполняла ее просьбу. Но после наших первых поцелуев Джино, казалось, потерял покой, мы обязаны были, говорил он, поступать по всем правилам; каждый раз он настаивал, чтобы я познакомила его с мамой. Я боялась сказать ему, что мама и видеть его не желает, так как считает профессию шофера ничтожной, поэтому я под разными предлогами оттягивала их встречу. В конце концов Джино понял, что я что-то от него скрываю, и принялся так настойчиво допрашивать меня, что я вынуждена была сказать ему правду:

— Мама не хочет видеть тебя, она считает, что я должна выйти замуж за благородного синьора, а не за простого шофера.

Разговор наш происходил в машине все на том же загородном шоссе. Джино посмотрел на меня и печально вздохнул. Я была так влюблена, что не заметила фальши в его поведении.

— Вот что значит быть бедняком! — воскликнул он с пафосом.

— Ты обиделся? — наконец решилась спросить я.

— Нет, но я оскорблен, — ответил он, качая головой, — другой на моем месте не просил бы представить его, не говорил бы о помолвке… а поступил бы так, как поступают все.

Я сказала:

— Какое это имеет значение? Я ведь тебя люблю. Этого вполне достаточно.

— Если бы я пришел с кучей денег, — продолжал он, — и даже не заикнулся бы о браке… вот тогда твоя мать с радостью приняла бы меня.

Я не осмелилась спорить, ведь он говорил чистую правду.

— Знаешь, что мы устроим? — начала я. — В ближайшие дни я просто приведу тебя к нам, мама поневоле должна будет познакомиться с тобой, не станет же она отворачиваться от тебя.

В условленный день я ввела Джино в нашу комнату. Мама только что кончила работу и освобождала один конец большого стола для ужина. Я подошла к ней и сказала:

— Мама, это Джино.

Я ожидала какой-нибудь выходки с ее стороны, поэтому на всякий случай

предупредила Джино. Но, к величайшему моему удивлению, мама окинула его взглядом с головы до ног и сухо произнесла:

— Очень приятно.

И вышла из комнаты.

— Вот увидишь, все будет хорошо, — сказала я, приблизившись к Джино, и, подставив губы, попросила: — Поцелуй меня.

— Нет, нет, — произнес он шепотом, отталкивая меня. — Твоя мать тогда будет вправе думать обо мне плохо…

Он всегда знал, что надо делать и чего не надо. В глубине души я не могла не признать справедливости его слов. Вошла мама и сказала, не глядя на Джино:

— Откровенно говоря, я приготовила ужин только на двоих… ты меня не предупредила… но сейчас я схожу и…

Ей не удалось договорить. Джино шагнул вперед и перебил ее:

— Ради бога… ведь я пришел сюда не есть, разрешите пригласить вас и Адриану отужинать со мной.

Он держался чинно, как вполне благопристойный человек. Мама не привыкла к такому тону и приглашениям, поэтому с минуту она колебалась, потом, взглянув на меня, сказала:

— Мне все равно, как Адриана.

— Мы можем пойти в ближайшую остерию, — предложила я.

— Как вам будет угодно, — ответил Джино.

Мама сказала, что пойдет переоденется. Мы остались одни. На душе у меня было радостно, мне казалось, что я одержала величайшую победу, тогда как в действительности это была лишь комедия, в которой только одна я не принимала участия. Я подошла к Джино и порывисто поцеловала его, так что он даже не успел оттолкнуть меня. Этим поцелуем я хотела выразить свою радость освобождения от того тревожного состояния, в котором я пребывала много дней, уверенность, что теперь наша свадьба наверняка состоится, и благодарность Джино за то, что он так мило разговаривал с мамой.

У меня не было никаких затаенных мыслей, я вся была как на ладони: я хотела выйти замуж, я любила Джино и маму. Я была искренна, доверчива, беззащитна, какой бывает девушка в восемнадцать лет, когда разочарование еще не затронуло ее душу. Только гораздо позднее я поняла, что такая наивность волнует и нравится очень немногим, а большинству людей она кажется просто смешной и толкает их на подлые поступки.

Мы все трое отправились в остерию, которая находилась недалеко от нашего дома, по ту сторону городской стены. За столом Джино даже не глядел в мою сторону, он направил все свое внимание только на маму с явным намерением завоевать ее симпатию. Его желание понравиться маме казалось мне закономерным, и поэтому я не придавала значения той неприкрытой лести, которую он щедро расточал. Он называл маму «синьора», что было для нее непривычно. Он старался повторять это слово как можно чаще, оно звучало как припев то в начале, то в середине фразы. Как бы невзначай он говорил: «Вы женщина умная и, конечно, поймете…» или «Вы знаете жизнь, поэтому вам не нужно объяснять такие вещи…» И еще более кратко: «С вашим умом…» Джино даже счел нужным сказать маме, что в моем возрасте она была, наверное, красивее меня.

— Откуда ты знаешь? — спросила я, немного обидевшись.

— О, это само собой разумеется… есть вещи, которые понятны и так, — неопределенно ответил он вкрадчивым голосом.

Бедняжка мама только хлопала глазами от такого потока лести, лицо ее стало ласковым, приятным, нежным, она, как я заметила, беззвучно шевелила губами, точно повторяла про себя слащавые комплименты, на которые не скупился Джино. Я уверена, что впервые в жизни ей говорили такие слова, и ее изголодавшееся по ласке сердце никак не могло насытиться. А мне, как я уже сказала, это лицемерие казалось выражением искреннего уважения к маме и внимания ко мне, что явилось новым ярким дополнением ко всем достоинствам Джино.

Между тем за соседний столик уселась компания молодых парней. Один из них был явно навеселе, он уставился на меня и громко произнес по моему адресу довольно неприличный комплимент. Джино услышал эту фразу, тотчас же встал и подошел к молодому человеку:

— А ну-ка, повторите, что вы сейчас сказали!

— А тебе какое дело? — спросил парень, притворяясь совсем пьяным.

— Синьора и синьорина пришли со мной, — повысил голос Джино, — и, пока они со мной, все, что касается их, касается и меня… поняли?

— Понял, успокойся… Ладно, ладно, — ответил тот, оробев.

Все остальные смотрели на Джино с неприязнью, но не осмеливались поддержать дружка. А тот, притворяясь еще более пьяным, чем был на самом деле, наполнил бокал вином и предложил его Джино. Но Джино решительно отказался.

— Не хочешь выпить, тебе не нравится это вино? — заорал пьяный. — Не хочешь, как хочешь… вино — первый сорт… сам выпью.

И он залпом выпил вино. Джино еще раз строго посмотрел на него и вернулся на свое место.

— Невоспитанные люди, — сказал он, садясь на стул и нервно одергивая пиджак.

— Зачем вы разговаривали с ними? — сказала польщенная вниманием мама. — Вы же знаете, что это за сброд…

Но Джино, очевидно, считал, что он еще не до конца показал свою галантность, поэтому ответил:

— Как это зачем? Я стерпел бы, если бы находился здесь с какой-нибудь… надеюсь, вы меня понимаете, синьора, — стерпел бы, говорю я… Но быть в таком месте, в ресторане с синьорой и синьориной… В конце концов этот тип понял, что я шутить не намерен, и, как вы видели, сразу притих.

Это происшествие окончательно покорило маму. А кроме того, Джино уговаривал ее пить вино, которое опьяняло ее не меньше, чем все его комплименты. И как бывает с подвыпившими людьми, она, несмотря на невольную симпатию к Джино, все-таки не сумела скрыть своего огорчения из-за того, что он стал моим женихом. При первом же удобном случае она решила намекнуть ему, что все равно останется при своем мнении.

Такой случай представился, когда начался разговор о моем занятии. Не помню, почему зашла речь о новом художнике, которому я в то утро позировала. И вот тогда Джино сказал:

— Можете считать меня глупцом, несовременным, как угодно… но я не могу примириться с тем, что Адриана каждый день раздевается перед всеми этими художниками.

— А почему? — спросила мама изменившимся голосом, который предвещал бурю, чего не мог знать Джино.

— Да хотя бы потому, что это неприлично.

Не буду воспроизводить полностью ответ мамы, потому что он весь был пересыпан бранными словами, к которым мама прибегала каждый раз, когда выпивала вина или сердилась. Но мамина речь даже без этих слов отражала ее взгляды и чувства.

— Ах, неприлично! — начала она кричать что было силы, и все посетители, бросив есть, повернулись в нашу сторону. — Ах, неприлично… а что же тогда прилично? Может быть, прилично весь божий день гнуть спину, мыть посуду, шить, готовить обед, гладить, чистить, натирать полы и потом вечером встречать мужа, который еле ноги волочит от усталости и тотчас же после ужина ложится спать, повернувшись лицом к стене? Это прилично? Жертвовать собой, не иметь ни минуты отдыха, стареть, дурнеть, подохнуть, это прилично? Да знаете вы, что я вам скажу? Мы живем на свете только раз, а после смерти — царство небесное… и вы можете катиться ко всем чертям вместе с вашими приличиями, а Адриана правильно делает, что раздевается перед художниками, которые ей за это платят… и она поступала бы еще правильнее, если бы…

Тут последовал целый поток непристойностей, которые мама выговорила все так же громко, а я, слушая их, заливалась краской.

— И если бы Адриана занималась этим, — продолжала она, — я не только не мешала бы ей, а даже помогала бы… да, помогала бы… лишь бы, конечно, за это платили, — добавила она, подумав немного.

— Я уверен, что вы на это не способны, — ничуть не смутившись, возразил Джино.

— Не способна? Вы так считаете?.. И что это вы себе думаете, а? Воображаете, будто я счастлива, что Адриана невеста шофера, невеста такого нищего, как вы? Да я бы все отдала за то, чтобы она жила в роскоши. Вы думаете, приятно видеть, как Адриана с ее красотой, за которую другие не пожалели бы отдать тысячи, готова на всю жизнь стать вашей служанкой? Ну, так вы ошибаетесь, глубоко ошибаетесь!

Мама кричала, все на нас оглядывались, и мне было ужасно стыдно. Но Джино, как я уже сказала, нисколько не смутился. Он улучил минуту, когда мама, выбившись из сил, замолкла, взял графин и, наполнив ее бокал, предложил:

— Не желаете ли еще немного вина?

Бедной маме ничего не оставалось, как сказать: «Спасибо» и принять бокал, который ей протягивал Джино. Публика, видя, что мы, несмотря на ссору, продолжаем пить как ни в чем не бывало, занялась своими делами.

— Адриана так красива, что вполне заслуживает жизни, какую ведет моя хозяйка, — сказал Джино.

— А какую жизнь она ведет? — быстро спросила я, желая перевести разговор на другую тему.

— Утром, — ответил он с самодовольным, даже гордым видом, как будто богатство его хозяев отбрасывало частицу блеска на него самого, — она просыпается в одиннадцать, а то и в двенадцать часов… ей приносят завтрак прямо в постель на серебряном подносе и в серебряной посуде… после она принимает ванну, но сперва ее горничная растворяет в воде какие-то соли, отчего вода становится душистой. Потом я в автомобиле везу ее на прогулку… она заезжает в кафе выпить рюмочку вермута или же заходит в магазины… Вернувшись домой, обедает, спит и потом целых два часа одевается… если бы вы видели, сколько у нее платьев… шкафы битком набиты… потом опять едет на машине и наносит визиты знакомым… затем ужинает… вечером отправляется в театр или на бал… часто принимает у себя гостей… они играют в карты, пьют, слушают музыку… Это богатые люди, очень богатые. У моей хозяйки одних драгоценностей, я думаю, на несколько миллионов.

Словно ребенок, которого ничего не стоит отвлечь и у которого из-за любого пустяка меняется настроение, мама уже забыла обо мне, о том, как несправедливо обошлась со мной судьба, и слушала затаив дыхание рассказ об этой роскошной жизни.

— Миллионов? — жадно повторила она. — А ваша хозяйка красива?

Джино, куривший сигарету, с презрением выплюнул табачную крошку:

— Какое там красива… самая настоящая уродина… худая, похожа, скорей, на ведьму.

Так они продолжали разговаривать о богатстве хозяйки Джино, вернее, он продолжал хвастаться этим богатством, будто оно было его собственным. А мама, любопытство которой скоро иссякло, впала в мрачное настроение и за весь вечер не произнесла больше ни слова. Возможно, она стыдилась, что вела себя бестактно, а может быть, завидовала этому богатству и с досадой думала, что мой жених — нищий.

На следующий день я с беспокойством спросила у Джино, не обиделся ли он на маму, но Джино ответил, что, хотя он и не разделяет ее точку зрения, зато прекрасно понимает, что все объясняется жизнью мамы, полной несчастья и лишений. «Можно только пожалеть ее», — сказал он. Я была уверена, что говорит он так потому, что любит меня. Таково было мое мнение на этот счет, поэтому я была благодарна Джино, проявившему необыкновенную чуткость. По правде, я боялась, что мамина выходка испортит наши отношения. Да, я была благодарна Джино за его тактичность и еще раз подумала, что он — само совершенство. Если бы я была не так ослеплена и более опытна, я бы поняла, что такое впечатление может производить только человек бессовестный и лживый, а искренний выказывает вместе с достоинствами свои слабости и недостатки.

Короче говоря, я стала чувствовать себя ничтожеством рядом с Джино, мне постоянно казалось, что я ничем не вознаградила его за долготерпение и такт. И если через несколько дней я уже не противилась его все более смелым ласкам, то это, вероятно, происходило от моей мягкости и доброты, ибо я смутно чувствовала, что в жизни нужно за все так или иначе платить. А кроме того, как я уже говорила о нашем первом поцелуе, меня влекла к нему неодолимая и притягательная сила, которую можно сравнить лишь с силой сна; ведь именно сон, желая сломить наше сопротивление, заставляет нас думать, что мы бодрствуем, так мы и засыпаем, убежденные, что не сдались.

Я прекрасно помню все ступени моего грехопадения, потому что каждая победа Джино была для меня и желанной и нежеланной, вызывала во мне и радость и угрызения совести. Объяснялось это тем, что каждую победу он одерживал не спеша, даже с умышленной медлительностью, не выражал нетерпения. Джино вел себя не как влюбленный, снедаемый страстью, а как полководец, который осаждает крепость, и мое послушное тело покорялось ему постепенно. Однако впоследствии Джино по-настоящему влюбился в меня, хитрость и расчет уступили место если не глубокой любви, то сильной и ненасытной страсти.

Во время наших прогулок на машине он ограничивался поцелуями в губы и шею. Но как-то утром, целуясь с ним, я почувствовала, что его пальцы теребят пуговицы моей кофточки. Потом я ощутила холод и, взглянув из-за его плеча в зеркальце над ветровым стеклом машины, увидела, что грудь у меня наполовину обнажена. Мне стало стыдно, но я не осмелилась прикрыться. Джино сам пришел мне на выручку, торопливым движением он натянул на меня кофточку и застегнул пуговицы. Я была ему благодарна за этот поступок. Но потом, дома, вспоминая об этом случае, я испытала приятное волнение. На следующий день он повторил то же самое, на сей раз мне это доставило удовольствие и не было уже так стыдно. Постепенно я привыкла к таким доказательствам его страсти, и думаю, что, если бы он не прибегал к ним вновь в вновь, я испугалась бы, что он меня разлюбил.

Между тем он все чаще говорил, как мы будем жить, когда поженимся. Он рассказывал и о своих родителях, которые жили в провинции и которые, собственно, не были уж такими бедняками: они владели небольшим участком земли. Я думаю, что с Джино случилось то, что случается со многими лгунами: они сами начинают верить в свои выдумки. Конечно, его сильно влекло ко мне, это влечение, по мере того как росла наша близость, становилось все более искренним. Что касается меня, то наши разговоры заглушали угрызения совести и давали мне ощущение полного безмятежного счастья, какого я никогда после уже не испытывала. Я любила, была любима, рассчитывала скоро выйти замуж, и мне казалось, что бóльшего и желать нечего.

Мама прекрасно понимала, что наши утренние прогулки носят не совсем невинный характер, и часто давала мне это понять, заявляя: «Я не знаю и знать не желаю, чем вы занимаетесь во время ваших поездок на машине» или «Ты и Джино затеяли глупость… тебе же будет хуже» и тому подобное. Однако я не могла не заметить, что теперь ее упреки звучали как-то неубедительно, спокойно и безразлично. Казалось, что она не только смирилась с мыслью, что мы с Джино будем любовниками, но как будто даже желала этого. Теперь-то я знаю точно; она ждала случая, чтобы расстроить нашу свадьбу.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Как-то в воскресенье Джино сказал мне, что его господа уехали за город, все слуги распущены по домам, а на вилле остались только он да садовник. Не хочу ли я посмотреть дом? Он мне так часто и так восторженно рассказывал о доме, что мне было интересно побывать там, и я охотно согласилась. Но в ту самую минуту, когда я дала согласие, меня охватило сильное волнение, и я поняла, что желание посмотреть виллу лишь предлог, а дело совсем в другом. Но я старалась обмануть и себя, и его, притворяясь, что верю в этот предлог; так, вероятно, всегда бывает, когда желаешь чего-то запретного.

— Я знаю, мне не следовало бы ехать туда, — сказала я, садясь в машину, — но ведь

мы там долго не задержимся?

Я старалась говорить непринужденно, но все же в голосе моем слышался испуг. Джино с серьезным видом ответил:

— Мы только осмотрим дом… потом пойдем в кино.

Дом стоял на склоне холма в новом, богатом квартале среди других вилл. День был ясный, и на фоне голубого неба все эти разбросанные на холме виллы с фасадами из красного кирпича и белого камня, с лоджиями, украшенными статуями, с застекленными крышами, с террасами и балконами, уставленными геранью, с садами, где росли высокие тенистые деревья, произвели на меня впечатление чего-то неизведанного и нового, как будто я вступила в некий свободный и прекрасный мир, в котором так приятно жить. Я невольно вспомнила наш квартал, нашу улицу, тянущуюся вдоль городской стены, дома железнодорожников.

— Я жалею, что согласилась сюда приехать, — сказала я.

— Почему же? — непринужденно спросил Джино. — Мы там пробудем недолго… не беспокойся.

— Ты не так меня понял, а жалею я потому, что теперь буду стыдиться своего дома и нашей улицы, — ответила я.

— Что верно, то верно, — сказал он с облегчением, — но что поделаешь? Тебе надо было родиться миллионершей… здесь живут одни миллионеры.

Он открыл калитку и повел меня по дорожке, усыпанной гравием, по обе стороны которой росли деревца, подстриженные в виде сахарных головок и шаров. Мы вошли в виллу через широкую стеклянную дверь и очутились в чистом и просторном вестибюле с мраморным, в белую и черную клетку, полом, сверкающим как зеркало. Потом мы попали в светлый большой зал, сюда выходили двери комнат первого этажа. В конце зала находилась белая лестница, которая вела на верхний этаж. Я так оробела от всего увиденного, что невольно пошла на цыпочках. Джино заметил это и весело сказал, что я могу шуметь сколько угодно, ведь в доме никого нет.

Он показал мне гостиную, большую комнату с широкими окнами и множеством кресел и диванов; показал столовую, которая была меньше гостиной, там стояли овальный стол, стулья и буфеты из красивого темного полированного дерева; показал гардеробную со стенными белыми шкафами. В следующей, небольшой комнате в стене было углубление, там находился самый настоящий бар, на полках стояли бутылки, никелированный кипятильник для кофе и даже цинковая стойка, комната эта напоминала часовенку из-за своей золоченой решетчатой дверцы. Я спросила у Джино, где же у них готовят еду, он объяснил, что кухня и комнаты слуг находятся в полуподвале. Впервые в жизни я попала в такой дом, и, не удержавшись, стала трогать все вещи подряд кончиками пальцев, я почти не верила своим глазам. Все казалось мне новым и дорогим: стекло, дерево, мрамор, металл и ткани. Я не могла втайне не сравнивать эти полы, эти стены, эту мебель с нашими грязными полами, нашими почерневшими стенами, нашей неуклюжей мебелью и твердила сама себе, что мама права, говоря, что главное на свете — деньги.

Кроме того, я думала, что люди, живущие среди этих прекрасных вещей, сами невольно становятся прекрасными и добрыми, они не напиваются допьяна, не ругаются, не кричат, не дерутся, в общем, не делают того, что делают в нашем доме и в подобных домах.

Джино между тем в сотый раз принялся рассказывать мне, как идет жизнь в доме его хозяев. Говорил он с такой гордостью, как будто эта роскошь и это богатство отчасти принадлежали и ему.

— Обедают они на фарфоровых тарелках… а фрукты и десерт подаются на серебре… все приборы серебряные… обед состоит из пяти блюд. К нему полагаются вина трех сортов… синьора надевает платье с декольте, синьор — во всем черном… К концу обеда служанка приносит на серебряном подносе семь сортов сигарет, все, разумеется, иностранных марок… потом хозяева выходят из столовой и приказывают поднять наверх столик на колесиках с кофе и ликерами… почти всегда у них гости… иногда двое, а когда

четверо… У синьоры есть вот такие большие бриллианты… а одно жемчужное колье так просто чудо… драгоценностей у нее на несколько миллионов.

— Ты мне уже говорил об этом, — резко оборвала я его.

Но, увлеченный рассказом, он не заметил моей резкости и продолжал:

— Синьора никогда не спускается к нам вниз… она отдает приказания по телефону… в кухне полно электроприборов, а чистота в ней такая, какой не найдешь у некоторых и в спальне… да что там кухня! Даже обе собаки нашей синьоры куда чище и холенее многих людей.

Джино говорил о своих хозяевах с восторгом и не скрывал презрения к бедным людям, и от его разговоров я чувствовала себя настоящей нищенкой, тем более что все время сравнивала этот дом с нашим.

Мы поднялись по лестнице на второй этаж. На лестнице Джино обнял меня за талию и крепко прижал к себе. И тогда я, не знаю почему, представила себя хозяйкой этого дома, поднимающейся на второй этаж со своим мужем после приема или званого обеда, чтобы лечь спать в одну постель. Джино как будто угадал мои мысли (это ему часто удавалось) и произнес:

— А сейчас мы ляжем спать… а завтра утром нам в постель подадут кофе.

Я рассмеялась, но почти верила, что так может быть.

В тот вечер, собираясь на свидание с Джино, я надела свой самый лучший костюм, самые лучшие туфли, самую лучшую кофточку и лучшую пару шелковых чулок. Помню, что на мне был черный жакет и юбка в черную и белую клетку. Сама ткань была неплохая, но портниха из нашего квартала, кроившая мне костюм, оказалась не намного искуснее мамы. Юбка получилась короткая, особенно сзади, так что колени были закрыты, а зад вздернут. Жакет с большими отворотами она обузила в талии, рукава были тесны и давили под мышками. В этом наряде я просто задыхалась, грудь сильно выпирала, будто в этом месте швее не хватило материи. Кофточка была розовая, очень простенькая, из недорогого материала, без всякой отделки, сквозь нее просвечивала моя самая лучшая сорочка из белого батиста. На мне были черные туфли из блестящей хорошей кожи, но старомодные. Я не носила шляпу, и мои темно-каштановые волнистые волосы спускались до плеч. Костюм свой я надела впервые и очень гордилась им. Мне казалось, что в нем я выгляжу элегантно, и я тешила себя иллюзией, будто на улице все обращают на меня внимание. Но как только я вошла в спальню хозяйки Джино и увидела большую, низкую и мягкую кровать с шелковым стеганым одеялом, с вышитыми полотняными простынями, с легким балдахином, спускающимся от потолка к изголовью, увидела себя сразу в трех зеркалах туалетного столика, стоявшего в глубине комнаты, я тут же поняла, что одета очень бедно, что выгляжу смешно и достойна жалости, и тогда я подумала, что до тех пор, пока не стану хорошо одеваться и жить в таком же доме, я не буду счастлива. Мне захотелось плакать, и, расстроенная, я молча присела на кровать.

— Что с тобой? — спросил Джино, усаживаясь возле меня и взяв меня за руку.

— Ничего, просто увидела одну знакомую уродину, — ответила я.

— Какую? — удивленно спросил Джино.

— Вон ту, — сказала я, показывая на зеркало, где я видела себя рядом с Джино, и мы оба, я даже больше, чем он, действительно, были похожи на двух жалких бродяг, случайно попавших в этот богатый дом.

На этот раз Джино понял, что меня одолевают чувства стыда, зависти и ревности. Обняв меня, он сказал:

— А ты не смотри в зеркало.

Он боялся, что мое настроение помешает ему осуществить задуманное, и не сознавал, что как раз состояние унижения, в котором я находилась, ему только на руку. Мы поцеловались, и этот поцелуй придал мне мужества, потому что я, несмотря ни на что, любила и была любимой. Но когда немного погодя Джино показал мне просторную комнату, отделанную белым блестящим кафелем, с ванной, с блестящими кранами, и особенно когда

он раскрыл один из шкафов, где я увидела множество висевших вплотную платьев хозяйки, чувство зависти и сознание своей бедности вернулись ко мне, и меня снова охватило отчаяние. Мне вдруг захотелось не думать больше обо всем этом, и впервые я вполне осознанно пожелала стать любовницей Джино, для того чтобы забыть о своем тяжелом положении, чтобы избавиться от гнетущего ощущения скованности и тем доказать себе, что я свободна в своих поступках. Пусть я не могу хорошо одеваться, не могу иметь такого дома, но по крайней мере могу любить так же, как любят богатые люди, а может быть, и еще сильнее.

— Зачем ты показываешь мне эти платья, какое мне до них дело? — спросила я у Джино.

— Я думал, что тебе это интересно, — растерянно ответил он.

— Нисколько, — отрезала я, — они, конечно, хороши, но я пришла сюда не затем, чтобы разглядывать платья.

Я заметила, что от моих слов глаза его сверкнули, и добавила небрежным тоном:

— Лучше покажи мне свою комнату.

— Она в полуподвале, — отозвался он, — хочешь пойти туда?

Я молча посмотрела на него, а потом с развязностью, которая была мне самой неприятна, сказала:

— Ну, хватит валять дурака!

— Но я… — смущенно и удивленно начал он.

— Ты прекрасно знаешь, что мы пришли сюда вовсе не для того, чтобы осматривать дом и любоваться платьями твоей хозяйки, а для того, чтобы попасть в твою комнату и предаться любви… ну, так пойдем скорее, и нечего больше разговаривать.

Так за то короткое время, пока мы осматривали дом, я успела измениться. Я уже не была прежней робкой и наивной девушкой, которая так недавно с трепетом переступила порог этого дома, я сама себя не узнавала и дивилась себе. Мы вышли из комнаты и начали спускаться по лестнице. Джино обнимал меня за талию, и мы целовались, останавливаясь на каждой ступеньке. Думаю, что никогда никто не спускался по этой лестнице так медленно. На первом этаже Джино толкнул скрытую в стене дверь и повел меня вниз, продолжая целовать и обнимать меня за талию. Уже наступил вечер, и внизу было темно. Так, не зажигая света, шли мы по коридору, прижавшись друг к другу и целуясь, пока не достигли комнаты Джино. Он отпер дверь, мы вошли, и я услышала, как дверь захлопнулась. Все было погружено во мрак. Мы долго целовались стоя. Наш поцелуй был бесконечен, каждый раз, когда я хотела прервать его, Джино начинал снова, а когда он хотел оборвать поцелуй, я продолжала целовать его. Потом Джино подтолкнул меня к постели, и я упала навзничь.

Джино шептал мне на ухо нежные, вкрадчивые слова, явно пытаясь отвлечь мое внимание, чтобы я не заметила, как он старается раздеть меня, но в этом не было никакой нужды: во-первых, я уже решила отдаться ему, а во-вторых, мне стало противно мое платье, хотя прежде оно мне очень нравилось, и теперь мне не терпелось освободиться от него. Я думала, что, обнаженная, я буду так же хороша, как и хозяйка Джино, как все богатые женщины мира, а возможно, и лучше них. А кроме того, уже несколько месяцев мое тело ждало этого часа, и я чувствовала, что невольно дрожу от нетерпения и сдерживаемого желания, как дрожит изголодавшееся и связанное животное, с которого наконец после долгих мук сняли путы и дали пищу.

Поэтому все, что произошло, показалось мне вполне естественным, и к физическому наслаждению не примешалось сознание, что со мной случилось что-то необычайное. Мне даже показалось, что нечто подобное уже было со мною, не знаю где и когда, может быть в другой жизни; так бывает, когда попадаешь в незнакомую местность и тебе начинает казаться, что ты уже бывал здесь когда-то, но на самом деле ты впервые видишь этот пейзаж. Все эти мысли не мешали мне отдаваться Джино со страстью и даже исступлением, я целовала его и с силой сжимала в своих объятиях. Джино, видимо, владела такая же страсть. В этой темной комнатке, погребенной под двумя этажами пустого, безмолвного дома, мы,

как мне казалось, еще долго с неистовой силой сплетали наши тела, обхватив друг друга руками, как два врага, которые борются не на жизнь, а на смерть и стараются причинить друг другу сильную боль.

Но как только наше желание было утолено и мы, изнеможенные и ослабевшие, лежали рядом, меня сразу охватил безумный страх: а вдруг Джино, овладев мною, раздумает на мне жениться. Тогда я начала говорить о доме, где мы поселимся после свадьбы.

Владения хозяйки Джино поразили меня, и теперь я была убеждена, что счастье возможно лишь в прекрасном чистом доме. Я понимала, что мы никогда не сможем иметь не только такой дом, как этот, но у нас даже не будет комнаты, похожей на эти; однако я упорно старалась не думать о трудностях и твердила, что бедный дом тоже может казаться богатым, если там чисто и все блестит как зеркало. Роскошь, а скорей всего, окружающая чистота пробудили во мне множество мыслей. Я старалась убедить Джино, что чистота преображает даже самую скверную обстановку, но в действительности, приходя в отчаяние от сознания своей бедности и вместе с тем понимая, что единственный выход для меня — это брак с Джино, я старалась убедить главным образом самое себя.

— Даже две комнаты, если они чистые, если полы в них моются каждый день, — объясняла я, — если с мебели обметают пыль, медные ручки начищают до блеска и кругом полный порядок, посуда, белье, одежда и обувь, словом, каждая вещь находится на своем месте, даже и эти две комнаты могут быть уютными… главное — хорошенько подметать и мыть полы и протирать ежедневно все вещи… ты не думай, что мы с тобой будем жить так, как мы живем с мамой сейчас… мама не очень-то аккуратна, и потом ей, бедняжке, некогда… но наш дом, я тебе обещаю, будет блестеть как стеклышко.

— Конечно, конечно, — подтвердил Джино, — чистота прежде всего… знаешь, что бывает, когда синьора найдет где-нибудь в углу пылинку? Она зовет служанку, заставляет ее стать на колени и вытереть пыль руками. Вот так поступают с собаками, когда они нагадят… и синьора права.

— Я уверена, что мой дом будет чище и уютнее этого, — сказала я, — вот посмотришь.

— Но ведь ты будешь позировать, когда же тебе заниматься домом, — насмешливо возразил он.

— Еще чего — позировать! — горячо ответила я. — Позировать я больше не собираюсь… весь день буду дома, буду следить за чистотой и порядком, буду готовить для тебя… Мама говорит, что так я скоро превращусь в служанку… но если любишь человека, то и прислуживать ему приятно.

Мы еще долго-долго говорили об этом, и я почувствовала, что страх мой постепенно проходит, уступая место прежней наивной и пылкой доверчивости. Да и как я могла сомневаться? Ведь Джино не только одобрял все мои планы, но подробно обсуждал их и вносил свои поправки. Мне кажется, как я уже говорила, в тот момент он был искренен; обманывая меня, он верил в собственную ложь. Проболтав так часа два, я сладко заснула, думаю, что Джино тоже спал. Нас разбудил лунный свет, который проникал в окно полуподвала, освещая постель и нас. Джино заявил, что, должно быть, уже поздно, и в самом деле, стрелки будильника, стоявшею на столике, показывали первый час ночи.

— Мама теперь бог знает что со мной сделает, — сказала я, вскакивая с постели и принимаясь лихорадочно натягивать одежду.

— Почему?

— Первый раз я вернусь домой так поздно… ведь я никогда не выхожу вечером одна.

— Скажи ей, что мы катались, — предложил Джино, тоже поднимаясь с постели, — потом в машине что-то сломалось, и мы застряли на дороге.

— Так она и поверит!

Мы быстро покинули виллу, и Джино отвез меня домой. Я знала, что мама не поверит нашей выдумке, но не предполагала, что она чутьем поймет, что произошло у нас с Джино. Ключи от ворот и входных дверей были у меня с собой. Я вошла, бегом взлетела вверх по двум темным пролетам лестницы и отперла дверь. Я надеялась, что мама уже спит, и, видя,

что в квартире нет света, успокоилась.

Не зажигая огня, я на цыпочках направилась в комнату, как вдруг кто-то с яростной силой вцепился мне в волосы. Мама — а это была она — втащила меня в темную комнату, толкнула на диван и молча принялась бить меня кулаками. Я старалась защитить голову, но мама словно разгадала мою хитрость и, изловчившись, наносила удар за ударом прямо по лицу. Наконец она устала и, тяжело дыша, уселась рядом со мною на диван. Потом поднялась, зажгла свет, встала возле меня и, уперев руки в бока, пристально посмотрела на меня. Испытывая от ее взгляда смущение и стыд, я старалась одернуть юбку и привести себя в порядок после нашей «схватки».

— Даю голову на отсечение, что ты переспала с Джино, — сказала мама своим обычным голосом.

Мне хотелось было ответить «да», сказать правду, но я боялась, что мама снова начнет бить меня, и страшилась я не столько боли, сколько того, что при свете ей будет удобнее бить меня по лицу. Я не хотела показываться на люди, а особенно Джино, с синяком под глазом.

— Нет… мы ничего не делали… во время прогулки сломалась машина, и поэтому мы задержались, — ответила я.

— А я тебе говорю, что ты спала с ним.

— Это неправда.

— Нет, правда… посмотри-ка на себя в зеркало… ты вся зеленая.

— Я просто устала… но я не спала с ним.

— Нет, спала.

— Нет, не спала.

Меня удивляло и смутно беспокоило, что в ее настойчивости не чувствовалось настоящего негодования, а, скорее, сильное и пристрастное любопытство. Иначе говоря, мама хотела знать, отдалась я Джино или нет, ей требовалось просто узнать об этом из каких-то своих соображений, а не для того, чтобы бить или ругать меня. Но отступать было поздно, и, хотя я уже знала, что теперь она не станет меня бить, я продолжала упорно отрицать все.

Потом мама вдруг подошла ко мне и схватила меня за руку. Я собралась было опять защищаться, но она сказала:

— Не бойся, я тебя не трону… пойдем… пойдем со мной.

Я не понимала, куда она собирается вести меня, однако, напуганная всем происшедшим, молча подчинилась. Не отпуская моей руки, мама вывела меня из квартиры, заставила спуститься по лестнице и вышла со мною на улицу. На улице в этот час не было ни души. И тут я заметила, что мама держит путь прямо к красному фонарю дежурной аптеки, где помещался пункт первой медицинской помощи. У входа в аптеку я в последний раз воспротивилась, упираясь ногами в землю, но мама с силой толкнула меня, так что, влетев в аптеку, я чуть не упала на колени. В комнате находились только аптекарь и молодой врач. Мама обратилась к нему:

— Это моя дочь, осмотрите ее.

Врач провел нас в заднюю комнату, где стояла кушетка, на которой больным оказывали первую помощь, и спросил:

— Сначала скажи, что с ней случилось… почему я должен ее осматривать?

— Эта мерзавка переспала со своим женихом, а теперь все отрицает, — закричала мама, — я хочу, чтобы вы осмотрели ее и сказали правду.

Врач, которого все это начало забавлять, улыбался и подкручивал усы.

— Но вам нужна экспертиза, а не просто врачебный осмотр, — сказал он.

— Называйте это как вам угодно, — опять закричала мама, — но я хочу, чтобы вы ее осмотрели… разве вы не врач?.. Разве вы не обязаны осматривать людей, когда вас об этом просят?

— Спокойно… спокойно, — проговорил врач, — скажи, как тебя зовут?

— Адриана, — ответила я.

Мне было ужасно стыдно. Скандальный характер мамы, так же как и мой кроткий нрав, были известны всему кварталу.

— Ну, если даже она и поступила так, — сказал врач, который, очевидно, понимал мое смущение и пытался избежать осмотра, — что же в том плохого? Они поженятся, и все кончится благополучно.

— Это уж не ваше дело!

— Спокойно, спокойно, — мягко повторил он. Потом, обращаясь ко мне, сказал: — Как видишь, твоя мать хочет, чтобы я осмотрел тебя… раздевайся… через минуту ты сможешь уйти.

Набравшись смелости, я сказала:

— Да, я отдалась Джино… пойдем домой, мама.

— Нет-нет, дорогая, — сказала она тоном, не допускающим возражений, — ты должна показаться врачу.

Я разделась и покорно вытянулась на кушетке. Врач осмотрел меня и заявил маме:

— Ты была права… Так оно и есть… Теперь ты удовлетворена?

— Сколько? — спросила мама, вынимая кошелек.

Я тем временем поднялась с кушетки и одевалась. Врач отказался от денег и спросил меня:

— Ты любишь своего жениха?

— Конечно, — ответила я.

— А когда вы поженитесь?

— Никогда он на ней не женится! — закричала мама.

Но я спокойно ответила:

— Скоро… как только накопим денег.

Наверное, в моих глазах было столько наивной веры, что врач сердечно рассмеялся, потрепал меня легонько по щеке и выпроводил нас.

Я ждала, что, как только мы вернемся домой, мама снова набросится на меня с руганью, а может быть, и с кулаками. Но дома она, не говоря ни слова, зажгла газ и принялась готовить мне еду, хотя время было позднее. Поставив сковороду на плиту, она вошла в комнату и, освободив один конец стола от лоскутов, стала накрывать. Я сидела на диване, куда совсем недавно она приволокла меня за волосы, и молча смотрела на нее. Я была в сильном замешательстве, так как она не только не упрекала меня, но даже старалась показать всем своим видом, что она чему-то очень рада и довольна. Кончив накрывать на стол, она пошла в кухню и немного погодя вернулась, неся сковороду.

— Садись, поешь.

По правде говоря, я была сильно голодна. Я смущенно подошла и села на стул, который мама заботливо мне придвинула. На сковороде была необычная еда: кусок мяса с яичницей.

— Мне много, — сказала я.

— Ешь… это полезно… тебе надо поесть, — ответила она.

Мне казалось странным это ее внимание ко мне, в нем была, пожалуй, насмешка, но не чувствовалось никакой враждебности. Немного погодя она с еле заметным ехидством спросила:

— А Джино и не подумал накормить тебя?

— Мы заснули, — ответила я, — а потом уже было поздно.

Она ничего не сказала, а только стояла и смотрела, как я ем. Так было всегда: она подавала мне еду и смотрела на меня, а потом сама шла есть на кухню. Она никогда не садилась вместе со мной за стол, ела она мало — или то, что оставалось после меня, или то, что похуже. Мама смотрела на меня, как на дорогую и хрупкую вещь, единственную вещь, которой она владеет и с которой надо обращаться осторожно и аккуратно, и эта ее ласковая услужливость и преклонение уже давно перестали меня удивлять. Но на сей раз ее

спокойствие и довольный вид вызвали во мне смутную тревогу.

— Ты сердишься на меня за то, что мы с Джино… Но он обещал жениться на мне… и мы скоро поженимся. Она тотчас же ответила:

— Я уже не сержусь на тебя… я сердилась потому, что прождала тебя весь вечер и очень беспокоилась… а теперь больше не думай об этом, ешь.

Ее фальшиво бодрый тон и уклончивый ответ — так обычно разговаривают с детьми, когда не хотят отвечать на их вопросы, вызвали во мне сильное подозрение.

— А почему не думать? Ты не веришь, что он женится на мне? — допытывалась я.

— Конечно, верю, но сейчас лучше поешь.

— Нет, ты не веришь.

— Не бойся, верю… ешь.

— Я не буду есть, пока ты не скажешь правду, — заявила я раздраженно, — почему у тебя такой довольный вид?

— Ничего подобного.

Она взяла пустую сковороду и унесла ее на кухню. Я дождалась, когда она вернется, и снова спросила:

— Ведь ты довольна?

Мама долго молча смотрела на меня и потом очень серьезно ответила:

— Да, я довольна.

— Но почему?

— Потому что теперь я наверняка знаю: Джино на тебе никогда не женится и бросит тебя.

— Неправда, он сказал, что женится.

— Не женится. Того, чего он хотел, он уже добился… он не женится и бросит тебя.

— Но почему он не женится на мне?.. Объясни, пожалуйста.

— Он не женится и бросит тебя… он только позабавится с тобой и бросит, ни гроша ты не получишь от этого босяка.

— Поэтому ты и радуешься?

— Конечно… теперь я твердо знаю, что вы не поженитесь.

— Но тебе-то какая в этом корысть? — с раздражением и горечью воскликнула я.

— Если бы он хотел жениться, он не стал бы спать с тобой, — неожиданно заявила она, — я была невестой твоего отца два года, и он только перед самой свадьбой первый раз меня поцеловал, а этот поиграет с тобой и бросит. Уж поверь мне… Я даже рада, что так получилось, если бы ты вышла за него, ты бы пропала.

В глубине души я чувствовала, что мама права, и мне на глаза навернулись слезы.

— Я знаю, ты не хочешь, чтобы у меня была своя семья… ты хочешь, чтобы я вела такую жизнь, какую ведет Анджелина, — сказала я.

Анджелина жила в нашем квартале. Сперва она все меняла женихов, а потом открыто занялась проституцией.

— Я хочу, чтобы тебе было хорошо, — буркнула мама и, собрав посуду, понесла ее на кухню мыть.

Оставшись одна, я долго размышляла над маминими словами. Я вспоминала обещания Джино, его поведение и пыталась убедить себя, что мама ошибается. Но меня смущали ее уверенность, спокойствие, ее веселый и довольный вид. Мама тем временем мыла на кухне посуду. Потом я услышала, как она поставила тарелки в буфет и пошла в спальню. Немного погодя я погасила свет и, усталая, разбитая, легла рядом с ней.

Весь следующий день я раздумывала, стоит ли говорить Джино о маминых сомнениях, и после долгих размышлений решила, что не стоит. Теперь я в самом деле опасалась, что Джино, как говорила мама, бросит меня, и я боялась повторять ему мамины слова, чтобы не натолкнуть на подобные мысли. Я впервые поняла, что женщина, которая отдалась мужчине, подчиняется ему полностью и уже не может заставить его поступать так, как ей хочется. Но я все-таки не сомневалась, что Джино сдержит свое обещание, и его поведение при первой же

нашей встрече укрепило мою уверенность.

Я знала, что Джино будет ко мне внимателен и очень ласков, но я боялась, что он не заговорит о свадьбе или в крайнем случае отделается общими словами. Но как только машина остановилась на шоссе на нашем обычном месте, Джино сказал мне, что намерен сыграть свадьбу не позднее чем через пять месяцев. Моя радость была так велика, что я не удержалась и сказала, невольно повторив мамины слова:

— А знаешь, что я думала?.. Думала, что ты меня бросишь после всего, что произошло вчера.

— Ты что же, считаешь меня подлецом? — спросил он возмущенно.

— Нет, но я знаю, что многие мужчины так поступают.

— Послушай, я могу и обидеться, — продолжал он, не обращая внимания на мой ответ. — Какого же ты мнения обо мне? Так-то ты меня любишь?

— Я тебя люблю, — ответила я просто, — но боялась, что ты меня не любишь.

— Разве я дал тебе повод так думать?

— Нет, но чужая душа — потемки.

— Знаешь, — сказал он вдруг, — ты меня так оскорбила, что я сейчас же отвезу тебя в мастерскую. — И он сделал вид, что собирается завести машину.

Испугавшись, я обхватила его шею руками и стала умолять:

— Нет, не сердись, я сказала просто так… забудь мои слова.

— Когда говорят такие вещи, значит, так думают… а если так думают, то, значит, не любят.

— Но я тебя люблю!

— А я тебя, стало быть, нет, — сказал он ядовито, — по-твоему, я решил позабавиться с тобой, а потом бросить… Странно, однако, что ты только теперь это заметила.

— Джино, почему ты так со мной разговариваешь? — спросила я со слезами на глазах. — Что я тебе сделала?

— Ничего, — ответил он и включил зажигание. — А теперь я отвезу тебя в мастерскую.

Машина тронулась, Джино с серьезным и хмурым лицом сидел за рулем, а я уже не сдерживала больше слез, глядя, как за окном мелькают деревья, километровые столбы и на горизонте, где кончаются поля, вырисовываются силуэты городских домов. Я подумала, как торжествовала бы мама, узнав о нашей ссоре и что Джино, как она и предсказывала, хочет оставить меня. В порыве отчаяния я открыла дверцу машины и, высунувшись наружу, крикнула:

— Остановись сейчас же, или я выброшусь!

Посмотрев на меня, он сбавил скорость и, повернув машину на боковую дорогу, остановил ее позади большой кучи щебня. Потом он выключил зажигание, потянул тормоз и, повернувшись ко мне, нетерпеливо сказал:

— Ну, давай, говори быстрее.

Я решила, что он и в самом деле хочет бросить меня, поэтому стала с жаром уговаривать его, и теперь, когда я вспоминаю свое тогдашнее волнение, оно кажется мне одновременно и смешным и трогательным. Я говорила о том, как люблю его, и даже сказала, что мне неважно, поженимся мы или нет, что я была бы счастлива остаться его любовницей. Он слушал меня с мрачным видом, качал головой и повторял:

— Нет… нет, на сегодня хватит… может быть, завтра я отойду.

Но когда я сказала, что я буду рада быть хотя бы его любовницей, он резко оборвал меня:

— Нет, или мы поженимся, или все кончено.

Мы еще долго спорили, и несколько раз он своей ужасной рассудительностью доводил меня до слез и полного отчаяния. Потом постепенно его мрачное настроение начало проходить, и наконец после бесконечных поцелуев и ласк, которые я растрачивала впустую, мне удалось, как я думала, одержать над ним победу. Я уговорила его пересесть на заднее

сиденье и там отдалась ему. Я должна была бы понять, что, поступая таким образом, я не только не одерживаю победу, а становлюсь еще более зависимой от него, не говоря уже о том, что я показываю свою готовность принадлежать ему не просто из чистого порыва страсти, а лишь для того, чтобы задобрить его любой ценой, когда для убеждения одних слов мало. К этому прибегают все любящие женщины, сомневающиеся в том, что они любимы. А я была тогда ослеплена его благородством и безукоризненным поведением и не понимала, что все это не более чем его врожденное лицемерие. Он делал и говорил то, что полагается делать и говорить в данном случае.

День свадьбы был назначен, и я тут же занялась приготовлениями. Мы с Джино решили хотя бы первое время после свадьбы пожить вместе с мамой. Кроме большой комнаты, кухни и спальни, в квартире была еще четвертая комната, которую мама из-за отсутствия денег не обставляла. Там мы держали старые, непригодные вещи, и можете себе представить, что это были за вещи, если все в нашем доме казалось старым и никуда не годным. После долгих разговоров мы выработали такой план: обставить эту комнату и поселиться в ней. Кроме того, надо было сшить мне приданое. Мы с мамой были очень бедны, но я знала, что у мамы есть кое-какие сбережения, по ее словам, она копила эти деньги для меня, на всякий случай. Что это за случай, я не знаю, но уж, конечно, не моя свадьба с бедным и ненадежным человеком. Я пришла к маме и сказала:

— Деньги, которые у тебя есть, ты копила для меня, верно ведь?

— Верно.

— Тогда, если хочешь видеть меня счастливой, дай мне их, я обставлю нашу пустую комнату, и мы будем жить там с Джи-но… если ты откладывала эти деньги для меня, то теперь самое время их потратить.

Я ожидала ругани, скандала и наконец отказа. Но мама молча выслушала мою просьбу с тем же насмешливым спокойствием, которое так обескуражило меня, когда я возвратилась с виллы.

— А он ничего не даст? — только и спросила она.

— Конечно, даст, — солгала я, — он уже говорил об этом… но я тоже должна внести свою долю.

Мама сидела возле окна, она подняла глаза от работы и сказала:

— Пойди в спальню, открой верхний ящик шкафа… там есть картонная коробочка… в ней лежат сберегательная книжка и золотые вещи… возьми книжку и золото… я тебе их дарю.

Золота было не так уж много: кольцо, серьги и цепочка. Еще в детстве я наткнулась на эти жалкие драгоценности, спрятанные среди лоскутов, и они показались мне тогда настоящим сокровищем. Я горячо обняла маму. Она не резко, но холодно отстранила меня и сказала:

— Осторожно… у меня иголка… уколешься.

И все-таки я чувствовала себя неспокойно. Мне мало было добиться того, о чем я мечтала, я хотела большего: чтобы и мама была счастлива.

— Мама, если ты просто хочешь сделать мне приятное, тогда я ничего не возьму, — сказала я.

— Да уж, конечно, не для того, чтобы сделать приятное ему, — ответила она, принимаясь за работу.

— Ты в самом деле не веришь, что мы с Джино поженимся? — спросила я ласково.

— Никогда этому не верила, а теперь и подавно.

— Тогда почему же ты даешь мне деньги на обстановку?

— Это ведь не выброшенные деньги, у тебя останутся мебель и белье… вещи или деньги, какая разница?

— А ты пойдешь со мною в магазины выбирать вещи?

— Боже сохрани, — закричала она, — не хочу ничего знать… делайте все сами, идите, выбирайте сами, я вам не советчица!

Во всем, что касалось моей свадьбы, мама была особенно несговорчива, и мне было ясно, что эта ее несговорчивость объяснялась не поведением, характером и положением Джино, а ее собственными понятиями о жизни. То, что другим кажется странным, для мамы было совершенно естественно. Все женщины упорно желают, чтобы их дочери вышли поскорее замуж, а мама, наоборот, упорно желала, чтобы я осталась незамужней.

Так между нами началась молчаливая борьба: мама хотела, чтобы моя свадьба расстроилась и чтобы я признала справедливость ее доводов, а я, напротив, хотела, чтобы свадьба состоялась и мама убедилась бы, что мои взгляды на жизнь правильны. Поэтому мне казалось, что все мое существование зависит от того, выйду я замуж за Джино или нет. Мне горько было видеть, с какой неприязнью мама следит за моими хлопотами, желая, чтобы все кончилось крахом.

Должна заметить, что мнимое благородство Джино не было развенчано даже во время наших приготовлений к свадьбе. Я сказала маме, что Джино внесет свою долю денег на расходы, но я солгала, ибо до сих пор он даже и не заикался об этом. Потому я была удивлена и обрадована, когда Джино без обиняков предложил мне небольшую сумму денег для свадьбы. Он извинился, что сумма столь незначительна, оправдываясь тем, что не может дать больше, так как вынужден регулярно посылать деньги родителям. Теперь, вспоминая этот случай, я могу объяснить его только желанием Джино покрасоваться перед самим собой и оставаться до конца верным той роли, которую он взялся играть. Последовательность эта, вероятно, была вызвана угрызениями совести, что он обманывает меня, и сожалением, что он не может жениться на мне. Я с радостью сообщила маме о деньгах Джино. Мама едко заметила, что сумма слишком ничтожна для того, чтобы принести какую-то пользу, но вполне достаточна, чтобы пустить пыль в глаза.

Это был самый счастливый период моей жизни. Мы встречались с Джино каждый день и всюду отдавались своему порыву: на заднем сиденье машины, в темном закоулке пустынной улицы, за городом в поле и опять на вилле, в комнате Джино. Один раз ночью, когда Джино провожал меня домой, мы расположились на темной площадке лестницы, перед самым входом в квартиру, прямо на полу. Другой раз это произошло в кино, мы забрались в последний ряд, под проекционную будку. Я любила бывать с ним в битком набитых трамваях, в общественных местах, где в толпе можно было прижаться к нему всем телом. Я испытывала постоянную потребность прикасаться к его руке, гладить его волосы, пользуясь любым случаем, ласкать его, где бы мы ни находились, даже на людях, почему-то считая, что никто ничего не заметит; так всегда кажется, когда уступаешь неодолимому влечению. Любовные ласки чрезвычайно мне нравились, и, вероятно, я любила их больше, чем самого Джино. Я замечала, что жду ласк не только из любви к жениху, но ради самого наслаждения, которое я испытывала в это время. И хотя у меня и мысли не было, что подобное наслаждение я могу испытать с другим мужчиной, я все же инстинктивно понимала, что пыл, искусность и страсть, с которыми я ласкала Джино, объяснялись не только моей любовью к нему. Все это было для меня совершенно естественно, эта черта, наверное, появилась бы, даже будь на месте Джино кто-то другой.

Но тогда я думала только о замужестве. Надеясь заработать побольше, я без устали помогала маме и зачастую ложилась спать очень поздно. В те дни, когда я не позировала, мы с Джино ходили по магазинам и присматривали мебель и другие вещи для приданого. У меня было мало денег, и именно поэтому я так придирчиво и тщательно выбирала покупки. Я просила показать мне вещи, которые заведомо не могла купить, долго разглядывала их, торговалась, сбивала цену, а потом говорила, что вещь мне не нравится, или обещала прийти в другой раз и уходила, ничего не купив. Я не понимала, что мои частые посещения магазинов, где я жадно любовалась недоступными мне вещами, невольно побуждали меня согласиться с мамой: без денег счастье не может быть полным. После второго посещения виллы, когда я снова заглянула в рай роскоши, из которого я была изгнана без всякой вины, я невольно почувствовала горечь и возмущение. Но я старалась, как и в первый раз, выбросить из головы мысль об этой несправедливости. Любовь была моим единственным богатством, и

она позволяла мне чувствовать себя ровней богатым и более удачливым женщинам.

Наконец после долгих поисков и обсуждений я решилась сделать свои весьма скромные покупки. Я купила в рассрочку полный спальный гарнитур в стиле модерн: двуспальную кровать, туалетный столик с зеркалом, тумбочки, стулья и шкаф. Это были самые обыкновенные, недорогие и топорно сработанные вещи, но я сразу же ужасно полюбила свою мебель. Стены комнаты побелили, двери и окно покрасили, пол отциклевали, так что теперь наша комната походила на чистенький островок, затерявшийся среди моря грязи. Тот день, когда в комнату привезли мебель, был одним из счастливейших дней моей жизни. Мне даже не верилось, что эта чистая, обновленная, светлая, пахнущая мелом и краской комната принадлежит мне, и к этому удивлению примешивалось чувство бесконечной радости. Иной раз, когда я знала, что мама за мной не следит, я шла в свою комнату, садилась на голый матрац и часами сидела, любуясь своим сокровищем. Сидя неподвижно, как статуя, я разглядывала мебель, не веря, что она существует, и боялась, что в любую минуту она исчезнет и останутся только одни пустые стены. Иногда я вставала и осторожно стирала тряпкой пыль с вещей, вновь возвращая дереву его блеск. Думаю, что если бы так продолжалось дальше, то в один прекрасный день я стала бы даже целовать свою мебель. Окно, на котором не было занавесок, выходило на большой грязный двор, окруженный такими же, как наш, низкими и длинными домами. Двор был похож на больничный или тюремный, но я, погруженная в свои грезы, уже ничего не замечала и была так счастлива, словно моя комната выходила окнами в прекрасный тенистый сад. Я представляла себе нашу жизнь с Джино здесь, в этой комнате, представляла, как мы будем спать здесь и как будем любить друг друга. Я уже раздумывала, какие вещи нужно еще прикупить, как только представится возможность: здесь будет ваза с цветами, тут — лампа, а вот тут нужна пепельница или какая-нибудь безделушка. Единственное, что меня огорчало, это невозможность устроить себе ванную комнату, пусть даже не такую, как на вилле, белую и сверкающую кафелем и никелем, но хотя бы просто новую и чистую. Зато я решила содержать свою комнату в чистоте и порядке. После посещения виллы я пришла к убеждению, что роскошь начинается именно с порядка и чистоты.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Я по-прежнему продолжала позировать художникам и подружилась с одной натурщицей по имени Джизелла. Это была высокая, прекрасно сложенная девушка с белоснежной кожей, с черными курчавыми волосами, с голубыми, глубоко посаженными маленькими глазками и пухлым ярко-красным ртом. Нравом она совсем на меня не была похожа: раздражительная, резкая, высокомерная и вместе с тем очень практичная и корыстная, думаю, эта разница характеров и сблизила нас. Я не знала, было ли у нее еще какое-либо занятие, кроме работы натурщицы, но одевалась она гораздо лучше меня и не скрывала, что получает подарки и деньги от мужчины, которого называла своим женихом. Помню, той зимой она щеголяла в жакете с воротником и манжетами из черного каракуля, я ей страшно завидовала. Жениха ее звали Риккардо. Этот высокий, толстый, холеный, флегматичный юноша с гладким, как яйцо, лицом казался мне очень красивым. Он всегда был аккуратно причесан, напомажен и одет с иголочки: его отец держал магазин галстуков и мужского белья. Риккардо был простоват до глупости, приветлив, весел и, возможно, даже добр. Он был любовником Джизеллы, и не думаю, чтоб между ними, как между мной и Джино, существовала какая-то договоренность о браке. Но Джизелла все-таки надеялась женить его на себе, хотя и не слишком на это рассчитывала; что касается Риккардо, то, я уверена, мысль о женитьбе на Джизелле даже не приходила ему в голову. Джизелла была не очень умна, но значительно опытнее меня, поэтому она решила покровительствовать мне и просвещать меня. Короче говоря, она смотрела на жизнь и на счастье так же, как и моя мама. Только мама пришла к такому горькому и сомнительному выводу после многих разочарований и лишений, а у Джизеллы эти взгляды были следствием ее тупости, к которой

примешивалось упрямое самодовольство. Мама остановилась, если можно так выразиться, на провозглашении этих идей, для нее важнее было формальное согласие с ее принципами, нежели применение их на практике. Джизелла всегда думала только так и даже не подозревала, что можно смотреть на вещи иначе; ее удивляло, что я поступаю не как она, и, когда я однажды намекнула ей, что не разделяю подобных взглядов, удивление сменилось досадой. Она вдруг поняла, что я не только не нуждаюсь в покровительстве и советах, но могу даже при желании осудить ее с высоты своих бескорыстных и честных стремлений; и тогда она решила, возможно не отдавая себе в том отчета, развенчать мои мечты и добиться того, чтобы я стала такой же, как она, А пока она то и дело называла меня дурочкой за мою скромность, твердила, что ей жалко смотреть, как я жертвую собой, плохо одеваюсь, а ведь мне при моей внешности стоит только захотеть, и я смогу полностью изменить свою жизнь. В конце концов, устыдившись, что Джизелла, не дай бог, подумает, будто я вообще никогда не имела дела с мужчинами, я рассказала ей о Джино, упомянув при этом, что мы помолвлены и скоро поженимся. Она меня тотчас же спросила, чем занимается Джино, и, узнав, что он шофер, скорчила презрительную гримасу. Но все же попросила познакомить ее с ним.

Джизелла была моей близкой подругой, а Джино — моим женихом, теперь-то я могу судить о них хладнокровно, но тогда я мало что смыслила в жизни и не умела разбираться в людях. Джино, как я уже говорила, казался мне идеальным человеком; что касается Джизеллы, то, как ни явны были ее недостатки, я считала, что их искупают доброе сердце и хорошее ко мне отношение; я предполагала, что она заботится о моей судьбе не из чувства зависти к моей чистоте и не из желания совратить меня, а по доброте никем не понятой и заблудшей души. Поэтому я не без трепета устроила их встречу: по своей наивности я желала, чтобы они подружились. Знакомство состоялось в кафе. Джизелла все время хранила сдержанное и вызывающее молчание. Мне показалось, что Джино решил очаровать Джизеллу, потому что, как всегда, завел разговор о вилле, превознося богатство своих хозяев, будто надеялся ослепить ее и скрыть свое собственное скромное положение. Но Джизелла не сдалась и продолжала смотреть на Джино с неприязнью. Потом, не помню, по какому поводу, она заметила:

— Вам повезло, что вы встретили Адриану.

— Почему? — удивленно спросил Джино.

— Потому что обычно шофера имеют дело со служанками.

Я видела, как Джино переменился в лице, но он был не из тех людей, которых легко захватить врасплох.

— Вы правы, совершенно правы, — медленно произнес он, понижая голос, тоном человека, который впервые задумался над таким вопросом, — в самом деле, шофер, который служил до меня, женился как раз на кухарке… понятно, а как же иначе? Со мной должно было произойти то же самое… шофера женятся на служанках, а служанки выходят замуж за шоферов… как же я раньше об этом не подумал? Однако я бы предпочел, чтобы Адриана была судомойкой, а никак не натурщицей, — небрежно добавил он и поднял руку, как бы предвидя возражения со стороны Джизеллы, — эта профессия вообще не нравится мне, и не только потому, что приходится раздеваться перед мужчинами, с чем, конечно, я тоже не могу примириться, но главное, это занятие предполагает сомнительные знакомства и симпатии… — Тут он покачал головой и скривил рот. Потом, предлагая сигареты, спросил: — Вы курите?

Джизелла не нашлась что сказать и просто отказалась от предложенной сигареты. Потом, посмотрев на часы, сказала:

— Адриана, мы должны идти, нам пора.

В самом деле, было уже поздно, и, попрощавшись с Джино, мы вышли. На улице Джизелла заявила:

— Ты собираешься совершить величайшую ошибку… я никогда бы не вышла замуж за такого человека.

— Он тебе не понравился? — тревожно спросила я.

— Ни капельки… вот ты говорила, что он высокого роста, а на самом деле он даже немного ниже тебя… глаза у него лживые, он никогда не смотрит прямо в лицо… никогда не бывает самим собой и разговаривает деланным голосом, сразу видно, что говорит совсем не то, что думает… и потом, откуда такая спесь у простого шофера?

— Но я его люблю, — возразила я.

Она спокойно ответила:

— Да, но он-то тебя не любит… и когда-нибудь бросит.

Я была поражена этим предсказанием, которое было сделано таким уверенным тоном и так совпадало с мамиными словами. Теперь я могу заявить, что Джизелла при всей своей неприязни к Джино за один час узнала его характер лучше, чем я за все эти месяцы. Джино со своей стороны высказал по поводу Джизеллы нелестное мнение, с которым я впоследствии вынуждена была отчасти согласиться. В действительности я ничего не замечала не только из-за своей неопытности, но и из-за любви, которую питала к ним обоим; а ведь верно говорят, что если первое впечатление о человеке плохое, то оно почти всегда подтверждается.

— Таких женщин, как Джизелла, — сказал Джино, — у нас в деревне зовут покладистыми. — Я удивилась. Джино пояснил: — У нее манеры и характер уличной женщины… гордится тем, что хорошо одета… а как она заработала эти наряды?

— Ей жених их покупает.

— Каждый вечер новый жених… Ну вот что, выбирай, или я, или она.

— Что ты хочешь этим сказать?

— Я хочу сказать, что можешь поступать, как тебе заблагорассудится… но, если ты хочешь водить с ней дружбу, мы должны будем расстаться… или я, или она.

Я попыталась разубедить его, но мне это не удалось. Он, конечно, был оскорблен пренебрежительным отношением Джизеллы. Кроме того, в этой острой неприязни, должно быть, сказалось решение не отступать от роли жениха, следуя которой он внес свою долю денег на приготовления к свадьбе. Как всегда, он прекрасно сумел изобразить чувства, которых отнюдь не испытывал.

— Моя невеста не должна дружить с продажными женщинами, — упрямо твердил он.

В конце концов, боясь, что наша свадьба расстроится, я пообещала ему не встречаться больше с Джизеллой, хотя это было невозможно, так как мы позировали с ней одновременно в одной и той же мастерской.

С того дня я продолжала видеться с Джизеллой тайком от Джино. При всяком удобном случае она с насмешкой и презрением говорила о моей помолвке. Я допустила ошибку, рассказав ей о наших отношениях с Джино, и она воспользовалась моей откровенностью, чтобы высмеивать мою теперешнюю жизнь и мое будущее. Ее друг Риккардо, который, казалось, не видел никакой разницы между мной и Джизеллой, считая нас обеих девушками легкомысленными и недостойными уважения, охотно участвовал в игре Джизеллы. Он добродушно и глуповато подсмеивался надо мной, ибо, как я уже говорила, не был ни умен, ни зол. Для него моя помолвка служила поводом для шуток, возможностью убить время. А Джизелла видела в моей порядочности постоянный укор себе, и ей хотелось сделать меня похожей на себя, чтобы отнять у меня право критиковать ее поведение, поэтому она вкладывала в свои насмешки много ехидства и всячески изощрялась, чтобы обидеть и унизить меня.

Чаще всего она затрагивала больной для меня вопрос о моей одежде. Она, например, говорила: «Сегодня мне просто стыдно идти с тобой по улице». Или заявляла: «Риккардо никогда не позволил бы мне ходить в таких тряпках… правда, Риккардо? Любовь доказывают не словами, а делом…»

Я каждый раз по наивности попадалась на удочку, горячо защищала Джино, менее уверенно защищала свои платья и в конце концов, покраснев, с глазами, полными слез, признавала себя побежденной. Однажды Риккардо, очевидно пожалев меня, сказал:

— Сегодня я хочу сделать Адриане подарок… пойдем Адриана… я подарю тебе сумочку.

Но Джизелла воспротивилась:

— Нет, нет, никаких подарков… у нее есть Джино, пусть он и делает ей подарки.

Риккардо, который хотел сделать мне этот подарок по простоте душевной, тотчас же отказался, но он даже не предполагал, какое удовольствие доставил бы мне его подарок. И я, чтобы досадить им, тут же пошла в магазин и купила сумку на свои деньги. На следующий день я предстала перед ними с обновой и сказала, что сумку подарил мне Джино. Это была моя единственная победа, которую я одержала в нашей жалкой войне. Обошлась мне она недешево: сумка была хорошая и дорогая.

Когда Джизелла сочла, что ей удалось своими оскорблениями и нотациями поколебать и сломить меня, она сказала, что хочет сделать мне одно предложение.

— Только позволь мне высказаться до конца, — добавила она, — не строй из себя, как всегда, недотрогу, пока не выслушаешь.

— Говори, — ответила я.

— Ты знаешь, — начала она, — что я тебя люблю, можно сказать, как родную сестру… ты при твоей внешности могла бы иметь все, что только пожелаешь… мне страшно обидно за тебя, что ты одеваешься, как нищенка… а теперь слушай. — Она взглянула на меня, потом торжественно продолжала: — Я знаю одного очень благородного серьезного синьора, который видел тебя и интересуется тобой… он женат, но семья его живет в провинции, он важная персона в полиции, — добавила она, понизив голос, — если хочешь познакомиться с ним, я могу тебе его представить… он, как я уже сказала, мужчина очень благородный, серьезный, ему можно вполне довериться: никто никогда ничего не узнает… вообще он очень занятой человек, и ты будешь встречаться с ним два-три раза в месяц… он ничего не имеет против того, чтобы ты продолжала видеться с Джино, если хочешь… и даже чтобы ты вышла за него замуж… он в свою очередь постарается скрасить твою жизнь… ну, что ты на это скажешь?

— Скажу, что очень ему благодарна, но согласиться не могу, — прямо ответила я.

— Но почему? — спросила она с искренним удивлением.

— Потому что не могу… я люблю Джино и если бы согласилась, то не смогла бы больше смотреть ему в глаза.

— Да ну… Джино об этом даже не узнает.

— Вот именно поэтому я не хочу.

— Подумать только, если бы кто-нибудь сделал мне такое предложение… — продолжала она, как бы разговаривая сама с собой, — ну так что же мне ему передать? Что ты подумаешь?

— Нет, нет… я не согласна.

— Дурочка, — насмешливо сказала она, — сама же отказываешься от своего счастья.

Она еще долго уговаривала меня, но я упорно отвечала отказом, и она ушла страшно раздосадованная.

Я решительно отвергла это предложение, даже не стараясь особенно вникнуть в его смысл. А потом, когда я осталась одна, я почувствовала чуть ли не сожаление: а что, если Джизелла была права и это единственный путь получить то, в чем я так нуждаюсь. Но я тотчас отвергла этот соблазн и еще сильнее ухватилась за мысль выйти замуж и зажить хоть бедно, зато честно. Мне казалось, что жертва, которую я принесла, обязывала меня теперь больше, чем когда-либо, непременно выйти замуж.

Однако мое тщеславие давало себя знать, и я не удержалась и рассказала маме о предложении Джизеллы. Я надеялась доставить ей двойное удовольствие: поскольку мама очень гордилась моей красотой и, кроме того, не желала расставаться со своими идеями, это предложение было и лестным для нее и подтверждало правильность ее убеждений. Но того волнения, какое вызвал в ней мой рассказ, я никак не ожидала. Глаза ее заблестели, а лицо даже порозовело от удовольствия.

— А кто он? — спросила она наконец.

— Синьор, — ответила я.

Мне было стыдно говорить, что он служит в полиции.

— И она говорит, что он очень богат?

— Да… кажется, зарабатывает он порядочно.

Мама не осмеливалась вслух высказать то, что ясно было написано у нее на лице: отказавшись от этой сделки, я поступила глупо.

— Он тебя видел и говорит, что заинтересовался тобой… а почему бы тебе с ним не познакомиться?

— Но какой в том толк, если я не согласна?

— Жалко, что он уже женат.

— Будь он даже холост, я все равно не желаю его знать.

— Но это для тебя удобный случай устроиться, — сказала мама, — он человек богатый… любит тебя… а остальное приложится… он может тебе помочь, ничего не требуя взамен.

— Нет, нет, — ответила я, — такие люди ничего не делают даром.

— Это еще неизвестно.

— Нет, нет, — твердила я.

— Ну, ладно, — сказала мама, покачав головой, — но Джизелла, видно, добрая девушка и заботится о тебе по-настоящему… другая на ее месте позавидовала бы и промолчала… она же хорошая подруга.

После моего отказа Джизелла перестала говорить со мною о благородном синьоре и, к моему величайшему удивлению, совсем бросила подсмеиваться над моей помолвкой. Я продолжала потихоньку встречаться с Джизеллой и Риккардо, однако неоднократно заводила с Джино разговор о ней, надеясь помирить их, так как обманывать его мне было неприятно. Но Джино даже и слушать меня не хотел, он возмущался поведением Джизеллы и клялся, что, как только узнает, что я встречаюсь с ней, между нами все будет кончено. Он говорил об этом серьезно, и я даже испугалась, как бы он не воспользовался этим предлогом, чтобы расстроить нашу свадьбу. Я сказала маме, что Джино терпеть не может Джизеллу, и мама почти беззлобно заметила:

— Он неспроста хочет, чтобы ты не встречалась с Джизеллой. Ясно, ты будешь сравнивать свои лохмотья, в которых он тебя заставляет ходить, с платьями Джизеллы, которые ей дарит жених.

— Нет, он говорит, что Джизелла непорядочная женщина.

— Сам он непорядочный человек… узнай он, что ты видишься с Джизеллой, небось отказался бы от тебя.

— Мама, уж не думаешь ли ты сообщить ему об этом? — испуганно спросила я.

— Нет-нет, — быстро и как бы с сожалением сказала она, — я в ваши дела не вмешиваюсь.

— Если ты ему об этом скажешь, то ты меня больше не увидишь, — твердо сказала я.

Наступило бабье лето, дни стояли теплые и ясные. Как-то раз Джизелла сказала мне, что она, Риккардо и его друг задумали совершить прогулку на машине. Им нужна была еще одна девушка, чтобы составить компанию этому другу, и вот они решили пригласить меня. Я с радостью согласилась, ведь я старалась не упустить ни одного развлечения, которое хоть чем-то скрасило бы мою скучную жизнь. Я сказала Джино, что мне придется позировать несколько дополнительных часов, и рано утром отправилась на место встречи у моста Мильвио. Машина уже стояла там, и, когда я подошла, Джизелла и Риккардо, сидевшие впереди, даже не двинулись с места, но друг Риккардо вылез из машины и пошел мне навстречу. Это был еще молодой мужчина среднего роста, лысый, с желтоватым лицом, большими черными глазами, орлиным носом и широким ртом, уголки которого поднимались кверху, отчего казалось, что он все время улыбается. Выглядел он элегантно, но совсем не так, как Риккардо, на нем был строгий темно-серый пиджак, более светлые серые брюки,

крахмальный воротничок и черный галстук с жемчужной булавкой. Голос у него был тихий, взгляд казался кротким, грустным, и вместе с тем, когда он смотрел на вас, становилось как-то не по себе. Держался он очень корректно и даже церемонно. Джизелла представила его мне как Стефано Астариту, и я тотчас же решила, что он и есть тот самый благородный синьор, предложение которого она мне передавала. Но это знакомство не вызвало во мне недовольства, ведь в его предложении не было, в конце концов, ничего оскорбительного, даже, наоборот, оно мне в какой-то мере льстило. Я протянула ему руку, и он поднес ее к губам со странным благоговением и какой-то болезненной жадностью. Потом я села в машину, он устроился рядом со мною, и мы поехали.

Пока машина мчалась мимо пожелтевших полей по гладкой, залитой солнцем дороге, мы почти не разговаривали. Мне приятно было сидеть в машине, приятна была прогулка, приятен был ветерок, который овевал мое лицо, и я не могла наглядеться на деревенскую природу. Только второй или третий раз в жизни я совершала такую дальнюю поездку и боялась, что не смогу как следует насладиться, я смотрела во все глаза и старалась разглядеть все, что только можно: стога сена, сараи, деревья, поля, холмы, леса. Пройдут месяцы, думала я, а может быть, и годы, прежде чем я снова увижу эти места, поэтому нужно запомнить все до мелочей и сохранить в памяти эти картины, чтобы потом иногда вспоминать их. Астарита же, застывший, как статуя, и сидевший на почтительном расстоянии, смотрел только на меня. Он ни на минуту не сводил своих грустных и жадных глаз с моего лица и всей моей фигуры, и, по правде говоря, мне казалось, что этот взгляд ощупывает меня. Не могу сказать, что такое внимание было мне неприятно, но оно меня смущало. Потом я почувствовала, что должна развлечь его разговором. Он сидел, сложив руки на коленях, и я увидела на его руке обручальное кольцо и перстень с бриллиантом.

— Какой красивый перстень! — восторженно сказала я.

Опустив глаза, он посмотрел на перстень и ответил:

— Это перстень моего отца… я снял кольцо с его пальца, когда он умер.

— Ох, — сказала я, как бы извиняясь, и, показав на обручальное кольцо, добавила: — Вы женаты?

— А как же иначе, — ответил он с мрачным видом, — у меня есть жена, дети… есть все.

— А ваша жена красива? — робко спросила я.

— Не так красива, как вы, — тихо сказал он серьезным и торжественным тоном, как будто сообщал что-то очень важное. Рукой, на которой были кольца, он попытался коснуться моей ладони. Но я тотчас же отстранилась и как ни в чем не бывало спросила:

— Вы живете вместе?

— Нет, — ответил он, — жена живет в… — и он назвал далекий провинциальный город, — а я живу здесь… совсем один… я надеюсь, вы навестите меня.

Я сделала вид, что не расслышала его слов, сказанных печальным, дрожащим голосом, и спросила:

— А почему так? Почему вы не живете вместе с женой?

— Мы разошлись полюбовно, — объяснил он, — я был совсем еще мальчишкой, когда меня женили… свадьбу устроила моя мать… вы знаете, как делаются такие дела… девушка из хорошей семьи с хорошим приданым… родители договариваются о свадьбе, а потом дети вынуждены пожениться… Жить вместе с женой? А вы на моем месте стали бы жить с такой женщиной?

Он вынул бумажник, открыл его и протянул мне фотографию. Я увидела двух девочек, похожих друг на друга как две капли воды, у обеих были черные волосы, бледные лица и светлые платьица. Позади, положив руки им на плечи, стояла маленькая женщина с черными волосами и бледным лицом, у нее были круглые, как у совы, глаза, а лицо злое. Я вернула фотографию, он положил ее в бумажник и выпалил единым духом:

— Нет… я хотел бы жить с вами.

— Но ведь вы меня совсем не знаете, — ответила я, встревоженная его горячностью.

— Я вас прекрасно знаю, уже целый месяц я наблюдаю за вами… Я знаю о вас все.

Он сидел, отодвинувшись от меня, говорил со мной почтительно, но было видно, что он сильно взволнован, от чего глаза его готовы выскочить из орбит.

— У меня есть жених, — ответила я.

— Джизелла мне рассказала, — произнес он глухим голосом, — но мы не будем говорить о вашей помолвке… какое это имеет значение? — И он сделал рукой резкий и небрежный жест.

— Для меня это имеет значение, — заявила я.

Он посмотрел на меня и сказал:

— Вы мне очень нравитесь.

— Я это заметила.

— Вы мне очень нравитесь, — повторил он, — вы даже не представляете как.

В самом деле, он был похож на безумного. Но меня успокоило то, что он сидел далеко от меня и не пытался больше взять меня за руку.

— В том, что я так вам нравлюсь, нет ничего плохого, — сказала я.

— А я вам нравлюсь?

— Нет.

— У меня есть деньги, — сказал он, и лицо его судорожно передернулось, — у меня достаточно денег, чтобы сделать вас счастливой… если вы навестите меня, вы не раскаетесь.

— Мне не нужны ваши деньги, — спокойно и мягко сказала я.

Казалось, он не расслышал и продолжал, глядя на меня:

— Вы очень красивы.

— Спасибо.

— У вас прекрасные глаза.

— Вы так думаете?

— Да… и рот у вас тоже прекрасный, я хотел бы поцеловать его.

— Зачем вы говорите мне такие вещи?

— Я хотел бы всю вас целовать… всю…

— Почему вы так разговариваете со мною? — снова возразила я. — Это нехорошо… я помолвлена и через два месяца выйду замуж.

— Извините меня, — сказал он, — но мне доставляет удовольствие говорить такие вещи… считайте, что я не говорил вам ничего.

— Далеко ли еще до Витербо? — спросила я, желая переменить разговор.

— Мы почти приехали… в Витербо мы пообедаем… разрешите за столом сесть возле вас?

Я рассмеялась, в конце концов такое сильное чувство подкупало меня.

— Ладно, — ответила я.

— Вы будете сидеть рядом вот так, как сейчас, — продолжал он, — мне достаточно вдыхать запах ваших волос.

— Но я ведь не надушена.

— Я подарю вам духи, — сказал он.

Мы уже въехали в Витербо, и машина замедлила ход. В продолжение всего пути Джизелла и Риккардо, сидевшие впереди нас, молчали. Но как только мы выехали на центральную улицу, полную народа, Джизелла обернулась к нам и сказала:

— Ну, как вы там? Вы думаете, мы ничего не видели?

Астарита молчал, а я запротестовала.

— Ничего ты не могла видеть… мы разговаривали.

— Рассказывай… — ответила она.

Я была удивлена и даже немного рассержена как поведением Джизеллы, так и молчанием Астариты.

— Но ведь я тебе говорю… — начала я.

— Рассказывай… — опять повторила она, — но ты не бойся… мы ничего не скажем

Джино.

Мы остановились на площади, вышли из машины и начали прогуливаться по центральной улице среди нарядно одетой толпы под мягкими лучами яркого ноябрьского солнца. Астарита ни на минуту не оставлял меня. Он был серьезен, даже мрачен, высокий воротничок упирался ему в подбородок, одна рука была в кармане, а другая вяло повисла вдоль туловища. Казалось, что он не просто гуляет, а охраняет меня. Джизелла громко смеялась и шутила с Риккардо, и люди оборачивались на нас. Мы вошли в кафе и стоя выпили вермута. Вдруг я заметила, что Астарита цедит сквозь зубы какие-то ругательства, и спросила у него, в чем дело.

— Вон тот идиот возле двери нахально смотрит на вас, — с возмущением сказал он.

Я обернулась и увидела, что какой-то худощавый молодой блондин в самом деле смотрит на меня, застыв на пороге кафе.

— Что же тут плохого? — весело сказала я. — Он на меня смотрит… ну и что же?

— Я готов подойти к нему и набить морду.

— Если вы это сделаете, я больше никогда не буду с вами видеться и не буду разговаривать, — сказала я, начиная раздражаться. — Вы не имеете права… вы мне никто…

Он ничего не ответил и пошел к кассе заплатить за вермут. Мы вышли из кафе и снова начали прогуливаться по улице. Солнце, гул и движение толпы, здоровые и румяные лица провинциальных жителей подействовали на меня успокаивающе. Когда мы вышли на маленькую пустынную площадь, расположенную в конце улицы, я сказала, показывая на простой маленький двухэтажный дом, стоящий за церковью:

— Вот если бы у меня был такой хороший домик, как этот, я была бы готова остаться здесь навсегда.

— Боже сохрани, — ответила Джизелла, — жить в провинции, и вдобавок в Витербо… ни в коем случае, хоть озолотите меня.

— Тебе бы скоро здесь наскучило, Адриана, — подхватил Риккардо, — кто привык к столице, в провинции жить не может.

— Ошибаетесь, я охотно жила бы тут… с человеком, который меня любит… четыре чистые комнаты, балкон, увитый виноградом, четыре окна… большего мне и не надо.

Я говорила искренне, потому что видела в этом домике себя и Джино.

— А вы что на это скажете? — спросила я, обращаясь к Астарите.

— С вами бы я здесь остался, — ответил он тихо, чтобы другие не услышали его.

— Твой недостаток, Адриана, в том, что ты слишком непритязательна, — сказала Джизелла, — кто ждет от жизни мало, тот мало и получает.

— Но я ничего и не хочу, — ответила я.

— А выйти замуж за Джино хочешь? — заметил Риккардо.

— О, это да.

Было уже поздно, улица опустела, и мы вошли в ресторан. Зал первого этажа был полон, здесь собрались главным образом крестьяне, приехавшие в Витербо на воскресный базар. Джизелла, поморщив нос, заметила, что здесь ужасная вонь, просто дышать нечем, и спросила хозяина ресторана, не можем ли мы пообедать на втором этаже. Хозяин ответил, что можем, и повел нас по деревянной лестнице наверх. Мы вошли в длинную, узкую комнату с одним окном, выходящим в переулок. Хозяин распахнул жалюзи и накрыл скатертью грубо отесанный стол, занимавший большую часть комнаты. Помню, что стены были оклеены старыми, выцветшими, порванными во многих местах обоями, на которых были изображены цветы и птицы, кроме стола, здесь находился небольшой со стеклянными дверцами буфет, полный посуды.

Джизелла тем временем расхаживала по комнате и все осматривала, даже в окно выглянула. Наконец она открыла дверь, которая, вероятно, вела в другую комнату, заглянула туда, а потом, обратившись к хозяину, спросила с наигранной непринужденностью, что там такое.

— Это спальня, — ответил хозяин, — если после обеда кто-нибудь захочет

отдохнуть…

— Отдохнем, Джизелла, а? — сказал Риккардо, глупо ухмыляясь.

Но Джизелла сделала вид, что не слышит, и, еще раз заглянув в спальню, осторожно притворила дверь, но не совсем плотно. Маленькая и уютная столовая понравилась мне, поэтому я вначале не обратила внимания ни на эту неплотно прикрытую дверь, ни на многозначительный взгляд, которым, как мне почудилось, обменялись Джизелла и Астарита. Мы уселись за стол, и я оказалась рядом с Астаритой, как и обещала ему, но он как будто этого не замечал, он был чем-то озабочен, так что даже не мог разговаривать. Немного погодя снова вошел хозяин и принес вино и закуски. Я страшно проголодалась, поэтому с жадностью накинулась на еду, что вызвало смех у остальных. Джизелла воспользовалась случаем и снова начала свои шутки по поводу моей свадьбы.

— Ешь, ешь, — заметила она, — а то вам с Джино не придется так много и вкусно есть.

— Почему? — спросила я. — Джино сможет заработать на жизнь.

— Конечно, и каждый день вы будете есть фасоль.

— Фасоль не такая уж плохая штука, — сказал смеясь Риккардо, — вот возьму и закажу сейчас фасоль.

— Ты ведешь себя глупо, Адриана, — продолжала Джизелла, — тебе нужен хорошо обеспеченный человек… серьезный, порядочный мужчина, который заботился бы о тебе, ни в чем бы тебе не отказывал и ценил бы твою красоту… а ты вместо этого возишься с Джино.

Я упрямо молчала и, не поднимая головы, продолжала есть, Риккардо со смехом заметил:

— А я на месте Адрианы не отказался бы ни от Джино, который ей нравится, ни от серьезного мужчины… я прибрал бы к рукам их обоих… и Джино, скорей всего, не имел бы ничего против.

— Нет, это неправда, — быстро возразила я, — если он узнает о нашей сегодняшней поездке, он разорвет нашу помолвку.

— Это еще почему? — обиженно спросила Джизелла.

— Да потому что он не хочет, чтобы я с тобой дружила.

— Ах он гадкий, грязный оборванец, невежа, — злобно прошипела Джизелла, — с удовольствием пошла бы к нему и заявила: Адриана встречается со мною, сегодня мы целый день провели вместе, а теперь можешь разорвать помолвку.

— Нет, нет, — испугалась я, — не надо.

— Это было бы для тебя истинным счастьем.

— Да, но не делай этого, — принялась заклинать я, — если ты любишь меня, ты этого не сделаешь.

Во время нашего разговора Астарита не произнес ни слова и почти ничего не ел. Он смотрел только на меня своим тяжелым, печальным взглядом, что меня очень смущало. Я хотела было попросить его не смотреть так на меня, но я побоялась новых насмешек Джизеллы и Риккардо. По той же самой причине я не осмелилась возразить Астарите, когда он взял мою левую руку и крепко сжал ее в своей, так что мне пришлось есть одной рукой. Очевидно, я совершила промах, потому что Джизелла вдруг засмеялась и сказала:

— На словах такая преданность Джино… а на деле… думаешь, я не вижу, как вы с Астаритой жмете друг другу руки под столом?

Я страшно покраснела в попыталась вырвать руку, но Астарита крепко ее держал. Риккардо произнес:

— Да оставь их в покое… что ж тут плохого? Они держатся за руки… последуем и мы их примеру.

— Я пошутила, — сказала Джизелла, — наоборот, я очень рада.

Покончив с макаронами, мы долго ждали второго блюда. Джизелла и Риккардо все время смеялись, шутили, пили вино, и меня тоже заставляли пить. Красное вино, приятное, но очень крепкое, быстро ударило мне в голову. Мне нравился его обжигающий и терпкий вкус, и мне казалось, что я совершенно трезва и могу пить сколько угодно. Астарита,

серьезный и мрачный, сжимал мою руку, и я не сопротивлялась, успокаивая себя тем, что, в конце концов, тут нет ничего худого. Над дверью висела картина, на ней был нарисован балкон, увитый розами, и влюбленная парочка, которая стояла, обнявшись, в жеманной и неуклюжей позе. Джизелла посмотрела на картину и сказала, что не понимает, как эта пара ухитрилась в такой позе поцеловаться.

— Давай попробуем, — предложила она Риккардо, — посмотрим, сумеем ли и мы так сделать.

Риккардо со смехом поднялся и встал в позу кавалера с картины, а Джизелла, тоже смеясь, прислонилась к столу, как женщина к увитому розами парапету балкона. С огромным трудом им удалось поцеловаться, но в этот самый момент они потеряли равновесие и чуть не упали оба на стол. Джизелла, возбужденная этой выдумкой, закричала:

— А теперь попробуйте вы.

— Зачем? — всполошилась я. — При чем тут мы?

— Да просто так, попробуйте.

Я почувствовала, как Астарита обнимает меня за талию, и попыталась вырваться.

— Не хочу.

— Ух, какая нудная! — закричала Джизелла. — Ведь это шутка…

— Не хочу.

Риккардо смеялся и подстрекал Астариту поцеловать меня.

— Астарита, если ты ее не поцелуешь, я просто не захочу иметь с тобой дела.

Но Астарита оставался серьезен, он почти внушал мне страх: было ясно, что для него это не шутка.

— Отпустите меня, — сказала я, обращаясь к нему.

Он посмотрел на меня, потом вопросительно взглянул на Джизеллу, как будто ожидал поддержки с ее стороны.

— Смелее, Астарита! — закричала она.

Казалось, она не меньше, чем сам Астарита, хотела, чтобы он поцеловал меня, я угадывала в ее настойчивости какую-то беспощадную жестокость.

Астарита обхватил меня еще сильнее за талию и прижал к себе, он действительно не шутил и во что бы то ни стало хотел поцеловать меня. Я молча пыталась вырваться, но он был очень сильный, и, хотя я упиралась руками ему в грудь, я чувствовала, что постепенно его лицо приближается к моему. И все же ему, вероятно, не удалось бы меня поцеловать, если бы Джизелла не пришла на помощь. С громким радостным криком она вдруг вскочила с места, накинулась на меня сзади, схватила мои руки и заломила их за спину. Я не могла ее видеть, но все ее ожесточение проявилось в том, как она вонзила свои ногти в мои руки, как она сквозь смех шептала прерывающимся, возбужденным и хриплым голосом:

— Скорее, Астарита, лови момент, скорее.

Теперь Астарита держал меня крепко, я старалась откинуть голову назад — единственное движение, которое я еще могла сделать, — но он ухватил меня за подбородок и, повернув к себе мое лицо, крепким и долгим поцелуем прильнул к губам.

— Ура! — радостно закричала Джизелла и весело вернулась на свое место.

Астарита меня отпустил. Я была рассержена и оскорблена.

— Больше я никогда сюда не приеду с вами.

— Ну, Адриана, столько шума из-за одного-то поцелуя, — шутливо заметил Риккардо.

— Астарита весь перепачкался в губной помаде, — весело воскликнула Джизелла, — что сказал бы Джино, если бы сейчас вошел сюда?

И правда, у Астариты рот был в моей губной помаде, и эти красные пятна на его желтоватом и мрачном лице рассмешили даже меня.

— Ну, — закричала Джизелла, — помиритесь… а ты вытри ему лицо платком, а то войдет официант и подумает невесть что.

Невольно улыбаясь, я не без труда краем платка стерла губную помаду с мрачного и неподвижного лица Астариты. Я допустила новую ошибку, показав свою

слабохарактерность, потому что, как только я спрятала платок, он тут же обнял меня за талию.

— Оставьте меня, — сказала я.

— Ну, Адриана…

— Да что он тебе сделает? — спросила Джизелла. — Ему это приятно… а тебе безразлично, и потом, ты его все равно целовала… разреши еще раз.

Так я снова уступила, мы сидели теперь рядом, он обнимал меня за талию, а я застыла в неподвижной, напряженной позе. Вошел официант и принес второе. Когда я начала есть, раздражение мое исчезло, хотя Астарита все еще продолжал обнимать меня. Еда была очень вкусная, и я не заметила, как выпила все вино, которое Джизелла то и дело мне подливала.

После второго подали фрукты и десерт. Сладкое оказалось очень вкусным, я никогда не пробовала такого, и, когда Астарита предложил мне свою порцию, у меня не хватило духу отказаться, я съела и ее. Джизелла тоже выпила немало вина, поэтому начала заигрывать с Риккардо, она клала ему в рот кусочки яблока, сопровождая каждый кусок поцелуем. Я чувствовала, что опьянела, но это опьянение было приятным, а объятия Астариты больше меня не тревожили. Джизелла вела себя с каждой минутой все более развязно, она встала со своего места, подошла к Риккардо и уселась к нему на колени. Я не могла удержаться от смеха при виде Риккардо, который притворно стонал, будто изнемогая под тяжестью Джизеллы. Внезапно Астарита, до сих пор обнимавший меня за талию, видимо, решил, что этого мало, принялся осыпать поцелуями мою шею, грудь и щеки. На сей раз я не сопротивлялась, во-первых, потому, что была слишком пьяна и у меня не было сил бороться, а во-вторых, потому, что мне казалось, будто он целует не меня, а кого-то другого — так мало действовали на меня его бурные ласки, я оставалась неподвижной и холодной, как статуя. Я совсем захмелела, мне даже стало казаться, что я тут ни при чем, что я нахожусь в другом конце комнаты и оттуда с любопытством постороннего свидетеля наблюдаю за выражением страстных чувств Астариты. Но остальные сочли мое равнодушие за согласие, и Джизелла крикнула мне:

— Молодчина, Адриана… вот теперь совсем другое дело!

Я хотела было ответить ей, но потом почему-то раздумала, взяла бокал, подняла его и сказала спокойным звонким голосом:

— А я совсем пьяная.

Потом залпом выпила вино. Кажется, кто-то зааплодировал. Но Астарита перестал целовать меня, внимательно посмотрел мне в глаза и прошептал:

— Пойдем туда.

Я проследила за его взглядом и увидела, что он показывает на дверь соседней комнаты. Я подумала, что он, видно, тоже пьян, поэтому покачала головой, однако не очень решительно, а, скорее, кокетливо. Он снова повторил как автомат:

— Пойдем туда.

Я заметила, что Джизелла и Риккардо, перестав смеяться и болтать, смотрят на нас. Джизелла сказала:

— Иди смелее… Чего ты ждешь?

Внезапно мне показалось, что весь мой хмель как рукой сняло. В самом деле, я была не настолько пьяна, чтобы не понять, какая опасность мне угрожает.

— Не хочу, — сказала я и встала.

Астарита тоже поднялся и, взяв меня за руку, попытался подтащить к двери под одобрительные крики Джизеллы и Риккардо:

— Смелее, Астарита!

Астарита дотащил меня почти до двери, хотя я и сопротивлялась, потом мне удалось вырваться, и я побежала к лестнице. Но Джизелла оказалась проворнее меня.

— Нет, дорогуша, не выйдет! — закричала она.

Вскочив с колен Риккардо, она оказалась у двери раньше меня, щелкнула ключом и вынула его из замочной скважины.

— Не хочу, не хочу, — твердила я дрожащим от страха голосом и остановилась возле стола.

— Съест он тебя, что ли? — закричал Риккардо.

— Дурочка, — грубо сказала Джизелла, толкая меня к Астарите, — иди же… вот еще фокусы.

Я поняла, что в данный момент Джизелла не отдает отчета в злобности и жестокости своего поступка, должно быть, эта ловушка, в которую попала я, казалась ей просто веселой, милой, остроумной шуткой. Меня также поразили бездушие и беспечность Риккардо, которого я считала добрым человеком, неспособным на дурной поступок.

— Не хочу, — снова сказала я.

— Ну, что тут плохого? — закричал Риккардо.

Джизелла настойчиво толкала меня локтем и раздраженно твердила:

— Вот не думала, что ты такая дура… иди же… чего ты уперлась?

Астарита молча стоял возле двери спальни и не спускал с меня глаз. Потом он вдруг заговорил. Он произносил слова медленно, как будто они застревали у него в горле и ему с трудом удавалось выдавить их из себя.

— Пойдем… иначе я скажу Джино, что ты была сегодня со мной и отдалась мне.

Я сразу же поняла, что именно так он и поступит. В его словах еще можно было усомниться, но тон, каким они были сказаны, не оставлял сомнений. Он, конечно, сдержал бы свое обещание, и для меня все кончилось бы, так и не начавшись. Теперь-то я думаю, что тогда мне следовало поднять шум. Если бы я закричала и начала сопротивляться, возможно, он понял бы, что шантаж и угроза ни к чему не приведут. А может быть, и это не помогло бы, так как его желание было сильнее моего сопротивления. В то время я чувствовала себя уже побежденной и думала не о том, что нужно сопротивляться, а только о том, как бы избежать скандала. Я тогда не была готова к подобному обороту, душа моя была полна светлых надежд на будущее, от которых я ни в коем случае не желала отрекаться. И та жестокость, с которой я тогда столкнулась, могла, я думаю, произойти с любым человеком, который, подобно мне, питает честолюбивые мечты, пусть даже самые скромные, естественные и наивные. Так уж устроен мир, что рано или поздно приходится дорого и горько расплачиваться за свое тщеславие; и только совсем отчаявшиеся и махнувшие на все рукой люди могут быть уверены, что им ничто не грозит.

В ту минуту, когда я уже решила примириться со своей судьбой, я почувствовала острую, жгучую обиду. Меня как бы озарило: глазам моим открылся прямой и светлый жизненный путь, обычно казавшийся мне таким неведомым и извилистым, и я на миг увидела все, что потеряю, если Астарита решится оклеветать меня перед Джино. Мои глаза наполнились слезами, и, закрыв лицо, я зарыдала. Я понимала, что плачу просто из-за своей покорности, а не из протеста. Я плакала, но чувствовала, что ноги сами несут меня к Астарите. Джизелла подталкивала меня и приговаривала:

— Ну, чего ты плачешь?.. Будто в первый раз.

Я слышала смех Риккардо и ощущала на себе пристальный взгляд Астариты, который смотрел, как я медленно приближалась к нему, закрыв лицо руками. Потом Астарита обхватил меня за талию, и дверь спальни захлопнулась.

Я не хотела ничего видеть, мне казалось чрезмерным уже то, что я чувствовала. Поэтому я упорно закрывала глаза руками, а Астарита пытался их отвести. Наверное, он намеревался поступить так, как поступают все мужчины в подобных обстоятельствах, то есть хотел постепенно и почти незаметно подчинить меня своему желанию. Но я упрямо закрывала лицо ладонями, и это вынудило его действовать более грубо и нетерпеливо. Он усадил меня на край постели и после тщетных попыток покорить своими ласками, вдруг опрокинул на подушки и навалился на меня. Мое тело словно застыло и налилось свинцом, и никогда еще не было оно так пассивно и так безучастно. Но я почти тотчас же перестала плакать, и, как только он прижался ко мне, тяжело дыша, я отняла руки от лица и уставилась в темноту широко раскрытыми глазами.

Я уверена, что Астарита любил меня в тот момент так, как только может мужчина любить женщину, и, уж конечно, сильнее, чем Джино. Помню, как он без конца гладил мое лицо и шептал ласковые слова, все его тело трепетало. Я смотрела в темноту сухими, широко раскрытыми глазами, а голова моя, из которой уже выветрился хмель, заработала хоть лихорадочно, но ясно и хладнокровно. Я позволяла Астарите ласкать себя и говорить, а сама предалась своим мыслям. Я представила свою спальню, обставленную новой мебелью, за которую я еще не все выплатила, и почувствовала какое-то горькое и надежное утешение. Отныне, твердила я про себя, ничто уже не помешает мне выйти замуж и зажить так, как я хочу. Но в то же время я чувствовала, что в душе у меня что-то раз и навсегда сломалось, на смену прежним светлым и наивным надеждам пришли решимость и смелость. Как-то сразу я стала сильнее, хотя сама сила эта вызывала грусть и была лишена любви.

Наконец я заговорила, и это были первые слова, которые я произнесла с тех пор, как мы очутились в спальне:

— Надо вернуться к ним.

В ответ он тихо прошептал:

— Ты сердишься на меня?

— Нет.

— Ты меня ненавидишь?

— Нет.

— Я так тебя люблю, — зашептал он и начал опять целовать мое лицо и шею.

Я снова сказала:

— Вернемся к ним.

— Ты права, — ответил он и, поднявшись с постели, начал одеваться в темноте. Я еще немного полежала, потом встала и зажгла лампу у изголовья постели. В желтом свете лампы моим глазам предстала комната, именно такая, какой я себе ее представляла, судя по спертому воздуху и запаху лаванды: низкий потолок с побеленными балками, стены оклеены обоями, мебель старая и громоздкая. В углу стоял мраморный умывальник с двумя тазами, два кувшина, разрисованные розовыми и зелеными узорами, и большое зеркало в золоченой раме. Я подошла к умывальнику, налила немного воды в таз и концом мокрого полотенца провела по губам, с которых Астарита своими поцелуями стер помаду, а потом смочила еще красные от слез глаза. Из глубины зеркала, покрытого царапинами и пятнами, на меня смотрело грустное лицо, на минуту я залюбовалась собой, и душа моя наполнилась жалостью и изумлением. Потом я стряхнула с себя задумчивость, поправила волосы и повернулась к Астарите. Он ждал меня у двери и, как только увидел, что я готова, открыл ее, стоя ко мне спиной и избегая моего взгляда. Я погасила свет и последовала за ним.

Джизелла и Риккардо встретили нас весело, они находились все в том же радостном и беспечном настроении. Прежде они не поняли моего отчаяния, теперь не разгадали причины моего спокойствия. Джизелла закричала:

— Однако ты умеешь здорово разыгрывать невинность… сперва ты ломалась, а потом, как видно, быстро примирилась… в конце концов ты поступила правильно, раз сама этого хотела… только к чему все эти фокусы?

Я посмотрела на Джизеллу, и ее слова показались мне особенно обидными, ведь это она заставила меня уступить, это она держала мои руки, чтобы Астарите было удобнее целовать меня, а теперь издевается над моей слабостью. Риккардо, в котором здравый смысл взял верх, заметил:

— Ты все-таки непоследовательна, Джизелла… сперва сама настаивала, теперь стыдишь ее, будто она поступила плохо.

— Конечно, если она этого не хотела, тогда поступила плохо, — жестко отрезала Джизелла, — вот если бы я не хотела, ты никакой силой не заставил бы меня уступить… Но она-то этого хотела, да еще как… — добавила Джизелла, глядя на меня зло и неприязненно, — ведь я видела, как она вела себя в машине, когда мы ехали сюда. Вот потому-то я и говорю: нечего ей фокусничать.

Я молча дивилась черствости и жестокости Джизеллы, которая была так безжалостна и даже не понимала этого. Астарита подошел ко мне и неловко попытался взять меня за руку. Но я оттолкнула его и села в самом дальнем конце стола.

— Гляди-ка, Астарита, — закричал со смехом Риккардо, — у нее такой вид, будто она с похорон вернулась.

Однако Астарита, несмотря на свою мрачность и сконфуженность, понимал меня лучше, нежели они.

— Вы все шутите, — заметил он.

— Что же нам, плакать прикажете? — закричала Джизелла. — А теперь вы посидите здесь и потерпите, как терпели мы… каждому свое. Пойдем, Риккардо.

Риккардо встал и сказал:

— Я вам советую…

Он был сильно пьян и сам не знал, что бы нам посоветовать.

— Пойдем, пойдем.

Теперь они в свою очередь ушли в спальню, а мы с Астаритой остались. Я сидела на одном конце стола, а он — на другом. Солнечный яркий свет, проникавший сквозь окно, освещал посуду, стоявшую в беспорядке на столе, корки хлеба, пустые бокалы, грязные вилки. Выражение лица Астариты по-прежнему было грустным и мрачным, хотя солнце светило ему прямо в глаза. Он удовлетворил свое желание, но в его взгляде, который он вперил в меня, осталась прежняя мучительная напряженность, которую я заметила с первых минут нашей встречи. Я почувствовала к нему жалость, несмотря на то зло, которое он мне причинил. Я понимала, что если прежде он был несчастлив, то и теперь, после того, как он овладел мной, счастья не прибавилось. Прежде он страдал от неутоленного желания, а теперь страдал, понимая, что я его не люблю. А жалость самый страшный враг любви, если бы я его ненавидела, тогда он мог бы надеяться, что когда-нибудь я полюблю его. Но я не испытывала к нему ненависти, а чувствовала, как уже говорила, лишь жалость и понимала, что никогда не буду питать к нему ничего, кроме равнодушия и отвращения.

Еще долго мы сидели молча в залитой солнцем комнате, ожидая возвращения Джизеллы и Риккардо. Астарита без конца курил, зажигая сигарету от предыдущего окурка, сквозь клубы дыма, которые обволакивали его, он бросал на меня красноречивые взгляды, словно хотел мне что-то сказать, но не осмеливался. Я сидела у стола, положив ногу на ногу, и мой мозг сверлила одна-единственная мысль: как бы поскорее уйти отсюда; я не ощущала ни усталости, ни стыда, но никогда еще я не испытывала такого желания остаться наедине с собой и на свободе обдумать то, что со мной произошло. Я так горячо желала поскорее уехать отсюда, что не могла думать ни о чем другом. Меня отвлекали какие-то пустяки: жемчужина в галстуке Астариты, рисунок на обоях комнаты, муха, разгуливающая по краю бокала, пятнышко, которое я посадила на кофточку, когда ела макароны; я злилась на себя за эти мысли и за то, что неспособна думать о серьезных вещах. Но как раз это выручило меня, когда Астарита, преодолев наконец свою робость, глухо спросил после долгого молчания:

— О чем ты думаешь?

Немного помедлив, я спокойно ответила:

— Вот сломала ноготь и теперь вспоминаю, когда и где это случилось.

Я сказала правду, но он огорченно и недоверчиво поморщился и с этой минуты, кажется, окончательно отказался от мысли серьезно поговорить со мною.

Наконец Джизелла и Риккардо, слава богу, вернулись в столовую, немного усталые, но веселые и беззаботные, как прежде. Наше молчание, наши серьезные лица, видимо, удивили их, но время было уже позднее, да и то, что между ними произошло, сделало их не в пример Астарите более спокойными. Джизелла стала со мною ласкова, в ней не было больше ни того раздражения и ни той жестокости, которые она не сумела скрыть в тот момент, когда Астарита шантажировал меня, мне даже показалось, что поступок Астариты был для Джизеллы какой-то новой чувственной приправой к уже приевшейся ей любви. Когда мы спускались по лестнице, она обвила мою талию и зашептала:

— Почему у тебя такая постная физиономия? Если ты боишься Джино, то успокойся… ни я, ни Риккардо никому ничего не скажем.

— Я устала, — солгала я.

Я не злопамятна, и, как только Джизелла обняла меня, моя обида рассеялась.

— Я тоже устала, — ответила она. — К тому же меня продуло, когда мы ехали сюда.

И спустя минуту, когда мы остановились у входа в ресторан, а мужчины прошли вперед к машине, она спросила:

— Надеюсь, ты не сердишься на меня за то, что произошло?

— Да что ты, — ответила я, — при чем здесь ты?

Джизелле мало было, что ее коварная проделка удалась. Она еще желала успокоиться, увериться, что я не затаила против нее обиды. Я слишком хорошо разгадала ее мысли и испугалась, что она поймет это и разозлится. Мне хотелось рассеять все сомнения и выказать свою симпатию к ней. Я поцеловала ее в щеку и сказала:

— За что мне сердиться на тебя? Ты ведь всегда говорила, что я должна бросить Джино и сойтись с Астаритой.

— Вот именно, — горячо подтвердила она, — я и сейчас так думаю… но ты, должно быть, никогда мне этого не простишь.

Она казалась встревоженной, а я беспокоилась еще больше, боясь, что она разгадает мои истинные чувства.

— Сразу видно, что ты меня плохо знаешь, — ответила я спокойно, — я понимаю, что ты этого хотела из любви ко мне и тебе обидно, что я сама себе порчу жизнь. Может быть, — тут я решилась на последнюю ложь, — может быть, ты и права.

Она взяла меня под руку и сказала доверительным и уже спокойным голосом:

— Пойми меня… Астарита или кто-то другой, но только не Джино… если бы ты знала, как мне обидно видеть такую красавицу, как ты, в столь жалком положении… Спроси хоть у Риккардо… Я целыми днями говорю с ним только о тебе…

Она разговаривала теперь со мною, как всегда, без всяких церемоний, и я поддакивала каждому ее слову. Так мы подошли к машине и заняли свои прежние места. Машина тронулась.

На обратном пути все молчали. Астарита не спускал с меня глаз, но теперь он смотрел скорее смущенно, чем с вожделением, и его взгляд на этот раз уже не действовал на меня и не вызывал желания поддерживать с ним разговор хотя бы из вежливости. Я с удовольствием вдыхала свежий воздух, проникавший сквозь открытое окно, и машинально отсчитывала километровые столбы, чтобы определить расстояние до Рима. Внезапно я почувствовала на своей руке руку Астариты и заметила, что он пытается вложить что-то в мою ладонь, очевидно какую-то бумажку. Я подумала было, что он не смеет со мною заговорить и решил прибегнуть к записке. Но, опустив глаза, я увидела денежную купюру, сложенную вчетверо.

Астарита пристально смотрел на меня, крепко сжимая мою руку, а я еле удержалась от желания швырнуть эти деньги ему в лицо. Но я тут же поняла, что это был бы с моей стороны красивый жест, продиктованный не естественным порывом, а, скорее, подражанием. Ощущение, охватившее меня в тот момент, привело меня в замешательство, и впоследствии, сколько раз я ни получала деньги от мужчин, я никогда уже не испытывала столь явной и сильной, почти чувственной близости, той, которую Астарита хотел и не смог вызвать во мне своими ласками в спальне ресторана. Это было чувство полной покорности, оно раскрыло во мне черту характера, какой я за собой до того времени не знала. Я, конечно, понимала, что должна отказаться от этих денег, но в то же самое время мне хотелось их взять. И не столько из корысти, сколько из-за этого нового ощущения, родившегося в моей душе.

Решившись взять деньги, я все-таки пыталась сделать вид, что отвергаю их, но и это тоже был просто бессознательный жест, без всякого расчета. Астарита не отпускал мою руку, глядел все время мне в глаза, и тогда я переложила деньги из правой руки в левую. Меня охватило какое-то странное возбуждение, я чувствовала, что лицо мое горит и дыхание

стало прерывистым. Если бы Астарита мог в эту минуту угадать мое волнение, то он, чего доброго, решил бы, что я в него влюблена. И напрасно… Деньги, только деньги и мысль, что их можно получить таким образом, — вот что взволновало меня. Астарита взял мою руку и поднес к своим губам, я не сопротивлялась, но потом отняла руку. И больше мы не взглянули друг на друга вплоть до самого города.

Там мы сразу же расстались, как будто бы каждый из нас чувствовал за собой какую-то вину и теперь торопился поскорее скрыться. И в самом деле, все мы совершили в тот день что-то похожее на преступление: Риккардо по своей глупости, Джизелла из зависти, Астарита из чувственности, а я по неопытности. С Джизеллой мы договорились встретиться на следующий день и пойти вместе позировать. Риккардо пожелал мне спокойной ночи, а серьезный и печальный Астарита молча пожал руку. Они довезли меня до дома, и, несмотря на усталость и угрызения совести, я невольно испытала тщеславное удовольствие, ведь, когда я выходила из роскошной машины, остановившейся у наших ворот, на меня из окна глядела вся семья нашего соседа железнодорожника.

Я сразу же прошла в свою комнату, заперлась на ключ и первым делом достала деньги. Тут была не одна, а три купюры по тысяче лир, и, опустившись на край постели, я почувствовала себя почти счастливой. Этих денег вполне хватит не только на то, чтобы внести последний взнос за мебель, но на них я еще смогу купить вещи, в которых особенно нуждаюсь. Никогда в жизни я не держала в руках такой крупной суммы и от этого испытывала не столько удовольствие, сколько невероятное изумление. Я смотрела и смотрела на эти деньги, так же как глядела на свою мебель, чтобы окончательно убедиться, что они действительно принадлежат мне.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Не знаю, так ли это было, но сейчас мне кажется, что долгий и глубокий сон той ночью вычеркнул из моей памяти все, что случилось в Витербо. На следующий день я проснулась со спокойной уверенностью, что буду по-прежнему упорно стремиться к тихой семейной жизни. Утром я встретилась с Джизеллой, которая не обмолвилась ни словом о нашей вчерашней поездке, возможно, ее мучила совесть, а скорее всего, она молчала просто из предосторожности, но я все равно была ей за это благодарна. Я с беспокойством думала о предстоящей встрече с Джино. И хотя я не чувствовала за собой никакой вины, я понимала, что придется обманывать его, это было мне неприятно, и, кроме того, я не знала, как мне это удастся, ведь до сих пор я была с ним откровенна и впервые прибегала к обману. Правда, я скрывала от него, что вижусь с Джизеллой, но вряд ли можно было учитывать эту ложь во спасение, ведь я вынуждена была пойти на этот обман только из-за безрассудной неприязни Джино к Джизелле.

На душе у меня было тревожно, и, когда я увидела Джино, я с трудом сдержалась, чтобы не расплакаться, не рассказать ему обо всем и не попросить у него прощения. Поездка в Витербо тяжелым бременем лежала у меня на душе, мне ужасно хотелось сбросить с себя эту тяжесть и рассказать всю правду. Если бы Джино вел себя иначе и не был столь ревнив, я, конечно, рассказала бы ему все, и после этого, как мне думалось, мы стали бы любить друг друга еще сильнее, чем прежде, я видела бы в нем своего защитника, и нас связали бы еще более крепкие узы, чем любовь. В то утро мы, как всегда, остановили машину на нашем пригородном шоссе. Джино заметил мое волнение и спросил:

— Что с тобою?

«Сейчас я все скажу… — подумала я, — пусть он меня высадит из машины, пойду в город пешком».

Но у меня не хватило мужества, и я ответила вопросом на вопрос:

— Ты меня любишь?

— Ну конечно же, — отозвался он.

— И ты всегда будешь любить меня? — спросила я, глядя на него глазами, полными

слез.

— Всегда.

— А мы скоро поженимся?

Ему, видимо, надоела моя настойчивость.

— Честное слово, — сказал он, — можно подумать, что ты мне не веришь… Разве мы не решили обвенчаться на пасху?

— Да, правда.

— Разве я не дал тебе денег на устройство нашего дома?

— Дал.

— Значит, я все-таки честный человек? Когда я что-то обещаю, я держу слово… Это, конечно, твоя мамаша настроила тебя против меня.

— Нет-нет, мама тут ни при чем, — быстро ответила я, — а скажи мне… мы будем жить вместе?

— Конечно.

— И будем счастливы?

— Это уж будет зависеть от нас самих.

— Значит, мы будем жить вместе? — снова спросила я, так как меня по-прежнему мучили тревожные мысли.

— Уф… Ты меня уже спрашивала, и я тебе ответил.

— Прости меня, — сказала я, — но иногда все это кажется мне несбыточным.

Я не удержалась и начала плакать. Джино был очень удивлен и даже смущен моими слезами, смущение это, казалось, было вызвано угрызениями совести. Но только много позднее мне стали по-настоящему ясны его причины.

— Ну, ну, успокойся, — сказал он, — чего ты плачешь?!

По правде говоря, я плакала от обиды и тревоги, оттого, что не могла рассказать ему все и чистосердечным раскаянием облегчить свою душу. Плакала я также от горечи, чувствуя себя недостойной такого доброго и безупречно честного человека.

Наконец я взяла себя в руки и сказала:

— Ты прав, я просто глупая…

— Я этого не говорил… но я не вижу причины для слез.

На душе у меня лежала все та же тяжесть. И, расставшись с Джино, я в тот же день пошла в церковь исповедаться. Уже около года я не ходила на исповедь; полагала, что всегда успею сделать это, и потому была спокойна. Исповедоваться я перестала с тех пор, как Джино впервые поцеловал меня. Я сознавала, что такие отношения, какие существовали между мной и Джино, религия считает греховными, но, веря, что мы поженимся, я не испытывала угрызений совести и надеялась получить отпущение грехов перед самой свадьбой.

Я направилась в маленькую церковь в центре города, которая находилась между кинотеатром и магазином. В полутьме церкви светлым пятном выделялся главный алтарь и боковой придел Мадонны. Церковь была грязная, стулья с плетеными сиденьями стояли в беспорядке, как их оставили прихожане после мессы, словно здесь происходило не богослужение, а скучное собрание, которое покидают со вздохом облегчения.

Слабый свет лился из окон, находящихся под самым куполом, освещая пыльный пол и облупившуюся штукатурку на колоннах, раскрашенных под мрамор. Множество серебряных пылающих сердец было развешано по всем стенам в честь данных клятв и обетов, и все это напоминало унылую скобяную лавку. Но запах ладана, которым был пропитан воздух, успокоил меня. В детстве я часто вдыхала этот аромат, и теперь он будил во мне наивные и сладкие воспоминания. И хотя я впервые входила в эту церковь, мне показалось, что я уже не раз бывала здесь.

Перед исповедью мне захотелось пройти в большой придел, где стояла статуя девы Марии. С самого рождения я была отдана под покровительство Мадонны, и даже мама говорила, что я правильными чертами лица и большими черными и кроткими глазами

напоминала божью матерь. Я любила Мадонну, ведь она держит на руках младенца, который стал потом мужчиной и которого убили. Сколько ей, родившей его и любившей его так, как только мать может любить сына, пришлось выстрадать, когда она увидела его распятым на кресте. Я часто думала, что только Мадонна, сама испытавшая немало горя, может понять мои печали, и с детства я молилась только ей. Мне нравилась Мадонна еще и потому, что она, безмятежная и спокойная, красиво одетая, была так не похожа на мою маму, ее взор был обращен на меня с нежностью, и мне казалось, что моя настоящая мать — она, а не та, что вечно кричит, вечно суетится, да к тому же плохо одета.

Поэтому я встала на колени и, закрыв лицо руками и опустив голову, произнесла длинную молитву; я обращалась к Мадонне, прося у нее прощения и защиты для меня, мамы и Джино. Потом я вспомнила, что не следует долго таить обиду на людей, и попросила у нее заступничества за Джизеллу, которая из зависти предала меня, за Риккардо, который по глупости помогал Джизелле, и, наконец, за Астариту. За него я молилась особенно горячо, потому что обида на него была всего острее, я хотела забыть ее, хотела полюбить его так же, как любила других, хотела простить ему все и никогда не вспоминать о том горе, которое он мне причинил. В конце концов я так растрогалась, что слезы выступили у меня на глазах. Я посмотрела на статую Мадонны над алтарем, и сквозь слезы, застилавшие мне глаза, она показалась мне расплывчатой и дрожащей, как будто находилась под водой, а свечи, горевшие вокруг статуи, напоминали золотые блики, на которые приятно, но вместе с тем грустно смотреть; так бывает, когда смотришь на звезды — они совсем рядом, хочешь до них дотянуться, но не знаешь, как это сделать. Я долго стояла, глядя на Мадонну, почти не видя ее, потом слезы градом хлынули из моих глаз и потекли по щекам, а Мадонна с младенцем на руках смотрела на меня, и лицо ее было освещено пламенем свеч. Мне казалось, что она глядит на меня с состраданием и любовью. Поблагодарив ее, я поднялась и со спокойной душой пошла исповедоваться.

Все исповедальни были пусты, я огляделась, ища глазами священника, и вдруг увидела, как из дверцы, находящейся слева, вышел какой-то человек, прошествовал мимо алтаря, опустился на колени, перекрестился и пошел дальше. Это был монах. Я не разобрала, к какому ордену он принадлежал. Я набралась смелости и тихо окликнула его. Он оглянулся и тотчас же подошел ко мне. Это был еще совсем молодой человек, высокий и сильный, с цветущим, румяным и мужественным лицом, с голубыми глазами и высоким белым лбом. Я невольно подумала, что он очень хорош собой. Таких мужчин не часто встретишь не только в церкви, но даже на улице, я была рада исповедаться именно ему. Я тихо сказала, зачем пришла, и он легким кивком головы пригласил меня зайти в исповедальню.

Он вошел в кабину, а я приготовилась встать на колени перед решеткой. На эмалевой пластинке, прибитой к стене исповедальни, значилось имя «Элиа», Ильи-пророка — мое любимое имя, — и это обстоятельство ободрило меня. Я опустилась на колени, монах прочел короткую молитву, а потом спросил:

— Сколько времени ты не исповедовалась?

— Почти год, — ответила я.

— Долгий срок… очень долгий… почему так случилось?

Я заметила, что он грассирует, как француз, и не совсем чисто говорит по-итальянски. Кроме того, он несколько раз ошибся, переделывая иностранные слова на итальянский манер. Это окончательно убедило меня в том, что он француз. Я обрадовалась этому, сама не знаю почему. Вероятно, потому, что, когда готовишься к какому-то важному шагу, любая неожиданность кажется добрым предзнаменованием.

Я ответила, что как раз та история, которую я хочу ему поведать, и объяснит, почему я так долго не была на исповеди. И после короткого молчания он спросил, что же я хочу рассказать, тогда искренне и откровенно я начала рассказывать о наших отношениях с Джино, о моей дружбе с Джизеллой, о поездке в Витербо и о мерзком поступке Астариты. Рассказывала, а сама думала о том, какое впечатление производят на него мои слова. Он не был похож на обычного священника, а его вид бывалого человека заставил меня гадать, что

же побудило его пойти в монахи. Может показаться странным, что после столь сладостного волнения, которое во мне вызвала молитва, обращенная к Мадонне, я так быстро успокоилась, что заинтересовалась своим исповедником, но я не считаю, что волнение и любопытство противоречили друг другу. Все это объясняется свойствами моей натуры, в которой воедино сплелись набожность и кокетливость, задумчивость и чувственность.

Размышляя о монахе, я испытывала приятное облегчение и острое желание рассказать ему как можно больше, рассказать все. Мне казалось, что я освобождаю свою душу от страшной тяжести и оживаю, подобно цветку, впитывающему первые капли дождя после длительного и изнуряющего зноя. Сперва я говорила робко и нерешительно, а потом все свободнее и свободнее, наконец пылко и искренне, преисполненная светлой надежды. Я не утаила ничего, рассказала даже о деньгах, которые дал мне Астарита, и о чувствах, которые вызвал у меня его подарок, сказала, как я хочу потратить эти деньги. Он слушал меня не прерывая, а когда я замолкла, сказал:

— Желая избежать неприятности, боясь разрыва с женихом, ты причинила себе в тысячу раз больше вреда…

— Да, да, действительно, — сказала я, вся дрожа от радости, мне казалось, будто он нежными руками раскрывает мою душу.

— Откровенно говоря, — продолжал он, словно рассуждая про себя, — твоя помолвка тут ни при чем… уступая этому человеку, ты поддалась алчности.

— Да, да, правильно.

— Хотя лучше уж было отказаться от свадьбы, чем поступить так.

— И я так думаю.

— Мало думать… Теперь ты выйдешь замуж, но какой ценой ты за это заплатила? Ты уже никогда не сможешь быть хорошей женой.

Меня поразили суровость и твердость его слов, и я воскликнула с тоской:

— Но почему?! Для меня это ничего не значит… я уверена, что буду хорошей женой.

Моя искренность, должно быть, растрогала его. Он долго молчал, а потом ласково спросил:

— А ты чистосердечно раскаялась?

— Конечно, конечно, — порывисто ответила я.

Вдруг мне пришла в голову мысль, что он, вероятно, заставит меня вернуть деньги Астарите, и, хотя я заранее огорчилась, я все-таки чувствовала, что беспрекословно подчинюсь его приказу, приказу человека, который так нравится мне и внушает такое доверие. Но он ничего не сказал о деньгах, а продолжал говорить своим твердым приглушенным голосом, которому иностранный акцент придавал какую-то странную задушевность.

— Теперь ты должна как можно скорее выйти замуж… устроиться как положено… должна объяснить жениху, что ваши прежние отношения продолжаться не могут.

— Я ему это уже говорила.

— И что же он ответил?

Я невольно улыбнулась оттого, что этот красивый белокурый монах задает мне в полумраке исповедальни такой вопрос. Я ответила:

— Он сказал, что мы поженимся на пасху.

— Было бы лучше сейчас. Пасха еще далеко… — продолжал он, подумав немного, и мне показалось, что сейчас говорит со мной не духовное лицо, а вежливый светский человек, которому уже наскучили мои дела.

— Мы не можем пожениться раньше… я должна приготовить приданое… а ему нужно съездить в деревню и повидаться с родителями.

— Как бы то ни было, — продолжал он, — необходимо поскорее обвенчаться… и до самой свадьбы ты должна прекратить с женихом всякие плотские отношения… это тяжкий грех… поняла?

— Хорошо, я так и сделаю.

— Сделаешь? — с сомнением переспросил он. — Во всяком случае, старайся молитвой побороть искушение… попробуй молиться.

— Хорошо… я буду молиться.

— Что касается того, другого мужчины, — продолжал он, — ты не должна с ним встречаться ни в коем случае… Это как раз нетрудно, поскольку ты его не любишь… если же он будет настаивать и придет к тебе, прогони его.

Я ответила, что непременно так и сделаю, он дал мне еще несколько наставлений все тем же твердым приглушенным голосом, который звучал еще приятнее благодаря иностранному акценту и проскальзывающей в нем светскости, затем он велел мне для покаяния несколько раз в день читать молитвы и отпустил грехи. Но прежде чем отослать меня домой, он сказал, что хочет прочесть со мною вместе «Отче наш». Я с радостью согласилась, потому что мне не хотелось уходить, я желала бы слушать его голос бесконечно. Он произнес:

— Отче наш, иже еси на небесех.

И я повторила за ним:

— Отче наш, иже еси на небесех.

— Да святится имя твое.

— Да святится имя твое.

— Да приидет царствие твое.

— Да приидет царствие твое.

— Да будет воля твоя, яко на небеси и на земли.

— Да будет воля твоя, яко на небеси и на земли.

— Хлеб наш насущный даждь нам днесь.

— Хлеб наш насущный даждь нам днесь.

— И остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должникам нашим.

— И остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должникам нашим.

— И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

— И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

— Аминь.

— Аминь.

Я слово в слово еще раз повторила молитву, чтобы вновь пережить то волнение, которое испытала, когда произносила ее вместе с ним. Я представляла себя совсем маленькой, и он как будто вел меня за руку от фразы к фразе. Однако я вспомнила и о деньгах, которые мне дал Астарита, и была чуточку разочарована, что он не приказал мне вернуть их. По правде говоря, мне даже захотелось, чтобы он приказал мне отдать деньги, потому что я думала доказать ему на деле мою искренность, мою покорность и мое раскаяние, я хотела чем-нибудь пожертвовать ради него. Кончив молитву, я поднялась. Он вышел из кабины и собрался уходить, не глядя на меня, едва кивнув мне головою. Тогда я невольно, почти не отдавая отчета в своем поступке, потянула его за рукав. Он остановился и посмотрел на меня ясным, холодным и спокойным взглядом.

В эту минуту он показался мне особенно красивым, и тысяча безумных мыслей пронеслась у меня в голове. Я думала, как бы дать ему понять, что он мне нравится и что я могла бы полюбить его. Однако голос рассудка предостерегал меня, напоминая, что я нахожусь в церкви, что он священник и мой духовник. Все эти мысли овладели мною сразу, они взволновали меня так, что я не могла произнести ни слова. Тогда, подождав немного, он спросил:

— Ты хочешь еще что-то сказать?

— Мне хотелось узнать, должна ли я вернуть деньги тому человеку.

Он бросил на меня быстрый, острый взгляд, пронзивший меня, казалось, до глубины души, потом отрывисто спросил:

— А ты очень нуждаешься?

— Да.

— Тогда можешь не отдавать… в любом случае поступай, как подсказывает тебе твоя совесть.

Он произнес эти слова особым тоном, давая понять, что разговор окончен.

— Спасибо, — прошептала я, глядя ему прямо в глаза.

В этот момент я совсем потеряла голову и надеялась, что он хоть знаком или словом пожелает показать, что я ему не безразлична. Конечно, он понял мой взгляд, и легкая тень изумления скользнула по его лицу. Он кивнул мне на прощание, повернулся и вышел, оставив меня в смущении и тревоге возле исповедальни.

Маме я ничего не сказала об исповеди, как, впрочем, и о поездке в Витербо. Я прекрасно знала ее мнение о священниках и о религии; она говорила: все это хорошо, однако богатые так и остаются богатыми, а бедные — бедными.

— Видно, богатые умеют лучше молиться, — повторяла она.

На религию мама смотрела так же, как на семью и брак: когда-то она была набожна, исполняла все обряды, но все равно дела ее шли плохо, поэтому она перестала верить. Как-то раз, когда я сказала, что на том свете нам за все воздастся, она подняла меня на смех и заявила, что хочет получить все сию минуту на этом свете, а если здесь нельзя получить, значит, все это враки. Однако, как я уже говорила, меня она воспитывала в полном повиновении богу, в которого когда-то сама верила. Только в последнее время неудачи ожесточили ее и она изменила свои взгляды.

На следующее утро, когда я села в машину рядом с Джино, он сказал, что его хозяева уехали и несколько дней мы сможем встречаться на вилле. Сперва я очень обрадовалась, потому что, как я уже говорила, мне нравилось предаваться любовным утехам, и именно с Джино. Но потом я вспомнила об обещании, которое дала священнику, и сказала:

— Нет, это невозможно.

— Почему?

— Потому что невозможно.

— Ну, хорошо, — уступил он со вздохом, — тогда завтра…

— Нет… и завтра тоже… никогда.

— Никогда, — повторил он с притворным удивлением, понизив голос. — Ах так? Никогда… но ты хоть объяснишь мне причину? — Он подозрительно посмотрел на меня.

— Джино, — быстро сказала я, — я тебя люблю и никогда тебя так сильно не любила, как сейчас… но именно поэтому… я решила, что до тех пор, пока мы не обвенчаемся… лучше, если между нами ничего не будет… понимаешь…

— А, теперь все ясно, — злобно воскликнул он, — ты боишься, что я на тебе не женюсь.

— Нет, я уверена, что мы поженимся… если бы я сомневалась, не стала бы все это затевать и тратить мамины деньги, которые она откладывала всю жизнь.

— Ух как ты носишься с этими деньгами! — сказал Джино. Я просто не узнавала его, так изменилось его лицо, оно стало почти отталкивающим. — Тогда почему же?

— Я была на исповеди, и мой духовник приказал мне воздержаться от любовных отношений, пока мы не обвенчаемся.

Он скорчил недовольную гримасу, и с его губ сорвались слова, которые прозвучали для меня чуть ли не кощунством.

— А по какому праву этот священник сует свой нос в наши дела? — Я предпочла промолчать. — Говори, почему ты не отвечаешь?

Он, видимо, понял, что я неколебима в своем решении, потому вдруг переменил тон и сказал:

— Ну, ладно… пусть будет по-твоему… значит, отвезти тебя в город?

— Как хочешь.

Надо сказать, что впервые Джино показал себя в таком невыгодном свете и был так резок со мною. Уже на следующий день он снова напустил на себя смиренный вид и стал относиться ко мне, как обычно, ласково, внимательно, заботливо. Мы продолжали

встречаться, как всегда, каждый день, только теперь мы не занимались любовью, а ограничивались разговорами. Иногда я целовала Джино, хотя, по совести говоря, он не просил меня об этом. Я считала, что в поцелуях нет греха, а кроме того, мы как-никак были помолвлены и скоро должны были обвенчаться. Сейчас, вспоминая те времена, я думаю, что Джино так быстро смирился с новой ролью скромного жениха, надеясь постепенно остудить наши отношения и незаметно подготовить меня к неизбежному разрыву. Часто случается, что девушку покидают после затянувшейся и унизительной помолвки, когда лучшие годы молодости уже позади. Так, послушавшись священника, я невольно дала Джино предлог, который он, вероятно, давно искал, чтобы расстроить нашу свадьбу. Сам он, конечно, из-за своего безволия и эгоизма никогда бы не решился на этот шаг, ведь наслаждение, которое он получал от наших встреч, было сильнее, чем желание бросить меня. Но вмешательство священника позволяло ему воспользоваться лицемерным и внешне бескорыстным поводом.

Спустя какое-то время он начал встречаться со мною не так часто, уже не каждый день, а когда придется. Я заметила, что паши поездки на машине становятся все более краткими и что он все рассеяннее слушает мои разговоры о свадьбе. И хотя я видела эту перемену, я все еще ничего не подозревала, все это казалось мне мелочью, а в основном он относился ко мне по-прежнему ласково и почтительно. Наконец однажды он с печальным видом объявил мне, что по просьбе родителей придется перенести нашу свадьбу на осень.

— Ты очень расстроена? — спросил он, смущенный тем, что я не выказываю своего огорчения, а только грустно и молча смотрю перед собой в одну точку.

— Нет, нет, — сказала я, очнувшись. — Неважно… потерплю… к тому времени я как раз успею приготовить приданое.

— Ты говоришь неправду… ты очень расстроилась.

Странно было видеть, как он пытается вырвать у меня признание, что отсрочка свадьбы меня огорчает.

— А я тебе говорю, что совсем не расстроилась.

— Значит, ты просто не любишь меня по-настоящему и, наверно, не огорчишься, даже если мы вовсе не поженимся.

— Не говори так, — испуганно произнесла я, — это было бы ужасно… Не хочу даже думать о таких вещах.

Он скривил лицо, я тогда не поняла, в чем дело. А он, вероятно, хотел испытать мою привязанность к нему и, к собственному неудовольствию, обнаружил, что она еще очень сильна.

Даже отсрочка свадьбы еще не возбудила во мне подозрения, зато она укрепила старые позиции мамы и Джизеллы. Мама, как иногда с ней случалось (а это было весьма странно при ее вспыльчивом и раздражительном характере), сначала никак не отреагировала на это известие. Но как-то вечером, когда кормила меня ужином, стоя молча возле стола и ожидая, пока я поем, она вдруг сказала в ответ на мои рассуждения об отсрочке свадьбы:

— Знаешь, как в наше время называли таких девушек, которые вроде тебя ждали, ждали свадьбы и так и не дождались?

Я побледнела, и сердце у меня упало.

— Как?

— Девушка про запас, — спокойно ответила мама, — он держит тебя про запас, как мясо, которое запасают впрок… а когда оно портится, его выбрасывают на помойку…

Эти слова меня страшно рассердили, и я сказала:

— Это неправда… в конце концов, мы в первый раз откладываем свадьбу… и всего на несколько месяцев… просто ты ненавидишь Джино за то, что он шофер, а не важный синьор.

— Я против него ничего не имею.

— Нет, имеешь… еще и потому, что тебе пришлось потратить все деньги на нашу комнату… но ты не бойся…

— Дочь моя, ты окончательно свихнулась от любви.

— Я говорю, не бойся, все остальные взносы за мебель сделает он… а то, что ты

заплатила, мы тебе вернем… вот посмотри…

Взволнованная, я открыла сумочку и показала ей деньги, полученные от Астариты.

— Это деньги Джино, — продолжала я с таким жаром, что сама чуть было не поверила в свою ложь, — он мне дал их… и обещал еще.

Мама взглянула на деньги, и на лице ее отразилось такое раскаяние и разочарование, что я почувствовала угрызения совести. Впервые за последнее время я так плохо обошлась с ней: обманывала ее, ведь деньги-то я получила не от Джино. Мама молча убрала со стола и вышла. Какое-то время я лихорадочно думала как быть, затем поднялась и пошла за ней. Мама стояла ко мне спиной возле раковины и мыла посуду, которую затем ставила сушиться на мраморную доску стола, голова ее была опущена, плечи ссутулились — мне стало ее жалко. Я порывисто обняла маму за шею и сказала:

— Прости меня… я совсем не думала тебя обидеть… но когда ты начинаешь говорить о Джино, я теряю рассудок.

— Ладно, ладно, оставь меня, — ответила она, стараясь освободиться из моих объятий.

— Но пойми, — добавила я страстно, — если Джино на мне не женится, я либо покончу с собой, либо стану уличной девкой.

Джизелла встретила известие об отсрочке нашей свадьбы почти так же, как мама. Мы находились в меблированной комнате, которую она снимала. Я сидела на ее постели, а она в одной сорочке причесывалась перед зеркалом. Джизелла выслушала меня, а потом спокойно сказала с довольным видом:

— Вот видишь, я была права.

— В чем?

— Он не хочет на тебе жениться и никогда не женится… теперь он перенес свадьбу с пасхи на день всех святых… а с дня всех святых перенесет на рождество… и наконец однажды, когда ты почувствуешь, что сыта всем этим по горло, ты сама его бросишь.

Меня огорчали и бесили ее слова. Но я уже сорвала свое зло на маме, а кроме того, я понимала, что если выскажу ей все, что о ней думаю, то нам придется расстаться, а этого я все-таки не хотела, ведь Джизелла была единственной моей подругой. А думала я по этому поводу вот что: Джизелла просто не хотела, чтобы я вышла замуж за Джино, поскольку знала, что на ней-то Риккардо никогда не женится. Что правда, то правда, но слишком подло было говорить ей об этом; мне казалось, что я не вправе обидеть Джизеллу только за то, что она, говоря со мною о Джино, поддавалась, быть может даже невольно, чувству зависти и ревности. Поэтому я только сказала:

— Не будем говорить об этом, ладно? Тебе ведь, в конце концов, безразлично, выйду я замуж или нет… а мне этот разговор неприятен.

Она вдруг поднялась с места и села рядом со мною.

— Почему же мне безразлично? — живо запротестовала она, а потом, обняв меня за талию, добавила: — Наоборот, мне обидно видеть, как тебя водят за нос.

— Никто меня не водит за нос, — тихо сказала я.

— Мне хотелось бы видеть тебя счастливой. — Она помолчала немного, а потом как бы между прочим сказала: — Кстати… Астарита меня просто замучил, просит встречи с тобой. Говорит, что не может без тебя жить, по уши влюблен… Хочешь, я устрою вам свидание?

— Не говори мне об Астарите, — ответила я.

— Он понимает, что плохо вел себя тогда в Витербо, — продолжала она, — но ведь он так поступил потому, что любит тебя… Он исправится.

— Единственный способ исправиться, — сказала я, — это больше не встречаться.

— Будет тебе… в конце концов, он человек серьезный и любит тебя по-настоящему… Он хочет во что бы то ни стало увидеться с тобой и поговорить. Почему бы вам не встретиться, скажем, в кафе в моем присутствии?

— Нет, — решительно отказалась я, — я не хочу его видеть.

— Смотри, потом раскаешься.

— Живи с ним сама.

— С удовольствием бы, дорогая… он человек щедрый, денег не жалеет… но ведь любит-то он тебя, это просто наваждение какое-то…

— Но я-то его не люблю.

Она еще долго расхваливала Астариту, но я не уступала, у меня было тогда такое сильное и отчаянное желание выйти замуж и зажить тихой семейной жизнью, что я твердо решила не поддаваться никаким уговорам и не соблазняться никакими деньгами. Я даже забыла, какое приятное чувство я невольно испытала, когда Астарита насильно сунул мне в руку деньги по дороге из Витербо. И, как это часто случается, я с еще большим упорством и надеждой ухватилась за мысль о браке именно из страха, что Джизелла и мама правы и свадьба вообще не состоится.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Тем временем я заплатила все взносы за мебель и стала работать еще больше, чтобы скопить себе на приданое. По утрам я позировала в мастерских художников, а после полудня запиралась с мамой в нашей большой комнате и работала как заведенная до вечера. Мама сидела за швейной машиной возле окна, а я за столом шила на руках. Мама обучила меня ремеслу белошвейки, и дело у меня спорилось. Приходилось пришивать и обметывать множество застежек и петель, и, кроме того, на каждой сорочке полагалось вышивать монограмму. Мне особенно удавались эти монограммы, они получались выпуклые и словно лепные. Мы шили обычно мужское белье, но иногда случалось делать дамские сорочки, блузы или панталоны, но все это были дешевые заказы, так как мама не справлялась с тонкой работой, да мы и не водили знакомства с синьорами, которые заказывали бы дорогие вещи. Сидя за шитьем, я думала о Джино, о свадьбе, о поездке в Витербо, о маме, о своей жизни, словом, обо всем, и время летело незаметно. О чем думала мама, не знаю, но, несомненно, и она думала о чем-то своем, потому что лицо у нее было сосредоточенное, и, если я с ней заговаривала, она, не поднимая головы от машины, чаще всего отвечала невпопад. Как только начинало темнеть, я вставала, стряхивала с себя нитки и, надев свое самое нарядное платье, уходила из дому, навещала Джизеллу или встречалась с Джино, если у него выдавался свободный вечер. Сейчас я спрашиваю себя, была ли я счастлива в то время. Пожалуй, да, потому что желала только одного — выйти замуж, — и осуществление этого желания казалось таким близким и возможным. Позже я поняла, что человек чувствует себя действительно несчастным только тогда, когда уже перестает надеяться и стремиться к чему-то, и тут уж не помогут ни благополучие, ни достаток.

Не раз я замечала, что Астарита ходит за мной. Случалось это всегда ранним утром, когда я отправлялась в мастерскую. Обычно Астарита дожидался меня где-нибудь за выступом городской стены на другой стороне улицы. Он никогда не переходил на мою сторону, и, пока я быстро шла к площади, он медленно следовал за мной вдоль городской стены. Он просто смотрел на меня издали, и этого ему, очевидно, было достаточно, ведь именно так ведут себя без памяти влюбленные мужчины. Когда я доходила до площади, Астарита выбирал место, безопасное для пешеходов, как раз напротив меня. Он продолжал пожирать меня глазами, но стоило мне обернуться, как он тотчас же начинал прохаживаться взад и вперед, делая вид, будто ждет трамвая. Вряд ли женщина останется равнодушной к такой любви, и я, несмотря на твердое решение не разговаривать с ним больше, все-таки порой испытывала к нему невольное сострадание. Немного погодя приезжал на машине Джино или подходил трамвай, и я уезжала, а Астарита оставался стоять на тротуаре, глядя мне вслед.

Однажды вечером, вернувшись домой к ужину и войдя в нашу большую комнату, я увидела Астариту, держа в руках шляпу, он стоял, прислонившись к столу, и разговаривал с мамой. Увидев его у себя в доме и догадавшись, о чем он может говорить с мамой — я не сомневалась, что он старался склонить ее на свою сторону, — я забыла о всяком

сострадании. Страшно разозлившись, я спросила:

— Что вам здесь надо?

Он посмотрел на меня, и лицо его свела судорога, как и тогда в машине, когда мы ехали в Витербо и когда он сказал мне, что я ему нравлюсь. Но на сей раз он не мог произнести ни слова.

— Этот синьор говорит, что знаком с тобою, — начала мама доверительным тоном, — и вот зашел повидать тебя…

По ее голосу я поняла, что Астарита говорил с ней именно так, как я думала, и, кто знает, может быть, он дал ей денег.

— Будь добра, выйди из комнаты, — сказала я маме.

Она испугалась моего сурового голоса и молча вышла на кухню.

— Что вам здесь надо?.. Уходите, — повторила я.

Он смотрел на меня, шевеля губами, но не мог выдавить из себя ни звука. Глаза его закатились, из-под век виднелись полоски белков, и я перепугалась, что сейчас он упадет в обморок.

— Уходите, — громко закричала я, топнув ногой, — или я позову людей… позову нашего друга, который живет внизу!

Много раз потом я задавала себе вопрос, почему Астарита снова не шантажировал меня и не пригрозил, что, если я ему но уступлю, он расскажет Джино обо всем, что произошло в Витербо. А ведь на этот раз он мог шантажировать меня с бóльшим успехом, я действительно переспала с ним, посторонние могли подтвердить, и я не смогла бы опровергнуть это. Думаю, что тогда он просто хотел обладать мною, а теперь по-настоящему полюбил меня. Любовь требует взаимности, и влюбленный Астарита, должно быть, испытывал неудовлетворенность от того, что произошло в Витербо, когда я хоть и была с ним, но оставалась недвижимой и пассивной, словно труп. А кроме того, я теперь решилась рассказать всю правду Джино, и если он меня любит, то поймет и простит. Моя твердость, вероятно, убедила Астариту в тщетности новых попыток шантажировать меня.

На мою угрозу позвать людей он ничего не ответил, а медленно направился к двери, волоча шляпу по длинному столу. Дойдя до конца стола, он остановился, опустил голову, видимо собираясь что-то сказать. Но когда он снова поднял глаза на меня и зашевелил губами, мужество, по-видимому, опять покинуло его, и он молча уставился на меня. Этот его взгляд показался мне особенно долгим. Наконец, кивнув на прощанье головой, он вышел и прикрыл за собою дверь.

Я тотчас же побежала к маме на кухню и яростно набросилась на нее:

— О чем ты с ним говорила?

— Ни о чем я не говорила, — испуганно ответила она, — он меня спросил, чем мы занимаемся… сказал, что хочет заказать сорочки.

— Если ты к нему пойдешь, я тебя убью! — закричала я.

Она со страхом взглянула на меня и ответила:

— Никто и не собирается к нему идти. Пусть заказывает себе сорочки в другом месте.

— А обо мне он ничего не говорил?

— Спросил, когда ты выходишь замуж.

— А ты что ему ответила?

— Что свадьба в октябре.

— А денег он тебе не давал?

— Нет, с какой стати? — Она взглянула на меня с притворным удивлением. — А почему он должен давать мне деньги?

Я была теперь твердо уверена, что Астарита дал маме денег. Я подскочила к ней и с силой схватила ее за руки.

— Говори правду! Он дал тебе денег?

— Нет… ничего он мне не давал.

Она держала руку в кармане фартука. Я с силой дернула ее за запястье, и из кармана

вывалилась купюра, сложенная пополам. И хотя я все еще не отпускала ее руку, она нагнулась и с такой жадностью и проворством схватила деньги, что моя злость сразу же улетучилась. Я вспомнила, какое волнение и счастье вызвали в моей душе деньги, полученные от Астариты в день поездки в Витербо, и поняла, что не имею права осуждать маму за те же самые чувства и за то, что она поддалась такому же соблазну. Теперь я пожалела о случившемся: лучше было ни о чем не спрашивать, чтобы никогда не видеть этих денег. Поэтому я сказала спокойно:

— Вот видишь, он все-таки дал тебе денег.

И, не ожидая дальнейших объяснений, я вышла из кухни. За ужином я поняла, что маме не терпится затеять разговор об Астарите и деньгах. Но я заговорила о другом, и она не стала настаивать.

На следующий день Джизелла пришла одна, без Риккардо, в кондитерскую, где мы обычно встречались. Она, как только уселась, сразу без всяких вступлений начала разговор.

— Сегодня я должна поговорить с тобой по очень серьезному вопросу.

Предчувствуя недоброе, я сильно побледнела.

— Если это что-то плохое, — прерывающимся голосом заявила я, — то прошу тебя, не говори мне.

— Это не плохо и не хорошо, — быстро ответила она, — просто я хочу кое-что сообщить тебе, вот и все… я уже говорила, кто такой Астарита…

— Не желаю слышать об Астарите!

— Но выслушай, не будь ребенком. Астарита, как я тебе уже говорила, человек очень важный… Он шишка в политической полиции.

Я почувствовала себя спокойнее, в конце концов, политикой я не занималась.

— Кто бы он ни был, хоть сам министр, меня это не касается, — сказала я.

— Ох, какая ты… — фыркнула Джизелла, — не перебивай меня, выслушай сначала… Так вот, Астарита сказал мне, что ты должна обязательно прийти к нему в министерство… он хочет поговорить с тобой… но разговор пойдет не о любви, — быстро добавила она, видя, что я собираюсь возражать, — он хочет поговорить с тобой о каком-то важном деле, которое касается лично тебя.

— Какое же дело может меня касаться?

— Это для твоего же блага… так он по крайней мере сказал мне.

Почему на этот раз после стольких отказов я согласилась принять приглашение Астариты? Сама не знаю. Я ответила совсем тихо:

— Хорошо, я схожу к нему.

Джизелла была немного обескуражена моей покорностью. Тут только она заметила, как я бледна и напугана.

— Да что с тобой? — спросила она. — Ты боишься, что он из полиции? Но он на тебя совсем не сердится… Он ведь не собирается арестовывать тебя, чего ты испугалась?

Я встала, хотя чувствовала, что еле держусь на ногах.

— Хорошо, — повторила я, — я к нему схожу… в каком он министерстве?

— В министерстве внутренних дел… это напротив кинотеатра «Суперчинема». Но послушай…

— А в какое время?

— Он будет тебя ждать с утра… но послушай-ка…

— До свидания.

В ту ночь я почти не спала. Я не понимала, чего может добиваться от меня Астарита, кроме любви, но какое-то странное предчувствие говорило мне, что ничего хорошего ждать не приходится. Достаточно того, что он позвал меня к себе на службу, значит, дело так или иначе связано с полицией. Как все бедные люди, я знала, что, когда в дело вмешивается полиция, хорошо это кончиться не может. Я еще раз обдумала все свои поступки и пришла к выводу, что Астарита снова собирается шантажировать меня, воспользовавшись какими-то сведениями о Джино. Мне была неизвестна его жизнь, но кто знает, может, он политически

неблагонадежен. Сама я никогда не занималась политикой, но все же не была полной невеждой и понимала, что существует немало людей, которые выступают против фашистского правительства, и именно такие, как Астарита, приставлены вести слежку за этими врагами правительства. Моя фантазия рисовала в ярких красках картину нашей встречи с Астаритой, который, наверно, заставит меня выбирать: либо я снова уступлю ему, либо Джино посадят за решетку. Беда была в том, что я ни за что не хотела уступать Астарите, но, с другой стороны, боялась, что Джино арестуют. Думая обо всем этом, я теперь не только не испытывала сострадания к Астарите, а даже ненавидела его. Он казался мне трусливым и низким человеком, не только недостойным жить на свете, но заслуживающим самой жестокой смерти. И должна признаться, что в ту ночь среди множества разных планов мне даже приходило в голову убить Астариту. Но скорее всего, это был просто болезненный ночной кошмар. Я никогда не смогла бы осуществить своего намерения, хотя бы из-за того, что у меня не хватило бы на то твердости и решимости. Кошмар этот не покидал меня до самого утра. Я уже представляла себе, как кладу в сумочку остро наточенный складной нож, которым мама чистит картошку, вхожу к Астарите с притворно робким видом, а потом изо всех сил недрогнувшей рукой наношу ему удар ножом в затылок, между ухом и узкой полоской белого крахмального воротничка. Я воображала, как спокойно выхожу из его комнаты, а потом убегаю и скрываюсь у Джизеллы или еще у какого-нибудь надежного человека. Однако, представляя себе все эти кровавые сцены, я в то же самое время знала, что никогда не смогу поступить подобным образом: я боюсь крови, боюсь причинить боль другому человеку, и по характеру своему я скорее склонна терпеть любое насилие над собой, чем прибегать к нему.

К утру я заснула, но спала мало, и, когда рассвело, я встала и отправилась, как обычно, на свидание с Джино. Как только мы очутились на нашем шоссе, я после короткого разговора спросила его:

— Скажи мне, ты никогда не занимался политикой?

— Политикой? Что ты имеешь в виду?

— Не замышлял ли ты что-нибудь против правительства?

Он пристально посмотрел на меня и спросил:

— Скажи, ты что, считаешь меня кретином?

— Нет, но…

— Нет, прежде всего ответь мне: похож я на кретина?

— Нет, — ответила я, — ты не похож… но…

— Тогда, — заключил он, — какого черта я стал бы заниматься политикой?

— Не знаю, но ведь иногда…

— Ничего подобного… а тому, кто тебе это скажет, можешь заявить, что Джино Молинари не кретин.

Около одиннадцати утра, после того как я целый час бродила вокруг министерства, не решаясь войти, я наконец обратилась к швейцару и спросила, как мне найти Астариту. Я поднялась сначала по одной длинной широкой мраморной лестнице, потом по другой, не такой длинной, прошла несколько просторных коридоров и очутилась в приемной, где было три двери. Я привыкла связывать со словом «полиция» грязные и темные помещения районных комиссариатов, поэтому меня очень поразила роскошь министерства, где работал Астарита. Приемная с мозаичным полом и со старинными картинами, какие увидишь только в церкви, была похожа на банкетный зал. Кожаные кресла были расставлены вдоль стен, а посредине комнаты стоял массивный стол. При виде всей этой роскоши я невольно подумала, что Джизелла права: Астарита и в самом деле, должно быть, важная персона. Совершенно неожиданным образом мне представилась возможность убедиться в этом. Только я села в кресло, как одна из дверей отворилась, и оттуда вышла высокая, красивая, хотя уже не молодая, изящно одетая синьора во всем черном, с вуалеткой на лице, ее сопровождал Астарита. Я встала, думая, что наступила моя очередь. Но Астарита издали сделал мне знак, предупреждая, что видит меня и просит подождать, а сам продолжал

разговаривать с дамой. Затем, проводив синьору до середины комнаты и поцеловав на прощанье ей руку, он пригласил какого-то старика в очках с седой бородкой, в черном костюме, похожего на профессора, который тоже ждал в приемной. По знаку Астариты старичок тотчас же поднялся и с подобострастным видом, тяжело дыша, бросился к нему. Затем оба они скрылись в кабинете, а я осталась одна.

Больше всего меня поразила перемена в поведении Астариты, он теперь вел себя по-другому, совсем не так, как во время нашего знакомства и поездки в Витербо. Тогда он дрожал, был неловкий, молчаливый, смущенный, теперь же он предстал передо мною в другом свете: он прекрасно владел собою, держался непринужденно, хотя и серьезно, независимо, с чувством какого-то скрытого превосходства. Даже голос его переменился. Во время нашей поездки он говорил низким, страстным, сдавленным шепотом, а сейчас, когда он разговаривал с дамой в вуалетке, голос его звучал ясно, солидно, ровно и спокойно. На нем был, как и в прошлый раз, темно-серый костюм, белая сорочка с высоким воротничком, так туго обхватывающим шею, что ему трудно было вертеть головой, и этот костюм, и воротник, которые я хорошо разглядела еще во время поездки в Витербо и которым тогда не придала особого значения, теперь как нельзя лучше соответствовали всей здешней обстановке, и этой строгой и массивной мебели, и этой огромной комнате, и этой тишине и порядку, царящим здесь, будто именно такая одежда была принятой здесь униформой. Джизелла права, снова подумала я, он действительно важная персона, и только любовью ко мне можно было объяснить его смущение и постоянную готовность унижаться передо мной.

Эти размышления настолько рассеяли мою прежнюю тревогу, что, когда несколько минут спустя дверь отворилась и старик ушел, я уже вполне овладела собой. Однако на сей раз Астарита не появился на пороге. Раздался звонок, какой-то чиновник вошел в кабинет Астариты, закрыв за собой дверь, потом вышел, приблизился ко мне и, тихо спросив мое имя, сказал, что я могу войти. Я встала и не спеша направилась к двери.

Кабинет Астариты был лишь немного меньше приемной. Здесь было почти пусто, только в одном углу комнаты стояли диван и два кожаных кресла да большой стол, за которым сидел сам Астарита. Сквозь белые занавески на обоих окнах в комнату заглядывал холодный, пасмурный, тихий и печальный день, и мне почему-то вспомнился голос Астариты, когда он разговаривал с дамой в вуалетке. На полу лежал большой мягкий ковер, а на стенах висело несколько картин. Одну из них я запомнила: широкие зеленые поля тянулись до самого горизонта и замыкались цепью крутых гор.

Астарита сидел за большим столом, а когда я вошла, он даже не поднял глаз от бумаг, которые читал, а скорее всего, делал вид, что читает. Я говорю «делал вид», потому что была уверена: все это обычная комедия, он хочет запугать меня и внушить, что, дескать, обладает большой властью и занимает важный пост. И в самом деле, когда я приблизилась к столу, то увидела, что на листе бумаги, на который он воззрился, было всего три или четыре строчки и внизу какая-то подпись. Как ни старался он скрыть волнение, рука, которой он подпирал подбородок, не выпуская зажатой между двумя пальцами сигареты, заметно дрожала. Так что даже пепел с сигареты упал прямо на лист бумаги, который он рассматривал с таким преувеличенным вниманием.

Я оперлась руками о край стола и сказала:

— Вот я и пришла.

Услышав эти слова, он вздрогнул, оторвался от бумаг, поспешно встал, подошел ко мне и пожал мне обе руки. Все это он проделал молча, стараясь сохранить независимый и непринужденный вид. Но я сразу поняла, что едва он услышал мой голос, как тут же забыл о той роли, которую приготовился разыграть, и им снова овладело обычное неодолимое волнение. Он поцеловал мои руки, сперва одну, потом другую, посмотрел на меня глазами, полными грусти и вожделения, хотел было заговорить, но губы его задрожали.

— Ты пришла, — сказал он наконец низким и сдавленным голосом, который был мне так знаком.

Вероятно, происшедшая с ним перемена вернула мне спокойствие.

— Да, я пришла… хотя не следовало бы этого делать… Так что вы хотите мне сказать? — спросила я.

— Поди сядь здесь, — прошептал он, крепко сжимая мою руку.

Так, не отпуская мою руку, он подвел меня к дивану. Я села, он, вдруг опустившись передо мной на колени, обхватил мои ноги и прижался к ним лбом. И все это молча, дрожа всем телом. Он обхватил мои ноги с такой силой, что мне стало больно, и на какое-то время замер, потом лысой головой потянулся кверху, как будто хотел уткнуться лицом в мои колени. Я пошевелилась, намереваясь встать, и сказала:

— Вы хотели сообщить мне что-то важное… говорите… если же вы собираетесь молчать, я уйду.

После этих слов он как бы с трудом поднялся, сел рядом со мною, взял меня за руку и прошептал:

— Ничего… Я хотел просто повидаться с тобой.

Я снова попыталась встать, а он, удерживая меня, добавил:

— Да, я хотел побеседовать с тобою, давай договоримся…

— О чем?

— Я тебя люблю, — сказал он поспешно, — я тебя очень люблю… переходи жить ко мне, в мой дом, будешь там полной хозяйкой… как будто ты моя жена… я накуплю тебе платьев, драгоценностей, всего, что только пожелаешь…

Он словно бредил, слова беспорядочно слетали с его перекосившихся и почти неподвижных губ.

— Ах, так за этим вы меня заставили сюда прийти? — холодно спросила я.

— Не хочешь?

— Не хочу даже говорить об этом.

Странно, но он ничего не ответил на мои слова. Он только поднял руку и, почти гипнотизируя меня своим тяжелым, пристальным взглядом, нежно провел ею по моему лицу, будто хотел запомнить его очертания. Прикосновение его пальцев было ласковым, и я чувствовала, как они дрожат, а он снова и снова касался кончиками пальцев моих висков, щек, подбородка. Это были жесты сильно любящего человека, и любовь его была столь убедительной, что, несмотря на всю свою решимость никак не отвечать на его чувства, я все-таки на какое-то мгновение готова была из жалости сказать ему несколько слов, не таких резких и грубых, как раньше. Но не успела, как раз в эту минуту он встал и отрывисто сказал задыхающимся голосом, но что-то новое послышалось в нем, кроме уже знакомого мне волнения и желания:

— Подожди-ка… я в самом деле… хочу сообщить тебе одну важную вещь.

Он подошел к столу и взял какой-то красный блокнот. Теперь, когда он направлялся ко мне с блокнотом, настала моя очередь волноваться. Срывающимся голосом я спросила:

— Что это такое?

— Это, это… — он запинался и наконец с трудом выдавил из себя вопреки всем усилиям выдержать независимый и официальный тон, — это сведения, которые касаются твоего жениха.

— Ах, — вырвалось у меня, и на минуту я от страха зажмурила глаза.

Астарита ничего не заметил, он листал блокнот, беспокойно комкая бумагу.

— Джино Молинари, не так ли?

— Да.

— Ты должна обвенчаться с ним в октябре, не правда ли?

— Да.

— Но есть сведения, что Джино Молинари уже женат, — продолжал он, — точнее, женат уже четыре года на Антоньетте Партини, дочери покойного Эмилио Партини и Диомиры Лаванья, и у них есть дочь по имени Мария… в настоящее время жена его проживает у своей матери в Орвьето.

Я молча поднялась с дивана и направилась к двери. Астарита застыл как вкопанный

посредине комнаты с блокнотом в руках. Я открыла дверь и вышла.

Стоял мягкий пасмурный зимний день. Помню, едва я очутилась на улице в толпе, меня охватило горькое сознание, что моя жизнь после короткого перерыва, связанного с моими надеждами и приготовлениями к свадьбе, подобно реке, которую сначала заставили искусственно изменить свое течение, а потом направили в прежнее русло, потечет, как и раньше, уже без всяких отклонений и перемен. Вероятно, это чувство было вызвано тем, что я, сраженная страшной новостью, взглянула на окружающий меня мир внимательно, без иллюзий, и люди, дома, автомобили предстали передо мной впервые за много месяцев в своем истинном свете, такими, какими были в действительности, не безобразными и не прекрасными, не слишком значительными и не слишком ничтожными, как раз такими, вероятно, они кажутся внезапно протрезвевшему пьянице; скорее всего, это мое состояние объяснялось тем, что я вдруг ясно осознала: настоящую жизнь нельзя ограничить узкими рамками моего представления о счастье, она, наоборот, складывается из таких вещей, которые часто противоречат всем правилам и представлениям, проявляют себя неожиданно в крайне неприглядном виде, причиняют боль и приносят разочарование. И если жизнь действительно устроена так, какой я увидела ее теперь, то именно в то утро после нескольких месяцев опьянения я вновь начала жить.

И это новое восприятие жизни явилось единственным откровением, которое принесло мне разоблачение двуличности Джино. Я не думала осуждать его, даже не питала на него глубокой обиды. Я сама в какой-то мере была виновата в том, что поддалась на обман: слишком памятны для меня были минуты наслаждения, которые я переживала в объятьях Джино, чтобы не найти если не оправдание, то хотя бы извинение его лживости.

Ослепленный страстью, он скорее слабый, чем злой человек, думала я, и вся беда — если это можно назвать бедой — именно в том, что моя красота кружила мужчинам голову и заставляла забывать свой долг и всякий стыд. И в общем-то Джино был не более виновен, чем Астарита, только первый прибегнул к обману, а второй — к шантажу. Однако оба они любили меня по-своему, и, уж конечно, если бы могли законным образом соединить свою жизнь с моею, то каждый из них дал бы мне то скромное счастье, которое я ставила превыше всего. Но судьбе, видно, было угодно, чтобы я, несмотря на свою красоту, сталкивалась только с теми мужчинами, которые не могли дать мне этого счастья. И если мне было еще не ясно, кто же здесь главный виновник, то, во всяком случае, я хорошо понимала, что жертва есть и что жертва эта я сама.

Может быть, некоторым покажутся несколько странными те чувства, которые я испытывала после разоблачения предательства Джино. Но всякий раз, когда мне наносят обиду, у меня появляется желание простить обидчика и поскорее забыть обо всех оскорблениях. Такое смирение проистекает, скорее всего, из-за моей бедности, наивности и беззащитности. И если вследствие обиды какая-то перемена и происходит во мне, то она отражается не на моем поведении и внешнем виде, а прячется где-то в глубине души, которая, подобно кровавой ране, быстро зарастает сверху здоровой тканью и зарубцовывается. Но шрамы остаются; и эти, казалось бы, незаметные движения души являются определяющими.

И в этой истории с Джино со мною произошло то же самое. Я ни минуты не питала злобы к нему, но в глубине души почувствовала, что навсегда рухнули мои чаяния иметь семью, мое уважение к Джино, мое желание восторжествовать над Джи-зеллой и мамой, моя вера в бога или хотя бы то, что было до сих пор для меня верой. Я невольно сравнивала себя с куклой, которой играла в детстве: целыми днями я швыряла и тормошила бедняжку, вдруг однажды изнутри послышался звон и треск, и, хотя розовое лицо по-прежнему улыбалось, непоправимое уже произошло. Я отвинтила ей голову, и из отверстия посыпались осколки фарфора, веревочки, винтики и крючки механизма, который заставлял ее пищать и закрывать глаза, там внутри оказалось еще множество каких-то загадочных деревяшек и тряпочек, назначение которых мне так и не удалось выяснить.

Пораженная в самое сердце, но внешне спокойная, я пошла домой. В тот день я

занималась своими обычными делами, маме я ничего не сказала о том, что случилось со мною и какие выводы я для себя сделала. Но поняла, что не в силах больше притворяться и шить себе приданое, поэтому я взяла уже готовые и еще не конченные вещи и заперла их в шкаф в своей комнате. От маминых глаз не укрылась моя грусть, столь необычная для меня, всегда веселой и беззаботной, но я сказала, что просто устала, как оно и было на самом деле. Вечером, когда мама еще сидела за шитьем, я ушла в свою комнату и не раздеваясь легла на кровать. Я смотрела теперь на свою мебель, за которую уже полностью расплатилась деньгами Астариты, совсем иными глазами, без прежней радости и надежды. Мне казалось, что я не страдаю, а только ужасно устала и все мне безразлично, как бывает после окончания тяжелой и бесплодной работы. Кроме того, я испытывала и физическую слабость, все тело мое болело и жаждало отдыха. Думая о своей мебели, о том, что теперь мне не придется пользоваться ею, как мечталось, я так и заснула одетая. Проспала я, наверно, часа четыре глубоким, но тяжелым и беспокойным сном и, проснувшись в полной темноте, громко позвала маму. Она тотчас же откликнулась и сказала, что не хотела будить меня, потому что я спокойно и сладко спала.

— Ужин я приготовила час тому назад, — добавила она. — Что с тобой? Разве ты не встанешь?

— Мне не хочется вставать, — ответила я, прикрыв ладонью глаза, ослепленные светом, — принеси сюда ужин, ладно?

Мама вышла и немного погодя вернулась с подносом, на котором стоял мой обычный ужин. Она поставила поднос на край постели, и я, приподнявшись немного и опершись на локоть, начала нехотя есть. Мама стояла и смотрела на меня. Но проглотив несколько кусочков, я перестала есть и опустилась на подушки.

— Что с тобой? Почему ты не ешь? — спросила мама.

— Я не голодна.

— Тебе нездоровится?

— Я чувствую себя прекрасно.

— Тогда я уберу отсюда еду, — сказала мама, взяла поднос с кровати и поставила его на пол возле окна.

— Завтра утром не буди меня, — сказала я немного погодя.

— Почему?

— Потому что я решила больше не позировать: устаешь страшно, а зарабатываешь мало.

— А что же ты будешь делать? — с беспокойством спросила она, — я не могу содержать тебя… ты уже не девочка и обходишься недешево… Кроме того, у нас много расходов… твое приданое…

Мама начала причитать и хныкать. Закрыв лицо руками, я медленно и отчетливо произнесла:

— Сейчас не приставай ко мне… успокойся, деньги у нас будут.

Последовало долгое молчание.

— Ты больше ничего не хочешь? — спросила наконец мама испуганно и беспокойно, совсем как горничная, которую упрекнули в излишней фамильярности и которая пытается подольститься, чтобы ее простили.

— Будь добра… помоги мне раздеться… Я ужасно устала и безумно хочу спать.

Мама покорно уселась на постель, сняла с меня туфли и чулки, затем аккуратно сложила их на стуле возле изголовья кровати. Затем она сняла с меня платье, белье, помогла натянуть ночную сорочку. Все это время я не открывала глаз и, как только очутилась под одеялом, свернулась калачиком и укрылась с головой простыней. Я слышала, как мама выключила свет, пожелала мне доброй ночи, остановившись на пороге, но я ничего не ответила. Заснула я мгновенно, крепко проспала всю ночь и проснулась поздно.

Утром я, как обычно, должна была встретиться с Джино, но, проснувшись, поняла, что не смогу видеть его до тех пор, пока не пройдет моя боль и пока я не буду относиться к его

предательству беспристрастно и спокойно, как к событию, которое произошло не со мною, а с кем-то другим. И тогда, и много позднее я старалась избегать всяческих объяснений, вызванных смятением чувств, особенно когда чувства эти — как в данном случае — отнюдь не были чувствами симпатии и любви. Конечно, я уже больше не любила Джино, но и не таила зла против него, потому что не хотела, чтобы, кроме горечи от его предательства, душа моя наполнилась еще более неприятным и унизительным для меня чувством — ненавистью.

Впрочем, в то утро я испытывала особую, почти сладострастную лень и чувствовала себя уже не такой убитой, как накануне вечером. Мама надолго ушла, и я знала, что раньше полудня она не вернется. Я нежилась в постели, и это было первым удовольствием, которое я испытала в начале нового периода моей жизни, когда я решила, что буду отныне искать только одних удовольствий. Для меня, которой всю жизнь приходилось подниматься с постели ранним утром, это безделье в утренние часы было настоящей роскошью. Долго я отказывала себе в этом, а теперь решила позволить себе такую прихоть, и так я буду поступать всегда, буду иметь все, от чего до сих пор я вынуждена была отказываться из-за своей бедности или ради надежды на тихую семейную жизнь. Ведь я люблю мужчин, думала я, люблю деньги, люблю вещи, которые можно купить за деньги; поэтому отныне я не упущу ни одного удобного случая, не откажусь от любви, от денег и от того, что они могут мне дать. Однако не надо думать, что я собиралась жить так с досады, обиды или из чувства мести. Наоборот, я думала об этом с удовольствием, заранее предвкушала все радости, В любом положении, как бы неприятно оно ни было, есть своя прелесть. Я потеряла в течение часа надежду создать семью и обрести маленькое, тихое счастье, которое она мне сулила, а взамен получила свободу. Правда, мои самые сокровенные желания так и остались неосуществленными, зато мне нравилась легкая жизнь, и блеск такой жизни затмевал все печальные и унизительные ее стороны. Наставления мамы и Джизеллы наконец принесли свои плоды. Все время, пока я вела честную жизнь, меня пытались убедить, что своей красотой я смогу добыть себе все, что только пожелаю. И в то утро я впервые стала смотреть на свое тело как на весьма удобное средство, благодаря которому можно достичь тех целей, каких я не смогла добиться ни трудом, ни добродетелью.

В этих мечтах или, вернее сказать, размышлениях утро пролетело незаметно, и я удивилась, когда услышала, как колокола на соседней церкви прозвонили полдень, а длинный солнечный луч, проникший сквозь окно, дотянулся до самой моей кровати. И этот колокольный звон, и солнечный луч, так же как и мое безделье, — все это казалось мне необычным, приятным и неслыханным удовольствием. Вот так же, должно быть, нежатся в своих постелях, мечтают, слушают колокольный звон и следят за солнечными бликами богатые синьоры, которые живут в домах, похожих на виллу хозяев Джино. И все с тем же сознанием, что я уже больше не бедная работящая Адриана, какой была вчера, а совсем новая, другая, я наконец поднялась с постели и, подойдя к зеркальному шкафу, сняла с себя ночную сорочку. Я посмотрела на себя в зеркало и впервые поняла мамину гордость, вспомнив, как она говорила художнику: «Посмотрите, какая у нее грудь… какие ноги… какие бедра».

Я вспомнила Астариту, вспомнила, как желание обладать этим телом меняло его характер, манеры и даже голос, и я сказала себе, что, конечно, найдется немало мужчин, которые за то, чтобы насладиться моим телом, заплатят столько же, а может быть, и еще щедрее, чем Астарита.

Не спеша, сообразно моему новому настроению, я оделась, выпила чашку кофе и вышла из дома. Я зашла в ближайший бар и позвонила по телефону Джино. Он дал мне номер телефона виллы, но посоветовал с особой лакейской предосторожностью звонить только в исключительных случаях, так как господа не любят, когда слуги пользуются телефоном. Я поговорила с какой-то женщиной, должно быть с горничной, потом через минуту подошел Джино. Он сразу же спросил меня, не заболела ли я, и я не могла сдержать улыбку, так эта заботливость соответствовала его неизменно безукоризненному поведению, которое, вероятно, не всегда было неискренним, по-тому-то и ввело меня в заблуждение.

— Я чувствую себя отлично, — ответила я, — никогда так хорошо себя не чувствовала.

— А когда мы увидимся?

— Когда угодно, — ответила я, — но только я хотела бы встретиться так, как мы встречались раньше… то есть на вилле, когда твои господа уедут.

Он тотчас же понял, о чем я говорю, и быстро сказал:

— Они уедут дней через десять… в рождественские праздники… не раньше.

— Тогда увидимся через десять дней, — небрежно сказала я.

— Как, — спросил он удивленно, — значит, раньше мы не увидимся?

— Раньше у меня не будет времени.

— Что случилось? — спросил он с подозрением в голосе. — Ты на меня сердишься?

— Нет, — ответила я, — если бы я сердилась, то не стала бы встречаться с тобой на вилле. — Тут мне пришло в голову, что он начнет ревновать и надоедать мне, поэтому я добавила: — Не бойся… я тебя люблю по-прежнему… просто мне нужно помочь маме выполнить срочный заказ… к празднику… я смогу выходить из дома только очень поздно, а ты в это время всегда занят, поэтому лучше подождать, пока твои господа уедут.

— Ну, а по утрам?

— Утром я буду спать, — ответила я, — между прочим, ты знаешь, я больше не позирую.

— Почему?

— Я устала… ты доволен? Итак, увидимся через десять дней… я тебе позвоню.

— Хорошо.

Он произнес эти слова не очень уверенно, но я достаточно хорошо знала его и была убеждена, что раньше чем через десять дней он, несмотря на свое подозрение, не даст о себе знать. И более того, именно потому, что он подозревает что-то, он не объявится раньше. Джино никогда не был смелым человеком, а мысль, что я разоблачила его обман, должно быть, наполнила его душу страхом и волнением. Повесив трубку, я вспомнила, что разговаривала с Джино спокойно, приветливо, даже любезно, и это меня порадовало. Скоро и в моем чувстве к нему я сумею обрести такое же спокойствие, такую же приветливость и любезность; и я смогу встретиться с ним без боязни обнаружить в себе, в нем и в наших отношениях фальшь, скуку и ненависть.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

В тот же день я отправилась в меблированные комнаты навестить Джизеллу. Было уже за полдень. В этот час Джизелла обычно только поднималась с постели и начинала одеваться, чтобы идти на свидание с Риккардо. Я присела на неубранную кровать, а Джизелла тем временем расхаживала по комнате, где царил полумрак, среди разбросанных в беспорядке платьев и белья. Я спокойно рассказала ей, как ходила к Астарите и как он сообщил мне, что Джино женат и у него есть ребенок. Услышав эту новость, Джизелла вскрикнула не то от радости, не то от неожиданности, подошла ко мне, села напротив и обняла меня за плечи.

— Да что ты… не может быть… жена и ребенок… да так ли это?

— Его дочь зовут Марией.

Было ясно, что ей хочется все разузнать как следует и обсудить эту новость, но мой спокойный вид разочаровал ее.

— Жена и дочь… дочь зовут Марией… и ты так спокойно об этом говоришь?

— А как же я должна говорить?

— И тебя это не огорчает?

— Конечно, огорчает.

— Значит, он тебе так и сказал: Джино Молинари женат и у него есть ребенок… да?

— Да.

— А ты ему что ответила?

— Ничего… что я должна была ответить?

— Ну, что ты почувствовала? Заплакала?.. В конце концов, это просто катастрофа для тебя.

— Нет, я не заплакала.

— Ведь теперь ты не сможешь выйти за него замуж! — воскликнула она с легкомысленным и веселым видом. — Ну и подлость… Надо же быть таким бессовестным… бедная девушка, которая, можно сказать, жила только ради него одного… Что за подлецы мужчины!

— Джино еще не знает, что мне все известно, — сказала я.

— На твоем месте, дорогая, — взволнованно воскликнула она, — я выложила бы ему всю правду в глаза… и не мешало бы влепить ему пару хороших оплеух.

— Я назначила ему свидание через десять дней, — ответила я, — думаю, что мы будем продолжать наши прежние отношения.

Она отступила назад, широко раскрыв от удивления глаза:

— Но зачем? Он тебе еще нравится? После всего, что он натворил?

— Нет, — ответила я, с трудом сдерживая волнение, — он теперь уже не так сильно нравится мне… Но, — я заколебалась, а потом, поборов себя, добавила: — не всегда ведь пощечины и ругань являются лучшим орудием мести.

С минуту Джизелла молча смотрела на меня, прищурив глаза и отодвинувшись назад, как это делают художники, когда разглядывают свою работу, потом воскликнула:

— Ты права… как я не подумала об этом… а знаешь, как я поступила бы на твоем месте? Преспокойно оставила бы его в счастливом неведении, а потом в один прекрасный день бац — и бросила бы его. — Я ничего не ответила. Спустя минуту она продолжала уже более спокойно, но все еще громким голосом, в котором слышалось воодушевление: — Прямо до сих пор не могу прийти в себя… жена и дочь… а перед тобой он корчил из себя бог знает кого… да еще заставил тебя купить мебель, приданое… ну и дела, ну и дела! — Я упорно молчала. — Но я-то, — воскликнула она с торжеством, — согласись, что я-то его сразу раскусила… что я тебе говорила? Этот человек тебя обманывает… бедная Адриана.

Она обняла меня и поцеловала. Я позволила ей поцеловать меня, а потом сказала:

— Да, по самое страшное, что из-за него я потратила все мамины деньги.

— А твоя мать знает об этом?

— Нет, пока еще не знает.

— О деньгах не беспокойся, — закричала она. — Астарита влюблен в тебя по уши… стоит тебе захотеть, и он даст тебе сколько угодно денег.

— Я не хочу больше видеть Астариту, — ответила я, — любой мужчина, только не Астарита.

Должна заметить, что Джизелла была вовсе не глупа. Она тотчас же поняла, что об Астарите, по крайней мере теперь, не может быть и речи, и поняла также, что значили мои слова «любой мужчина». Она сделала вид, что размышляет, потом сказала:

— В конце концов, ты права, я тебя понимаю… после всего, что случилось, мне тоже было бы неприятно видеться с Астаритой… он всего хочет добиться силой… и о Джино он рассказал тебе в отместку. — Она снова замолчала, а потом с торжественным видом заявила: — Положись на меня… хочешь, я познакомлю тебя с человеком, который охотно тебе поможет?

— Да, хочу.

— Положись на меня.

— Только я не хочу больше ни с кем быть связанной, — добавила я, — хочу быть свободной.

— Положись на меня, — повторила она в третий раз.

— Первым делом я хочу вернуть все деньги маме, — продолжала я, — хочу купить кое-что себе и, наконец, хочу, чтобы мама больше не работала.

Джизелла тем временем уселась у туалетного столика.

— Ты всегда была слишком добра, Адриана, — сказала она, торопливо пудря лицо, — теперь видишь, к чему приводит доброта.

— Знаешь, сегодня утром я не ходила позировать, — заявила я, — решила бросить это занятие.

— И правильно сделала, — отозвалась Джизелла, — я тоже в конце концов занимаюсь этим только ради… — и она назвала имя одного художника, — только чтобы доставить ему удовольствие… а как только он кончит работу, баста!

Я совершенно успокоилась и испытывала теперь к Джизелле огромную симпатию. Ее слова «положись на меня» звучали для меня как ободрение, как сердечное и искреннее обещание разрешить как можно скорее все мои затруднения. Я прекрасно понимала, что Джизелла хочет помочь мне не из любви, а, как в том случае с Астаритой, из желания, возможно и неосознанного, увидеть меня поскорее в таком же положении, в каком находилась она сама — ведь никто ничего не делает даром, — и, поскольку на этот раз желание Джизеллы совпадало с моим, у меня не было повода отказываться от ее помощи, пусть даже и не бескорыстной.

Джизелла очень торопилась, она уже опаздывала на свидание с женихом. Мы вышли вместе и начали спускаться по темной, крутой и узкой лестнице старого дома. На лестнице Джи-зелла, находившаяся все еще в возбужденном состоянии, а может быть, испытывая желание как-то смягчить мое огорчение и показать, что я не одинока в своем горе, сказала:

— Знаешь, я начинаю думать, что Риккардо хочет устроить со мной такую же шутку.

— Он тоже женат? — наивно спросила я.

— Нет, конечно, он не женат… Думаю, что он просто водит меня за нос… я ему заявила: дорогой мой, я в тебе не очень-то нуждаюсь, если угодно, оставайся, а не угодно, можешь катиться на все четыре стороны.

Я ничего не ответила, но подумала: какая огромная разница между мною и Джизеллой и как непохожи ее отношения с Риккардо на мои отношения с Джино. В конце концов, она никогда не обольщалась насчет намерений Риккардо и, насколько мне известно, время от времени беззастенчиво изменяла ему, а я всеми силами своей наивной души надеялась стать женой Джино и всегда оставалась ему верна, ибо нельзя назвать изменой тот случай, когда я уступила Астарите в Витербо, ведь он принудил меня к этому шантажом. Но я подумала, что Джи-зелла может обидеться на меня, если я ей это скажу, поэтому я промолчала. У ворот мы расстались, договорившись встретиться завтра вечером в кафе, она просила меня не опаздывать, потому что она, вероятно, будет не одна. Затем Джизелла убежала.

Я понимала, что нужно рассказать обо всем случившемся маме, но у меня не хватало духу. Мама по-настоящему меня любила, поэтому в отличие от Джизеллы, которая в обмане Джино видела лишь подтверждение своей правоты и даже не пыталась скрыть своего торжества, конечно, огорчилась бы, а не обрадовалась этой своей победе. Мама желала мне счастья, и ей было все равно, каким путем оно ко мне придет, просто она считала, что Джино не сможет мне его дать. После долгих колебаний я решила ничего маме не говорить. Пусть завтра вечером она увидит все собственными глазами, и хотя я понимала, что, пожалуй, слишком жестоко таким путем вводить ее в курс событий, перевернувших всю мою жизнь, однако так будет легче избежать объяснений, замечаний и разговоров вроде тех, на которые столь щедрой оказалась Джизелла. По правде говоря, теперь меня охватывал ужас при мысли о приготовлениях к свадьбе, и мне не хотелось ни думать, ни говорить об этом с кем бы то ни было.

На следующее утро, боясь расспросов мамы, которая уже что-то заподозрила, и сказав ей, что спешу на свидание с Джино, я ушла из дома и отсутствовала почти весь день. Специально для свадьбы я сшила себе новый серый костюм, собираясь надеть его сразу после венчания. Это был мой самый лучший наряд, и я долго колебалась, раздумывая, стоит ли надевать его. Но потом я решила, что когда-нибудь все равно придется это сделать, если не сегодня, то в другой раз, кроме того, я понимала, что мужчины всегда придают большое значение внешнему виду, а мне надо было произвести самое выгодное впечатление,

выглядеть как можно элегантнее, чтобы получить побольше денег, и потому отбросила все свои колебания. Итак, я не без трепета надела свой самый лучший наряд, который, как я теперь понимаю, был вовсе не так уж хорош, а, скорее, просто жалок, как и все мои платья в то время, потом я аккуратно причесалась и чуть-чуть, но не более обычного, подкрасилась. Тут я хочу сказать, что никогда не понимала, почему многие женщины моей профессии, выходя на панель, румянятся сверх меры, ведь лица их становятся похожими на карнавальные маски. Это, вероятно, объясняется тем, что в силу своего образа жизни они обычно очень бледны, а может быть, просто боятся, что, ненакрашенные, они не привлекут внимания мужчин либо не дадут им понять, что с ними можно заговорить. Я же, несмотря на усталость и утомление, всегда сохраняла здоровый смуглый цвет лица; без ложной скромности могу сказать, что мне никогда не составляло труда заставить мужчин оглядываться на меня на улице и незачем было прибегать к излишней косметике. Я привлекаю взгляды мужчин не румянами, не подведенными глазами, не выкрашенными в соломенный цвет локонами, а своей статностью — по крайней мере в этом уверяли меня многие мужчины, — своим спокойным и кротким выражением лица, белозубой улыбкой и густыми волнистыми каштановыми волосами. Женщины, которые перекрашивают волосы и румянят щеки, видно, не понимают, что мужчины сразу догадываются, с кем имеют дело, и заранее предвзято судят о них. Моя же непосредственность и вполне приличный вид вводят мужчин в заблуждение, они воспринимают все как случайное приключение, что, по правде говоря, нравится мужчинам больше, чем простое удовлетворение чувственности.

Одевшись и причесавшись, я пошла в кино и два раза подряд посмотрела один и тот же фильм. Когда я вышла из кинотеатра, было уже поздно, и я направилась в кафе, где мы с Джизеллой условились встретиться. Это кафе было шикарное в отличие от той скромной кондитерской, которую мы обычно посещали вместе с Риккардо; сюда я попала впервые. Я тут же поняла, что Джизелла не случайно выбрала это место, ей хотелось подчеркнуть мои прелести, набить мне цену. Все эти уловки и хитрости, а также и другие, о которых я еще упомяну в свое время, действительно могут надежно обеспечить материальное положение молодой красивой женщины вроде меня, что является желанной целью многих женщин. Но не всем удается достигнуть этого, и я как раз принадлежу к числу таких неудачниц. В силу своего простого происхождения я всегда смотрела с недоверием на все роскошные места: в дорогих ресторанах и кафе я чувствовала себя неловко, стыдилась улыбаться или переглядываться с мужчинами, мне казалось, что меня выставили к позорному столбу под ярким светом хрустальных люстр. И наоборот, я всегда питала глубокую и искреннюю любовь к улицам родного города со всеми его домами, церквами, памятниками, магазинами, городскими воротами, ценила эти красивые и родные улицы больше любого роскошного зала ресторана или кафе. Мне нравилось гулять по улицам и бульварам в вечерние часы, медленно прохаживаться вдоль освещенных витрин магазинов, поглядывая временами вверх на постепенно темнеющие кусочки неба в просветах между крыш, нравилось толкаться в толпе и выслушивать, не оборачиваясь, недвусмысленные предложения мужчин, которые иной раз, поддавшись внезапному соблазну, отваживались шептать мне их на ухо; нравилось без конца ходить взад и вперед по одной и той же улице, и я прекращала прогулку, только когда выбивалась из сил, но душа моя оставалась все такой же свежей и ненасытной, будто я бродила по большому базару, где одна диковина сменяет другую. Улица заменяла мне и гостиную, и ресторан, и кафе; ведь я родилась в бедности, а бедняки, как известно, умеют развлекаться, не тратя денег, они любуются выставленными в витринах магазинов товарами, которые не могут купить, и фасадами домов, в которых не имеют возможности поселиться. По той же причине мне нравилось бывать в церквах, которых в Риме великое множество и которые открыты для всех. В этих богатых храмах среди мрамора, позолоты и дорогих украшений застарелый и тяжелый запах нищей толпы перебивает порой благовоние ладана. Конечно, богатые синьоры не прогуливаются по улице и не ходят в церковь, они разъезжают по городу в машинах и, откинувшись на спинки сидений, читают газеты; а я предпочитала улицу всем другим местам, поэтому сразу же пресекала все знакомства, которые, по мнению

Джизеллы, необходимо было поддерживать, жертвуя своими даже самыми глубокими привязанностями. Я ни за что не соглашалась идти на эту жертву, и все время, пока длилась наша дружба с Джизеллой, мои вкусы были предметом бурных споров. Она не любила улицу, к церквам относилась равнодушно, а толпа вызывала в ней презрительное отвращение. Пределом ее мечтаний были дорогие рестораны, где предупредительные официанты следят за каждым жестом клиентов, самые роскошные кафе и игорные салоны, а также модные дансинги, где музыканты наряжены в особые костюмы, а танцующие все сплошь в вечерних туалетах. Здесь Джизелла перевоплощалась, меняла манеры, жесты, даже голос. Словом, изо всех сил старалась казаться дамой из высшего общества, что было для нее идеалом, которого она, как вы увидите впоследствии, в какой-то мере достигла. Но самое любопытное, что человека, которому было суждено удовлетворить ее честолюбивые планы, она встретила не в этих роскошных ресторанах, а благодаря мне, именно на улице, которую так ненавидела.

Джизеллу я застала в кафе вместе с мужчиной средних лет. Он был коммивояжером. Джизелла представила его мне как синьора Джачинти. Он показался мне плечистым, среднего роста, но, когда он встал, я увидела, что он вовсе не высок, а очень широкие плечи делали его еще приземистей. Свои блестящие, как серебро, седые густые волосы он, очевидно, с умыслом подстригал «под ежик», надеясь казаться выше ростом; черты его румяного, пышущего здоровьем лица были правильные, даже благородные, как у статуи: прекрасный лоб, большие черные глаза, прямой нос и хорошо очерченный рот. Но выражение кичливого самодовольства и наигранного благодушия делало это на первый взгляд красивое и величественное лицо скорее отталкивающим.

Я немного волновалась, поэтому, обменявшись рукопожатием с новым знакомым, молча опустилась на стул. Джачинти как ни в чем не бывало продолжал разговаривать с Джизеллой, будто я подошла к ним просто случайно, хотя в действительности все затевалось ради встречи со мной.

— Ты не можешь пожаловаться на меня, Джизелла, — говорил Джачинти, положа ладонь на ее колено, — сколько времени длился наш союз, назовем его так, хорошо?.. Полгода? Так вот, скажи, обидел ли я тебя хоть раз за эти полгода?

Голос у него был звучный, он медленно отчеканивал каждое слово, но старался явно не для слушателя, а просто упивался самим собой.

— Нет, нет, — сказала Джизелла, опуская голову; ей, видно, все это уже давно надоело.

— Ну-ка, Джизелла, скажи Адриане, — продолжал Джачинти своим ясным чеканным голосом, — я не только не скупился платить за услуги — давайте договоримся называть это услугами, — но каждый раз, приезжая из Милана, привозил тебе какой-нибудь подарок… Помнишь, я привез тебе флакон французских духов? А в другой раз подарил тебе куклу из кисеи и кружев?.. Женщины считают, что мужчины ничего не понимают в dessous,[2] но я — счастливое исключение, ха-ха!

Он сдержанно засмеялся, показав великолепные зубы, безупречная белизна которых заставляла сомневаться в их подлинности.

— Дай-ка мне сигарету, — чуть сухо сказала Джизелла.

— Сию секунду, — ответил он с шутливой поспешностью.

Он предложил сигареты и мне, взял себе одну и, закурив, продолжал:

— А ты помнишь сумку, которую я тебе привез в прошлый раз… Такая большая, из толстой кожи… настоящий шик-модерн… ты что же, больше ее не носишь?

— Но ведь это хозяйственная сумка, — сказала Джизелла.

— Люблю делать подарки, — сказал он, обращаясь ко мне, — понятно, не просто из сентиментальных соображений, — он покачал головой и выпустил из ноздрей струю дыма, — а по трем причинам: во-первых, я люблю, когда меня благодарят; во-вторых,

---

[2] Дамское белье (*франц.*).

подарки себя оправдывают: тот, кто получил один подарок, надеется заслужить другой; в-третьих, женщины привыкли строить иллюзии, а подарки служат как бы проявлением любви, даже когда ее нет и в помине.

— Какой же ты хитрец, — безразличным тоном, даже не глядя в его сторону, сказала Джизелла.

Он покачал головой и улыбнулся во весь рот.

— Нет, я не хитрец… просто я человек, который много пережил и сумел извлечь из этого урок… и знаю, что с женщинами надо разговаривать в одной манере, с клиентами — в другой, а с подчиненными существует третий способ разговора и так далее… У меня в голове все аккуратно разложено по полочкам… например, имея в виду какую-то женщину, я разбираю свою картотеку, смотрю: такие-то меры имели должный успех, а такие-то нет, я прячу все на место и действую в соответствии с этим… вот и все.

Он снова рассмеялся.

Джизелла со скучающим видом курила сигарету, а я по-прежнему молчала.

— Женщины довольны мною, — продолжал он, — ибо понимают, что им не придется разочароваться, я-то знаю их потребности, их слабости и их капризы… я ведь тоже радуюсь такому клиенту, который понимает меня с полуслова и с которым не надо тратить зря время на болтовню, потому что знает, чего сам хочет и чего хочу я… у меня в Милане на столе стоит пепельница с надписью «Будь благословен тот, кто не заставляет меня терять время попусту». — Он отложил сигарету, отвернул рукав пиджака, взглянул на часы и добавил: — Я думаю, пора и поужинать.

— Который час?

— Восемь… извините, я сейчас вернусь.

Он встал и удалился в другой конец зала. И в самом деле, он был невысок, широкоплеч, с седыми густыми, стоящими дыбом волосами. Джизелла загасила сигарету о край пепельницы и сказала:

— Какой нудный, только о себе и говорит.

— Я уже заметила.

— Пусть он себе говорит, а ты ему только поддакивай, — продолжала она, — увидишь, он откроет тебе кучу секретов… он воображает себя невесть кем… Но он щедрый и будет делать подарки.

— Да, а потом начнет попрекать ими.

Она ничего не ответила, а только покачала головой, словно говоря: «Тут уж ничего не поделаешь». Мы сидели молча, пока не вернулся Джачинти, он расплатился, и мы вышли из кафе.

— Джизелла, сегодняшний вечер посвящается Адриане, — сказал Джачинти на улице, — но не окажешь ли ты честь поужинать с нами?

— Нет, нет, спасибо, — торопливо отозвалась Джизелла, — у меня свидание.

Распрощавшись с Джачинти и со мной, она ушла. Когда она удалилась, я сказала:

— Джизелла очень славная девушка.

Он скривил рот и ответил:

— Да, недурна, у нее прекрасная фигура.

— Неужели она вам несимпатична?

— Я считаю, — заявил он, шагая рядом со мной и сильно сжимая мою руку высоко, почти под мышкой, — что не обязательно быть симпатичным, а каждый должен хорошо знать свое дело… например: машинистке не обязательно быть симпатичной, она должна быстро и без ошибок печатать на машинке… а такая женщина, как Джизелла, должна уметь исполнять свои обязанности, то есть сделать приятными те час или два, которые я провожу в ее обществе, симпатичной она может и не быть… а Джизелла плохо знает свое дело.

— Почему?

— Потому что думает только о деньгах… и все время боится, что ей мало заплатят или совсем не заплатят… я, конечно, не требую, чтобы она меня любила, но такова уж ее

профессия, женщина должна вести себя так, будто действительно любит меня, и создавать полную иллюзию любви… я ведь за это ей плачу… а Джизелла слишком ясно дает понять, что все делает по расчету… она, черт возьми, не даст дух перевести, как тут же начинает торговаться.

Мы дошли до ресторана, шумного, битком набитого народом, который был под стать Джачинти; здесь собирались коммивояжеры, биржевые маклеры, коммерсанты, промышленники. Джачинти прошел вперед, отдал пальто и шляпу мальчику и спросил:

— Мой столик свободен?

— Да, синьор Джачинти.

Столик стоял возле окна. Джачинти сел и, потирая руки, спросил:

— Ты любишь вкусно поесть?

— Думаю, что да, — ответила я смущенно.

— Хорошо, это мне нравится… за столом надо есть… Джизелла, например, никогда не хотела есть… говорила, что боится располнеть… все это глупости: каждому делу свой час… за столом надо есть.

Он, видно, был сильно зол на Джизеллу.

— Это же правда, — нерешительно заметила я, — кто много ест, тот полнеет… а некоторые женщины не хотят полнеть.

— И ты относишься к категории таких женщин?

— Я нет… но говорят, что я и так слишком полная.

— Не обращай внимания, это все из зависти… ты как раз в норме, уж я-то разбираюсь в таких вопросах. — И он по-отечески погладил мою руку, будто хотел меня успокоить.

Подошел официант, и Джачинти сказал:

— Первым делом уберите эти цветы, они маячат перед глазами… а потом принесите, как всегда… понятно, а? Да поскорее.

И, обращаясь ко мне, добавил:

— Он знает меня и мой вкус… пусть действует сам… увидишь, жаловаться не придется.

И действительно жаловаться мне не пришлось. Все блюда, что нам подали, были вкусны, хотя и не очень изысканны, зато всего было много. Джачинти ел с аппетитом и увлечением, крепко сжимая нож и вилку в руках, он не глядел на меня и молчал, будто находился здесь один. Он был так поглощен едой, что забыл даже о своей пресловутой солидности, ел быстро, как будто боялся, что не успеет насытиться и останется голодным. Он жадно хватался за все разом, запихивал в рот кусок мяса, левой рукой отламывал хлеб и откусывал его, правой наливал себе в бокал вина и начинал пить, еще не прожевав пищу. Все время он причмокивал, переводил глаза с одного предмета на другой и каждый раз встряхивал головой, словно кот, ухвативший слишком большой кусок. Я же, хотя и не страдала отсутствием аппетита, не хотела есть. Впервые я готовилась отдаться мужчине, которого не только не любила, но даже не знала, поэтому я внимательно рассматривала его, стараясь разобраться в своих чувствах и представить себе, как выпутаюсь из положения. Позднее я уже не рассматривала так тщательно внешность мужчин, с которыми имела дело, вероятно потому, что нужда, толкавшая меня на это, научила с первого же взгляда находить в каждом из них что-то хорошее и приятное, чтобы сделать хотя бы более или менее сносными наши интимные отношения. Но в тот вечер эта профессиональная уловка, а именно: с самого начала найти хоть что-нибудь приятное в человеке и тем самым скрасить вынужденную близость, была мне еще неизвестна, и я, можно сказать, инстинктивно и бессознательно искала выхода. Я уже сказала, что Джачинти был недурен собой, и, пока он молчал и не распространялся о чувствах, которые его волновали, он мог показаться даже красивым. Это уже кое-что значило, так как любовь главным образом вызывается физическим влечением; однако мне этого было мало, потому что я никогда не могла не только любить, но даже просто хорошо относиться к мужчине только из-за его приятной наружности. Обед кончился, и прожорливый Джачинти, удовлетворив свой необузданный

аппетит и громко рыгнув несколько раз, снова принялся болтать; я заметила, что в нем не было ничего, что могло бы хоть чуть-чуть понравиться мне, я по крайней мере не могла обнаружить в нем ничего приятного. Он не только все время говорил о себе, о чем меня, впрочем, предупредила Джизелла, но вообще был очень несимпатичен, на редкость самодоволен, рассказывал длинные, нудные истории из своей жизни, которые не делали ему чести и как раз подтверждали мое первое, но слишком лестное о нем впечатление. Ничто, решительно ничто не нравилось мне в нем, а те черты характера, которые он считал своими достоинствами, особенно выхваляясь ими, казались мне непростительными недостатками. Позднее, правда довольно редко, я встречала подобных мужчин, они ничего из себя не представляли, и при всем желании в них нельзя было обнаружить то, что могло бы вызвать расположение к ним; я всегда удивлялась, как такие люди живут на свете, и спрашивала себя, не моя ли тут вина, что я не умею с первого взгляда открывать в людях достоинства, которыми они, несомненно, обладают. Как бы то ни было, но со временем я привыкла к неприятным собеседникам, научилась притворно смеяться, шутить, в общем, стала вести себя так, как хотели того мои клиенты, и становилась такой, какой им хотелось меня видеть. Но в тот вечер эти мои наблюдения вызвали во мне немало грустных мыслей. И пока Джачинти болтал, ковыряя спичкой в зубах, я решила, что новое мое ремесло не такое уж легкое: нужно изображать любовный восторг, которого вовсе не испытываешь; взять, к примеру, Джачинти — он в действительности внушал мне совершенно противоположные чувства. И нет сокровищ, которые могли бы купить твою благосклонность; поэтому трудно, особенно в таких случаях, вести себя иначе, чем Джизелла: она заботилась лишь о деньгах и не скрывала этого. И еще я подумала, что сегодня вечером мне придется вести этого противного Джачинти в свою комнату, которую я готовила не для таких встреч; я решила, что мне не везет, видно, судьба захотела, чтобы я с самого начала не слишком обольщалась, и потому она послала мне именно Джачинти, а не наивного юнца, ищущего любовных приключений, или простого малого без излишних претензий, каких много на белом свете; одним словом, присутствие Джачинти в моей комнате знаменовало собой мое полное отречение от прежних надежд на честную и тихую жизнь.

Джачинти говорил беспрерывно, однако он был не настолько туп, чтобы не заметить мою рассеянность и печаль.

— Крошка, почему мы грустим? — неожиданно спросил он.

— Нет, нет, — покачав головой, поторопилась ответить я.

Я чуть было не поверила в его напускную искренность, мне захотелось вдруг поделиться с ним моими переживаниями и рассказать хоть немного о себе после того, как я столько времени выслушивала его.

— Так-то лучше, — проговорил он, — а то грустные девушки мне не нравятся… и потом, я тебя не для того пригласил, чтобы ты грустила… может быть, у тебя и есть на то причины, не стану спорить, но, пока ты находишься со мною, оставляй свою грусть дома… Я ничего не желаю знать о твоих делах, не желаю знать, кто ты, что с тобой стряслось и все такое прочее… эти вещи меня не интересуют… между нами существует договор, хоть и не в письменном виде… я обязуюсь платить тебе определенную сумму денег, а ты за это обязана скрасить мне вечер… все остальное не в счет.

Он проговорил все это серьезным тоном и даже чуть-чуть раздраженно, очевидно поняв, что я не проявила должного интереса к его россказням. Стараясь скрыть чувства, бушевавшие во мне, я непринужденно ответила:

— Вовсе я не грущу… но здесь очень дымно и шумно, даже голова немного кружится.

— Хочешь, уйдем? — озабоченно спросил он.

Я ответила утвердительно. Тотчас же он подозвал официанта, расплатился, и мы вышли. Когда мы очутились на улице, он спросил:

— Пойдем в какую-нибудь гостиницу?

— Нет, нет, — быстро ответила я. Меня пугала необходимость предъявлять документы, и, кроме того, я уже давно все решила. — Поедем ко мне.

Мы взяли такси, и я назвала свой адрес. Как только машина тронулась, он обнял меня и стал целовать в шею. И тут вдруг я поняла, что он изрядно выпил и, наверно, пьян. Он повторял все время слово «крошка», так называют детей, а в его устах это слово раздражало меня, казалось смешным, пошлым. Сперва я позволяла ему ласкать меня, а потом, показывая на спину шофера, сказала:

— Давай немного подождем, пока не приедем, хорошо?

Он ничего не ответил, а только тяжело откинулся на спинку сиденья, лицо его исказилось, как будто его внезапно поразил тяжелый недуг, потом сердито пробормотал:

— Я плачу шоферу за то, что он меня везет, а не за то, чтобы он следил, чем я занимаюсь в машине.

Он был глубоко убежден, что деньгами, а особенно его собственными, можно заткнуть рот кому угодно. Я ничего не ответила, и весь остаток пути мы сидели неподвижно, не прикасаясь друг к другу. Свет уличных фонарей, проникавший сквозь окна машины, на мгновение освещал наши лица и руки, потом снова наступала темнота, и я удивлялась, что рядом со мной сидит мужчина, о существовании которого несколько часов тому назад я даже и не подозревала, а вот теперь я везу этого человека к себе домой и должна буду отдаться ему, словно он мой возлюбленный. За этими мыслями я и не заметила, как мы приехали. Я очнулась и с удивлением огляделась, машина остановилась на знакомой улице у ворот нашего дома.

На темной лестнице я предупредила Джачинти:

— Прошу тебя, не шуми, я живу вдвоем с мамой.

Он ответил:

— Будь спокойна, крошка.

Поднявшись на площадку, я открыла дверь своим ключом. Джачинти стоял за моей спиной, я взяла его за руку и, не зажигая света, повела через переднюю в свою комнату, которая находилась сразу же налево. Я прошла вперед, зажгла лампу возле кровати и окинула как бы прощальным взглядом свою спальню. Попав в чистую комнату с новой мебелью, Джачинти, боявшийся, очевидно, увидеть нищету и грязь, облегченно вздохнул и, сняв пальто, бросил его на стул. Я попросила подождать меня и вышла.

Я направилась прямо в большую комнату, где мама еще шила, сидя у стола. Увидев меня, она тотчас же отложила работу и хотела подняться, видно собираясь, как обычно, приготовить мне ужин. Но я сказала:

— Не беспокойся, я уже поела… и, кроме того… у меня в комнате находится человек, ни в коем случае не входи туда.

— Какой человек? — с удивлением спросила она.

— Просто человек, — торопливо сказала я, — но не Джино… Это один синьор.

И, не ожидая новых вопросов, я вышла из комнаты.

Войдя к себе, я заперла дверь на ключ. Джачинти с красным от нетерпения лицом пошел мне навстречу и обнял меня. Он был намного ниже меня ростом и, чтобы дотянуться до моего лица губами, прислонил меня к спинке кровати. Он пытался поцеловать меня в губы, но мне удалось избежать его поцелуев: я то стыдливо отворачивалась, то отталкивала его как бы в порыве страсти. Джачинти предавался любви с той же жадностью, неразборчивостью, грубостью, с которой накидывался на еду, принимаясь то за одно, то за другое кушанье, как будто боялся, что не успеет вкусить от всех блюд, он был так же ослеплен моим телом, как нынче в ресторане видом пищи. Потом он захотел раздеть меня. Обнажив мое плечо и руку, он снова принялся целовать меня, как будто моя нагота заставила его переменить намерение. Я испугалась, что грубыми движениями он порвет мое платье, и сказала:

— Скорее раздевайся.

Он тотчас же отпустил меня и, усевшись на кровать, принялся раздеваться. Я последовала его примеру.

— А твоя мать все знает? — спросил он.

— Да.

— И что она говорит?

— Ничего.

— Она тебя порицает?

Я не сомневалась, что эти вопросы были для него лишь острой приправой к пикантному приключению. Впрочем, эта черта присуща почти всем мужчинам, и редкий из них не поддается искушению дополнить физическое удовольствие подобными расспросами то ли из любопытства, то ли из сочувствия.

— Она не порицает, но и не одобряет, — сухо ответила я, встав с постели и снимая через голову сорочку, — я вольна поступать так, как хочу.

Раздевшись, я аккуратно сложила свои вещи на стуле, а потом легла на постель, заложив одну руку под голову, а другую вытянула, прикрыв ладонью живот. Не знаю почему, я вспомнила, что в такой же позе лежала та самая языческая богиня с цветной репродукции, которую художник показал маме и на которую я, по его словам, была похожа; я подумала о том, как сильно изменилась моя жизнь с тех пор, и меня вдруг охватила острая тоска. Джачинти так и обомлел, увидев меня обнаженной, совершенная красота линий моего тела, как я уже сказала, не угадывалась под одеждой, он даже перестал раздеваться и уставился на меня, разинув от удивления рот.

— А ну, пошевеливайся, — сказала я ему, — мне холодно.

Он кончил раздеваться и набросился на меня. Его манеры были под стать его внешности, которую я описала достаточно подробно. Добавлю только, что он относился к тому роду мужчин, которые за свои деньги, даже еще не уплаченные, предъявляют слишком большие требования, будто боятся упустить что-то, боятся, что их надуют. Как он ни был увлечен, он отнюдь не забывал о деньгах и не желал остаться в убытке. Вот почему он старался всячески продлить наше свидание и получить сполна все, что, по его мнению, ему полагалось получить. Поэтому он долго подготавливал меня, как музыкант, настраивающий инструмент, и того же требовал от меня. Я же хоть и подчинилась его воле, однако сразу же ощутила скуку и начала трезво, равнодушно и даже с отвращением как будто издали наблюдать не только за ним, но и за собой. Мне так и не удалось почувствовать к нему симпатию, которую я инстинктивно пыталась вызвать в себе в начале нашей встречи; внезапно мной овладели стыд и раскаяние, и я зажмурила глаза.

Наконец он утомился и откинулся на постель рядом со мной. Он сказал довольным голосом:

— Ты должна признать, что я хоть и не юнец, зато как любовник выше всяких похвал.

— Да, верно, — равнодушно согласилась я.

— Все женщины твердят это, — продолжал он, — и знаешь, как говорится: маленький да удаленький… некоторые мужчины вдвое выше меня, а толку от них никакого.

Мне стало холодно, я села и натянула на нас одеяло. Сочтя мой жест за выражение внимания, он сказал:

— Умница, а теперь я посплю.

Потом свернулся калачиком возле меня и в самом деле заснул.

Я лежала на спине, его седая голова находилась на уровне моей груди. Одеяло прикрывало нас обоих до пояса, и, разглядывая его волосатый торс с дряблыми складками, выдававшими зрелый возраст, я еще сильнее, чем раньше, почувствовала, что лежу с совершенно чужим человеком. Но он спал и поэтому больше не разговаривал, не смотрел и не двигался, словом, никак не проявлялся его малоприятный характер, и спящий он казался лучше, был таким же человеком, как все прочие; исчезли профессия, имя, достоинства и недостатки, рядом со мной находилось лишь ровно дышавшее человеческое тело. Это странно, но, видя, как он сладко спит, я почувствовала к нему почти расположение и потому старалась не шевелиться, чтобы не разбудить его. Я смотрела на убеленную сединами голову, приникшую к моей молодой груди, и почувствовала наконец к нему симпатию, которую так тщетно и долго пыталась в себе вызвать. Меня это обрадовало, и мне стало

теплее. На миг мной овладел какой-то восторг, и глаза мои увлажнились. Должна сказать, что как тогда, так и сейчас сердце мое было преисполнено любви и, не зная на кого ее излить, я без колебаний устремляла свои чувства на недостойных людей, лишь бы они не пропали втуне.

Минут через двадцать он пробудился и спросил:

— Долго ли я спал?

— Нет, не долго.

— Чувствую себя великолепно, — сказал он, поднимаясь и потирая руки, — ах, как я себя хорошо чувствую… мне кажется, я помолодел лет на двадцать.

Он принялся одеваться, шумно выражая свою радость. Я тоже начала молча одеваться. Потом, одевшись, он спросил:

— Мне хотелось бы снова повидать тебя, крошка… как это устроить?

— Позвони Джизелле, — ответила я, — мы встречаемся с ней каждый день.

— И ты всегда свободна?

— Всегда.

— Да здравствует свобода!

Потом, открыв бумажник, он спросил:

— Сколько ты хочешь?

— Сколько дашь, — ответила я, а потом откровенно добавила: — Если дашь побольше, сделаешь доброе дело, мне деньги очень нужны.

— Если я тебе и дам много, — ответил он, — то вовсе не для того, чтобы делать доброе дело… никогда этим не занимаюсь… а я делаю это потому, что ты красивая девушка и мне было приятно провести с тобой вечер.

— Как знаешь, — пожав плечами, ответила я.

— Все имеет свою цену, и за все нужно платить сообразно этому правилу, — продолжал он, вытаскивая деньги из бумажника, — добрые дела — это чушь… ты обладаешь достоинствами, с которыми не сравнятся, скажем, достоинства Джизеллы… и справедливость требует, чтобы ты получила больше, чем Джизелла… добрые дела тут ни при чем… теперь разреши дать тебе один совет: никогда не говори: «сколько дашь»… Пусть так говорят разносчики… Когда я слышу «сколько дашь», я невольно даю меньше, чем нужно.

Он многозначительно подмигнул и протянул мне деньги.

Как меня и предупреждала Джизелла, он оказался щедрым. Сумма превзошла все мои ожидания. Когда я брала деньги, мной вновь овладело то острое чувство наслаждения и сообщничества, которое я испытала, когда взяла деньги у Астариты после нашей поездки в Витербо. В этом сказывается, подумала я, моя склонность к такой жизни, и я, должно быть, создана для подобной профессии, несмотря на то что сердце мое жаждало совсем иного.

— Спасибо, — сказала я и, не отдавая себе отчета в том, что делаю, преисполненная благодарности, порывисто поцеловала его в щеку.

— Спасибо тебе, — ответил он, собираясь уходить.

Я взяла его за руку и повела через темную прихожую к выходу. Двери своей комнаты я плотно закрыла, и мы, не дойдя еще до порога, очутились в кромешной тьме. И вот тогда я почти физически почувствовала, что мама притаилась где-то здесь, в углу темной прихожей, по которой я кралась вместе с Джачинти. Она, должно быть, спряталась за дверью или в углу между шкафом и стеной и теперь дожидается ухода Джачинти. Я вспомнила, что она поступила именно так, до поздней ночи ожидая моего возвращения после свидания с Джино на вилле его хозяев, и меня бросило в жар при мысли, что теперь, как и тогда, сразу после ухода Джачинти она накинется на меня, схватит за волосы, потащит на диван, а там начнет бить кулаками. Я чувствовала, что мама рядом, в темноте, мне казалось, что я вижу, как сзади к моей голове тянется ее рука; вот сейчас она вцепится мне в волосы, по моей спине пробежала дрожь. Одной рукой я держалась за Джачинти, а в другой были зажаты деньги. Тогда я подумала, что, как только мама бросится на меня, я сразу же отдам ей деньги. Это

будет немым намеком на то, что она сама все время толкала меня на такой путь ради денег, и, кроме того, я заставлю ее молчать, воспользовавшись алчностью, которая, как я знала, занимала в ее душе немалое место. Я отперла дверь.

— Итак, до свидания… я позвоню Джизелле, — сказал Джачинти.

Я смотрела, как он спускается по лестнице, широкоплечий, с седыми волосами «ежиком», и, не оборачиваясь, машет мне рукой, потом закрыла дверь. Тотчас же в темноте мама, как я и предполагала, бросилась на меня. Но она не вцепилась мне в волосы, чего я так боялась, а просто неловко обхватила меня, мне даже сперва показалось, что она хочет обнять меня. Помня о своем решении, я нащупала в темноте ее руку и сунула ей деньги. Но мама отшвырнула их, и они упали; на следующее утро, выходя из комнаты, я нашла их на полу. Вся эта сцена произошла молниеносно и в полном молчании.

Мы вошли в большую комнату, и я села за стол. Мама опустилась напротив, не спуская с меня глаз. Она выглядела расстроенной, и я почему-то смутилась. Потом она сказала!

— Знаешь, пока ты находилась там, мне вдруг стало страшно.

— Чего ты испугалась? — спросила я.

— Сама не знаю, — ответила она. — Я почувствовала себя такой одинокой… даже вся похолодела… а потом уже ничего не чувствовала… все вокруг закружилось… Знаешь, так бывает, когда выпьешь вина… все показалось мне таким странным… я думала: вот стол, стул, швейная машина… но я никак не могла убедить себя в том, что это действительно стол, стул, швейная машина… мне показалось даже, что я — не я… я сказала себе: я старуха, я шью на машине, у меня есть дочь, зовут ее Адриана, но я не могла убедить себя в этом… чтобы отвлечься, я начала вспоминать, какой я была в детстве, потом в твоем возрасте, вспомнила, как вышла замуж, как родилась ты… и меня охватил ужас, потому что жизнь промелькнула словно один день, я стала старой и не заметила как… а когда я умру, — закончила она, глядя на меня, — все будет так, будто я и не жила на свете.

— Зачем думать о таких вещах, — тихо сказала я, — ты вовсе не старая… Зачем ты говоришь о смерти?

Мама, видно, не слушала меня и продолжала говорить как в бреду, мне было больно слышать это, ее тон мне казался фальшивым.

— Говорю тебе, мне стало страшно, и я подумала: а если человек не захочет больше жить, то он все равно вынужден жить насильно?.. Я не говорю, что он должен наложить на себя руки, для этого нужна смелость, нет, а вот если человек просто не хочет больше жить, как иногда не хотят есть или двигаться… клянусь тебе памятью твоего отца… я хотела бы умереть.

Глаза ее были полны слез, а губы дрожали. Я тоже расплакалась, сама не знаю почему, и, поднявшись с места, подошла, села рядом на диван и обняла ее. Так мы долго сидели обнявшись и плакали. Я была и без того расстроена и устала, а мамины бессвязные и мрачные речи нагоняли на меня еще большую тоску. Но я первая взяла себя в руки, потому что, говоря по правде, плакала с мамой просто за компанию. Слезы сами по себе перестали литься из моих глаз.

— Хватит, хватит, — сказала я, похлопывая ее по плечу.

— А я тебе говорю, Адриана, что не хочу больше жить на свете, — повторила она со слезами.

Молча гладя маму по плечу, я дала ей наплакаться вволю. А сама тем временем думала, что все ее поведение красноречиво свидетельствует об угрызениях совести. Она ведь постоянно твердила мне, что я должна следовать примеру Джизеллы и продать себя как можно дороже. Но одно — говорить, а другое — делать, теперь она убедилась, что я привела в дом мужчину и заработанные деньги отдаю ей, все это было для нее, вероятно, тяжелым ударом. Теперь она собственными глазами увидела плоды своих наставлений и почувствовала весь ужас содеянного. Но вместе с тем она не желала признать свою ошибку и, быть может, даже испытывала горькое удовлетворение оттого, что теперь уже поздно ее исправлять. И вместо того, чтобы прямо сказать мне: «Ты поступила плохо… больше этого

не делай», она предпочла говорить о вещах, которые в ту минуту совершенно меня не интересовали: о своей жизни и желании умереть. Мне часто случалось наблюдать, как некоторые люди, собираясь совершить предосудительный поступок, заранее стараются оправдать себя и заводят разговор о высоких материях, желая уверить самих себя в собственном бескорыстии и благородстве, делая вид, будто от них не зависит то, что они совершают, или же по примеру мамы предоставляют событиям идти своим чередом. И если многие действуют в таких случаях вполне сознательно, то бедняжка мама не отдавала себе в этом отчета, а поступала так, как ей подсказывало сердце и вынуждали обстоятельства. Однако в ее слова о том, что она хочет умереть, я поверила. Я вспомнила, что, когда я узнала об обмане Джи-но, мне тоже не хотелось больше жить. Но мое тело, несмотря на желание умереть, продолжало жить само по себе. Продолжали жить грудь, ноги, бедра, которые так нравились художникам, продолжала жить моя плоть и заставляла жаждать любви даже вопреки моей воле. И хотя я искренне хотела умереть, лечь в постель и больше не проснуться, мое тело, пока я спала, все еще продолжало жить, кровь струилась по жилам, желудок переваривал пищу, отрастали волосы под мышками, там, где я их выбривала, росли ногти, кожа покрывалась потом, силы восстанавливались: и утром сами собой размыкались веки, и глаза снова видели ненавистную действительность, короче говоря, я все еще была жива и должна была жить дальше. Видимо, подумала я, как бы подводя итог своим размышлениям, следует принимать жизнь такой, какая она есть.

Но я ничего не сказала маме, потому что понимала, что мысли мои были ничуть не веселее ее разговоров и они вряд ли бы успокоили ее. А когда я убедилась, что она перестала плакать, я отодвинулась от нее и сказала:

— Я очень проголодалась. — Это было действительно так, потому что в ресторане от волнения я почти не притронулась к еде.

— Я приготовила тебе ужин, — сказала мама, обрадовавшись, что ей представился случай оказать мне услугу и заняться обычным своим делом, — сейчас пойду и разогрею его.

Я села за стол на свое обычное место и стала ждать. Теперь все мысли улетучились из моей головы, и от всего, что произошло, остались лишь сладковатый запах любви на ладонях да соленые следы высохших слез на щеках. Я сидела неподвижно и разглядывала длинные тени, которые высвечивала лампа на голых стенах комнаты. Вошла мама и принесла тарелку с мясом и овощами.

— Суп я разогревать не стала, он не очень хорош… и потом его мало.

— Неважно, хватит и этого.

Мама налила мне полный до краев бокал вина и, как обычно, стала возле меня, готовая исполнить любое мое приказание, а я начала есть.

— Вкусный ли бифштекс? — немного погодя озабоченно спросила она.

— Вкусный.

— Я так упрашивала мясника, чтобы он дал мне молодое мясо.

По-видимому, она уже успокоилась, и все снова стало на свои обычные места. Я не спеша закончила ужин, потянулась, раскинув руки, и сладко зевнула. И вдруг мне стало хорошо, это простое движение доставило мне удовольствие, я почувствовала себя молодой, сильной и счастливой.

— Спать хочу ужасно, — заявила я.

— Обожди, я пойду приготовлю тебе постель, — услужливо отозвалась мама и собралась было идти.

— Нет… не надо… я сама, — остановила ее я.

Я встала из-за стола, а мама взяла пустую тарелку.

— Завтра утром не буди меня, — сказала я ей, — я проснусь сама.

Она кивнула мне, и я, поцеловав ее и пожелав доброй ночи, пошла в свою комнату. Постель была в беспорядке. Но я лишь взбила подушки и поправила простыню, потом разделась и шмыгнула под одеяло. Я полежала немного, глядя открытыми глазами в темноту и ни о чем не думая.

— Я шлюха, — произнесла я наконец вслух, желая удостовериться, как это слово подействует на меня.

Но оно, как я понимаю, не произвело на меня ни малейшего впечатления, я закрыла глаза и почти тотчас заснула.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Я встречалась теперь с Джачинти каждый вечер. Уже на следующее утро он позвонил Джизелле, а та, как только мы увиделись в полдень, передала мне его просьбу о свидании. Джачинти собирался уехать в Милан как раз накануне назначенной мною встречи с Джино, и поэтому я согласилась видеться с ним ежедневно. В противном случае я вообще отказалась бы от этих свиданий, ибо дала себе слово не заводить длительных связей. Уж если пришлось мне заниматься этим ремеслом, думала я, то лучше оставаться свободной и менять время от времени любовников; очевидно, я заблуждалась, тешила себя иллюзией, что таким образом я не буду содержанкой какого-то одного мужчины и, кроме того, смогу избежать опасности влюбиться или привязать его к себе, то есть потерять не только свою независимость, но и возможность свободно распоряжаться своими чувствами. Впрочем, я все еще не расставалась с мыслью о тихой семейной жизни и думала, что если мне подвернется случай выйти замуж, то уж лучше я соединю свою судьбу не с любовником, который сначала берет женщину на содержание, а потом решается узаконить, но отнюдь не облагородить свою связь с ней, а с каким-нибудь молодым человеком, которого полюблю, который полюбит меня и с которым нас будут связывать равное положение, общие вкусы и одинаковые взгляды на жизнь. Одним словом, я хотела, чтобы избранное мною ремесло не осквернило моих прежних надежд. Я не желала идти на сделку с совестью, считая себя в равной степени способной быть как хорошей женой, так и хорошей куртизанкой, но при всем при том я не умела придерживаться в этих вещах золотой середины, как Джизелла. Кроме того, уже доказано, что из нескольких кошельков можно получить больше, чем из одного, пусть даже самого щедрого.

Каждый вечер Джачинти водил меня в тот же ресторан, а потом приезжал ко мне домой и оставался допоздна. Мама отныне отказалась даже говорить об этих посещениях; только поздно утром, входя в мою комнату с кофе на подносе, она спрашивала, хорошо ли я спала. Когда-то я выпивала этот кофе ранним утром, стоя после умывания на кухне возле плиты, еле шевеля застывшими пальцами, с горящим от ледяной воды лицом. Теперь мама приносила кофе в мою комнату, и я пила его лежа в постели, а она в это время открывала жалюзи и начинала прибирать. Я никогда ничего ей не рассказывала, но она сама поняла, что наша жизнь изменилась, и всем своим поведением доказывала, что прекрасно знает, о какого рода переменах идет речь. Она вела себя так, будто между нами существует безмолвный уговор, и казалось, своими заботами она смиренно просит позволения ухаживать за мною, как и прежде, независимо от изменений, происшедших в нашей жизни. Надо сказать, что новая привычка подавать мне кофе в постель, очевидно, в какой-то степени успокаивала ее; есть такие люди, и к их числу принадлежит мама, которые придают огромное значение всяким привычкам, даже таким пустяковым, как эта. С таким же старанием она придумывала и другие мелкие нововведения в нашей повседневной жизни, например, нагревала большой котел воды, чтобы я могла вымыться, как только встану, ставила в вазу цветы в моей комнате и тому подобное.

Каждый раз Джачинти платил мне одну и ту же сумму, и я, ничего не говоря маме, складывала деньги в ящик комода, в коробочку, где она хранила свои сбережения. Себе я оставляла только мелочь. Думаю, она заметила ежедневное пополнение нашего «капитала», но мы никогда и словом не обмолвились об этом. Со временем я поняла, что о деньгах, даже заработанных честным трудом, люди говорить не любят не только с посторонними, но и со своими близкими. Вероятно, с деньгами связано что-то позорное или постыдное, что исключает их из числа обычных предметов и относит к вещам, о которых не принято говорить, а принято скрывать и держать в секрете, как будто в деньгах, каким бы путем они

ни были добыты, есть что-то грязное. А возможно, истина заключается в том, что люди не любят показывать, какие сложные чувства вызывают у них деньги, и чувства эти почти всегда носят оттенок вины.

Как-то вечером Джачинти выразил желание остаться у меня ночевать, но я под предлогом, что боюсь соседей, которые могут увидеть его утром, когда он будет выходить от меня, выпроводила его. По правде говоря, с того первого вечера мы ни на минуту не сблизились, и не по моей вине. Каким он был в первый вечер, таким остался до самого отъезда. Должна признаться, что он мало что из себя представлял и как человек, и как любовник, только раз он сумел вызвать во мне нежность — я говорю о первом дне нашего знакомства, когда он спал, — но чувство это было слишком расплывчатым и, скорей всего, относилось не к нему. Мысль остаться с ним наедине всю ночь внушала мне просто ужас, я боялась умереть от скуки, ибо была уверена, что он не даст мне спать до полуночи и все время будет говорить о себе, изливать свою душу. Однако он не заметил ни моей досады, ни моей неприязни и уехал, убежденный, что за эти несколько дней он мне стал мил.

Наступил день нашего свидания с Джино. Столько событий произошло за эти десять дней, что мне казалось, будто целое столетие минуло с тех пор, как я встречалась с ним по утрам, честно зарабатывала деньги, надеялась обзавестись своим домом и считала себя невестой, которая вот-вот пойдет к венцу. В назначенное время он ждал меня на месте наших свиданий, и, садясь в машину, я заметила, что он очень бледен и взволнован. Любовнику, будь он даже человеком самым бессовестным, неприятно, когда его уличают в измене, а Джино, вероятно, в течение этих десяти дней, пока мы не виделись, чего только не передумал. Но я была совершенно спокойна, и, по правде говоря, мне не пришлось притворяться, потому что теперь я чувствовала себя абсолютно уверенно; пережив первое горькое разочарование, я относилась к Джино скорее снисходительно и скептически. Помимо всего прочего, Джино все еще нравился мне, и я это поняла, как только увидела его, а это уже кое-что значило.

Немного погодя, когда машина тронулась в сторону виллы, он спросил меня:

— Как видно, твой духовник изменил свое решение?

Он произнес эти слова чуть насмешливым и в то же время неуверенным тоном. Я ответила просто:

— Нет… Я сама изменила решение.

— А работу вы с матерью закончили?

— Пока да.

— Странно.

Он, видимо, не знал, что сказать, но было ясно: он старался задеть меня и проверить, правильны ли его подозрения.

— Что же здесь странного?

— Я сказал просто так.

— Ты, очевидно, думаешь, я обманула тебя, сославшись на работу?

— Ничего я не думаю.

Я решила отомстить ему по-своему, поиграть с ним немного, как кошка с мышью, но отнюдь не жестоко, как мне советовала Джизелла, потому что жестокость была не в моем характере. Я кокетливо спросила:

— Уж не ревнуешь ли ты?

— Я?.. Боже упаси!

— Нет, ты ревнуешь… и если бы ты был со мной откровенен, то признался бы в этом.

Он попался на эту удочку и сказал:

— Всякий на моем месте стал бы ревновать.

— Почему?

— Ну, кто этому поверит? Такая важная работа, что ты не смогла даже на пять минут вырваться, чтоб повидаться со мной… ну и дела!

— Все-таки это правда… я много работала, — спокойно ответила я.

Так оно и было на самом деле. Иначе как работой, да к тому же очень тяжелой, и нельзя было назвать вечера с Джачинти.

— Я заработала деньги, чтобы заплатить все взносы за мебель и купить приданое; по крайней мере теперь мы сможем пожениться, не влезая в долги, — прибавила я, жестоко издеваясь сама над собою.

Он ничего не ответил, очевидно, старался убедить себя в правдивости моих слов и прогнать подозрения. Тогда я, как бывало прежде, обняла его за шею, хотя он продолжал вести машину, и, крепко поцеловав за ухом, прошептала:

— Почему ты ревнуешь? Ты ведь знаешь, что у меня, кроме тебя, никого на свете нет.

Мы подъехали к вилле. Джино оставил машину в саду, запер ворота и направился со мною к черному ходу. Наступили сумерки, и в соседних домах уже зажглись огни, свет, лившийся из окон, казался красным в голубой дымке зимнего вечера. В коридоре полуподвала было почти совсем темно, душно, там стоял застарелый запах сырости. Я остановилась и сказала:

— Сегодня я не хочу идти в твою комнату.

— Почему?

— Я хочу спать с тобой в комнате твоей хозяйки.

— Ты с ума сошла! — воскликнул он с возмущением.

Мы часто бывали в верхних комнатах виллы, но любовью занимались только внизу, в его комнате.

— Я так хочу, — заявила я, — а ты против?

— Еще бы!.. Можно нечаянно что-нибудь сломать… мало ли что случится… а если потом заметят, что я буду делать?

— Подумаешь, эка важность, — беспечно сказала я, — выгонят с работы, только и всего.

— И ты так просто об этом говоришь!

— А как мне прикажешь говорить? Если бы ты меня по-настоящему любил, то не стал бы раздумывать.

— Я тебя люблю, но это невозможно, нечего даже говорить об этом, я не хочу иметь неприятности.

— Но мы будем осторожны… они ничего не заметят.

— Нет… нет…

Я была совершенно спокойна и, продолжая играть задуманную роль, воскликнула:

— Я, твоя невеста, прошу тебя сделать мне одолжение, а ты мне отказываешь в этом, должно быть, боишься, что я лягу на то место, где спит твоя госпожа, положу свою голову на ее подушку, да уж не воображаешь ли ты, что она лучше меня?

— Нет, но…

— Да она мизинца моего не стоит, — продолжала я, — ну не хочешь, так и не надо… можешь любоваться простынями и подушками своей хозяйки… а я ухожу.

Как я уже говорила, в нем жило непомерное почтение к господам, он преклонялся перед ними, глупо гордился их богатством, будто оно отчасти принадлежало ему, это я и высказала ему со всей горячностью и решительно направилась к дверям. Впервые увидев такую непреклонность с моей стороны, он совсем растерялся и кинулся вслед за мной.

— Да подожди… куда ты?.. Я сказал просто так… пойдем, пожалуйста, наверх, если тебе так уж хочется.

Я заставила его еще долго упрашивать себя, притворялась обиженной, а потом согласилась; крепко обнявшись и останавливаясь на каждой ступеньке, чтобы поцеловаться, мы поднялись на верхний этаж. Все было как и в первый раз, но только теперь моя душа зачерствела. В комнате хозяйки я первым делом подошла к постели и сбросила покрывало. Джино испугался.

— Неужели ты собираешься лечь под одеяло?

— А почему бы нет, — спокойно ответила я. — Я не хочу мерзнуть.

Он замолчал, всем своим видом выражая досаду, а я, приготовив постель, прошла в ванную, зажгла газовую колонку и приоткрыла кран, чтобы заранее наполнить ванну горячей водой. Джино последовал за мной с беспокойным и недовольным видом и снова запротестовал:

— Теперь ты уже и ванну хочешь принять?

— А они потом принимают ванну?

— Откуда я знаю, что они делают! — ответил он, пожав плечами. Но я видела, что все мои смелые выходки были не так уж неприятны ему, он только старался постепенно приноровиться к ним. Он был трусливым человеком и превыше всего боялся нарушить общепринятые правила. Но отклонения от правил привлекали его тем сильнее, чем реже он себе позволял их. — В конце концов, ты права, — заметил он спустя минуту со смущенной и натянутой улыбкой, пробуя рукой матрац, — здесь очень хорошо… лучше, чем в моей комнате.

— А я что говорила? — Мы присели на край кровати. — Джино, — сказала я, обнимая его за плечи, — подумай только, как будет чудесно, когда мы обзаведемся своим собственным домом… пусть он даже будет не такой, как этот… но ведь он будет наш собственный.

Не знаю, почему я так говорила. Вероятно, потому, что теперь уже я точно знала, что все это мне заказано, но испытывала какое-то удовольствие, бередя рану, которая еще могла причинить сильную боль. Он ответил:

— Да… да… — и поцеловал меня.

— Я знаю, чего я хочу, — сказала я и продолжала, не щадя себя, описывать то, что для меня было навсегда потеряно, — мне нужен вовсе не такой богатый дом… мне хватит двух комнат и кухни… но зато все там будет мое, а дом будет сиять, как стеклышко… и я хочу жить в нем спокойно… По воскресеньям вместе ходить гулять… вместе обедать, вместе спать… подумай, Джино, как это будет прекрасно!

Он ничего не ответил. Признаться, я нисколько не расстраивалась, когда говорила все это. Мне даже казалось, что я играю какую-то роль, словно на сцене. Но от этого на душе становилось еще горше, ведь эта роль, такая чужая и далекая, не пробуждавшая ни единого отзвука в моей душе, еще десять дней тому назад была не ролью, а смыслом всей моей жизни. Пока я говорила, Джино, сгорая от нетерпения, начал раздевать меня, и я снова, как и тогда, когда садилась в машину, убедилась, что он все еще нравится мне, я подумала с грустью и досадой, что именно мое тело, всегда готовое испытать наслаждение, а вовсе не душа, которая теперь отдалилась от Джино, делает меня такой доброй и всепрощающей. Он ласкал и целовал меня, от этих ласк и поцелуев мой рассудок мутился и желание пересиливало сердечную обиду.

— Ты меня измучил, — наконец откровенно прошептала я и упала на постель.

Немного погодя я улеглась поудобнее, он последовал моему примеру, так мы и лежали на этой роскошной постели, укрывшись стеганым одеялом до самого подбородка. В изголовье постели белыми пышными складками спадал балдахин. Комната была вся белая, на окнах — легкие и длинные занавеси, красивые низкие диванчики стояли вдоль стен, кругом — блеск зеркал, хрустальные, мраморные и серебряные безделушки. Простыни тонкого полотна ласкали тело, а стоило мне пошевелиться, как подо мной мягко прогибался матрац, убаюкивая и успокаивая. Из ванной комнаты через открытую дверь доносилось ровное и тихое журчание воды. На душе у меня было легко, и я больше не сердилась на Джино. Наступила как раз подходящая минута сказать Джино обо всем, и я знала, что скажу это спокойно, без злобы.

— Итак, Джино, — ласково произнесла я после продолжительного молчания, — твою жену зовут Антоньетта Партини.

Он, вероятно, уже успел задремать, потому что сильно вздрогнул, как будто его внезапно хлопнули по плечу.

— Что ты такое сказала?

— А дочь твою зовут Марией… верно ведь?

Он хотел было возразить, но, посмотрев мне в глаза, понял, что все бесполезно. Мы лежали на одной подушке, повернувшись друг к другу лицом, и, когда я говорила, мои губы почти касались его губ.

— Бедный Джино, — продолжала я, — зачем ты столько времени обманывал меня?

Он вызывающим тоном ответил:

— Потому что я тебя люблю.

— Если ты меня по-настоящему любишь, то обязан был подумать, что когда я узнаю правду, то буду сильно страдать… а ты об этом подумал, Джино?

— Я тебя полюбил, — сказал он, — и потерял голову… и…

— Хватит, — оборвала я, — сперва мне было очень больно… я не думала, что ты способен на такой поступок, но теперь все прошло… не будем больше говорить об этом… а сейчас я пойду приму ванну.

Я откинула простыню, поднялась и пошла в ванную. Джино остался в постели.

Ванна была полна теплой голубоватой воды, и я с удовольствием глядела на нее, так же как на белый кафель и блестящие краны. Я встала в ванну, а потом потихоньку погрузилась в теплую воду. Вытянувшись во весь рост, я закрыла глаза. Из соседней комнаты не доносилось ни звука. Джино, как видно, переваривал мои слова и старался что-нибудь придумать, чтобы меня не потерять. Я улыбнулась про себя, представляя, как он утопает в широкой двухспальной постели, я так и видела его вытянутое лицо, на которое мое известие подействовало, как оплеуха. Но я улыбнулась отнюдь не злорадно, а просто как улыбаются чему-то смешному, что нас совершенно не касается. Я ведь не сердилась на него, а питала к нему какое-то расположение даже теперь, когда до конца узнала его. Потом я услышала его шаги, он, вероятно, одевался. Немного погодя он заглянул в дверь и посмотрел на меня жалкими, как у побитой собаки, глазами, все еще не решаясь войти.

— Итак, мы больше не увидимся, — наконец произнес он дрожащим голосом.

Я поняла, что он в самом деле любил меня, как умел, однако не настолько, чтобы отказаться от обмана и лжи. Я вспомнила Астариту, который тоже по-своему любил меня. Намыливая плечо, я ответила:

— Почему не увидимся? Если бы я не хотела видеть тебя, я не пришла бы сегодня… будем встречаться, но не так часто, как раньше.

Очевидно, мои слова вернули ему мужество. Он вошел в ванную и спросил:

— Хочешь, я тебе помогу?

Я невольно вспомнила маму, ведь она тоже отказалась от своей материнской власти, а старается лишь угодить и услужить мне. Я сухо ответила:

— Пожалуйста… потри мне спину, а то мне самой неудобно.

Джино взял мыло и губку, я встала, и он намылил мне спину. Я смотрелась в зеркало, которое висело как раз напротив, и мне казалось, что я та самая синьора, которой принадлежат все эти красивые вещи. Должно быть, и она стоит вот так перед зеркалом, а горничная, такая же бедная девушка, как я, намыливает и купает ее, стараясь не поцарапать кожу. Как, наверно, приятно, подумала я, когда за тобой ухаживают, ты стоишь спокойно, лениво и смотришь, как кто-то услужливо и проворно вертится вокруг тебя. Мне снова в голову пришла та простая мысль, которая появилась у меня, когда я впервые попала на эту виллу: обнаженная, без своих вечных лохмотьев я выглядела ничуть не хуже хозяйки Джино. И все же мне выпала иная судьба. Я с раздражением сказала Джино:

— Ну хватит, хватит…

Я вышла из ванны. Он взял махровую простыню, накинул мне на плечи, и я закуталась в нее с головы до ног. Джино попытался обнять меня, вероятно желая проверить, не оттолкну ли я его, и я, вся закутанная в белую простыню, разрешила ему поцеловать меня в шею. Потом он молча начал вытирать меня и делал это с таким старанием и ловкостью, как будто только этим и занимался всю жизнь, а я, закрыв глаза, опять представила себя госпожой, а его — горничной. Он принял мою пассивность за уступку, и вдруг я

почувствовала, что он ласкает меня. Тогда я оттолкнула его и, сбросив простыню, на цыпочках прошла в комнату. Джино остался в ванной, чтобы спустить воду.

Быстро одевшись, я стала ходить по комнате, разглядывая вещи. Я остановилась у туалетного столика, уставленного черепаховыми и золотыми безделушками. В одном углу среди щеток и флаконов я заметила золотую пудреницу. Я взяла ее в руки и стала разглядывать. Пудреница была тяжелая и массивная, четырехугольной формы, а на месте запора был вправлен большой рубин. На меня вдруг что-то нашло, нет, это был не соблазн, а какое-то откровение: отныне я способна на все, даже на воровство. Я раскрыла свою сумочку и опустила туда тяжелую пудреницу, которая сразу же скользнула на дно, где лежали мелочь и ключи от дома. При этом я испытывала чувственное удовольствие, которое мало чем отличалось от того, что я переживала, когда получала деньги от любовников. По правде сказать, я и сама не знала, зачем мне нужна эта дорогая пудреница, которая так не подходила ни к моей одежде, ни к моему образу жизни. Никогда я не смогу воспользоваться ею, это я твердо знала. Но, украв пудреницу, я, очевидно, подчинилась той логике, которая отныне определяла все мои поступки. Кто сказал «а», тот должен сказать и «б», подумала я.

Джино вошел в комнату и с лакейской аккуратностью прибрал постель и поправил все, что, как казалось ему, стояло не на месте.

— Ну, пойдем скорее, — презрительно сказала я, видя, как он тревожно оглядывается вокруг, желая убедиться, все ли в порядке, — не бойся, хозяйка ничего не заметит… на сей раз тебя не выгонят.

Лицо Джино после этих слов передернулось, как от боли, и мне стало стыдно, что я произнесла такие злые и к тому же неискренние слова.

Мы молча спустились по лестнице и молча сели в машину, стоявшую в саду. Ночь уже наступила, и, как только машина тронулась и понеслась по извилистым улицам фешенебельного района, я, словно ожидая этого момента, тихо заплакала. Я сама не понимала причины своих слез, но на душе у меня было горько. Я не была создана для того, чтобы обманывать и вымещать свое зло на других, а весь этот день, как я ни старалась собой владеть, обман и злоба не раз проскальзывали в моих словах и действиях. И, плача, я впервые за все это время испытывала настоящий гнев против Джино, ведь это он своим предательством заставил меня пережить те чувства, которым я не любила поддаваться и которые так не соответствовали моему характеру. Всегда я была доброй и кроткой, а с этих пор, вероятно, никогда уже не буду такой; эта мысль приводила меня в отчаяние. Я хотела было спросить у Джино: «Зачем ты так поступил? Как я смогу все забыть и не думать об этом больше?» Но я молчала, слизывая слезы, и встряхивала иногда головой, чтобы они скатились из глаз, таким образом трясут ветви деревьев, когда хотят сбросить на землю самые спелые плоды. Я почти не заметила, как мы проехали через весь город. Машина остановилась, я вышла и, протянув руку Джино, сказала:

— Я тебе позвоню.

Он взглянул на меня с робкой надеждой, которая сразу же сменилась удивлением, так как он увидел мое мокрое от слез лицо. Но он не успел ничего сказать: через силу улыбнувшись и махнув ему рукой, я убежала.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Моя жизнь закрутилась; перед моими глазами мелькали одни и те же лица, и это было похоже на карусель в Луна-парке, которую я видела в детстве из окна своей комнаты и которая радовала мое сердце сверкающими огнями.

Карусель состоит всего лишь из нескольких фигур, и они, сменяя друг друга, все время возвращаются. Под звуки пронзительной, жалобной музыки и звона колокольчиков мимо вас проплывают сначала лебедь, потом кот, автомобиль, лошадка, королевский трон, пасхальное яичко, дракон, а потом снова лебедь, снова кот, снова автомобиль, лошадка, королевский трон, пасхальное яичко, дракон, и так до глубокой ночи. Вот и передо мною мелькали

однообразные лица мужчин, бóльшую часть из них я уже знала, а с некоторыми встречалась впервые, но все они мало чем отличались друг от друга. Из Милана вернулся Джачинти и привез мне в подарок шелковые чулки, мы виделись с ним несколько вечеров подряд. Потом Джачинти снова уехал, и я начала встречаться с Джино по два раза в неделю. Остальные вечера я проводила с мужчинами, одних встречала на улице, с другими меня знакомила Джизелла. Разные это были мужчины: и молодые, и средних лет, и старые; некоторые, симпатичные, вели себя пристойно, а другие, неприятные, смотрели на меня как на вещь, но, раз уж я решила менять любовников, это, в конце концов, не имело значения. Я знакомилась с мужчиной на улице или в кафе, иногда ужинала с ним где-нибудь, а потом приводила домой. Мы запирались в моей комнате, занимались тем делом, ради которого пришел сюда мой случайный гость, разговаривали о том о сем, потом он платил деньги и уходил, а я шла в большую комнату, где меня ждала мама. Если я была голодна, то ужинала и отправлялась спать. Изредка, если было еще не поздно, я снова выходила на улицу и возвращалась в город искать нового клиента. Но иногда по нескольку дней вообще сидела дома и ничего не делала. Я окончательно обленилась, с грустью, но и с каким-то упоением я предавалась вялому безделью, в этом, очевидно, сказалась не только моя жажда отдыха и покоя, но также извечная усталость и бедность мамы и всего нашего рода. Очень часто только вид пустой коробки, где мы хранили свои сбережения, мог заставить меня выйти из дома и прогуливаться по центральным улицам города в поисках клиента, но иногда лень одолевала меня, тогда я предпочитала оставаться дома и занимать деньги у Джизеллы или же посылала маму в магазин, где отпускали товары в кредит.

И все-таки не могу сказать, что такая жизнь была мне неприятна. Очень скоро я поняла, что в моем отношении к Джи-но не было ничего странного и необычного, в конце концов, почти все мужчины чем-нибудь да нравились мне. Не знаю, все ли женщины моей профессии таковы или я обладаю какими-то особыми наклонностями; знаю только, что каждый раз я испытываю нетерпеливое любопытство, жду чего-то необычайного, и только изредка меня постигает разочарование. В молодых мужчинах мне нравились высокий рост, худоба, свежесть, их неопытность и робость, их ласковые глаза, мягкие волосы, яркие губы, мужчины зрелого возраста мне нравились своими мускулистыми руками, широкой, крепкой грудью; их плечи, мышцы живота и ноги несли на себе печать силы и мощи, которая приходит с годами; наконец, старые мужчины тоже нравились мне, потому что они в отличие от нас, женщин, не так быстро покоряются времени и не только сохраняют свою красоту, но приобретают с годами какое-то своеобразное обаяние. Частые встречи и новые знакомства научили меня с первого взгляда определять достоинства и недостатки людей с такой точностью и проницательностью, какие даются только опытом. И кроме того, человеческое тело было для меня неиссякаемым источником таинственного и ненасытного наслаждения, и не раз я ловила себя на том, что, прикасаясь кончиками пальцев к телу одного из своих ночных гостей, я словно хочу заглянуть куда-то вглубь, по ту сторону наших обыденных отношений, понять сущность мужской силы и объяснить себе, почему она меня так притягивает. Но я старалась всячески скрывать эту тягу, потому что мужчины со своим вечным тщеславием могли бы ошибиться и подумать, что я влюблена, а на самом деле никакой любви не было, даже любви в их понимании, а это, скорее, напоминало то благоговение и трепет, которые охватывали меня в храме, когда я исполняла религиозные обряды.

Денег я зарабатывала не так уж много, куда меньше, чем я предполагала. А кроме того, я не умела быть такой жадной и расчетливой, как Джизелла. Я, конечно, считала, что мне должны платить, потому что выбрала себе эту профессию не ради удовольствия, но в силу своего характера я поступила так скорее из-за избытка жизненной силы, чем из корысти, я вспоминала о деньгах только в тот момент, когда надо было рассчитываться, то есть слишком поздно. Меня не оставляло какое-то смутное ощущение, что я предлагаю мужчинам товар, который мне самой ничего не стоит и за который обычно не платят, и я смотрела на эти деньги скорее как на подарок, чем как на заработок. Мне казалось, что за

любовь или совсем не следует платить, или уж ни за какие деньги ее не купишь. Я колебалась между такой непритязательностью и такой требовательностью и не могла назвать настоящую цену. Поэтому, когда мне платили много, я выражала чрезмерную благодарность, а когда платили мало, я не чувствовала себя обиженной и не протестовала. Только позднее, наученная горьким опытом, я решилась подражать Джизелле и предварительно договариваться о цене. Но вначале я стыдилась и произносила цифру шепотом, так что многие не могли расслышать и мне приходилось повторять.

И еще одно обстоятельство способствовало тому, что мне не хватало денег. Дело в том, что теперь я меньше, чем раньше, считалась с расходами, наоборот, сшила себе несколько платьев, покупала духи, предметы туалета и прочие вещи, необходимые для женщин моей профессии, и денег, которые я получала от клиентов, никогда не хватало, совсем как в то время, когда я позировала и помогала маме шить сорочки. Таким образом, я не стала ничуть богаче, несмотря на то, что пожертвовала своей честью. Так же как и раньше, а может быть, даже чаще выдавались дни, когда у нас в доме не было ни гроша. Так же как и раньше, а может быть, даже сильнее меня грызла тревога за свое будущее. Но по натуре я всегда была беспечной и пассивной, поэтому тревога никогда не превращалась у меня в навязчивую идею, как это бывает у людей менее уравновешенных и менее спокойных. Но все же тревога эта жила где-то в самой глубине моего сознания и точила меня, подобно шашелю, который точит старую мебель; я постоянно чувствовала себя обделенной во всем потому, что, с одной стороны, не могла успокоиться и забыть свое положение, а с другой — избрав себе такое занятие, не могла и улучшить свою жизнь.

Кто действительно не испытывал беспокойства или по крайней мере искусно скрывал его, так это мама. Я с самого начала предупредила ее, что теперь ей не придется портить глаза и сидеть с утра до ночи за шитьем, и она, словно только этого и ждала всю жизнь, сразу же бросила работу и ограничилась небольшим количеством заказов, да и то шила нехотя, скорее от скуки, чем ради заработка. Казалось, долгие годы напряженного труда — а началось это тогда, когда еще девочкой она поступила в услужение в семью одного чиновника, — канули внезапно и бесследно в вечность, так рушатся стены старых домов и на их месте остается лишь куча щебня. Для такого человека, как мама, слово «деньги» означало прежде всего досыта есть и вволю отдыхать. Теперь она ела больше прежнего и позволяла себе вольности, которые, по ее мнению, отличают богатых от бедных: поздно вставала, отдыхала после завтрака, иной раз ходила прогуляться. Должна сказать, что ничего хорошего из этого не вышло. Вероятно, тот, кто привык всю жизнь трудиться, не должен бросать работу: праздность и благополучие портят человека даже тогда, когда они вполне заслуженны. Вскоре после того, как наше положение изменилось к лучшему, мама поправилась, или, вернее сказать, ее худое, изможденное тело как-то сразу и нездорово распухло, и это мне показалось дурным предзнаменованием, хотя я сама не знала почему. Ее костлявые бедра раздались, тощие плечи налились, всегда впалые и дряблые щеки округлились и покрылись румянцем. Но все бы ничего, если бы в этой перемене, происшедшей с мамой, не было одной неприятной детали. Я имею в виду мамины глаза. У нее всегда были большие, широко открытые глаза с живым и участливым выражением. Теперь они заплыли и сверкали каким-то странным, подозрительным блеском. Она поправилась, но от этого не похорошела и не помолодела. Мне казалось, наша новая жизнь наложила свой след не на меня, а на маму, на ее лицо и фигуру; и я не могла на нее смотреть без угрызений совести, смешанных с жалостью и отвращением. И больше всего меня выводила из себя мамина счастливая и блаженная успокоенность. Как человек, которому пришлось в жизни много трудиться и голодать, мама все еще не могла поверить, что все ее невзгоды кончились.

Я, конечно, скрывала от нее свои чувства: во-первых, не хотела ее обижать, а во-вторых, понимала, что не имею права упрекать ее, потому что сама не без греха. Но иногда мое раздражение прорывалось, и в такие минуты мне казалось, что теперь я уже меньше люблю ее, толстую, опухшую, тяжело переваливающуюся с боку на бок, чем в то

время, когда она, худая и растрепанная, кричала, суетилась и каждый день жаловалась на судьбу. Я часто задавала себе вопрос: «А если бы я, предположим, удачно вышла замуж, растолстела бы мама так же или нет?» Теперь я, наверно, ответила бы на этот вопрос утвердительно, а тогда ее тучность казалась мне низменной; объясняю это тем, что невольно я смотрела на нее как на соучастницу, которой не дают покоя муки совести.

Мне недолго пришлось скрывать от Джино мое новое положение. Все обнаружилось даже слишком скоро, спустя десять дней после нашего последнего свидания на вилле. Однажды утром мама вошла ко мне, разбудила и сказала заговорщическим и взволнованным голосом:

— Знаешь, кто пришел и хочет с тобой поговорить? Джино.

— Впусти его, — спокойно ответила я.

Мама была несколько разочарована этим сдержанным ответом, открыла окно и вышла. Немного погодя появился Джино, и я тотчас же заметила, что он взволнован и раздражен. Он даже не поздоровался со мною, молча обошел кровать и встал передо мною. Я лежала на постели совсем еще сонная.

— Послушай-ка, в тот раз ты случайно не взяла по ошибке одну вещь с туалета хозяйки? — спросил Джино.

«Началось», — подумала я, но не почувствовала ни страха, ни раскаяния. Наоборот, меня поразил жалкий и трусливый вид Джино.

— А что? — спросила я.

— Пропала очень дорогая вещь… пудреница… золотая с рубином… синьора перевернула все вверх дном… так как вилла, можно сказать, была оставлена на меня, я понимаю, что они подозревают меня, хотя и не говорят об этом вслух… К счастью, все обнаружилось только вчера, уже спустя неделю после их приезда, так что, вероятно, украла одна из горничных… иначе бы меня уже давно выгнали, заявили бы в полицию, арестовали, да мало ли что могли сделать.

Испугавшись, что по моей вине пострадает какой-нибудь невинный человек, я спросила:

— А что сделали с горничными?

— Ничего, — нервно ответил он, — просто пришел полицейский комиссар и допросил нас, второй день все мы ни живы ни мертвы.

Я с минуту колебалась, потом сказала:

— Пудреницу взяла я.

Он широко раскрыл глаза, и лицо его перекосилось.

— Ты взяла… и ты так спокойно говоришь об этом?

— А как прикажешь об этом говорить?

— Но ведь это же воровство.

— Ну и что?

Он посмотрел на меня и вдруг рассвирепел: возможно, он испугался последствий моего поступка, а быть может, смутно догадывался о том, что я возлагаю на него бóльшую часть ответственности за эту кражу.

— Скажи… что с тобой стряслось?.. Ах, вот почему тебе понадобилось войти в комнату сеньоры… теперь я все понимаю… но, дорогая моя, я тут ни при чем… если ты хочешь воровать, воруй где угодно, меня это не касается, только не в том доме, где я служу… Воровка!.. Хорош бы я был, если бы женился на тебе… Женился бы на воровке.

Я дала ему выговориться вволю и внимательно смотрела на него. Теперь я удивлялась, как могла так долго заблуждаться, считая его идеальным человеком. Какой уж там идеальный… Наконец, когда мне показалось, что он исчерпал весь запас своих упреков, я сказала:

— Почему ты сердишься, Джино?.. Ведь никто тебя не обвиняет в воровстве… поговорят еще несколько дней, а потом забудут… ведь у твоей хозяйки таких пудрениц сколько угодно…

— Но почему ты украла? — настаивал Джино.

Я понимала, что он догадывается о том, что побудило меня украсть пудреницу, но хочет услышать мое объяснение. Я ответила:

— Да просто так.

— «Просто так» — это не ответ.

— Тогда, если ты так уж хочешь знать, — спокойно сказала я, — украла я не потому, что она мне понравилась или мне так уж приспичило ее иметь, а потому, что отныне я могу и воровать.

— Что это значит?.. — начал он.

— Теперь вечерами я выхожу на улицу, ищу клиента, привожу его сюда, а он платит мне деньги… а коли я делаю это, то я могу и украсть, разве нет?

Он понял и ответил так, как и следовало от него ожидать:

— И этим ты тоже занимаешься… ну что ж, прекрасно. Здорово бы я влип, если б на тебе женился.

— Раньше я этим не занималась, — возразила я, — но с тех пор, как узнала, что ты женат и имеешь ребенка, я стала такой.

Видно, он ждал этих слов с самого начала разговора и с готовностью возразил:

— Нет, дорогая моя, нечего сваливать вину на меня… кто не захочет, тот не станет шлюхой или воровкой.

— Значит, я была такой, только сама и не подозревала об этом, — ответила я, — а ты мне помог решиться на такое дело.

По моему спокойному виду он понял, что спорить бесполезно. Тогда он переменил тактику.

— Ладно… кто ты и чем занимаешься, это меня не касается… но пудреницу ты обязана мне вернуть… иначе рано или поздно я потеряю работу… Ты должна отдать мне пудреницу, а я сделаю вид, что нашел ее, мало ли где, хотя бы в саду.

Я ответила:

— Что же ты сразу не сказал? Если она тебе нужна, чтобы не потерять место, тогда возьми ее… она там, в верхнем ящике шкафа.

Он облегченно вздохнул и торопливо подошел к шкафу, выдвинул ящик, взял пудреницу и положил ее в карман. Потом посмотрел на меня, но уже совсем по-другому, как-то смущенно, видимо желая примирения. Но у меня не хватило духа встретить его взгляд. Я спросила:

— Твоя машина внизу?

— Да.

— Уже поздно, и тебе не следует оставаться у нас… поговорим обо всем в другой раз, когда встретимся.

— Ты на меня сердишься?

— Нет, не сержусь.

— Нет, сердишься.

— Говорю тебе, нет.

Он вздохнул, склонился над кроватью, и я позволила ему поцеловать себя.

— Ты позвонишь мне? — спросил он уже с порога.

— Конечно.

Вот каким образом Джино узнал о моей новой жизни. Но в тот день, когда мы снова увиделись, мы уже не говорили ни о пудренице, ни о моем занятии, как будто это были самые обыкновенные и неинтересные вещи, все значение которых заключалось только в их новизне. Одним словом, Джино вел себя почти так же, как мама, но только он ни на минуту не выказал изумления, а ведь я помню, какой ужас охватил маму в тот первый вечер, когда я привела с собою Джачинти, и, несмотря на ее теперешний довольный вид и дородность, я до сих пор угадывала в ней какую-то тревогу. В характере Джино была заложена хитрость, свойственная многим ограниченным, недалеким людям. Думаю, что, узнав о коренных

изменениях, происшедших в моей жизни по его вине, он сказал сам себе, пожав плечами: «Отлично, таким образом, я убью сразу двух зайцев… она перестанет меня упрекать, и я останусь ее любовником».

Есть мужчины, которые изо всех сил цепляются за то, что им принадлежит, будь то деньги или женщина, не говоря уже о самой жизни, — за все это они готовы заплатить даже ценой собственного достоинства, и Джино был как раз из их числа.

Я продолжала встречаться с ним, потому что он все еще нравился мне больше всех остальных и — хотя я и считала, что между нами все кончено, — я не хотела, чтобы разрыв был слишком резким и оставил неприятный осадок. Я не любила внезапных разрывов и грустных расставаний. Я считаю, что есть чувства, которые сами по себе зарождаются и сами отмирают от скуки, равнодушия или по привычке, которая тоже является своего рода укоренившейся скукой; и я рада, что эти чувства отмирают естественно, без всякого моего или постороннего вмешательства, уступая постепенно свое место другим, не внося в жизнь явных и резких перемен; а кто хочет разом избавиться от этого бремени, рискует сохранить в целости и невредимости те самые привычки, которые он надеялся вырвать с корнем. Я хотела, чтобы ласки Джино стали мне так же безразличны, как его слова, и понимала, что надо ждать, когда это придет само собой, иначе он сможет снова в любой момент вторгнуться в мою жизнь и вынудить меня вновь завязать с ним прежние отношения.

Еще один человек вернулся в мою жизнь, я имею в виду Астариту. С ним все обстояло много проще, чем с Джино. Джизелла тайком виделась с ним, и думаю, что он водил с ней дружбу только оттого, что хотел разузнать кое-что обо мне. Как бы то ни было, Джизелла ждала удобного момента, чтобы поговорить со мною об Астарите, и, когда она решила, что прошло уже достаточно времени и я уже успокоилась, она позвала меня и, начав издалека, наконец выложила, что видела Астариту и что тот спрашивал обо мне.

— Ничего определенного он мне не сказал, — продолжала она, — но я поняла: он по-прежнему влюблен в тебя… по правде говоря, мне стало его даже жаль… он выглядит таким несчастным… Повторяю тебе, он ничего мне не говорил… но я все равно догадалась, что ему очень хотелось бы тебя увидеть… теперь, после всего случившегося…

Но я оборвала ее.

— Послушай, бесполезно продолжать разговор в такой манере…

— В какой манере?

— Да со всеми хитростями… скажи лучше, что он послал тебя ко мне, он хочет увидеть меня, а ты взялась передать ему мой ответ.

— Предположим, что это так, — смущенно согласилась она, — как тогда быть?

— Тогда, — ответила я спокойно, — можешь сказать ему, что я не прочь с ним встречаться… как встречаюсь с другими, разумеется, без всяких обязательств, а так, время от времени.

Джизеллу чрезвычайно поразило мое спокойствие, она думала, что я ненавижу Астариту и никогда не соглашусь вновь встретиться с ним. Она никак не могла взять в толк, что отныне для меня не существовало уже ни ненависти, ни любви, и она подумала, что я, подобно ей самой, преследую какую-то цель.

— Ты поступаешь правильно, — многозначительно проговорила она после минутного раздумья, — и я на твоем месте поступила бы так же… в иных случаях нужно быть выше всяких антипатий… Астарита тебя по-настоящему любит, он мог бы даже добиться развода и жениться на тебе… какая ты, однако, хитрая… а я-то считала тебя простушкой…

Джизелла так и не поняла меня, и я по опыту знала, что стараться открыть ей глаза бесполезно. Поэтому я с притворной развязностью подтвердила:

— Так оно и есть… — и этим ответом вызвала в ней зависть и восхищение своей особой.

Она передала Астарите мое согласие, и мы встретились с ним в том самом кафе, где я впервые увидела Джачинти. Как и говорила Джизелла, он до сих пор был безумно в меня влюблен. И в самом деле, увидев меня, он побледнел, куда девалась вся его смелость, он

даже не мог рта раскрыть. Это чувство, вероятно, было сильнее его; и я согласна с некоторыми женщинами из народа, вроде мамы, которые уверяют, что любовница может приворожить мужчину. Так я невольно и бессознательно околдовала его, и он, понимая это, не мог освободиться от моих чар, как ни пытался. Раз и навсегда я сделала его своим покорным, бессловесным рабом; раз и навсегда я обезоружила, парализовала и подчинила своей воле. Он рассказывал мне впоследствии, что наедине с собой он репетировал холодное презрение, чтобы потом разыграть эту роль передо мною, он даже придумывал слова, которые мне скажет, но, стоило ему только меня увидеть, кровь отливала от его лица, тиски сжимали грудь, все мысли испарялись, а язык отказывался повиноваться. Будучи не в силах выдержать даже мой взгляд, он терял голову, и его охватывало непреодолимое желание броситься передо мной на колени и осыпать поцелуями мои ноги.

Астарита и впрямь был совсем не похож на других мужчин: в нем чувствовалась какая-то одержимость. После того как мы встретились и поужинали в ресторане, причем оба молчали, мы отправились ко мне домой, и он попросил рассказать ему подробно, ничего не пропуская, о моей жизни, начиная с нашей поездки в Витербо и кончая разрывом с Джино.

— Но почему это так тебя интересует? — удивилась я.

— Так, — ответил он, — просто так… ну что тебе, жалко, что ли?.. Не думай обо мне, рассказывай.

— Пожалуйста, если тебе так хочется, — ответила я, пожимая плечами.

И я подробно, как он и просил, рассказала обо всем, что произошло со мною после поездки: как я объяснилась с Джино, как следовала советам Джизеллы, как встретилась с Джачинти. Я умолчала только о пудренице, сама не знаю почему, вероятно просто чтобы не впутывать его — ведь он служил в полиции. Он задавал мне вопросы, особенно подробно расспрашивал о моей встрече с Джачинти. Казалось, что его не удовлетворяют простые ответы, ему хотелось как бы видеть все и осязать, одним словом, участвовать во всем самому. Он без конца прерывал меня вопросами: «А ты что сделала?» или «А он что?..» Когда я замолчала, он обнял меня и прошептал:

— Это я во всем виноват.

— Да нет, — ответила я с досадой, — никто тут не виноват.

— Нет, это я виноват… это я тебя погубил… если бы я не повел себя так в Витербо, все было бы по-другому.

— На сей раз ты ошибаешься, — живо ответила я, — если уж кто виноват, так это Джино… ты тут ни при чем… ты, дорогой мой, взял меня в Витербо силой, а то, что добыто силой, не считается… Если бы Джино не обманул меня, я вышла бы за него замуж, а после обо всем ему рассказала, и все было бы так, как будто мы с тобой и не встречались.

— Нет, я виноват… на первый взгляд кажется, будто это вина Джино… Но в сущности, виноват я.

Он, казалось, ухватился за эту идею, но я понимала: он вовсе не испытывал угрызений совести, наоборот, ему даже приятно было думать, что это он совратил и погубил меня. Больше того, эта мысль не только нравилась ему, она его даже как-то возбуждала; должно быть, она-то и питала его чувства ко мне. Я поняла это впоследствии — не случайно во время наших свиданий он то и дело просил меня подробно рассказывать обо всем, что происходит у меня с моими любовниками. Тут лицо его как-то странно вытягивалось, взгляд становился взволнованным и внимательным, что приводило меня в смущение и наполняло стыдом. И сразу же после этого он набрасывался на меня, шепча грубые, непристойные, оскорбительные слова, которые я не решусь повторять здесь и которые показались бы обидными даже самой развратной женщине. Я никогда не могла понять, как это странное поведение сочеталось с его обожанием, чуть ли не преклонением передо мною, на мой взгляд, нельзя любить женщину и не уважать ее, но в нем любовь уживалась с жестокостью, каждое из этих чувств придавало другому силу и страсть. Иногда я думала, что то непонятное удовольствие, которое он испытывал при мысли, что по его вине я стала падшей женщиной, объясняется его службой в политической полиции, где главное — нащупать у

преступника слабое место и, сыграв на этом, запугать его и навсегда обезвредить. Он сам говорил мне, не помню уж, по какому поводу, что каждый раз, когда ему удавалось добиться признания преступником своей вины, он испытывал особое почти физическое наслаждение, подобное тому, какое дает обладание женщиной.

— Преступник похож на женщину, — объяснял мне он, — пока он сопротивляется, он держится гордо… но, стоит ему раз уступить, он превращается в тряпку, и ты можешь делать с ним все что угодно.

Но скорее всего, жестокость и садизм были врожденными чертами его характера, и именно поэтому-то он и выбрал себе профессию полицейского, а не наоборот.

Астарита не был счастлив. Мне казалось, что несчастье его велико и непоправимо, потому что оно было следствием не каких-то внешних причин, а его собственных странностей или извращенности, которые мне трудно было понять. Когда он не заставлял меня рассказывать о моих делах, то обычно опускался на пол у моих ног, зарывался головой в мои колени и иногда на целый час замирал в такой позе. Я же должна была время от времени гладить его по голове, как матери ласкают своих детей. И каждый раз он стонал, а может, даже плакал. Я никогда не любила Астариту, но в эти минуты он внушал мне жалость, ибо я понимала, что он страдает и не существует средств, способных облегчить его муки.

О своей семье он говорил с горечью: о жене, которую ненавидел, о дочерях, которых не любил, о родителях, искалечивших его детство и вынудивших его, еще неопытного юношу, жениться без любви. О своей профессии он почти никогда не говорил. Только раз он сказал с каким-то странным выражением на лице:

— В каждом доме есть полезные, хоть и не всегда чистые, вещи… я как раз похож на такую вот вещь… я — помойное ведро, куда бросают мусор.

Но в общем у меня создалось впечатление, что он считает свою работу честной. В нем было сильно развито чувство долга, и, увидев его в министерстве и разговаривая с ним, я поняла, что он образцовый чиновник — прилежный, скрытный, проницательный, неподкупный и строгий. Однако, числясь в политической полиции, он, по его словам, ровно ничего не смыслил в политике.

— Я просто колесико в большом механизме, — как-то раз сказал он, — мне приказывают, а я исполняю.

Астарита готов был встречаться со мною хоть каждый вечер, но я, как уже говорила, не хотела связывать себя с каким-нибудь одним мужчиной, и, кроме того, он надоедал мне мрачным характером и своими странными выходками, я чувствовала себя с ним скованно, и, хотя он внушал мне жалость, я всякий раз облегченно вздыхала, когда он уходил. Поэтому-то я старалась видеться с ним как можно реже, не больше одного дня в неделю. Безусловно, эти редкие встречи способствовали тому, что его чувство ко мне оставалось страстным и пылким, а если бы я согласилась жить у него, что он мне не раз предлагал, то постепенно он привык бы к моему присутствию и стал бы со временем видеть меня такой, какой я была в действительности: обыкновенной бедной девушкой. Он дал мне номер телефона, который стоял у него на столе в министерстве. Это был секретный номер, его знали лишь начальник полиции, глава правительства, министр и еще несколько важных лиц. Когда я звонила, он тотчас брал трубку, но, узнав меня, начинал заикаться и что-то мямлить, голос его, еще минуту назад ясный и спокойный, менялся до неузнаваемости. Он и впрямь подчинялся и покорялся мне, словно раб. Помню, как-то раз я машинально погладила его по лицу. Он схватил мою руку и с благодарностью поцеловал. После он нередко просил повторить этот жест. Но разве можно ласкать по заказу?

Как я уже говорила, у меня часто не было никакого желания идти на улицу искать мужчину, и я оставалась дома. С мамой мне сидеть не хотелось: несмотря на существующее между нами безмолвное соглашение не говорить о моей профессии, разговор вечно вертелся вокруг этой темы, мы изъяснялись намеками, и обе чувствовали себя неловко, раз уж на то пошло, я предпочла бы говорить обо всем откровенно, без обиняков. И я обычно запиралась

у себя, просила маму мне не мешать, а сама ложилась в постель. Мои окна выходили во двор, и сквозь закрытое окно не проникало ни звука. Я дремала, потом вставала, бродила по комнате, занималась какими-нибудь пустяками, например, перекладывала вещи или стирала пыль с мебели. Эти занятия давали толчок моим мыслям, и вокруг меня постепенно устанавливалась атмосфера, отгораживающая меня от всего мира. Я размышляла, углубляясь в самые дебри души, и в конце концов приходила к выводу, что лучше ни о чем не думать, достаточно того, что я вообще живу на свете после стольких разочарований и горьких уроков судьбы.

В эти часы одиночества неизменно наступал момент, когда меня охватывало смятение, и мне начинало вдруг казаться, что я с холодной проницательностью, будто со стороны вижу себя и свою жизнь. Все мои поступки и мысли как бы раздваивались, теряли свой истинный смысл и приобретали какой-то нелепый и непостижимый вид. Я говорила себе: «Я привожу сюда мужчину, который раньше не знал меня, не ждал со мною встречи в этот вечер… мы вступаем в схватку, как два врага, на этой постели… потом он дает мне цветную с печатными знаками бумажку… на следующий день я меняю эту бумажку на еду, одежду и другие вещи». Но эти беспорядочные размышления были только началом, за ними приходило еще большее смятение. Таким образом я пыталась освободиться от мучительного для меня предубеждения, касающегося моей профессии, пыталась внушить себе, что моя профессия, так же как и другие, является совокупностью лишенных смысла поступков. И сразу же после этого отдаленный шум города или же скрип мебели в комнате заставляли меня удивленно оглядываться вокруг, недоумевая, как я сюда попала. Я твердила себе: «Я нахожусь здесь, а могла бы находиться в другом месте… могла бы родиться на тысячу лет раньше или на тысячу позже. Могла бы быть старой негритянкой или белокурым ребенком…» Мне казалось, что я вышла из какой-то бездонной тьмы и скоро снова уйду в такой же безграничный мрак и это мое краткое пребывание на свете ознаменуется лишь нелепыми и случайными поступками. И тогда я начинала понимать, что мое угнетенное состояние проистекало не от того, что я делала, а объяснялось более серьезной причиной, самой жизнью, которую нельзя назвать ни плохой ни хорошей, а лишь печальной и бессмысленной.

У меня по коже пробегали мурашки, я дрожала и чувствовала, как волосы на голове становятся дыбом, мне чудилось, что стены дома, город и весь мир исчезают, а я повисаю в каком-то пустом, черном, безбрежном пространстве, повисаю вот такая, как есть: в этой самой одежде, с этими мыслями, с этим именем и этой профессией. Девушка по имени Адриана повисла в пустоте. Пустота эта казалась чем-то торжественным, страшным и непонятным, и самое печальное зрелище в этой пустоте являю я сама, попавшая сюда в том же виде, в каком по вечерам прихожу в кафе, где меня поджидает Джизелла. Меня не успокаивала мысль, что и другие люди тоже живут и действуют без пользы и без смысла, погруженные в эту пустоту, внутри этой пустоты, объятые со всех сторон этой пустотой. Поражало меня другое, то, что они либо не замечают этого, либо, как часто случается, когда люди совершают одновременно одно и то же страшное открытие, не делятся друг с другом, стараются умолчать об этом.

В такие минуты мне хотелось упасть на колени и молиться; возможно, это объяснялось скорее привычкой, оставшейся с детства, чем ясным, вполне определенным и осознанным желанием. Я не читала обычных молитв, которые в моем смятенном душевном состоянии казались слишком длинными. Я с неистовой силой бросалась на колени, так, что иногда у меня по нескольку дней ныли ноги, и громко, с отчаянием взывала: «Господи Иисусе, сжалься надо мной!» Эти слова не были настоящей молитвой, а скорее магическим заклинанием, которым я надеялась рассеять свое смятение и вновь обрести ощущение реальности. После этого страстного вопля, в который я вкладывала всю силу своего существа, я долго еще лежала оглушенная, уткнув лицо в ладони. Наконец, приходя в себя, я замечала, что ни о чем больше не думаю, опустошена, что я — все та же Адриана в той же комнате; я ощупывала свое тело, почти не веря, что оно реально, и, поднявшись с колен, шла

к постели. Я ощущала во всем теле такую усталость и боль, как будто бы на меня только что обрушился град камней. И я мгновенно засыпала.

Это состояние души, однако, не отражалось на моей обычной жизни. Я продолжала оставаться прежней Адрианой, с прежним характером, я все так же приводила в дом мужчин, встречалась с Джизеллой и болтала о пустяках с мамой и другими людьми. И мне иногда казалось странным, насколько та Адриана, которая остается наедине с собою, не похожа на Адриану, окруженную людьми. Но я вовсе не считала, что лишь мне одной приходится испытывать подобное отчаяние и такие жестокие муки. Должно быть, все люди переживают то же самое, хотя бы раз на дню, когда человек чувствует, что его жизнь зашла в страшный, непонятный, нелепый тупик. Однако это сознание не накладывает на них видимого отпечатка. Они так же, как и я, выходят из дома, отправляются по делам и искренне играют свою неискреннюю роль. Эта мысль лишь подтверждала мое убеждение, что все люди без исключения достойны жалости уже за одно то, что живут на свете.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Теперь мы с Джизеллой были не только подругами, но и сообщницами. Правда, мы часто спорили с ней, какие места нам следует посещать. Джизелла стояла за рестораны и роскошные кабаре, а я предпочитала самые скромные кафе или просто улицу; но мы и тут сумели прийти к согласию: по очереди ходили вместе в наши излюбленные места. Как-то раз вечером, когда мы с Джизеллой, поужинав в ресторане и никого не залучив, возвращались домой, я вдруг заметила, что за нами все время следует какая-то машина. Я сказала об этом Джизелле и предложила согласиться, если нас пригласят сесть в машину. Но Джизелла в этот вечер была в самом дурном расположении духа — ей пришлось самой платить за ужин, а она уже некоторое время находилась в стесненных обстоятельствах. Она грубо отрезала:

— Садись, если хочешь… а я пойду домой спать.

Тем временем машина приблизилась к тротуару и медленно ехала рядом с нами. Джизелла шла у стены, а я — ближе к машине. Я мельком заглянула в окошко и увидела, что в машине сидят двое мужчин. Я шепотом спросила у Джизеллы:

— Что нам делать? Если ты не хочешь, я тоже не пойду.

Хотя Джизелла все еще дулась, она в свою очередь тоже искоса посмотрела на машину и с минуту раздумывала. Потом заявила:

— Не сяду я в машину. Поезжай… чего боишься?

— Нет, без тебя я не поеду.

Она покачала головой, снова заглянула в машину, которая все еще медленно ехала за нами, а потом внезапно передумала и ответила:

— Ну, ладно… Только делай вид, что ничего не замечаешь, и давай отойдем немного подальше… Здесь, прямо на Корсо, я не хочу садиться.

Мы прошли еще метров пятьдесят, машина все время следовала за нами, потом Джизелла свернула за угол, и мы вышли на темную, тесную улицу с узким тротуаром, примыкающим к старой стене, залепленной афишами. Мы слышали, как машина тоже свернула, и ее фары бросили на нас сноп белого света. Нам показалось, что свет этот раздевает нас донага, пригвождает к мокрой стене, покрытой вылинявшими рваными афишами, и мы замерли. Джизелла раздраженно сказала вполголоса:

— Это еще что за манеры?.. Что они, не разглядели нас на Корсо?.. Вот возьму и уйду домой…

— Нет, нет, — торопливо сказала я умоляющим голосом.

Не знаю почему, но мне очень хотелось познакомиться с двумя мужчинами, сидящими в машине, и я добавила:

— Тебе-то что от этого?… Ведь все они так поступают.

Джизелла пожала плечами, в это время фары погасли, и машина остановилась возле тротуара прямо возле нас. Мужчина, сидевший за рулем, высунул в окошко белокурую голову и произнес звонким голосом:

— Добрый вечер!

— Добрый вечер, — сдержанно ответила Джизелла.

— Куда это вы направляетесь одни-одинешеньки? — продолжал он. — Не позволите ли составить вам компанию?

Хотя это было произнесено насмешливым тоном явно остроумного человека, это были все-таки обычные фразы, которые я слышала сотни раз. Все так же сдержанно Джизелла сказала:

— Все зависит от того…

Она всегда так отвечала на подобные предложения.

— От чего же это зависит? — спросил мужчина.

— От того, сколько вы нам заплатите, — сказала Джизелла, приблизившись и положив руку на стекло машины.

— А сколько вы хотите?

Джизелла назвала цифру.

— Очень дорого, — протянул мужчина, — в самом деле дорого.

Но видимо, он уже готов был согласиться. Его спутник, лица которого я не видела, что-то шепнул ему на ухо, но блондин пожал плечами, а потом обратился к нам:

— Ну, ладно… садитесь.

Второй мужчина открыл дверцу машины, вышел и пересел назад, потом распахнул заднюю дверцу с моей стороны и жестом пригласил меня сесть. Джизелла села рядом с блондином. Тот повернулся к ней и спросил:

— Итак, куда же мы едем?

— Домой к Адриане, — ответила Джизелла и дала мой адрес.

— Прекрасно, — сказал блондин, — поедем к Адриане.

Обычно, когда я находилась в машине или в каком-нибудь другом месте с мужчиной, которого еще не знала, я сидела неподвижно и молча ожидала, когда он заговорит или начнет действовать. Я по опыту знала, что мужчины сгорают от нетерпения и подбадривать их нет никакой нужды. И в этот вечер я тоже сидела молча и неподвижно, а машина тем временем неслась по улицам города. Лица своего соседа, которому, судя по тому, как мы расселись в машине, надлежало сегодня ночью стать моим клиентом, я не разглядела. Я видела лишь белые, худые руки с длинными пальцами, лежащие на коленях. Он тоже не разговаривал, не двигался и сидел, откинув голову назад. Я подумала, что он робок, и внезапно почувствовала к нему симпатию: ведь я сама была такой же, застенчивость всегда трогала меня, потому что напоминала мне времена, когда я не была еще знакома с Джино. А Джизелла болтала. Ей нравилось, пока это было возможно, разговаривать непринужденно и вежливо, именно так, как разговаривает синьора в обществе уважающих ее мужчин. Потом я услышала, как она спросила:

— Это ваша машина?

— Да, — ответил ее сосед, — я пока еще не заложил ее… А тебе она нравится?

— Очень удобная, — ответила Джизелла довольным тоном, — однако я предпочитаю «ланчу»… она быстроходнее, и амортизаторы у нее лучше… у моего жениха как раз «ланча».

Она не лгала. У Риккардо была именно такая машина. Только он никогда не был женихом Джизеллы, а к тому же она с ним уже давно не встречалась. Блондин засмеялся:

— У твоего жениха небось двухколесная «ланча».

Джизелла была обидчива и легко сердилась из-за всякого пустяка. Она с негодованием спросила:

— За кого вы нас принимаете, а?

— Не знаю… вы сами скажите, кто вы такие, — ответил блондин, — мне не хочется попасть впросак.

У Джизеллы была еще одна мания: в глазах случайных знакомых ей хотелось казаться не той, кем она была на самом деле, она представлялась балериной, машинисткой или богатой синьорой. Джизелла не понимала, что все ее уловки никак не вяжутся с тем, что она так легко позволила зазвать себя в машину и сразу же поставила вопрос о деньгах.

— Мы балерины из труппы Каччини, — важно сказала она, — и мы не привыкли принимать приглашение первых встречных… Поскольку труппа целиком еще не набрана, мы отправились сегодня вечером погулять… я ни за что не хотела принимать ваше приглашение… но моя подруга уговорила меня, вы ей показались порядочными людьми… если только мой жених узнает, мне несдобровать…

Блондин снова засмеялся.

— Мы, конечно, люди порядочные… А вот вы бульварные девки… Что же тут худого?

Тут мой сосед впервые заговорил.

— Прекрати, Джанкарло, — произнес он спокойным голосом.

Я промолчала, хотя мне не понравились эти слова, да еще произнесенные таким презрительным тоном; но в конце концов, это была правда. Джизелла взорвалась:

— Во-первых, это не так… а во-вторых, вы — грубиян!

Блондин ничего не ответил, но сразу же затормозил возле тротуара. Мы находились на какой-то пустынной, плохо освещенной, узенькой улице, стиснутой двумя рядами домов. Блондин повернулся к Джизелле:

— А ну поговори еще… вот возьму и выкину тебя из машины.

— Попробуйте только! — завопила Джизелла, откидываясь на сиденье. Она была скандалисткой и никого не боялась.

Тогда мой сосед наклонился вперед к сиденью шофера, и я разглядела его лицо. Это был брюнет, его растрепанные волосы падали на высокий лоб, у него были большие, темные и блестящие, чуть-чуть навыкате, глаза, тонкий нос, хорошо очерченный рот и некрасивый срезанный подбородок. Он был очень худ, и на шее у него сильно выпирал кадык.

— Прекратишь ты наконец?.. — спросил он у блондина громко, но без раздражения, мне показалось, что он не проявляет настоящего участия, как человек, который вмешивается в безразличное и чуждое ему дело. Голос у него был не сильный и не грубый и, должно быть, легко переходил в фальцет.

— Но ты-то тут при чем? — спросил блондин, оборачиваясь назад.

Однако эти слова он произнес уже совсем другим тоном, как будто сам раскаялся в своей грубости и был рад вмешательству друга. А мой сосед продолжал:

— Что это за манеры?.. Мы сами их пригласили, черт побери, они доверились нам и сели в машину, а теперь говорим им гадости. — Он повернулся к Джизелле и добавил с галантным видом: — Не обращайте внимания, синьорина… он, наверно, выпил лишнего… даю слово, что он не желал вас обидеть…

Блондин хотел было возразить, но друг положил ему руку на плечо и произнес не допускающим возражений тоном:

— А я тебе говорю, что ты просто выпил лишнего и вовсе не хотел ее обидеть… а теперь поехали.

— Я села к вам не для того, чтобы со мной так нахально разговаривали, — начала Джизелла не совсем уверенным тоном.

Она тоже, казалось, была благодарна брюнету за его вмешательство. А тот подхватил:

— Разумеется… кому приятно, чтобы с ним обращались грубо… само собой разумеется.

Блондин уставился на них с глупым видом. Лицо у него было пунцовое и все в каких-то неровных припухлостях, будто его избили, а глаза были голубые и круглые, большой красный рот свидетельствовал о чревоугодии и необузданности. Он посмотрел на друга, который добродушно похлопывал по плечу Джизеллу, потом повернулся к ней и внезапно

расхохотался.

— Честное слово, ничего не понимаю, — воскликнул он, — и что это мы расходились?.. Почему вдруг затеяли ссору?.. Я даже не помню, как все началось… вместо того чтобы веселиться, мы ссоримся… честное слово, с ума сойти можно… — Он смеялся от всего сердца и, обращаясь к Джизелле, сказал: — Ну-ну, красотка… не гляди на меня так сердито… в конце концов, мы же созданы друг для друга.

Джизелла попыталась улыбнуться и ответила:

— И мне тоже так показалось…

Блондин, продолжая хохотать во все горло, воскликнул:

— На всем белом свете не сыщешь человека лучше меня, верно, Джакомо?.. Я очень покладистый парень… нужно только подобрать ко мне ключик… вот и все… а теперь поцелуй-ка меня разок!

И, повернувшись, он обнял Джизеллу за талию. Она немного отстранилась и сказала:

— Обожди.

Потом достала из сумочки носовой платок, провела им по губам, стерла помаду и только тогда с покаянным видом чмокнула его в губы. Блондин, пока она его целовала, дурачился и притворялся, показывая жестами, будто конфузится и задыхается. Они кончили целоваться, и блондин начал судорожными движениями заводить машину.

— В добрый час… клянусь, что отныне никому не дам ни малейшего повода пожаловаться на меня… я буду очень серьезен, очень чуток, очень вежлив… разрешаю вам даже дать мне подзатыльник, если я в чем-нибудь провинюсь.

Машина тронулась.

Весь остаток пути он продолжал разглагольствовать, громко смеялся и иногда с риском для наших жизней отпускал руль и отчаянно жестикулировал. А его товарищ после своего короткого вмешательства снова погрузился в молчание и отодвинулся в тень. Я почувствовала к нему огромную симпатию и сильное влечение; и теперь, много времени спустя, вспоминая об этом, я понимаю, что тогда-то я и влюбилась в него, вернее, сразу же начала приписывать ему все те черты, которые мне нравились и которых я до сих пор не встречала в людях. Ведь любовь должна проявляться во всем, а не просто в удовлетворении чувственности, и я все время искала человека идеального, каким одно время мне представлялся Джино. Вероятно, впервые не только за последнее время, но и впервые в жизни я встретила такого человека, то есть человека с такими манерами и таким голосом. Художник, к которому я впервые пришла позировать, был, правда, чем-то похож на него, только он был более сдержан и более самоуверен, но, если бы он дал мне повод, я бы в него непременно влюбилась. Голос и манеры этого молодого человека пробуждали в моей душе, хотя и не в такой степени, те же самые чувства, какие я испытывала во время первого посещения виллы хозяев Джино. Как тогда на вилле мне понравились порядок, богатство, чистота в я решила, что жить не стоит, если у тебя нет всего этого, так теперь голос, благородное и разумное поведение моего спутника, в какой-то мере характеризовавшие его, внушили мне страстную и прочную симпатию. В то же самое время я испытывала сильное влечение к нему, мне не терпелось почувствовать ласку этих рук и поцелуи этих губ; и я сама не заметила, как мои прежние надежды и эти нынешние желания слились в единое целое, а это-то и является настоящей любовью, безошибочной приметой ее зарождения. Но я боялась, что он не заметит моей любви и я потеряю его. Поэтому я потянулась к его руке и попыталась вложить в нее свою. Но его рука под моими пальцами, которые пытались сплестись с его пальцами, оставалась неподвижной, Я смутилась и поняла, что хоть мне не хочется этого делать, но надо заставить себя убрать руку. И тут машина, круто свернув за угол, толкнула нас друг к другу, и я, сделав вид, что потеряла равновесие, упала лицом прямо на его колени. Он вздрогнул, но не двинулся с места. С наслаждением ощущая скорость машины, я закрыла глаза и по-собачьи зарылась головой в его ладони, поцеловала их и попыталась нежно погладить ими свое лицо. Я хотела, чтобы его ласка была искренней и непосредственной. Я понимала, что теряю голову, и удивлялась, что несколько вежливых

слов привели меня в столь сильное волнение. Но он не подарил мне ласку, которую я так смиренно просила у него, и отдернул руки. Вскоре машина остановилась.

Блондин выпрыгнул на тротуар и с шутливой галантностью помог вылезти Джизелле. Мы тоже вышли, я открыла дверь, и мы вошли в подъезд. На лестнице Джизелла и ее кавалер опередили нас. Блондин был невысок ростом и коренаст; хотя он не был толстым, костюм, казалось, вот-вот лопнет на нем по всем швам. Джизелла была выше него. На середине лестницы он отстал от Джизеллы на один шаг, схватил подол ее платья, потянул его кверху и открыл ее белые ляжки, стянутые подвязками, и кусочек ее маленьких худеньких ягодиц.

— Занавес поднимается, — закричал он со смехом.

Джизелла только хлопнула его по руке и одернула платье. Я подумала, что эта грубая выходка, должно быть, неприятна моему кавалеру, и сказала, желая дать ему понять, что мне это тоже не по душе:

— У вас очень веселый друг.

— Да, — ответил он кратко.

— Видно, у него хорошо идут дела.

Мы на цыпочках вошли в дом, и я провела гостей прямо в свою комнату. Закрыв двери, мы все четверо с минуту оставались на ногах, а так как комната была небольшая, то нам стало тесно. Блондин оказался решительнее всех, уселся на постель и начал как ни в чем не бывало раздеваться. При этом он беспрестанно смеялся и без умолку болтал. Говорил он о гостиницах, о частных квартирах, рассказал об одном недавно приключившемся с ним случае.

— Она мне говорит: я женщина порядочная… не хочу, говорит, идти в гостиницу… тогда я ей заявляю: гостиницы битком набиты порядочными женщинами… а она отвечает: не хочу показывать свои документы… А я ей говорю: я тебя выдам за свою жену, какая разница, одной больше, одной меньше… хватит, пойдем в гостиницу. Провожу ее в гостиницу как свою жену, поднимаемся в номер… но, когда дело доходит до главного, она начинает выкидывать разные фокусы… будто она раскаялась, ничего не хочет, что она действительно порядочная женщина… Тогда я, потеряв терпение, пытаюсь действовать силой… ничего я ей худого не сделал, но она открывает окно и грозит выброситься на улицу… Ладно, говорю я, виноват, что привел тебя сюда… Она садится на постель и начинает хныкать… потом рассказывает длинную, грустную и жалобную историю, прямо-таки всю душу мне перевернула… а в чем там дело, сейчас не припомню… знаю лишь одно, что в конце концов я растрогался до того, что чуть не упал перед ней на колени и чуть не стал просить прощения за то, что принял ее за девку. Решено, — сказал я ей, — развлекаться не будем, а потихоньку ляжем в постель и заснем… сказано — сделано, я сразу захрапел… но среди ночи проснулся, осмотрелся кругом: нет ее, исчезла… тогда взглянул я на свою одежду и вижу, все разбросано в беспорядке… Я ищу и не нахожу своего бумажника… вот вам и порядочная женщина.

Он разразился таким неудержимым и заразительным хохотом, что мы с Джизеллой тоже засмеялись. Затем он снял костюм, сорочку, носки, ботинки и остался в нижнем шерстяном белье светло-бежевого цвета, обтягивающем его фигуру от шеи до щиколоток, отчего стал похож на циркового акробата или балетного танцовщика. Такое белье обычно носят пожилые мужчины, и оно еще больше подчеркивало комичность его фигуры, в эту минуту я забыла о его грубости и даже почувствовала к нему расположение — мне всегда нравились веселые люди, потому что сама я скорее склонна к веселью, чем к грусти. Он начал, расшалившись, кружиться по комнате, выписывать разные кренделя, он был маленького роста, без умолку болтал, важно и гордо выпятив грудь, будто на нем было не исподнее белье, а парадная форма. Затем из угла, где стоял комод, он внезапно вскочил прямо на кровать, обрушился на Джизеллу, опрокинул ее навзничь, а та от неожиданности пронзительно вскрикнула. Потом он, пораженный какой-то внезапной мыслью, смешно стоя на четвереньках возле Джизеллы, поднял свое раскрасневшееся и искаженное лицо, обернулся на нас, как делают кошки перед тем, как схватить добычу, и спросил:

— А вы чего ждете?

Я посмотрела на своего кавалера и спросила:

— Мне тоже раздеваться?

Он все еще стоял в пальто с поднятым воротником и, вздрогнув всем телом, ответил:

— Нет, нет… после них.

— Хочешь, уйдем отсюда?

— Да.

— Прокатитесь на машине! — крикнул нам блондин, не отходя от Джизеллы. — Ключи остались внизу.

Но его друг сделал вид, что не слышит этих слов, и вышел из комнаты.

Мы остановились в прихожей, я попросила юношу подождать меня, а сама зашла в большую комнату. Мама сидела за столом и раскладывала пасьянс. Увидев меня, она встала и молча вышла на кухню. Тогда я выглянула в прихожую и попросила юношу войти.

Я закрыла дверь и села на диван, стоящий в углу возле окна. Мне хотелось, чтобы он сел рядом и начал ласкать меня: с другими у меня было всегда так. Но он даже не взглянул в сторону дивана и начал ходить по комнате вокруг стола, держа руки в карманах. Я подумала, что ему надоело ждать, и поэтому сказала:

— К сожалению, у меня только одна комната.

Он остановился и спросил несколько вызывающим, но по-прежнему вежливым тоном:

— Я разве сказал, что мне нужна комната?

— Нет, но я думала…

Он сделал еще несколько шагов, и тогда я не выдержала и, показав на диван, спросила:

— Почему ты не сядешь рядом со мной?

Он посмотрел на меня, а потом, как бы решившись, подошел, сел возле меня и спросил:

— Как тебя зовут?

— Адриана.

— А меня Джакомо, — сказал он и взял меня за руки.

Все это было так необычно, в я снова подумала, что он, вероятно, робеет. Я позволила ему взять мою руку и улыбнулась, чтобы его ободрить. А он спросил:

— Значит, после них мы займемся любовью?

— Да.

— А если я не хочу?

— Тогда мы не будем ничем заниматься, — весело ответила я, думая, что он шутит.

— Да, — воскликнул он с горячностью, — я не хочу, ни в коем случае не хочу этого!

— Ладно, — согласилась я.

Но в действительности для меня его слова были неожиданностью, я еще ничего не понимала.

— Ты не обиделась? Женщинам не нравится, когда ими пренебрегают.

Наконец-то я поняла, в чем дело, и, не в силах что-либо сказать, отрицательно покачала головой. Значит, он не хотел меня. Внезапно мною овладело отчаяние, и я чуть было не разрыдалась.

— Нет, я не обиделась, — прошептала я, — раз ты не хочешь… подожди своего друга, а потом уйдешь.

— Не знаю, как быть, — продолжал он, — из-за меня ты зря потеряешь вечер… а могла бы что-то заработать.

Я подумала, что, очевидно, у него нет денег и, все еще надеясь, предложила ему:

— Если у тебя сейчас нет денег, неважно… заплатишь в другой раз.

— Ты добрая девушка, — сказал он, — нет, деньги у меня есть… давай сделаем вот как… я тебе заплачу… и ты не потеряешь зря вечер.

Он сунул руку в карман куртки, достал пачку денег, которые, надо полагать, были приготовлены заранее, и положил их на стол простым и вместе с тем необыкновенно изящным и небрежным жестом.

— Нет, нет, — запротестовала я, — при чем тут деньги… об этом даже говорить не стоит.

Но я возражала не очень решительно, потому что, по правде говоря, мне не так уж неприятно было получить от него эти деньги: они как-то нас могут связать, я останусь перед ним в долгу и буду надеяться, что мне удастся расквитаться. Он принял этот мой нерешительный отказ за согласие взять деньги, как оно и было на самом деле, и оставил их на столе. Затем он опять сел на диван, а я, чувствуя, что поступаю глупо и нелепо, потянулась и взяла его за руку. С минуту мы молча глядели друг на друга, потом он неожиданно сильно заломил назад мой мизинец своими длинными худыми пальцами.

— Ой, — немного раздраженно воскликнула я, — что это на тебя нашло?

— Извини меня, — сказал он, и лицо его выразило такое смущение, что я раскаялась в своей резкости и добавила:

— Мне было больно, понимаешь?

— Извини меня, — повторил он.

Охваченный каким-то внезапным волнением, он снова вскочил и начал ходить по комнате. Потом остановился и сказал:

— Не хочешь ли пройтись? Такая тощища ждать их тут.

— А куда мы пойдем?

— Не знаю… давай прокатимся на машине?

Я вспомнила о своих поездках с Джино и торопливо ответила:

— Нет, только не на машине.

— Тогда пойдем куда-нибудь… Здесь есть кафе?

— Здесь нету… но сразу же за городскими воротами, кажется, есть.

— Тогда пойдем в кафе.

Я встала, и мы вышли из комнаты. Когда мы спускались по лестнице, я как бы в шутку сказала:

— Имей в виду: деньги, которые ты мне оставил, дают тебе право прийти ко мне, когда тебе захочется… договорились?

— Договорились.

Стояла зимняя, мягкая, сырая и темная ночь. Весь день шел дождь, и на мостовой остались широкие черные лужи, в которых отражался тусклый свет редких фонарей. Над городской стеной раскинулось спокойное безлунное и беззвездное небо, подернутое, как вуалью, туманом. Время от времени невидимые трамваи, проходившие там, за стеною, разбрызгивали вокруг проводов снопы искр, которые на мгновение освещали небо, полуразвалившиеся башни и склоны рва, поросшие травой. Когда мы очутились на улице, я вспомнила, что уже несколько месяцев не проходила мимо Луна-парка. Обычно я поворачивала направо и шла к площади, где меня ждал Джино. Я не ходила в сторону Луна-парка с тех пор, как гуляла там с мамой; мы поднимались с ней по широкой аллее вдоль стены, любовались иллюминацией и слушали музыку, но, так как у нас не было денег, мы никогда не заходили в парк. По другую сторону широкой аллеи стоял маленький особняк с башенкой, сквозь открытые окна которого я увидела тогда семью, сидевшую за столом; это и был тот самый особняк, который впервые пробудил во мне мечты о замужестве, о собственном доме и о спокойной жизни. Мне захотелось рассказать своему спутнику о тех временах, о своих тогдашних надеждах, и, признаюсь, руководило мною не только сентиментальное чувство, но и расчет. Мне не хотелось, чтобы он судил обо мне по первому впечатлению, пусть он увидит меня в другом, более выгодном свете, такой, какой я была на самом деле. Чтобы принять уважаемых гостей, хозяева обычно надевают свои праздничные платья и открывают двери самых лучших комнат; в настоящее время таким праздничным нарядом и такой гостиной было мое прошлое, мои прежние мечты и стремления, и я рассчитывала, что эти мои воспоминания, пусть даже самые скудные и простые, заставят его переменить мнение обо мне и сблизят нас.

— На эту улицу сейчас почти никто не ходит, — пояснила я, — правда, летом жители

нашего квартала гуляют здесь… Я тоже ходила сюда гулять… давно уже… надо было встретиться именно с тобой, чтобы вернуться сюда.

Он держал меня под руку, помогая идти по мокрому тротуару.

— А с кем ты здесь гуляла? — спросил он.

— С мамой.

Он засмеялся каким-то неприятным смехом, что меня крайне поразило.

— Мама, — повторил он, отчеканивая слоги, — мама… у всех есть мама… мама… Что скажет мама? Что сделает мама?.. Мама, мама…

Я подумала, что он, видно, за что-то сердится на свою мать, и спросила:

— Твоя мать чем-нибудь обидела тебя?

— Ничем она меня не обидела, — ответил он, — матери никогда никого не обижают… у кого из нас не было матери?.. А ты любишь свою маму?

— Конечно, а почему ты спрашиваешь?

— Просто так, — сказал он, — не обращай на меня внимания… итак, ты гуляла здесь с мамой…

Голос его звучал не слишком ободряюще и не очень решительно, по я все-таки, отчасти из корысти, а отчасти из расположения к нему, решила продолжать разговор по душам.

— Да, мы гуляли здесь с мамой, главным образом летом, потому что летом в нашем доме буквально нечем дышать… да… посмотри, видишь вон ту виллу?

Он остановился и посмотрел в ту сторону. Окна виллы были, к сожалению, закрыты, казалось, что в ней никто теперь не живет. Маленькая вилла, зажатая с двух сторон длинными и низкими домами железнодорожных служащих, показалась мне довольно плохонькой и мрачной, она стала как будто даже меньше, чем раньше.

— Ну, что же было в этом домике?

Теперь я почти стыдилась того, что собиралась рассказать. Однако, сделав над собой усилие, я продолжала:

— Каждый вечер я проходила мимо этого домика, окна всегда были раскрыты, потому что было лето, я уже тебе говорила… и всегда в одно и то же время я видела семью, сидящую за столом…

Я остановилась и внезапно смутившись, замолчала.

— Ну, а дальше?

— Тебе, должно быть, неинтересно, — сказала я, и мне самой показалось, что из-за этого смущения слова мои звучат одновременно и искренне и фальшиво.

— Почему же, меня все интересует.

Я торопливо докончила:

— Ну так вот, я вбила себе в голову, что когда-нибудь у меня самой будет такой домик и я буду жить так же, как живут эти люди.

— А-а, понимаю, — сказал он, — такой домик… немного же тебе надо было.

— По сравнению с нашим домом, — возразила я, — этот особняк вовсе не плох… а кроме того, в таком возрасте всегда бог знает что выдумываешь.

Он потянул меня за руку прямо к особняку.

— Пойдем посмотрим, живет ли там эта семья.

— Да что с тобой? — сказала я упираясь. — Конечно, живет.

— Прекрасно, пойдем посмотрим.

Мы остановились у домика. В густом маленьком саду было совсем темно, в окнах дома и в башенке не горел свет. Мой спутник подошел к воротам и сказал:

— Вот и ящик для писем… позвоним и увидим, есть ли там кто-нибудь… Однако похоже, что в твоем домике никто не живет.

— Да нет, — ответила я смеясь, — почему же… что это на тебя нашло?

— Попробуем. — Он поднял руку и нажал кнопку звонка.

Я хотела убежать, испугавшись, что кто-нибудь выйдет из дома.

— Давай уйдем, — просила я, — сейчас они выйдут, хороши же мы будем!

— Что скажет мама?.. — твердил он, как припев, а я в это время тянула его за рукав прочь от дома. — Что сделает мама?

— Ты все-таки сердишься на свою маму, — сказала я, прибавляя шаг.

И вот мы очутились возле Луна-парка. Я вспомнила, что, когда была здесь в последний раз, кругом толпилось множество народу, сияли гирлянды разноцветных лампочек, стояли киоски с фонариками, беседки, украшенные цветами, звучала музыка, повсюду царило оживление. Я была немного разочарована, не увидев всего этого. Ограда Луна-парка, казалось, скрывала не место для развлечения, а темный и заброшенный склад строительных материалов. Над зубцами ограды возвышались дуги восьми «чертовых» колес с подвешенными вагончиками, похожими на пузатых жуков, которые, казалось, взлетев в воздух, внезапно застыли. Остроконечные крыши темных беседок съежились, нахохлились и заснули. Можно было подумать, что тут все умерло — так оно и было на самом деле, ведь стояла зима. Площадка перед Луна-парком была мокрая и пустая, один-единственный фонарь слабо освещал ее.

— Летом Луна-парк открыт, — сказала я, — здесь бывает много народу… но зимой он не работает. Куда ты хотел пойти?

— А в то кафе можно?

— По правде говоря, это простая остерия.

— Тогда пойдем в остерию.

Мы прошли через ворота и как раз напротив в нижнем этаже одного из домишек увидели стеклянную дверь, сквозь которую на улицу проникал свет. Как только мы оказались внутри, я сразу же вспомнила, что в этой самой остерии я когда-то ужинала с Джино и мамой и Джино тогда еще поставил на место одного пьяного нахала. За мраморными столиками сидели всего три-четыре человека, они ели, вынимая свои бутерброды из газет, и запивали хозяйским вином. Здесь было холоднее, чем на улице, в воздухе стоял запах сырости, вина и опилок, должно быть, кухонная печь уже погасла. Мы сели за столик в углу, и он заказал литр вина.

— А кто его будет пить? — спросила я.

— Ты разве не пьешь?

— Пью, но очень мало.

Он налил себе полный стакан вина и выпил его залпом, но, видимо, без всякого удовольствия, через силу. Я с самого начала заметила, а этот поступок еще раз подтвердил мои наблюдения, что он все время действует, словно повинуясь какой-то внешней стихии, словно играет какую-то роль, а сам остается безучастным. Мы помолчали, он смотрел на меня своим ясным, пристальным взглядом, а я огляделась по сторонам. Мне вспомнился тот далекий вечер, когда мы ужинали в этой остерии с мамой и Джино, и я не могла разобраться, что я сейчас испытываю — сожаление или грусть. Правда, тогда я была очень счастлива, но слишком наивна. И я подумала, что, должно быть, точно такое состояние охватывает тебя, когда открываешь сундук, который долго оставался запертым, и вместо красивых вещей обнаруживаешь там только пыль да кучу изъеденного молью хлама. Все безвозвратно прошло: не только моя любовь к Джино, но ушла и моя юность с ее несбывшимися мечтами. И насколько это было уже далеко и чуждо мне, доказывал тот факт, что я сознательно и небескорыстно обращалась к своему прошлому, чтобы разжалобить моего спутника. Я снова заговорила:

— Сперва твой друг мне не понравился… но теперь он кажется мне симпатичным… он очень веселый.

Он резко возразил:

— Между прочим, он вовсе мне не друг… а потом, он не такой уж симпатичный.

Меня поразил его жесткий тон, и я нерешительно спросила:

— Ты так думаешь?

Он снова выпил и продолжал:

— Такие остроумные люди — настоящее бедствие… за всем этим остроумием обычно

скрывается внутренняя пустота… посмотрела бы ты, каков он у себя в конторе… там он не шутит.

— А что у него за контора?

— Не знаю, кажется, нотариальная.

— Зарабатывает он много?

— Ужасно много.

— Счастливчик.

Он налил мне вина, а я спросила:

— А почему ты водишься с ним, если он тебе неприятен?

— Он мой друг детства, мы вместе учились в школе, а друзья детства всегда такие, — ответил он, усмехнувшись.

Он выпил еще вина и добавил:

— Однако в каком-то смысле он лучше меня.

— Чем же?

— Когда он что-либо делает, то делает это всерьез… а я же сперва хочу что-то сделать, а потом, — его голос внезапно поднялся до фальцета, так что я даже вздрогнула, — когда наступает момент, не делаю… например, сегодня вечером… Он мне позвонил и спросил, не хочу ли я, как говорится, сходить к женщинам… я согласился, и, когда мы вас встретили, я действительно хотел тебя… но, как только мы очутились у тебя дома, мое желание пропало…

— Желание пропало, — повторила я, глядя на него.

— Да… ты перестала быть для меня женщиной… а превратилась в какой-то предмет, в какую-то вещь… ты помнишь, как я вывернул тебе палец и сделал тебе больно?

— Да.

— Словом… я сделал это для того, чтобы проверить: действительно ли ты живое существо… Так проверял, причиняя тебе боль.

— Да, я живое существо, — улыбнулась я, — и ты мне сделал очень больно.

Теперь я испытывала облегчение: значит, он отверг меня не потому, что я ему не нравилась. В конце концов, в людях нет ничего странного или необъяснимого. Стоит только постараться понять их, и видишь, что их поведение, каким бы странным оно ни казалось, всегда объясняется какой-либо вполне определенной причиной.

— Значит, я тебе не понравилась?

Он отрицательно покачал головой:

— Дело не в этом… ты или другая, все равно получилось бы то же самое.

После минутного колебания я спросила:

— Скажи-ка… а ты случайно не импотент?

— Да что ты!

Тут меня охватило острое желание близости с ним, мне хотелось переступить тот рубеж, что разделяет нас, хотелось любить его и быть любимой. Я хоть и сказала ему, что его отказ меня не обидел, однако все-таки оскорбилась, мое самолюбив было уязвлено. Я знала, что я красива и привлекательна, и мне казалось, что у него не было никаких особых причин отказываться от меня. Я предложила:

— Послушай… посидим здесь, а потом пойдем ко мне и будем любить друг друга.

— Нет, это невозможно.

— Выходит, я тебе сразу же не понравилась, когда ты увидел меня на улице.

— Нет… но постарайся понять меня…

Я знала, что есть вещи, перед которыми не может устоять ни один мужчина. Поэтому повторила с наигранной горечью и спокойствием:

— Выходит, я тебе не нравлюсь. — Я протянула руку и провела ладонью по его лицу.

Руки у меня красивые, теплые, с длинными пальцами, и если правду говорят, что по рукам можно судить о характере человека, то, значит, во мне нет ничего грубого в отличие от Джизеллы, у которой руки красные, шершавые и некрасивой формы. Я медленно гладила

ладонью его щеку, висок, лоб, а сама не спускала с него настойчивого, ласкового и страстного взгляда. Я вспомнила, что Астарита во время нашей встречи в министерстве точно так же гладил меня, и я еще раз убедилась в том, что полюбила Джакомо, ведь в любви Астариты ко мне я не сомневалась, а этот жест был жестом влюбленного человека. Сначала юноша оставался холоден и равнодушен к моей ласке, но потом его подбородок начал дрожать, что было у него, как я впоследствии узнала, признаком волнения, лицо его исказилось и приняло почти детское выражение, мне стало его жалко, и я радовалась, что испытываю к нему жалость, она как-то приближала меня к нему.

— Что ты делаешь? — прошептал он застенчиво, как мальчишка, — мы ведь тут не одни.

— А мне наплевать, — спокойно ответила я.

Щеки мои горели, несмотря на холод в остерии, и я только теперь заметила, что изо рта у нас вырываются маленькие облачка пара.

— Дай мне руку, — сказала я.

Он нехотя разрешил мне взять его за руку, и я поднесла ее к своему лицу.

— Чувствуешь, как горят мои щеки?

Он ничего не ответил, только смотрел на меня, подбородок его дрожал. Кто-то вошел в остерию, сильно хлопнув застекленной дверью, и я отняла руку. Он облегченно вздохнул и налил себе еще вина. Но как только новый посетитель удалился, я опять протянула руку и засунула ее между бортами пиджака, расстегнула сорочку и прижала ладонь к его груди возле сердца.

— Хочу погреть руку и хочу послушать, как бьется твое сердце, — сказала я.

Сперва я прижала руку к его груди тыльной стороной, потом повернула ладонью.

— У тебя холодная рука, — сказал он, глядя на меня.

— Сейчас согреется, — ответила я улыбаясь.

Я медленно провела ладонью по его худой груди. Я испытывала огромную радость, потому что чувствовала, как он близок мне, меня переполняла любовь к нему, такая сильная любовь, какая может обойтись и без взаимности. Не спуская с него глаз, я сказала с шутливой угрозой:

— Мне кажется, еще немного, и я начну тебя целовать.

— Нет, нет, — ответил он, стараясь держаться шутливого тона, но, очевидно, испугавшись, — возьми себя в руки.

— Тогда уйдем отсюда.

— Уйдем, если хочешь.

Он расплатился за вино, которое не допил, и мы вышли из остерии. Теперь он тоже был взволнован, но не любовью, как я, — его, видимо, охватило какое-то непонятное возбуждение, вызванное событиями сегодняшнего вечера. Позднее, когда я лучше узнала его, я поняла, что подобное возбуждение охватывало его всякий раз, когда ему удавалось обнаружить в себе какую-то новую черту характера либо найти ей подтверждение. Объяснялось это тем, что он был эгоистом, то есть слишком любил себя или, вернее сказать, слишком был поглощен собой.

— Часто случается так, — говорил он будто про себя, а я почти бегом тащила его к дому, — на меня находит страстное желание сделать что-нибудь, меня охватывает восторг, все мне кажется прекрасным, я уверен, что непременно завершу задуманное, а наступит решительный момент, и все рушится, и я, если можно так выразиться, перестаю существовать… или, точнее говоря, существую лишь во всех моих дурных проявлениях… я становлюсь холодным, никчемным, жестоким… как тогда, когда я выворачивал тебе палец.

Он произнес этот монолог для себя самого, вероятно, не без некоторого горького удовольствия. Но я не слушала его, потому что меня переполняла радость, и я, словно на крыльях, перелетала через лужи. Я весело ответила:

— Но ты уже говорил это… а вот я тебе еще не сказала, что я испытываю… мне так хочется крепко обнять тебя, согреть своим телом, ощутить тебя рядом с собой и заставить

делать то, чего ты не хочешь делать… я не успокоюсь до тех пор, пока не добьюсь своего.

Он ничего не ответил, видно, слова мои не достигли его слуха, так он был погружен в свои мысли. Внезапно я обхватила его рукой и сказала:

— Обними меня за талию, хочешь?

Он, казалось, ничего не слышал, тогда я взяла его руку, с трудом продела ее под свою, как надевают рукав пальто, и она вяло обвилась вокруг моей талии. Нам было трудно идти, так как мы оба были в тяжелой зимней одежде и руки наши едва дотягивались до середины спины.

Когда мы дошли до маленького особняка с башенкой, я остановилась и потребовала:

— Поцелуй меня.

— После.

— Нет, сейчас.

Он повернулся ко мне, и я крепко поцеловала его, обняв за шею обеими руками. Губы его были плотно сжаты, но я раздвинула языком сперва их, а потом зубы, которые неохотно поддались. Я не была уверена, что он ответил на мой поцелуй, но повторяю, мне это было безразлично. После того как мы поцеловались, я увидела вокруг его рта большое неправильной формы пятно от губной помады, которое делало странным и чуточку смешным это серьезное лицо. Я разразилась счастливым смехом. Он прошептал:

— Почему ты смеешься?

Я решила не объяснять ему ничего, мне было приятно смотреть, как он, такой серьезный, шагает рядом, ничего не подозревая, со смешным пятном на лице. Я ответила:

— Просто так… мне весело… не обращай на меня внимания. — И в порыве счастья снова быстро поцеловала его в губы.

Когда мы дошли до наших ворот, то увидели, что машины там нет.

— Джанкарло уже укатил, — заметил он раздраженно, — теперь придется топать домой пешком, а путь не ближний.

Я нисколько не обиделась на эти его не очень-то вежливые слова, ибо отныне уже ничто не могло меня обидеть. Его недостатки я видела совсем в особом свете, и они казались мне приятными, так происходит, когда влюбляешься. Пожав плечами, я воскликнула:

— Есть ведь и ночные трамваи… а кроме того, если хочешь, можешь остаться ночевать у меня.

— Нет, только не это, — торопливо отозвался он.

Мы вошли в дом и поднялись по лестнице. Когда мы очутились в коридоре, я подтолкнула его к своей комнате, а сама заглянула на минутку в мастерскую. Там было темно, только сквозь окно проникал свет уличного фонаря и освещал швейную машину и стул. Мама, должно быть, уже легла спать, и неизвестно, виделась ли она и разговаривала ли с Джанкарло и Джизеллой. Я закрыла дверь и прошла к себе. Он беспокойно шагал по комнате от кровати к комоду.

— Послушай, — начал он, — будет лучше, если я уйду.

Сделав вид, что не слышу его слов, я сняла пальто и повесила в шкаф. Я чувствовала себя такой счастливой, что не удержалась и спросила с законной гордостью хозяйки:

— Как тебе нравится моя комната? Правда уютная?

Он огляделся вокруг и скорчил гримасу, смысла которой я не поняла. Я взяла его за руку, усадила перед собой на кровать и сказала:

— Теперь предоставь все мне.

Он посмотрел на меня: воротник его пальто был по-прежнему поднят, руки — в карманах. Я осторожно и ловко стянула с него пальто, потом сняла пиджак и повесила все вместе на вешалку. Не спеша я развязала галстук, сняла с него сорочку и разложила вещи на стуле. Потом я опустилась на корточки и, зажав его ступню между колен, как это делают заправские сапожники, стащила с него ботинки, носки и поцеловала его ноги. Поначалу все это я проделывала не торопясь, по порядку, но постепенно, по мере того, как я снимала с него одежду, во мне поднималась неистовая, самоуничижительная страсть. Пожалуй,

подобное чувство охватывало меня в церкви, но впервые я испытывала такое к мужчине, и я была счастлива, ибо понимала: пришла настоящая любовь, далекая от похоти и порока. Раздев его, я опустилась на колени у его ног и, закрыв глаза, крепко прижалась к нему щекой и волосами. Он полностью подчинился моей воле, и лицо его стало растерянным, мне это было приятно. Потом я вскочила, зашла за спинку кровати, быстро разделась, сбрасывая одежду прямо на пол и топча ее ногами. Он сидел на краю постели, озябший, опустив голову. Я подошла к нему сзади и, повинуясь какой-то радостной и жестокой силе, схватила его за плечи и опрокинула головой на подушки. Тело у него было длинное, худое и белое; тела так же, как и лица, имеют свое собственное выражение, его тело выражало целомудрие и юность. Я легла возле него, и мое тело рядом с ним, таким хрупким и холодным, казалось слишком горячим, смуглым, крупным и сильным. Я плотно прижалась животом к его костлявым бедрам, закинула руки ему на грудь, приникла щекой к его голове, прижалась губами к его уху. Мне казалось, что я не столько жажду любви, сколько хочу прикрыть его своим телом, как теплым покровом, и передать ему весь свой жар. Он лежал на спине, но голова, покоящаяся на подушке, была несколько приподнята, глаза открыты, будто он хотел видеть все, что я буду делать. От этого внимательного взгляда у меня по спине пробегали мурашки, я испытывала какую-то неловкость и смущение, однако, побуждаемая своим желанием, я постепенно перестала обращать на это внимание. Внезапно я спросила его шепотом:

— Теперь тебе не лучше?

— Лучше, — ответил он безразличным и глухим голосом.

— Погоди, — сказала я.

И когда я с еще большей страстью пыталась обнять его, я опять встретилась с его пристальным холодным взглядом, который был для меня, как ушат ледяной воды. И в эту минуту меня охватил стыд и смущение. Мой пыл угас, я медленно разжала объятия и упала навзничь рядом с ним. Я пережила величайший любовный подъем, вложила в него весь порыв самой чистой и глубокой страсти; от внезапного сознания всей тщетности моих усилий я заплакала, прикрыв глаза руками, чтобы скрыть от него свои слезы. Очевидно, я ошиблась, я не могла любить его и ждать от него любви, я понимала, что теперь он меня видел такой, какая я есть, и судит обо мне без всяких иллюзий. Только сейчас я осознала, что живу словно бы в тумане, которым нарочно окружила себя, лишь бы не заглядывать себе в душу. А он этими взглядами рассеял туман и как бы поставил передо мною зеркало, в котором я могла увидеть себя. И я увидела себя такой, какой была на самом деле или, вернее, какой, очевидно, казалась ему, потому что сама о себе я ничего не знала и ни о чем не задумывалась, более того, старалась, как я уже говорила, уверить себя в том, что я существую. Наконец я проговорила:

— Уходи.

— Почему? — спросил он, приподымаясь на локте и беспокойно глядя на меня. — Что случилось?

— Тебе лучше уйти, — спокойно сказала я, прикрывая рукой глаза, — не думай, что я на тебя сержусь… но я вижу, что ты ровно ничего не испытываешь ко мне, поэтому… — Я не договорила и покачала головой.

Он ничего не ответил, но я услышала, как он поднялся и начал одеваться. Тут меня пронзила такая резкая боль, как будто в меня со всей силы воткнули острый тонкий клинок, а потом еще и повернули его. Я страдала, слыша, как он одевается, страдала от мысли, что через минуту он уйдет навсегда и я никогда его не увижу, страдала от того, что все это причиняет мне такое горе.

Одевался он медленно, вероятно ожидая, что я его окликну. Помню, что я еще надеялась задержать его, вызвав в нем желание. Я лежала на спине, прикрывшись простыней. Кокетливым жестом, все отчаяние и тщетность которого я сама сознавала, я пошевелила ногой, и простыня соскользнула на пол. Никогда еще я не представала ни перед чьим взором в такой позе: нагая, раскинув ноги и прикрыв лицо руками; в какой-то миг я

почти физически ощутила на своих плечах прикосновение его рук и почувствовала на своих губах его дыхание. Но тотчас же я услышала, как захлопнулась дверь.

Я так и осталась лежать неподвижно. Незаметно отчаяние сменилось забытьем, и я заснула. Поздно ночью я проснулась и только тут поняла, что я одна. Во время этого короткого сна, несмотря на горечь разлуки, у меня оставалось ощущение, что он где-то здесь. Не помню, как я заснула снова.

ГЛАВА ВТОРАЯ

На другой день я, к своему удивлению, почувствовала себя слабой, грустной и вялой, словно проболела целый месяц. А ведь характер у меня жизнерадостный, и жизнерадостность эта идет от избытка здоровья и бодрости; я всегда с такой легкостью переносила всякие беды и неудачи, что иной раз просто даже досадовала на себя за то, что веселюсь в самых, казалось бы, неподходящих ситуациях. Каждый день, как только я поднималась с постели, мне первым делом хотелось запеть или пошутить с мамой. Но в то утро моя обычная жизнерадостность покинула меня, я чувствовала себя несчастной, на душе у меня было тяжко, пробило уже двенадцать часов, а мой здоровый аппетит не давал о себе знать. Мама заметила мое необычное настроение, но я ей сказала, что просто плохо спала.

Так оно и было в самом деле; только истинной причиной этому я считала ту глубокую душевную травму, которую нанес мне Джакомо, когда отверг меня. Я говорила, что уже с некоторых пор стала спокойно смотреть на свое ремесло: в душе я считала, что нет никаких оснований бросать его. Но я еще надеялась полюбить кого-нибудь и быть любимой, а вот Джакомо оттолкнул меня, и вопреки всем его путаным объяснениям мне казалось, что всему виной моя профессия, которая стала мне поэтому сразу ненавистной и невыносимо мерзкой.

Самолюбие — это загадочный зверь, который спокойно спит даже под градом самых страшных ударов и вдруг просыпается, раненный насмерть пустяковой царапиной. Больше всего меня мучили, наполняли горечью и стыдом слова, которые я произнесла, вешая свое пальто в шкаф. Я спросила у него: «Как тебе нравится моя комната? Правда уютная?»

Я вспомнила, что он ничего не ответил, а только огляделся вокруг, тогда я не поняла, что выражало его лицо. Теперь я знала, это была гримаса отвращения. Он, конечно, подумал: «Комната обыкновенной уличной девки». И, вспоминая это, я сгорала со стыда, особенно потому, что произнесла свою фразу тоном неприкрытого самодовольства. А ведь я могла бы и сообразить, что ему, человеку благовоспитанному и впечатлительному, моя комната показалась просто грязным вертепом, вдвойне отвратительной из-за этой жалкой обстановки, которая служила известным целям.

Дорого я бы дала, чтобы эти нелепые слова никогда не срывались с моих губ, но ничего не поделаешь, я уже произнесла их. Я будто попала в заколдованный круг, из которого уже никак не могла вырваться. Более того, в этой фразе была я вся, такая, какой стала по собственной воле и какой останусь на всю жизнь. Забыть эти слова или постараться убедить себя, что я их не произносила, все равно что забыть самое себя, убедить себя, что я не существую.

Эти мысли отравляли меня, подобно медленно действующему яду, постепенно проникавшему в мою здоровую кровь. Обычно по утрам, как бы долго я ни нежилась в постели, мне рано или поздно надоедало валяться, мое тело вопреки моей воле скидывало с себя покровы, и я вскакивала с кровати. Но в тот день все было иначе: прошло утро, настал час завтрака, а я, как ни заставляла себя подняться, не могла двинуться с места. Мне казалось, что мое безжизненное тело связано, оцепенело, стало слабым и немощным, а вместе с тем я чувствовала себя больной и разбитой, будто эта неподвижность давалась мне с огромным и отчаянным трудом. Мне казалось, что я похожа на старую заброшенную полусгнившую лодку, какие иногда встречаются в заболоченных бухтах. Брюхо такой лодки полно черной застоявшейся воды, и стоит человеку забраться в нее, как истлевшее днище тотчас же провалится, и лодка, спокойно стоявшая здесь годами, мгновенно пойдет ко дну.

Не знаю, сколько времени пролежала я так, глядя в пустоту, с головой завернувшись в одеяло. Я слышала, как колокола прозвонили полдень, потом пробило час, два, три, четыре. Я заперлась на ключ: время от времени озабоченная мама подходила и стучалась. Я отвечала, что скоро встану, просила ее оставить меня в покое.

Когда солнце начало садиться, я собралась с духом и, сделав над собой, как мне показалось, поистине нечеловеческое усилие, сбросила одеяло и поднялась с постели.

Все мое тело было словно налито ленью и отвращением. Я умылась, оделась, я не ходила, а еле-еле двигалась по комнате. Я ни о чем не думала, но понимала не рассудком, а всем своим существом, что, по крайней мере нынче, не смогу принимать обычных своих гостей. Я оделась, вышла к маме и сказала, что сегодняшний вечер мы проведем вместе. Пойдем прогуляемся по улицам, а потом где-нибудь в кафе выпьем аперитив.

Радость мамы, не привыкшей к таким прогулкам, почему-то раздражала меня; и я снова подумала, что мамины щеки стали пухлыми и отвисшими, а в заплывших глазах светилась какая-то неуверенность и фальшь. Но я подавила в себе искушение сказать ей грубость, которая сразу рассеяла бы ее веселое настроение. Ожидая, пока мама оденется, я уселась за стол в полутемной мастерской. Молочный свет уличного фонаря, проникая сквозь незанавешенные окна, освещал швейную машину и вползал на степу. Я оглядела стол и увидела яркие игральные карты: мама проводила за пасьянсом долгие скучные вечера. И внезапно меня охватило странное чувство: я представила себя на месте мамы, почувствовала душой и телом, как она ждет свою дочь Адриану, пока та занята с очередным любовником. Вероятно, ощущение это возникло оттого, что я сидела на мамином стуле, за ее столом, смотрела на разбросанные карты. Иногда определенные места способствуют таким перевоплощениям. Так, например, человек, придя в тюрьму, испытывает тот же ужас, то же отчаяние, то же чувство одиночества, которые пережил заключенный, томившийся здесь когда-то. Но наша мастерская отнюдь не была тюрьмой, и мама вовсе не испытывала тех страшных мук, которые я так бездумно ей приписывала. Она лишь продолжала жить, как и раньше жила. Но вероятно, оттого, что несколько минут назад я почувствовала к ней неприязнь, я прониклась вдруг ее пониманием жизни, и этого оказалось достаточно, чтобы перевоплотиться. Обычно добрые души, желая оправдать предосудительные поступки, говорят в таких случаях: «А ты сам побывал бы в его шкуре». Ну, так вот и я на какой-то миг почувствовала себя на месте мамы настолько явственно, что вообразила, будто я и есть мама.

Я превратилась в маму, но полностью отдавала себе в этом отчет, чего, конечно, не происходило с ней. Иначе она как-нибудь проявила бы свой протест. Внезапно я почувствовала себя постаревшей, сморщенной, усталой и поняла, чтó значит старость, которая не только меняет внешность человека, но превращает его в слабое и никчемное существо. Как выглядела мама? Иногда я видела, как она раздевается. Я не обращала внимания на ее дряблую, потемневшую грудь, на ее желтый, трясущийся живот. Эту грудь, которая вскормила меня, этот живот, в котором зародилась моя жизнь, — теперь все это я ощутила физически, и мне казалось, что я испытываю ту же боль и раскаяние, которые должна испытывать мама при виде своего изменившегося тела. Красота и молодость делают жизнь сносной, даже легкой. Но когда они уходят… Я вздрогнула от ужаса и, очнувшись от этого кошмара, порадовалась, что я Адриана, красивая и молодая, а не мама, которая постарела и подурнела и уже никогда не будет такой, как я.

И в это же самое время постепенно, подобно тому, как вновь начинает работать заглохший мотор, в моем сознании стали роиться мысли, которые, должно быть, осаждали маму, пока она сидела здесь в одиночестве, дожидаясь меня. Конечно, нетрудно догадаться, о чем может думать в подобной обстановке такая женщина, как мама; у большинства людей эти мысли могут вызвать только осуждение и презрение, ведь обычно человек не столько старается поставить себя на место другого, сколько ищет повод для упреков. Но я любила маму и именно поэтому, представляя себя на ее месте, я знала, что в такие минуты она вовсе не тревожилась обо мне, не боялась за меня и не испытывала стыда, одним словом, мысли ее никак не были связаны с тем, чем в это время я занималась. Я знала, что мысли ее крутятся

вокруг всяких пустяков, которые обычно приходят в голову старым, бедным и темным женщинам, они за всю свою жизнь ни разу не смогли сосредоточиться хотя бы в течение двух дней на одном и том же, не столкнувшись с опровержением своих мыслей. Глубоким мыслям и сильным чувствам, даже самым неприятным и отрицательным, необходимо время и забота, подобно нежным растениям, которым нужен длительный срок, чтобы прижиться и пустить корни. А в мамином уме и сердце созревали лишь незначительные мысли: досада да повседневные заботы, похожие на сорную траву. Так, я в своей комнате продавалась за деньги, а мама в мастерской, раскладывая пасьянс, продолжала думать о привычных мелочах, если так можно назвать то, чем жила она много лет, начиная с детства и кончая сегодняшним днем: о ценах на продукты, о сплетнях соседей, о домашних делах, о болезнях, которые, не дай бог, привяжутся к нам, о работе, что ей предстоит сделать, и о других подобных пустяках. И быть может, время от времени она прислушивалась к колокольному звону, доносящемуся из соседней церкви, и думала: «Что-то Адриана задерживается дольше обычного». Или, слыша, как я открываю дверь в прихожую и разговариваю, она шептала: «Вот Адриана уже освободилась». А о чем еще могла она думать? Теперь, проникнув в ход маминых мыслей, я слилась с ней душой и телом, и именно оттого, что я знала ее всю без прикрас, мне начало казаться, что я снова люблю ее, и даже больше, чем прежде.

Скрип двери оторвал меня от моих размышлений. Мама зажгла свет и спросила:

— Что же ты сидишь в темноте?

А я, ослепленная светом, встала и молча посмотрела на нее. Она оделась во все новое, я сразу заметила это. Она была без шляпы, потому что никогда не носила их. На ней было платье из черной материи с выработкой, в руке она держала черную кожаную сумку с позолоченным металлическим замком, на плечи накинула меховую горжетку. Мама смочила свои седые волосы, тщательно зачесала их и собрала на макушке в тугой, маленький пучок, весь утыканный шпильками. Она даже слегка подрумянила свои когда-то худые, ввалившиеся, а теперь округлые щеки. Я невольно улыбнулась ее нарядному и торжественному виду и, подойдя к ней, сказала, как всегда, ласково!

— Пойдем.

Я знала, что мама любит медленно прогуливаться в час пик по центральным улицам, где находятся лучшие магазины. Поэтому мы сели в трамвай и сошли в самом начале улицы Национале. Когда я была маленькой, мама часто гуляла со мною по этой улице. Мы начинали свой путь от площади Эзедры, медленно шли по правой стороне улицы, внимательно разглядывая одну за другой витрины магазинов, и так доходили до площади Венеции. Тут мы переходили на противоположный тротуар, и мама, ведя меня за руку, все так же внимательно разглядывала товары в магазинах и возвращалась на площадь Эзедры. Потом, так ничего и не купив и не осмелившись даже переступить порог одного из многочисленных кафе, она приводила меня домой, усталую и сонную. Помню, что эти прогулки не нравились мне, потому что я не в пример маме, которая, видимо, довольствовалась платоническим созерцанием, мечтала войти в магазины, купить и принести домой что-нибудь из этих красивых вещей, выставленных в ярком свете за сверкающим стеклом. Но я очень рано поняла, что мы бедны, и поэтому не выказывала своих чувств. Только раз, не помню уже, по какому поводу, я устроила самый настоящий скандал. Чуть ли не полдороги мама тянула меня за руку, а я упиралась что было сил, кричала и плакала. Наконец мама потеряла терпение, и вместо желанного подарка я получила пару звонких оплеух и от боли тут же забыла о своем неутешном горе.

И вот я снова возле площади Эзедры под руку с мамой, будто все то, что я рассказала, произошло всего лишь вчера. Вот плиты тротуара, их топчут ноги в маленьких туфельках, огромных башмаках, штиблетах, на каблуках и без каблуков, сапоги и сандалии: посмотреть вниз, так просто в глазах зарябит. Вот прохожие: эти движутся в одну сторону, те — в другую, идут парами, гурьбой или поодиночке, женщины, мужчины, дети, один медленно прохаживаются, другие спешат, и все похожи друг на друга, наверно, именно потому, что хотят выделиться, — те же костюмы, те же шляпы, те же лица, глаза, губы. Вот и магазины:

меховые, обувные, писчебумажные, ювелирные, часовые, книжные, цветочные, вот магазины тканей, игрушек, хозяйственных товаров, магазины модной одежды, магазины чулок и перчаток, кафе, кинотеатры, банки. Вот освещенные окна зданий, и видно, как люди внутри снуют взад и вперед по комнатам или усердно трудятся, сидя за столами. Вот светящиеся рекламы, всегда одни и те же. На каждом углу стоят продавцы газет, торговки жареными каштанами, толпятся безработные, которые предлагают прохожим карту Армении или резиновые колечки для зонтиков. Тут и нищие: в самом начале улицы, прислонившись к стене, стоит слепой, на нем черные очки, в руках шапка, немного подальше сидит женщина, почти старуха, она прижимает к своей дряблой груди младенца, а еще дальше примостился убогий, вместо руки у него культя, желтая и блестящая, как коленка. Очутившись вновь на этой улице, среди столь знакомых предметов, я вдруг загрустила, оттого что все здесь раз и навсегда застыло, все неизменно, и я невольно содрогнулась, словно меня раздели донага: по моему телу пробежал леденящий ужас. Из кафе доносились звуки радио, громко пел страстный женский голос. В тот год шла война в Эфиопии, и женщина пела «Черное личико».

Мама не замечала моего настроения, впрочем, я его тщательно скрывала. Как я уже не раз говорила, с виду я добродушна, кротка, спокойна, и поэтому трудно догадаться, что́ в самом деле у меня на уме. Но я все же растрогалась (женщина запела какую-то душещипательную песенку), губы мои задрожали, и я спросила маму:

— Помнишь, как ты водила меня на эту улицу смотреть витрины магазинов?

— Да, — ответила она, — но тогда все было дешевле… Например, вот эту сумку ты могла бы купить всего за тридцать лир. — Мы отошли от галантерейного магазина и приблизились к ювелирному. Мама остановилась посмотреть драгоценности и восторженно проговорила: — Гляди, какое кольцо… Бог знает, сколько оно стоит… а вон золотой браслет… я не очень люблю кольца и браслеты… а вот ожерелья просто обожаю… У меня было когда-то коралловое ожерелье… но потом пришлось его продать.

— А когда это было?

— О, много лет назад.

Не знаю почему, но я вдруг подумала, что, несмотря на свой заработок, я до сих пор не могу купить себе даже самое простенькое колечко. И я сказала:

— Знаешь, мама… я решила, что теперь не буду никого приводить домой… кончено.

Впервые я так ясно говорила маме о своем занятии. Она посмотрела на меня с таким выражением лица, которое я в ту минуту не поняла, и ответила:

— Я ведь тебе говорила не раз… делай так, как тебе нравится… если ты счастлива, то и я счастлива.

Однако она не была похожа на счастливого человека. Я продолжала:

— Снова начну прежнюю жизнь… А тебе придется опять кроить и шить сорочки.

— Шила же я столько лет… — ответила она.

— У нас не будет больше таких денег, как сейчас, — жестко сказала я, — в последнее время мы с тобой немного избаловались… А я подумаю, чем мне заняться.

— Чем же ты займешься? — с надеждой спросила мама.

— Не знаю, — ответила я, — либо снова стану натурщицей, либо буду тебе помогать в работе.

— Ну какая от тебя помощь? — уныло проговорила она.

— А может быть, — продолжала я, — пойду в прислуги… что же делать?

Мамино лицо стало вдруг горестным и печальным, даже осунулось, и с него слетело беззаботное выражение, как слетают с деревьев засохшие листья от первых осенних холодов. Однако она уверенным тоном произнесла:

— Поступай как знаешь… я же тебе сказала, лишь бы ты была счастлива.

Я понимала, что в ней борются два противоположных чувства: любовь ко мне и тяга к спокойной жизни. Мне стало ее жаль, хотя я предпочитала, чтобы она выбрала что-то одно: либо любовь, либо расчет. Но такое случается редко, и мы живем тем, что сводим на нет

наши добродетели своими же собственными пороками.

— Моя прежняя жизнь мне не нравилась, не нравится и нынешняя… я понимаю только одно, что таким способом ничего путного не добьюсь, — сказала я.

После этих слов мы замолчали. Мамино лицо поблекло и приобрело землистый оттенок, даже казалось, что сквозь румянец снова проступает прежняя худоба. Она смотрела на витрины все так же внимательно, все так же подолгу останавливалась возле них, но прежняя ее радость и любопытство погасли, все это она продолжала делать механически, думая о чем-то своем. Возможно, она глядела на эти витрины, но ничего не замечала или, вернее, уже не замечала разложенных там товаров, а видела перед собой швейную машину с неустанно раскачивающимся ножным приводом, иголку, бешено снующую вверх-вниз, наполовину сшитые, разбросанные по столу сорочки, черную тряпку, в которую заворачивают готовые вещи и разносят клиентам по городу. Что до меня, то видения эти не заслоняли от моего взора витрин магазинов. Я все прекрасно видела и рассуждала вполне трезво. Я различала за стеклом предметы с ценниками и твердила про себя, что если даже я не хочу — как оно и было на самом деле — заниматься своим ремеслом, то все равно ничего другого я делать не умею. Бóльшую часть этих выставленных в витринах предметов я теперь, пожалуй, могла бы купить, но если я снова стану натурщицей или займусь чем-нибудь еще, то мне придется раз и навсегда отказаться от всего этого, и тогда для меня и мамы снова начнется прежняя трудная, нищенская жизнь, полная лишений, ненужных жертв и бессмысленной экономии. Сейчас я еще могла надеяться, что найдется человек, который захочет подарить мне дорогую безделушку. Но если я вернусь к старой жизни, драгоценности станут для меня столь же недоступны и недосягаемы, как звезды на небе. Меня охватило отвращение к моему прежнему существованию, и оно показалось мне глупым, тяжелым и безнадежным, и вместе с тем я ощутила всю нелепость случая, под влиянием которого я собиралась переменить жизнь. И только из-за того, что какой-то студент, которым я увлеклась, не захотел меня знать. Только из-за того, что я вбила себе в голову, будто он презирает меня. Ведь именно поэтому я и захотела стать другой. Все это гордость, думала я, но из этой глупой гордости я не имею права вновь ставить себя, а особенно маму в прежние жалкие условия. Внезапно я представила себе Джакомо, его жизнь, которая ненадолго приблизилась и сплелась с моею жизнью, а потом пошла своим путем, а я продолжала идти той дорогой, на которую вступила раньше. «Если я встречу человека, пусть даже бедного, который полюбит меня и женится на мне, тогда другое дело, — думала я, — но стоит ли из-за простого каприза ломать себе жизнь». И от этой мысли на душе у меня стало легко и спокойно. Впоследствии я всякий раз испытывала чувство облегчения и покоя, не только преодолевая трудности, которые ставила передо мною судьба, но и идя им навстречу. Какая я была, такой и должна оставаться, и не иначе. Я могла быть, пусть это кажется странным, либо хорошей женой, либо продажной женщиной, но только не нищей, которая выбивается из сил и терпит нужду с одной-единствен-ной целью — не поступиться собственной гордыней. И, примирившись наконец сама с собой, я улыбнулась.

Мы очутились возле магазина шерстяных и шелковых дамских изделий, и мама сказала:

— Посмотри, какой красивый платок, вот бы мне такой.

Спокойная и повеселевшая, я подняла глаза и увидела платок, который так понравился маме. Он и впрямь был хорош: с рисунком из черно-белых птиц и веточек. Двери магазина были распахнуты, и с улицы виднелся прилавок, на нем стоял ящик с отделениями, где лежало множество разбросанных в беспорядке платков. Я спросила у мамы:

— Тебе нравится этот платок?

— Да, а что?

— Сейчас ты его получишь… но сперва дай мне твою сумку, а мою возьми себе.

Она ничего не понимала и смотрела на меня, раскрыв от изумления рот. Не говоря ни слова, я взяла ее большую кожаную черную сумку, а ей сунула в руки свою, которая была намного меньше. Раскрыв замок сумки и придерживая его пальцами, я медленно вошла в

магазин, делая вид, что собираюсь что-либо купить. Мама, ничего не понимая, но и не осмеливаясь приставать ко мне с вопросами, вошла за мною следом.

— Нам бы хотелось выбрать платок, — сказала я продавщице, подходя к ящику с отделениями.

— Вот шелковые платки… это кашемировые… это шерстяные… а это хлопчатобумажные, — сказала продавщица, раскладывая передо мною товар.

Я встала рядом с прилавком, держа сумку чуть ниже талии, и одной рукой принялась перебирать платки, разворачивала их, разглядывала на свет, сравнивала рисунок и цвета. Таких платков с белыми и черными узорами была по меньшей мере целая дюжина. Я с умыслом подтянула один платок к краю ящика, и конец его свесился с прилавка. Потом я обратилась к продавщице:

— Откровенно говоря, мне хотелось бы что-нибудь поярче.

— У нас есть товар высшего качества, — отозвалась продавщица, — но он дороже.

— Покажите мне, пожалуйста.

Продавщица отвернулась и стала вытаскивать из шкафа коробку. Я быстро отодвинулась от прилавка и открыла сумку. Потянуть платок за кончик и вновь прижаться всем телом к прилавку было секундным делом.

Продавщица тем временем вытащила картонку из шкафа, поставила ее на прилавок и показала мне платки еще большего размера и еще более красивые. Я долго и спокойно разглядывала их, делая замечания по поводу цвета и рисунка, затем показывала их маме, а мама, которая все видела и была ни жива ни мертва, только молча кивала головой.

— Сколько стоит? — наконец спросила я.

Продавщица назвала цену. Я с сожалением в голосе ответила:

— Вы правы, они слишком дороги, по крайней мере для меня… во всяком случае, большое вам спасибо.

Мы вышли из магазина, и я быстро направилась в ближайшую церковь, я боялась, что продавщица может заметить пропажу и побежит за нами. Мама взяла меня под руку и растерянно и опасливо озиралась по сторонам, так смотрит пьяный человек, который не совсем уверен в том, что вокруг него все трезвые, поскольку рядом все качаются и толкаются. Я едва сдерживалась, чтобы не расхохотаться: уж очень у мамы был забавный вид. Я сама не знала, зачем украла платок, в конце концов, это не имело значения, так как я уже один раз воровала — в доме хозяев Джино я взяла пудреницу, — а в таком деле важен первый шаг. Теперь я испытала то же самое чувственное удовольствие, как и в прошлый раз. Мне показалось, что я могу понять тех людей, которые воруют. Через несколько минут мы очутились возле церкви, и я спросила маму:

— Хочешь, зайдем на минутку в церковь?

Она покорно ответила:

— Как знаешь.

Мы вошли в маленькую белую церковь, она была круглой формы, и колонны, идущие вдоль стен, делали ее похожей на танцевальный зал. Здесь стояли два ряда скамей, и на их отполированные сиденья из окошек купола струился бледный свет. Я подняла глаза и увидела, что купол весь расписан фресками, там парили ангелы с распростертыми крыльями. И я сразу почувствовала себя уверенно, ведь эти прекрасные и всемогущие ангелы непременно защитят меня, и продавщица заметит пропажу только вечером. Торжественная тишина, запах ладана, полумрак, царившие в церкви, подействовали на меня умиротворяюще после уличной суматохи и слишком яркого света. Когда я торопливо входила в церковь, то почти насильно втолкнула туда маму, сама-то я быстро успокоилась, и страх мой прошел. Мама что-то искала в моей сумке, которую до сих пор держала в руках. Я протянула маме ее сумку и шепнула:

— Надень платок.

Она раскрыла сумку и повязала голову украденным платком. Мы окунули пальцы в чашу со святой водой и заняли место в первом ряду перед главным алтарем.

Я опустилась на колени, а мама продолжала сидеть, сложив руки на животе, лицо ее было затенено большим платком. Я понимала, что она взволнована, и невольно сравнивала свое спокойствие со смятением, охватившим ее. На меня нашло безмятежное и кроткое состояние духа, и, хотя я понимала, что совершила поступок, осуждаемый религией, я не чувствовала угрызений совести и теперь была ближе к богу, чем тогда, когда не совершала ничего предосудительного и работала день и ночь, едва сводя концы с концами. Я вспомнила, как содрогнулась, увидев эту многолюдную улицу, и утешилась при мысли, что бог, который видит меня насквозь, не найдет в моей душе ничего плохого — меня оправдывало уже то, что я живу на свете, впрочем, это снимало вину вообще со всех людей. Я знала, что бог там, на небе, не для того, чтобы судить и наказывать меня, а для того, чтобы оправдать мое существование, которое не может быть дурным, поскольку целиком зависит от его воли. И, машинально твердя слова молитвы, я смотрела на алтарь, где за язычками пламени свечей смутно виднелась темная икона. На иконе, как мне показалось, была изображена Мадонна, и я понимала, что Мадонна не станет вникать в такой пустяк, как мое поведение в том или ином случае, важнее другое: могу я надеяться, что она благословит меня на жизнь, или нет. И вдруг мне показалось, что темная икона, отгороженная от нас огненным заслоном горящих свечей, посылает мне благословение, я поняла это, почувствовав необычайное тепло, внезапно охватившее все мое существо. Итак, я получила это благословение, хотя ничего не понимала в жизни, не знала, зачем живут люди.

Мама сидела поодаль печальная и задумчивая, новый платок она низко надвинула на лоб, и я, оглядываясь назад, не могла сдержать ласковой улыбки.

— Помолись… тебе будет легче, — прошептала я.

Мама вздрогнула и после минутного колебания как бы через силу опустилась на колени, скрестив руки на груди. Я знала, что она перестала верить в бога, религия в ее глазах была своего рода ложным утешением и служила единственной цели: заставить ее быть кроткой и забыть все тяготы жизни. И тем не менее она механически зашевелила губами, и при виде ее недоверчивого и мрачного лица я снова улыбнулась. Мне так хотелось утешить ее, сказать, что я передумала, пусть она не боится, ей не придется снова браться за прежнюю работу. В мамином дурном настроении было что-то детское, она была похожа на ребенка, которому отказывают в обещанных лакомствах, и именно эта черта определяла ее отношение ко мне. Не будь этой черты, можно было бы подумать, что мама собирается использовать мое ремесло в своих корыстных целях, но я знала, что это не так.

Кончив молитву, мама перекрестилась, но так нехотя я вяло, будто хотела показать, что делает все это только ради меня; я встала и знаком предложила ей выйти. На пороге церкви она сняла платок, аккуратно сложила его и убрала в сумку. Мы вернулись на улицу Национале, и я направилась к кондитерской.

— Давай выпьем немного вермута, — предложила я.

Мама тотчас же возразила:

— Нет, нет… зачем… это вовсе не обязательно.

Но слова эти она произносила одновременно довольным и робким голосом. Она всегда вела себя так: сказывалась старая привычка — боязнь тратить лишние деньги.

— Подумаешь, важность! Рюмка вермута! — сказала я.

Мама молча вошла за мной в кондитерскую.

Это было старое кафе со стойкой и с панелями из красного полированного дерева, широкие витрины были заставлены красивыми коробками со сладостями. Мы сели в углу, и я заказала две порции вермута. Мама оробела при виде официанта и сидела неподвижно, смущенно опустив глаза. Когда официант принес вермут, мама взяла рюмку, пригубила вино, поставила рюмку снова на стол и серьезно сказала, глядя на меня:

— Как вкусно.

— Это же вермут, — пояснила я.

Официант принес стеклянную вазу с пирожными. Я пододвинула ее маме и сказала:

— Возьми пирожное.

— Нет, нет, ради бога…

— Да возьми же.

— Я испорчу себе аппетит.

— Ну одним-то пирожным не испортишь. — Я заглянула в вазу, выбрала слойку с кремом и протянула маме: — Съешь вот это… оно не повредит.

Мама взяла пирожное и, осторожно откусывая маленькие кусочки, то и дело с сожалением поглядывала на него.

— До чего же вкусно, — наконец сказала она.

— Возьми еще одно, — предложила я.

На этот раз мама не заставила себя просить и взяла второе пирожное. Выпив вермут, мы сидели молча и смотрели на оживленно снующих посетителей кондитерской. Я понимала, как приятно маме сидеть здесь, в этом уголке, после рюмки вермута и двух пирожных, она с любопытством следила за посетителями, и у нее даже слов не находилось. Вероятно, она впервые попала в такое кафе и от новизны впечатлений не могла ни о чем думать.

В кондитерскую вошла молодая дама, ведя за руку девочку, одетую в коротенькое пальтишко с белым пушистым меховым воротничком, в белых чулках и перчатках. Мать выбрала на витрине стойки пирожное и подала девочке. Я сказала маме:

— Когда я была маленькой, ты меня ни разу не водила в кондитерскую.

— Да разве я могла? — ответила она.

— Зато теперь я привела тебя сюда, — спокойно заключила я.

Мама помолчала, а потом печально произнесла:

— Вот ты упрекаешь меня, что я пришла сюда… А я ведь не хотела идти.

Я накрыла ее руку своей ладонью и сказала:

— Вовсе я тебя не упрекаю… Я очень рада, что привела тебя сюда… а бабушка никогда не водила тебя в кондитерскую?

Она покачала головой и ответила:

— До восемнадцати лет я не ходила дальше нашего квартала.

— Теперь ты сама видишь, — сказала я, — что в каждой семье обязательно должен быть человек, который рано или поздно выбирает себе иное занятие, чем все… ни ты, ни твоя мать, ни, наверно, твоя бабушка не занимались таким делом… так вот, я буду им заниматься… не может же вечно продолжаться так, как было.

Она ничего не ответила, и мы еще посидели с четверть часа, молча разглядывая публику. Потом я открыла сумку, вынула портсигар и закурила. Часто такие женщины, как я, курят в общественных местах, желая привлечь к себе внимание мужчин. Но я в ту минуту не собиралась ловить клиента, я даже решила сегодня хорошенько отдохнуть. Мне просто захотелось курить, вот и все. Я губами зажала сигарету, втянула в себя дым, а потом выпустила его изо рта и из ноздрей, придерживая сигарету двумя пальцами и разглядывая посетителей.

Но вопреки моему желанию в этом жесте было, вероятно, что-то вызывающее, ибо я тотчас же заметила, как один мужчина, стоявший возле стойки с чашкой кофе в руке, вдруг словно окаменел, чашка повисла в воздухе, а сам он пристально посмотрел на меня. Это был невысокий мужчина лет сорока, с низким, заросшим кудрявыми волосами лбом, с глазами навыкате и тяжелой челюстью. Затылок его был так массивен, что казалось, будто у него вовсе нет шеи. Подобно быку, который, низко опустив голову, неподвижно застывает на месте при виде мулеты, прежде чем броситься на нее, он замер с чашкой в руке, глядя на меня. Он был хорошо одет, хотя выглядел не слишком элегантно в своем узком пальто, которое подчеркивало ширину его плеч. Я опустила глаза, решая про себя, стоит или не стоит связываться с этим человеком. Я сразу догадалась, что он из тех мужчин, у которых от одного нежного взгляда вздуваются на шее вены и лицо багровеет, но я еще не знала, нравится мне он или нет. Подобно тому как скрытые жизненные силы выталкивают наружу сквозь твердую корку земли нежные ростки, так и мною овладело желание обольстить его, и

желание это было столь велико, что я тут же скинула личину благопристойности. Все это произошло лишь час спустя после моего решения бросить свое ремесло. Видимо, ничего не поделаешь, это сильнее меня, подумала я, и подумала об этом весело, потому что с той минуты, как я вышла из церкви, я смирилась со своей судьбой, и смирение это обошлось дороже любого благородного отказа. Итак, после минутного раздумья я бросила взгляд на мужчину. Он все еще стоял на прежнем месте, в его большой волосатой руке была зажата чашечка, бычьи глаза впились в меня. Тогда я взяла его, как говорится, на прицел, призвав на помощь всю свою хитрость, я улыбнулась и посмотрела на него долгим, обволакивающим взглядом. Он выдержал мой взгляд, но, как я и предполагала, весь побагровел. Быстро допив кофе, он поставил чашечку на стойку, с солидным и важным видом направился к кассе и расплатился. На пороге он оглянулся и повелительно кивнул мне. Я взглядом ответила ему, что согласна. Когда он вышел, я сказала маме:

— Я тебя оставляю… ты посиди здесь еще немного, я все равно не могу пойти вместе с тобой.

Мама так увлеклась разглядыванием публики, что от неожиданности даже вздрогнула:

— Куда это ты идешь… зачем?

— Меня ждут на улице, — сказала я вставая, — вот деньги… заплати и иди домой… я приду раньше тебя… но не одна.

Мама смущенно посмотрела на меня, и мне показалось, что ее мучит совесть, но она промолчала. Я кивнула ей и вышла. Мужчина поджидал меня. Едва я успела выйти, как он сразу крепко схватил меня под руку.

— Куда мы пойдем?

— Пойдем ко мне домой.

Так после нескольких часов душевных мучений я отказалась от борьбы с тем, что считала своей судьбой, и с новой силой уцепилась за нее, как вцепляются во врага, которого невозможно одолеть; и мне сразу стало легче. Вероятно, кое-кто скажет, что куда легче принять презренную, но прибыльную участь, нежели отказаться от нее. Но я не раз спрашивала себя, почему печаль и злоба гнездятся в душах людей, которые хотят жить праведно, исповедуя возвышенные идеалы, и почему, наоборот, люди, которые смотрят на свою жизнь как на ничтожное, мрачное и бесцельное существование, бывают обычно веселыми и беззаботными. Впрочем, каждый человек подчиняется не правилам, а своей натуре, которая и предрешает его истинную судьбу. А моя натура требовала, чтобы я любой ценой сохраняла свою жизнерадостность, кротость и спокойствие, и я подчинилась.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Я решила, что Джакомо для меня навсегда потерян, и поклялась больше не думать о нем. Я чувствовала, что люблю его и, если он вернется, я буду счастлива и полюблю еще сильнее. Но я знала также, что никогда больше не позволю ему унизить меня. Если он вернется, я отгорожусь от него своей жизнью, словно неприступной и несокрушимой крепостной стеной, которая защищает меня до тех пор, пока я не выхожу за ее пределы. Я скажу ему: «Я всего-навсего уличная девка, если я тебе нравлюсь, прими меня такой, какая я есть». Ведь моя сила не в том, чтобы выдавать себя за другого человека, а в том, что я честно признаю себя такой, какая я есть на самом деле. Моей силой была наша бедность, мое ремесло, мама, наш дом, моя скромная одежда, мое простое происхождение, мои несчастья и прежде всего то чувство, которое заставляло меня мириться со всем этим и которое было глубоко запрятано в моей душе, как драгоценный клад под землею. Но я была уверена, что никогда больше не увижу Джакомо, и поэтому любила его как-то по-новому: спокойно, грустно и нежно. Так любят тех, кто умер в кто уже не вернется.

В это время я окончательно порвала с Джино. Как я уже говорила, я не сторонница резких разрывов и предпочитаю, чтобы все жило своей естественной жизнью и умирало своей естественной смертью. Мои отношения с Джино — яркий пример этого правила. Наши

отношения прекратились, ибо они умерли — и в этом не были виноваты ни я, ни даже Джино, — прекратились сами собой и не оставили в моей душе ни сожаления, ни угрызений совести.

До сих пор я изредка продолжала встречаться с Джино, раза два-три в месяц. И хотя я потеряла к нему всякое уважение, он мне все еще нравился. Однажды он по телефону назначил мне свидание в молочной, и я согласилась прийти.

Молочная находилась в нашем квартале. Джино поджидал меня во внутреннем помещении без окон и со стенами, отделанными кафельными плитками. Когда я вошла, то увидела, что он не один. Какой-то человек сидел спиной ко мне. Я успела заметить, что на нем зеленый плащ, а волосы у него светлые, «ежиком». Я подошла, Джино поднялся с места, но спутник его продолжал сидеть. Джино сказал:

— Познакомься, это мой друг Сонцоньо.

Тогда Сонцоньо тоже встал, и я, окинув его быстрым взглядом, протянула ему руку. Он сильно сдавил ее словно клещами, и я невольно вскрикнула от боли. Он сразу же выпустил руку, я села и с улыбкой сказала:

— А ведь это очень больно… вы всегда так делаете?

Он ничего не сказал, даже не ответил на мою улыбку. Лицо у него было белое как бумага, лоб большой и выпуклый, глаза светло-голубые, маленькие, нос курносый и рот с тонкими губами. Светлые волосы, жесткие и выгоревшие, были коротко пострижены, виски впалые. Но черты его лица были крупные, челюсти широкие и тяжелые. Казалось, он все время стискивает зубы, будто пережевывает что-то, и на щеках у него беспрестанно ходили и перекатывались желваки. Джино, который, как я заметила, смотрел на своего друга с уважением, даже с восторгом, весело расхохотался:

— Это еще пустяки… если бы ты знала, какой он сильный… у него запрещенный кулак.

Мне показалось, что Сонцоньо взглянул на Джино недружелюбно. Потом сказал глухим голосом:

— Неправда, что у меня запрещенный кулак… но я мог бы его иметь…

— А что значит «запрещенный кулак»? — спросила я.

Сонцоньо отрывисто ответил:

— Когда человек может убить одним ударом кулака… Тогда запрещено пускать в ход кулаки… это все равно что применять огнестрельное оружие.

— Ты только посмотри, какой он сильный, — настаивал Джино, видно желая польстить Сонцоньо. — Дай ей потрогать бицепсы.

Я была в нерешительности, но Джино настаивал, а его друг, кажется, ждал от меня этого жеста. Я робко протянула руку, собираясь пощупать его бицепсы. Он согнул руку в локте, напрягая мускулы. Проделал он это с серьезным и даже мрачным видом. И тут неожиданно, потому что внешне он казался скорее щуплым, я почувствовала, как под моими пальцами вдруг словно вырос узел из стального троса. И я отняла руку с возгласом не то удивления, не то отвращения. Польщенный Сонцоньо посмотрел на меня, губы его тронула легкая улыбка. Джино пояснил:

— Он мой старинный друг… не правда ли, Примо, мы с тобой знакомы целую вечность? Мы почти как братья. — Хлопнув Сонцоньо по плечу, он добавил: — Старина Примо!

Но тот дернул плечом, будто хотел скинуть руку Джино, и ответил:

— Никакие мы не друзья и не братья… просто вместе работали в одном гараже, вот и все.

Джино ничуть не смутился:

— Да, я знаю, что ты не хочешь ни с кем дружить… всегда ты один, сам по себе… тебе не нужны ни мужчины, ни женщины.

Сонцоньо посмотрел на Джино в упор своим тяжелым, пронизывающим взглядом. Джино невольно отвел глаза.

— Кто тебе сказал такую чепуху? — спросил Сонцоньо. — Я дружу, с кем хочу, и с женщинами и с мужчинами.

— Да я просто так. — Джино, казалось, потерял весь свой апломб. — Я ведь никогда тебя ни с кем не встречал.

— Ты вообще обо мне ничего не знаешь.

— Вот это да! Мы же виделись ежедневно с утра до ночи.

— Виделись ежедневно… ну и что же?

— Ты всегда ходил один, вот я и подумал, что ты ни с кем не дружишь, — настаивал смущенный Джино, — когда у мужчины есть женщина или друг, это всем известно.

— Хватит валять дурака, — отрезал Сонцоньо.

— Теперь ты еще обзываешь меня дураком, — покраснев, с досадой сказал Джино, притворяясь обиженным. Но было ясно, что он просто струсил.

Сонцоньо повторил:

— Да, не валяй дурака, а то я тебе морду набью.

Я сразу поняла, что это не простая угроза и он собирается ее исполнить. Я сказала, тронув его за плечо:

— Если вы надумали драться, очень прошу вас, делайте это без меня… Терпеть не могу драк.

— Я тебя представляю своей знакомой синьорине, — грустно произнес Джино, — а ты ее пугаешь глупыми выходками, она, чего доброго, подумает, что мы враги.

Сонцоньо повернулся ко мне, и впервые за все время на лице его появилась настоящая улыбка. При этом обнажились не только его мелкие, некрасивые зубы, но и десны, он щурил глаза, на лбу собрались морщины.

— Синьорина ведь не испугалась, верно? — сказал он.

Я сухо ответила:

— Я вовсе не испугалась… но, повторяю, терпеть не могу драк.

Последовало долгое молчание. Сонцоньо сидел неподвижно, засунув руки в карманы плаща, уставившись в одну точку, желваки на его скулах вздувались. Джино курил, опустив голову, и дым заволакивал его лицо и уши, которые до сих пор горели. Потом Сонцоньо поднялся и сказал:

— Ну ладно, я пошел.

Джино быстро вскочил и, протянув ему руку, спросил:

— Ты ведь не обиделся, Примо, а?

— Ясное дело, не обиделся, — процедил тот сквозь зубы.

Он пожал мне руку на сей раз не больно и ушел. Он был худощав и невысок ростом, и я никак не могла понять, откуда же берется в нем такая сила.

Как только он вышел, я шутливо сказала Джино:

— Значит, вы друзья и даже братья… однако он тебе тут такого наговорил!

Джино, оправившись от смущения, покачал головой:

— Так уж он устроен… но он неплохой парень… и потом мне выгодно поддерживать с ним добрые отношения… он мне оказал одну услугу.

— Какую?

Я заметила, что Джино весь дрожит и ему не терпится рассказать мне что-то. Его лицо вдруг расплылось в радостной и взволнованной улыбке.

— Помнишь пудреницу моей хозяйки?

— Да… и что же?

Глаза Джино весело заблестели, и он прошептал:

— Так вот, я передумал и не вернул ее хозяйке.

— Не вернул?

— Нет… в общем, я подумал, что при богатстве синьоры одной пудреницей больше, одной меньше — не имеет значения… Тем более что дело уже сделано, — добавил он многозначительно, — и в конце концов, украл ведь не я.

— Украла я, — сказала я спокойно.

Он сделал вид, что не слышит, и продолжал:

— Однако после этого возникла трудность: как продать пудреницу… Уж очень заметная, бросающаяся в глаза вещица, я никак не мог решиться и некоторое время продержал ее у себя… потом встретил Сонцоньо, рассказал ему обо всем…

— И обо мне тоже рассказал? — перебила я.

— Нет, о тебе не рассказывал… сказал ему, что мне дала ее одна подруга, а имя не называл… и он… он, представь себе, в три дня, уж не знаю как, продал пудреницу и принес мне деньги… разумеется, взяв себе, как мы условились, свою долю.

Джино, все еще дрожа от возбуждения и оглядевшись вокруг, вытащил из кармана пачку денег.

В эту минуту, сама не знаю почему, я вдруг почувствовала к нему острую неприязнь. Не то чтобы я не одобряла его поступка, на это я просто не имела права, но меня раздражал его радостный тон, и, кроме того, я догадывалась, что он не все мне сказал и умолчал, конечно, о самом главном. Я сдержанно проговорила:

— Ну что ж, молодец.

— Держи, — сказал он, разворачивая пачку денег, — это тебе… тут уже отсчитано.

— Нет, нет, — быстро возразила я, — мне абсолютно ничего не надо.

— Да почему?

— Мне ничего не надо.

— Ты хочешь меня обидеть, — сказал он.

Тень подозрения и беспокойства пробежала по его лицу, и я испугалась, что в самом деле обидела его. Взяв его за руку, я через силу выдавила из себя:

— Если бы ты не предложил мне этих денег, то я была бы не то что обижена, но удивлена… теперь все в порядке, я не хочу денег, потому что для меня это дело конченное, вот и все… я просто рада за тебя.

Он испытующе, с сомнением посмотрел на меня, словно хотел разгадать истинный смысл моих слов, которых он так и не понял. И впоследствии, вспоминая Джино, я думала: он не мог понять меня, потому что жил совсем в ином, отличавшемся от моего мире мыслей и чувств. Не знаю, был ли этот мир хуже или лучше моего, знаю только, что некоторые слова он понимал совсем иначе, чем я, что бóльшая часть его поступков казалась мне достойной порицания, тогда как он считал их дозволенными и даже необходимыми. Особое значение он придавал уму, главным признаком которого считал хитрость. И, разделяя людей на хитрых и нехитрых, он старался любой ценой и при всех обстоятельствах попасть в категорию первых. Но я не хитра и, быть может, даже не умна: я никогда не понимала, как можно оправдывать дурной поступок — я уже не говорю, восторгаться им — лишь потому, что его удалось совершить незаметно.

Сомнения, одолевавшие его, видимо, вдруг разрешились, и он воскликнул:

— Теперь понимаю, ты не хочешь этих денег, потому что боишься… боишься, что пропажа обнаружится… не бойся… все устроилось как нельзя лучше.

Я ничуть не боялась, но не стала противоречить ему, так как последние слова показались мне странными. Я только спросила:

— Как ты сказал? Что значит «все устроилось как нельзя лучше»?

Он ответил:

— Да, все устроилось как нельзя лучше. Помнишь, я тебе говорил, что подозрение пало на одну служанку?

— Помню.

— Так вот… я ненавидел эту служанку, она все время сплетничала обо мне… через несколько дней после пропажи я понял, что дела мои плохи… полицейский комиссар приходил два раза, и мне показалось, что за мною следят. Заметь, ни одного обыска они пока не произвели. Тогда меня осенила великолепная идея: украсть еще что-нибудь, тогда сделают обыск, а я сумею устроить так, что вина за старую и новую кражу падет на эту

женщину. — Я молчала, и он, взглянув на меня большими сверкающими глазами, словно желая удостовериться в моем восхищении его хитростью, продолжал:

— У хозяйки в ящике секретера лежало несколько долларов… я взял их и спрятал в комнате служанки в старый чемодан. Тут уж, конечно, сделали обыск, нашли доллары и служанку арестовали. Она клялась, что не виновата. Но кто ей поверит? Доллары-то нашли в ее комнате.

— И где эта женщина?

— В тюрьме и никак не желает сознаваться… а знаешь, что сказал хозяйке комиссар полиции? Будьте, говорит, покойны, синьора, в конце концов она признается. Понятно, а? Знаешь, что значит «в конце концов»? Ее будут бить.

Я растерянно посмотрела на возбужденного и гордого Джино и почувствовала, как все внутри у меня похолодело. Я спросила:

— А как ее зовут?

— Луиза Феллини… она уже немолодая женщина, а до чего заносчивая, послушать ее, так выходит, что и в служанки-то она попала случайно и что честнее ее нет никого на свете. — Он рассмеялся, довольный таким исходом дела.

Я собрала все свои силы и, как человек, который делает глубокий вдох, проговорила:

— Знаешь, а ты просто подлец.

— Что? Почему? — удивленно спросил он.

Теперь, назвав его подлецом, я почувствовала себя свободнее и смелее. Я вся дрожала от гнева:

— И ты еще хотел, чтобы я взяла эти деньги… я сразу почувствовала, что не должна брать их.

— Да ничего не случится, — сказал он, стараясь приободриться, — она не сознается… и ее отпустят.

— Но ведь ты сам сказал, что ее держат в тюрьме и бьют.

— Я сказал просто так.

— Неважно… ты посадил в тюрьму невинного человека, а потом еще имел нахальство прийти и рассказать все мне… ты самый настоящий подлец!

Он вдруг побледнел и злобно схватил меня за руку.

— Не смей называть меня подлецом!

— Почему это? Я считаю тебя подлецом и говорю тебе это прямо в глаза.

Он совсем потерял голову и повел себя самым странным образом: вывернул мне руку так, будто хотел сломать ее, потом вдруг нагнулся и сильно укусил меня. Выдернув руку, я вскочила с места.

— Да ты окончательно спятил! — сказала я. — Что это на тебя нашло?.. Кусаться вздумал?.. Подлец ты есть, подлецом и останешься.

Он ничего не ответил, а схватился руками за голову, как будто собирался рвать на себе волосы.

Я позвала официанта, расплатилась за себя, за Джино и за Сонцоньо. Потом сказала:

— Я ухожу… и запомни, между нами все кончено… не старайся увидеть меня, не ищи и не смей приходить… Я тебя знать не желаю.

Он опять промолчал, даже не поднял головы, и я вышла.

Молочная находилась в самом начале улицы, недалеко от нашего дома. Я медленно пошла по тротуару, противоположному городской стене. Спустилась ночь, небо заволокло тучами, и дождь, мелкий, как водяная пыль, висел в теплом неподвижном воздухе. Городская стена была, как обычно, погружена во тьму, только редкие фонари слабо освещали ее. Но едва я вышла из молочной, я заметила, что какая-то темная фигура отделилась от фонаря и медленно двинулась вдоль стены в том же направлении. Я узнала Сонцоньо по его плащу, стянутому в талии, и по светлой стриженой голове. Сейчас на фоне городской стены он казался совсем маленьким, время от времени он совсем исчезал в темноте, потом снова появлялся в свете уличного фонаря. И тут, пожалуй, я впервые почувствовала отвращение к

мужчинам, ко всем мужчинам на свете, которые бегают за мной, как бегают кобели за сукой. Я все еще дрожала от гнева и, думая об этой женщине, которую Джино засадил в тюрьму, терзалась угрызениями совести, потому что ведь, в конце концов, пудреницу украла я. Но сильнее угрызений совести было, пожалуй, чувство возмущения и гнева. Однако, возмущаясь несправедливостью и испытывая отвращение к Джино, я не хотела его ненавидеть и жалела о том, что узнала о свершившейся несправедливости. По правде говоря, я не создана для ненависти, я испытывала ужасную боль и была сама не своя. Я пошла быстрее, надеясь дойти до дома, прежде чем Сонцоньо догонит меня, что он, вероятно, намеревался сделать. Позади себя я услышала запыхавшийся голос Джино, он звал меня:

— Адриана… Адриана…

Я сделала вид, что не слышу, и прибавила шагу. Он схватил меня за руку.

— Адриана… мы ведь столько были вместе… не можем же мы так расстаться.

Я вырвалась и пошла дальше. На противоположной стороне улицы в круг света вынырнула из темноты невысокая фигура Сонцоньо. Джино бежал за мною и твердил:

— Но я люблю тебя, Адриана!

Он внушал мне одновременно и жалость и ненависть, и эта моя раздвоенность сердила меня больше, чем его слова. Поэтому я старалась думать о чем-нибудь другом. Вдруг, сама не знаю как, на меня словно нашло озарение. Я вспомнила об Астарите, он не раз предлагал мне свою помощь, и я подумала, что он почти наверняка сможет освободить бедняжку из тюрьмы. Эта мысль подбодрила меня, с моей души будто свалился тяжелый камень, и мне даже показалось, что теперь я испытываю к Джино только жалость и вовсе не питаю к нему ненависти. Я остановилась и спокойно спросила:

— Джино, почему ты не уходишь?

— Я ведь тебя люблю.

— Я тоже тебя любила… но теперь все кончено… уйди, так будет лучше для нас обоих.

Мы стояли в темной части улицы, где не было ни фонарей, ни освещенных витрин. Он обнял меня за талию и попытался поцеловать. Я могла прекрасно справиться с ним сама, потому что я сильная, и ни один мужчина не может поцеловать женщину, если она того не захочет. Однако, повинуясь какому-то злому чувству, я окликнула Сонцоньо, который неподвижно, заложив руки в карманы плаща, стоял на противоположной стороне улицы, у стены, и глядел на нас. Думаю, что позвала я его потому, что, найдя средство исправить дурной поступок Джино, я, побуждаемая любопытством, решила снова прибегнуть к кокетству. Я крикнула:

— Сонцоньо! Сонцоньо!

Он тотчас же пересек улицу.

Смущенный Джино отпустил меня.

— Скажите ему, — произнесла я спокойным голосом, как только Сонцоньо приблизился к нам, — чтобы он оставил меня в покое… я его больше не люблю… мне он не верит, может быть, послушается вас, своего друга.

Сонцоньо сказал:

— Ты слышишь, что говорит синьорина?

— Но я… — начал было Джино.

Я решила, что, если они и повздорят немного, не беда. Джино все равно смирится и уйдет. Но вдруг Сонцоньо сделал какое-то неуловимое движение, Джино молча с секунду смотрел на него удивленно, а потом рухнул на землю и скатился с тротуара в канаву. Вернее, я видела только, как падал Джино, а уже потом поняла, чтó сделал Сонцоньо. Движение было так молниеносно и так беззвучно, что я даже подумала, уж не померещилось ли мне все это. Я тряхнула головой и снова посмотрела: Сонцоньо стоял передо мною, широко расставив ноги, и разглядывал свой сжатый кулак; Джино ничком лежал на земле, он уже пришел в себя и, упираясь локтями в землю, чуть-чуть высунул из канавы голову. Но он как будто и не собирался вставать на ноги, казалось, что он внимательно рассматривает какую-то белую бумажку, валявшуюся в жидкой грязи канавы. Потом Сонцоньо сказал мне:

— Пошли.

И я как завороженная пошла с ним в сторону своего дома.

Сонцоньо шел, держа меня под руку, и молчал. Он был ниже меня ростом, я чувствовала, что его пальцы сжимают мой локоть стальным обручем. Немного погодя я сказала:

— Зачем вы ударили Джино? Это нехорошо… он и без того бы ушел домой.

— Зато теперь он не будет вам больше надоедать, — ответил он.

Я спросила:

— Как это вы делаете?.. Я даже ахнуть не успела… смотрю, а Джино уже падает.

Он кратко ответил:

— Все дело в навыке.

Он произносил слова так, будто сперва долго пережевывал их во рту или пробовал их прочность на зуб, челюсти его были плотно сжаты, и мне представлялось, что его верхние клыки входят в промежутки между нижними зубами, как у хищника. Мне очень захотелось потрогать его за плечо и ощутить под пальцами твердые и крепкие мускулы. Он вызывал во мне скорее любопытство, чем влечение, но главным образом страх. Страх тоже может быть приятным, а в некоторых случаях даже волнует, пока не поймешь, чтó именно тебя страшит.

Я сказала:

— Ну и руки у вас! Просто не верится.

— Да ведь я давал вам потрогать бицепсы, — ответил он с мрачным самодовольством, которое не сулило ничего доброго.

— Но я не потрогала как следует… там был Джино… можно, я еще раз попробую.

Он остановился и согнул руку, бросив на меня косой, серьезный и даже, пожалуй, наивный взгляд. Но эта наивность не была детской. Я протянула руку и медленно ощупала мускулы, начиная от плеча. Было странно ощущать под пальцами эти живые твердые мышцы. Я сказала тоненьким голоском:

— Вы действительно ужасно сильный человек.

— Да, я сильный, — подтвердил он с угрюмой уверенностью.

И мы пошли дальше.

Теперь я уже раскаивалась, что окликнула его. Он мне не нравился, и, кроме того, его угрюмый вид и манеры внушали мне ужас. Так молча мы дошли до нашего дома. Я вытащила из сумки ключ.

— Ну, благодарю вас за то, что вы проводили меня. — И протянула ему руку.

Он приблизился ко мне.

— Я зайду к вам.

Я хотела было отказать ему. Но он так пристально и настойчиво посмотрел мне прямо в глаза, что я смутилась.

— Как хочешь, — покорно сказала я и только тогда заметила, что говорю ему «ты».

— Не бойся, — произнес он, по-своему истолковывая мое смущение, — у меня деньги есть… я заплачу тебе вдвое больше, чем другие.

— Деньги тут ни при чем, — ответила я. Лицо его странно изменилось, будто какое-то ужасное подозрение овладело им, заметив это, я открыла дверь и поспешно добавила: — Я просто немного устала.

Он последовал за мною.

Очутившись в моей комнате, он начал раздеваться, аккуратными и точными движениями складывая одежду. Он осторожно снял с шеи шарф, свернул его и положил в карман плаща. Пиджак он повесил на спинку стула, а брюки сложил так, чтобы не помялись заглаженные стрелки. Ботинки он поставил под стул, а носки вложил внутрь. Одет он был во все новое, но без особого шика, хотя вещи на нем были прочные и добротные. Все это он проделывал молча, не слишком медленно и не слишком быстро, спокойно и педантично, не обращая на меня никакого внимания. А я тем временем разделась и легла. Если даже его и обуревало желание, то он не показывал этого. Разве что желваки на щеках, непрерывно

ходившие под кожей, выдавали его волнение; впрочем, раньше, когда Сонцоньо и не думал обо мне, желваки все равно вздувались у него на скулах. Я очень люблю чистоту и порядок, они, по моему мнению, свидетельствуют о соответствующих душевных качествах человека. Но аккуратность и педантичность Сонцоньо в этот вечер пробудили во мне совсем иное чувство, нечто среднее между отвращением и ужасом. Вот так же тщательно, невольно подумала я, готовится к сложной операции хирург или точит нож простой мясник, который собирается зарезать несчастного ягненка. И, лежа на постели, я чувствовала себя беззащитной и слабой, словно труп, который вот-вот начнут препарировать. Молчание и спокойствие Сонцоньо смущали меня, я не понимала, чтó он намерен со мною делать, после того как кончит раздеваться. Когда же он подошел к постели и крепко схватил меня за плечи обеими руками, будто хотел заставить лежать смирно, я невольно содрогнулась от ужаса. Он заметил это и процедил сквозь зубы:

— Что с тобой?

— Ничего… просто у тебя холодные руки, — ответила я.

— Я тебе не нравлюсь, а? — спросил он, все еще стоя возле кровати и держа меня за плечи, — ты предпочитаешь мужчин, которые платят тебе, а?

При этих словах он вперил в меня свой поистине невыносимый взгляд.

— Почему? Ты такой же мужчина, как все… И потом ты ведь сам сказал, что заплатишь мне вдвое больше, — ответила я.

— Я понимаю, — сказал он, — такие, как ты, любят богатых и благородных мужчин… а я вроде бы под стать тебе… вам, уличным девкам, нравятся только синьоры.

В его тоне сквозила мрачная настойчивость человека, любящего затевать ссоры, и я вспомнила, как он оскорбил Джино, придравшись к какому-то пустяку. Тогда я подумала, что у него есть «зуб» против Джино. Но теперь понимала, что эти приступы вспыльчивости могут повториться в любую минуту, и тогда попробуй угадай, как вести себя с ним. Немного раздосадованная, я ответила:

— Почему ты меня обижаешь? Я тебе уже сказала, что для меня все мужчины одинаковы.

— Как бы не так, ты бы тогда не состроила такой постной мины… Я тебе не нравлюсь, а?

— Но я тебе уже сказала…

— Я тебе не нравлюсь, — повторил он, — очень жаль, но ничего не поделаешь, тебе придется быть со мной поласковей.

— Оставь меня в покое! — с внезапным раздражением закричала я.

— Когда я был тебе нужен и помогал отделаться от твоего любовника, ты небось не возражала, — продолжал он, — но потом захотела прогнать меня… а я все-таки пришел… ага, я тебе не нравлюсь!

Я окончательно перепугалась. Его беспощадные слова, спокойный и безжалостный топ, пристальный взгляд его голубых вдруг налившихся кровью глаз — все говорило о том, что он задумал что-то страшное. И слишком поздно я поняла, что остановить его так же невозможно, как задержать огромный камень, катящийся вниз по склону горы. Я постаралась оторвать его руки от своих плеч. А он продолжал:

— А-а, я тебе не нравлюсь… Когда я до тебя дотрагиваюсь, на твоем лице написано отвращение… но сейчас, милочка, оно у тебя изменится.

Он поднял руку и замахнулся, намереваясь дать мне пощечину. Я ожидала этого и попыталась прикрыться ладонью. Но ему удалось сильно ударить меня сперва по одной щеке, а потом, когда я отвернулась, и по другой. Впервые в жизни меня бил мужчина, и несмотря на то, что щеки мои горели от ударов, я испытывала не боль, а скорее удивление. Отняв руки от лица, я сказала:

— Несчастный ты человек, вот что я тебе скажу!

Казалось, мои слова поразили его в самое сердце. Он сел на край кровати и, ухватившись обеими руками за матрац, стал раскачиваться взад и вперед. Потом, не глядя на

меня, произнес:

— Все мы несчастные.

А я ответила:

— Какой храбрец выискался, женщину ударил.

Внезапно мои глаза наполнились слезами, и я замолчала. Но плакала я не столько из-за пощечин, сколько от нервного потрясения: за сегодняшний вечер произошло множество неприятных и отвратительных событий. Я вспомнила Джино, растянувшегося в грязи, вспомнила, что, даже не взглянув на него, я спокойно ушла с Сонцоньо, испытывая только одно желание: потрогать его необыкновенные бицепсы. И вдруг мной овладели угрызения совести, жалость к Джино, недовольство собою, я поняла, что наказана за свою бесчувственность и глупость той самой рукой, которая покарала Джино. Тогда я одобрила насилие, а теперь оно обернулось против меня. Сквозь слезы я посмотрела на Сонцоньо. Слегка ссутулившись, он сидел на краю постели, кожа у него была белая и гладкая. Глядя на его руки, висевшие как плети, нельзя было догадаться, какая сила таится в них. Мне захотелось уничтожить ту пропасть, что разделяла нас, и я сказала:

— Позволь спросить, почему ты избил меня?

— Уж очень у тебя была постная мина. — Желваки на его щеках задвигались, очевидно, он размышлял.

Я понимала, что если хочу узнать его поближе, то должна прежде всего высказать все, что о нем думаю, ничего не скрывая.

— Ты решил, что не нравишься мне. Но ты ошибся, — ответила я.

— Возможно.

— Ты ошибся… на самом же деле, неизвестно почему, ты внушаешь мне страх, вот отчего у меня такое лицо.

Он резко обернулся и подозрительно посмотрел на меня. Но тотчас же успокоился, и в голосе его послышались нотки самодовольства.

— Я тебя напугал?

— Да.

— И теперь ты все еще меня боишься?

— Нет, теперь хоть убей… мне все равно.

Я говорила правду. В эту минуту я почти желала, чтобы он убил меня, потому что мне вдруг захотелось умереть. Но он сердито сказал:

— Никто не собирается тебя убивать. И почему ты так меня испугалась?

— Откуда я знаю… я просто боялась тебя… такие вещи невозможно объяснить.

— А Джино ты боялась?

— С какой стати я стану его бояться?

— Почему же ты тогда боишься меня? — От его самодовольства не осталось и следа. Голос его вновь зазвучал мрачно и гневно.

— Я тебя испугалась, потому что ты, по-моему, способен на все, — сказала я, желая его успокоить.

Он ничего не ответил и какое-то время сидел задумавшись. Потом, обернувшись ко мне, спросил с угрозой в голосе:

— Значит, теперь я должен одеться и уйти?

Я посмотрела на него, он снова готов был разъяриться. И я поняла, что если откажу ему, то навлеку на себя новое, быть может еще более страшное, насилие, поэтому я решила задержать его. Но я вспомнила его острый взгляд, и меня охватило отвращение при мысли, что его глаза снова вопьются в меня. Я тихо сказала:

— Нет… если хочешь, можешь остаться… но сперва погаси свет.

Белокожий, невысокого роста, он был хорошо сложен, даже короткая шея не портила общего впечатления. Он встал и направился на цыпочках к выключателю возле двери. Но я сразу же поняла, что совершила большую глупость, попросив его погасить свет, ибо, как только комната погрузилась во мрак, мной снова овладел тот непреодолимый ужас, от

которого, как мне казалось, я уже успела избавиться. Я чувствовала себя так, будто в комнате находился не человек, а леопард или какой-то другой хищный зверь, и неизвестно, что он станет делать — либо забьется в угол, либо набросится на меня и разорвет на куски. Между тем Сонцоньо долго шарил в темноте, раздвигая стулья и стараясь добраться до кровати, и, вероятно, от страха мне казалось, что время тянется ужасно медленно, казалось, что прошло несколько минут, пока он подошел ко мне, и, когда я ощутила прикосновение его рук, меня снова бросило в дрожь. Я надеялась, что он ничего не заметит, но у него, как у животных, было очень острое чутье, и он сразу же спросил:

— Ты все еще боишься?

Надо полагать, что возле меня в этой кромешной мгле стоял мой ангел-хранитель. По голосу Сонцоньо я догадалась, что он занес надо мной кулак и в зависимости от моего ответа собирается ударить меня или отвести руку. Я поняла: он знает, что внушает страх, а ему хочется, чтобы его не боялись, а любили, как любят других мужчин. Но для достижения этой цели он не умел найти другого способа, кроме способа внушать новый и еще более сильный страх. Я протянула руку вперед, делая вид, что хочу обнять его за шею, и, дотронувшись до его правого плеча, я убедилась, как и предполагала, в том, что он занес руку вверх, готовясь со всего размаха ударить меня по лицу. Я поборола себя и сказала, стараясь придать своему голосу обычную мягкость и спокойную интонацию:

— Нет… я просто озябла, давай укроемся одеялом.

— Так-то оно лучше, — отозвался он.

И это слово «лучше», в котором еще слышались угрожающие нотки, подтвердило, что я боялась не зря. И пока он в полой темноте под одеялом обнимал меня, я переждала минуту острой тоски, одну из самых тяжелых в своей жизни. Страх сковывал мое тело, и я невольно вздрагивала и отстранялась от прикосновения его гладкого, скользкого, как у змеи, тела; но одновременно я успокаивала себя; глупо было в такой момент бояться его, я изо всех сил стремилась побороть это чувство и старалась вести себя с ним, как с человеком, которому отдаются по любви. Страх охватил не столько мое тело, которым я еще кое-как могла владеть, несмотря на все мое отвращение, но он, этот страх, проник в самую глубь, в мое лоно, которое, казалось, сомкнулось и с чувством ужаса отвергало его. Но наконец он овладел мной, и я испытала столь острое наслаждение, что не могла сдержать протяжного и жалобного крика, прозвучавшего в темноте так, будто с этим криком из меня вышла вся жизнь и осталось лишь бездыханное тело.

Потом мы молча лежали в темноте. Я вскоре задремала. Мне мерещилось, что на меня навалилась какая-то тяжесть, будто Сонцоньо, обхватив руками голые колени и уткнувшись в них лицом, взгромоздился на мою грудь, давил мне на горло всем костяком. Он сидел, упираясь ногами в мой живот, я чувствовала, как он постепенно становился все тяжелее и тяжелее, я металась во сне, стараясь сбросить с себя это бремя. Я задыхалась и пробовала закричать. Мой крик застрял в груди надолго, казалось, навечно, потом мне все же удалось выдавить его из себя, и с громким стоном я проснулась.

Лампа на тумбочке горела. Сонцоньо, подперев голову ладонью, смотрел на меня.

— Долго я спала? — спросила я.

— С полчаса, — процедил он сквозь зубы.

Я бросила на него быстрый взгляд, в котором, наверно, еще был испуг от приснившегося кошмара, так как он странным тоном спросил, намереваясь, вероятно, продолжить наш разговор:

— Ну, ты все еще боишься?

— Не знаю.

— Если бы ты знала, кто я, — сказал он, — то ты испугалась бы еще сильнее.

Все мужчины, удовлетворив желание, начинают говорить о себе, охотно изливают душу. Сонцоньо, как видно, не представлял исключения из этого правила. Его голос теперь звучал совсем по-иному, мягко, почти нежно, но с оттенком тщеславия и самодовольства. Я снова страшно испугалась, и сердце начало бешено колотиться в груди, словно хотело

выскочить.

— Почему? Кто же ты? — спросила я.

Он посмотрел на меня молча, очевидно предвкушая эффект от своих дальнейших слов.

— Я тот самый человек с улицы Палестро, — наконец произнес он медленно, — вот кто я.

Он не счел нужным объяснять, что именно произошло на улице Палестро, и на сей раз оказался прав в своем тщеславии. На этой улице в одном из домов на днях было совершено страшное преступление, о нем писали все газеты, и о нем болтали многие люди, охотники до такого рода сенсаций. Мама, которая бóльшую часть дня проводила за чтением газет, разбирая по складам сообщения скандальной хроники, первая сказала мне об этом происшествии. В своей квартире был убит молодой ювелир, он проживал там один. Предполагали, что страшным орудием, использованным убийцей, которым, как теперь мне стало известно, оказался Сонцоньо, послужило тяжелое бронзовое пресс-папье. Полиция не обнаружила ни одной улики. Ювелир, по слухам, скупал краденые вещи, и предполагали, что во время одной такой незаконной сделки, и это впоследствии подтвердилось, он был убит.

Я часто замечала, что, услышав какую-нибудь удивительную или страшную новость, люди не могут сосредоточиться на мысли о ней, а их внимание привлекает какой-нибудь первый попавшийся на глаза предмет, но и на этот предмет смотрят так, будто хотят проникнуть сквозь его внешнюю оболочку и увидеть нечто сокровенное, заключенное внутри него. Так случилось со мной и в тот вечер, когда Сонцоньо сделал свое признание. Я лежала с широко открытыми глазами, но все мысли у меня из головы разом улетучились, это было похоже на то, как мгновенно опорожняется сосуд с жидкостью или мелким песком, когда у него неожиданно отваливается дно. И хотя я чувствовала себя опустошенной, я сознавала, что мое внимание распыляется на разные мелочи, а я пыталась заставить себя думать о главном, заполнить эту пустоту, но, к моему величайшему огорчению, мне не удавалось это сделать. Взгляд мой остановился на руке Сонцоньо, который лежал возле меня, опираясь локтем на подушку. Рука у него была белая, гладкая, полная, ничто не говорило о его необыкновенных мускулах. Запястье тоже было белое и округлое, перехваченное кожаным ремешком, похожим на ремешок от часов. Но часов у Сонцоньо не было. Этот черный и засаленный ремешок, прикрывавший узкую полоску белого обнаженного тела, казалось, придавал что-то необычайное всему облику Сонцоньо. Я вглядывалась в этот кожаный черный браслет, он был похож на кольцо от кандалов каторжника. И было в этом простом черном ремешке что-то страшное и вместе с тем притягательное, как будто незатейливое украшение неожиданно открыло мне неукротимый характер жестокости Сонцоньо. Я отвлеклась от главного всего на один миг. Потом внезапно в моем сознании возник целый рой беспокойных мыслей, и они закружились в голове, как птицы в тесной клетке. Я вспомнила, что с самой первой минуты Сонцоньо внушал мне ужас, вспомнила, что была с ним близка, что, когда уже уступила ему, поняла не умом, а всем своим трепетавшим от ужаса телом то страшное, что он скрывал, и потому-то у меня вырвался крик.

Наконец я задала ему первый пришедший мне в голову вопрос:

— Зачем ты это сделал?

Он ответил, почти не шевеля губами:

— У меня имелась одна ценная вещица, и мне надо было ее продать… Я знал, что этот торговец ужасный плут, но мне не к кому было обратиться… он мне предложил смехотворно низкую цену… Я давно ненавидел этого человека, он меня не раз надувал… Я заявил, что забираю вещь назад, и обозвал его мошенником… тогда он сказал мне такое, от чего я сразу вышел из себя.

— Что же он сказал? — спросила я.

Я заметила, к своему удивлению, что по мере того, как Сонцоньо рассказывал эту историю, мой страх постепенно исчезал, а мою душу охватывала волна сочувствия. И, допытываясь, что сказал ювелир, я с надеждой ждала таких слов, которые бы мог смягчить, а

может быть, и оправдать преступление Сонцоньо. Он отрывисто произнес:

— Торговец заявил, что если я не уйду, то он донесет на меня… одним словом, я решил: с меня хватит… и когда он отвернулся… — Сонцоньо не закончил фразу и пристально посмотрел на меня.

— А какой он был из себя? — спросила я и сразу же поняла бессмысленность своего вопроса. Но он охотно ответил:

— Лысый, маленького роста… а мордочка хитрая, как у лисы.

В словах Сонцоньо звучала такая глубокая неприязнь к торговцу, что я представила себе лисью мордочку перекупщика краденого и даже возненавидела его, представила, как он с притворным безразличием взвешивает в руке вещицу, которую предложил ему Сонцоньо. Теперь я ничего не боялась, более того, Сонцоньо как бы сумел заразить меня своей ненавистью к убитому, и я не могла даже осуждать его за содеянное. Мне казалось, что я прекрасно понимаю, как все произошло, я даже подумала, что сама могла бы совершить подобное преступление. Как понятны мне были его слова: «Он мне сказал такое, от чего я сразу вышел из себя»! Его уже вывели из себя один раз Джи-но, другой раз я, и чисто случайно мы с Джино остались живы. Я так хорошо его понимала, до такой степени прониклась его переживаниями, что теперь уже не только не боялась его, а даже испытывала к нему какую-то странную симпатию. Этого чувства он не сумел внушить мне, пока я не узнала о преступлении и пока он в моих глазах оставался самым обыкновенным мужчиной, каких у меня было множество.

— А ты не раскаиваешься? Тебя не мучает совесть? — спросила я.

— Что теперь говорить: дело сделано, — ответил он.

Я внимательно посмотрела на него и невольно, к своему собственному удивлению, одобрительно кивнула головой. И тут я вспомнила, что Джино тоже, если выражаться языком Сонцоньо, был мошенником, и тем не менее Джино любил меня и я любила его. Я подумала, что таким образом завтра я, пожалуй, соглашусь с тем, чтобы Сонцоньо убил Джино, ведь этот ювелир был не лучше и не хуже Джино, единственная разница заключалась в том, что торговца я не знала и оправдывала убийство лишь потому, что услышала от Сонцоньо, что у него была лисья мордочка. Меня объяли сомнения и ужас. Но меня ужасал не Сонцоньо, в характере которого надо было разобраться, прежде чем судить его, а я сама, ведь я считала себя совершенно иной, и, несмотря на это, заразилась его ненавистью и кровожадностью. Я взволновалась, вскочила и уселась на постели:

— Боже, о боже! Зачем ты сделал это?.. И почему ты рассказал мне все?

— Ты меня боялась, хотя ничего не знала, — ответил он просто, — мне показалось это странным, и я рассказал все тебе… к счастью, — добавил он, улыбаясь собственным словам, — к счастью, не все люди такие, как ты… иначе меня давно бы уже нашли.

— Уйди и оставь меня одну… уйди, — сказала я.

— Что это с тобой опять? — спросил он, и я услышала в его голосе прежние угрожающие нотки. Но это был не только гнев, а и боль одинокого человека, которого отвергаю даже я, хотя всего несколько минут назад отдавалась ему. И я торопливо добавила:

— Не думай, что я тебя боюсь… я ничуть тебя не боюсь… но я хочу свыкнуться с этой мыслью… должна подумать обо всем… ты потом вернешься, и я буду совсем другая.

— Что ты собралась обдумывать?.. Уж не хочешь ли ты донести на меня? — спросил он.

И я снова испытала то самое чувство, которое у меня вызвал рассказ Джино о том, как он подстроил арест служанки, я чувствовала себя человеком из другого мира. Мне стоило невероятных усилий взять себя в руки, и я ответила:

— Но ведь я говорю тебе, что ты можешь вернуться… Знаешь, что тебе сказала бы любая другая женщина? Не хочу, мол, тебя больше знать, не хочу тебя видеть… вот что сказала бы тебе любая другая женщина.

— Однако ты настаиваешь, чтобы я ушел.

— Не все ли равно, когда ты уйдешь: минутой раньше, минутой позже… А если ты

хочешь остаться, пожалуйста, оставайся… хочешь ночевать здесь? Тогда ночуй у меня, а утром уйдешь… хочешь?

Правда, я произносила эти слова не очень настойчиво, тихо и смущенно, и, должно быть, в моих глазах отражалась растерянность. Но все-таки я продолжала уговаривать его и была рада этому. Мне показалось, что он посмотрел на меня с благодарностью, хотя я могла ошибиться. Потом он покачал головой и ответил:

— Нет, это я просто так сказал… Мне действительно пора уходить.

Он встал и подошел к стулу, где лежала его одежда.

— Как угодно, — сказала я, — но, если хочешь остаться, пожалуйста, оставайся… и, если, — добавила я, сделав над собой усилие, — тебе нужно будет где-нибудь переночевать, приходи сюда.

Он молча одевался. Я тоже поднялась и накинула халат. Я двигалась словно в полусне, мне чудилось, будто комната полна голосов, нашептывающих мне на ухо страшные и безумные речи. Вероятно, в этом состоянии безумия я и совершила необъяснимый поступок. Когда я медленно, в каком-то исступлении бродила по комнате, я заметила, что Сонцоньо нагнулся, чтобы завязать шнурки на ботинках. Тогда я опустилась перед ним на колени.

— Дай завяжу, — сказала я.

Он, видимо, был удивлен, но не стал возражать. Я взяла его правую ногу и, поставив себе на колени, завязала шнурок двойным узлом. То же самое проделала я и с левой ногой. Он не поблагодарил меня, не сказал ни слова, вероятно, мы оба не понимали причины моего поступка. Он надел пиджак, вынул из кармана бумажник и протянул мне деньги.

— Нет, нет, — порывисто сказала я, — не давай мне ничего… не надо.

— Почему?.. Разве мои деньги хуже денег других? — спросил он изменившимся от гнева голосом.

Мне показалось странным, что он не понял моего отвращения к деньгам, взятым, быть может, из кармана еще не остывшего трупа. А возможно, он понимал, но хотел сделать меня своей сообщницей и одновременно проверить мое истинное отношение к нему. Я возразила:

— Не надо… ведь я даже не думала о деньгах, когда позвала тебя… кончим этот разговор.

Он успокоился и сказал:

— Ну, ладно… возьми вот это на память.

Он вынул из кармана какой-то предмет и положил его на мраморную доску тумбочки. Взглянув на подарок издали, я сразу узнала золотую пудреницу, которую несколько месяцев назад украла у хозяйки Джино. Я пробормотала:

— Что это такое?

— Это мне дал Джино, та самая вещица, которую я собирался продать… торговец хотел заполучить ее совсем даром… но я полагаю, она кое-чего стоит… ведь она золотая.

Справившись с волнением, я сказала:

— Спасибо.

— Не стоит, — ответил он. Затем надел плащ и затянул на талии пояс. — Ну, до свидания, — бросил он, оглянувшись с порога.

Спустя минуту я услышала, как хлопнула входная дверь.

Оставшись одна, я подошла к тумбочке и взяла в руку пудреницу. Я была растеряна, но, пожалуй, еще больше поражена. Пудреница блестела на моей ладони, а круглый красный рубин, вправленный в запор, вдруг стал расти, и мне почудилось, что он заслонил все золото. На моей ладони лежало круглое и сверкающее кровавое пятно и давило на нее всей своей тяжестью. Я встряхнула головой, красное пятно исчезло, и я снова увидела обыкновенную золотую пудреницу с рубином. Я опять положила ее на тумбочку, легла на кровать, закутавшись в халат, погасила лампу и начала размышлять.

Если бы кто-нибудь рассказал мне эту историю с пудреницей, думала я, то я посмеялась бы, как обычно смеются люди, услышав рассказ о чем-то необыкновенном и невероятном. Она относилась к таким историям, о которых говорят: «Смотри, как здорово

закручено!» — а такие женщины, как мама, пожалуй, могли бы даже «поиграть» в этот случай, как в лотерею: такой-то номер выпадет на убитого, такой-то — на золотую вещицу, такой-то — на вора. Но на сей раз все произошло со мной лично, и я не без удивления поняла, что, когда ты сам замешан и участвуешь в какой-нибудь истории, тут уже не до шуток. Со мной приключилось то, что случается с человеком, который бросил в землю семена, потом забыл о них, а спустя какое-то время увидел пышное растение, покрытое листьями и бутонами, готовыми вот-вот раскрыться. Вопрос только в том, с чего все началось: что было семенами, что — растением и что — бутонами. Я мысленно отступала все дальше и дальше в прошлое и никак не находила истоков. Я отдалась Джино, потому что надеялась выйти за него замуж, но он обманул меня, и я, чтобы досадить ему, украла пудреницу. Потом я призналась в своем преступлении, он очень испугался, и я, чтобы его не уволили, отдала ему украденную вещь и просила вернуть хозяйке. Но Джино не вернул пудреницу, оставив ее себе, и из боязни попасться засадил в тюрьму ни в чем не повинную служанку, а ту в тюрьме били. Джино меж тем отдал пудреницу Сонцоньо, чтобы он ее продал; Сонцоньо пошел к ювелиру, а тот обидел Сонцоньо, и он в припадке ярости убил его, так ювелир погиб, а Сонцоньо стал убийцей. Я понимала, что не могу брать на себя вину за происшедшее, иначе получилось бы, что мое желание выйти замуж и обзавестись семьей стало первопричиной стольких злоключений; но, несмотря на это, я никак не могла заглушить угрызения совести и смятение. Наконец в результате долгих размышлений я пришла к выводу, что виной всему мои ноги, грудь, бедра, моя красота, в общем, то, чем так гордилась мама и что не носило на себе печати преступности, как все, что создано природой. Но подумала я так от отчаяния и растерянности, ухватившись за эту мысль, как хватаются за любой вздор, лишь бы разрешить какой-то еще во сто крат более сложный и абсурдный вопрос. В конце концов, я знала, что никто не виноват и все произошло так, как и должно было произойти, хотя все это было ужасно; и если уж требовалось найти виноватых, то все люди в равной мере и виновны и невиновны.

В мою душу медленно просачивался мрак, как просачивается вода, которая во время наводнения сначала затопляет нижние этажи дома, а потом поднимается все выше и выше. Первым, конечно, затонуло мое благоразумие. Однако мое воображение, зачарованное рассказом Сонцоньо, все еще продолжало работать. Я смотрела на это преступление без осуждения и без ужаса, в моих глазах оно казалось непостижимым и от этого по-своему увлекательным. Мне чудился Сонцоньо, идущий по улице Палестро, заложив руки в карманы плаща; вот он входит в дом и ожидает ювелира в маленькой гостиной. Я видела, как в комнату входит ювелир, здоровается с Сонцоньо за руку. Ювелир стоит возле своего письменного стола, Сонцоньо протягивает ему пудреницу, тот разглядывает ее и с притворным пренебрежением качает головою. Потом поднимает свою лисью мордочку и называет до смешного низкую цену. Сонцоньо пристально смотрит на него полными гнева глазами и грубо вырывает пудреницу из его рук. Потом обрушивает на торговца обвинения в мошенничестве. Тот грозит донести на Сонцоньо и требует, чтобы он немедленно ушел. А затем с видом человека, окончившего разговор, он отворачивается, а может быть, нагибается. Сонцоньо хватает бронзовое пресс-папье и наносит ему первый удар по голове. Тот пытается убежать, и тогда Сонцоньо настигает его и снова еще несколько раз ударяет его. Убедившись, что ювелир мертв, Сонцоньо отшвыривает труп, открывает все ящики, забирает деньги и бежит. Но прежде чем уйти, он, как я читала в газетах, снова охваченный злобой, бьет мертвеца, лежащего на полу, каблуком ботинка прямо в лицо.

Я подробно перебирала все детали преступления. Почти с удовольствием я следила за действиями Сонцоньо: вот его рука протягивает пудреницу, вот она хватает пресс-папье и наносит удар ювелиру, а вот его нога в порыве гнева уродует лицо мертвеца. Рисуя в воображении все эти картины, я не испытывала ужаса, я не осуждала, но и не одобряла содеянного. Меня охватило то самое чувство особого наслаждения, которое переживают дети, слушая сказки: они сидят в тепле, прижавшись к матери, и с восторгом следят за приключениями сказочных героев. Однако моя сказка была мрачной и кровавой, героем ее

был Сонцоньо, а к чувству восхищения невольно примешивались изумление и грусть. И, как бы желая проникнуть в тайный смысл этой сказки, я вновь с тем же смутным удовольствием начинала перебирать все подробности преступления и вновь сталкивалась с неразрешимой загадкой. Потом я неожиданно заснула, словно провалилась в пропасть, как человек, который, прыгая через нее, не рассчитал прыжка и внезапно рухнул в пустоту.

Должно быть, я проспала часа два, а потом проснулась. Вернее, начало просыпаться мое тело, а рассудок, охваченный каким-то оцепенением, все еще дремал. Как слепая, я вытянула вперед руки, не узнавая места, где нахожусь. Я заснула на постели, а теперь стояла в каком-то тесном углу, зажатая внутри гладких, вертикальных, наглухо запертых стен. И в ту же минуту я подумала о тюремной камере, я вспомнила о служанке, которую Джино засадил в тюрьму. Я оказалась на ее месте, моя душа болела от несправедливости, жертвой которой стала она. И от этой боли я почти физически ощущала себя той самой служанкой, мне казалось, что боль преобразила меня, наделила меня ее лицом, заключила меня в ее телесную оболочку, вынудила совершать ее поступки. Закрыв лицо руками, я оплакивала себя, думая о несправедливости моего заточения, и знала, что мне ни за что не выбраться из тюрьмы. Но в то же время я чувствовала себя прежней Адрианой, по отношению к которой никто не был несправедлив и которую никто не заключал в тюрьму; и я понимала, что достаточно мне сделать один жест, чтобы освободиться и перестать быть служанкой. Но чтó именно я должна сделать, я не знала, хотя несказанно мучилась, желая выйти из этого заточения жалости и тоски. Потом внезапно имя Астариты вспыхнуло в моем мозгу, так после сильного удара в глаз человека вдруг, словно молния, ослепляет острая боль.

«Пойду к Астарите и попрошу освободить ее», — подумала я, потом протянула руки и тотчас же почувствовала, что стены тюремной камеры раздвинулись, образовался узкий проход и я могу выйти. Я проделала несколько шагов в темноте, нащупала выключатель и судорожно его повернула. Комнату залил яркий свет. Тяжело дыша, я стояла голая возле двери, тело и лицо были покрыты холодным потом. То, что я приняла за тюремную камеру, оказалось всего-навсего пространством между шкафом, стеною и комодом, которые, отгораживая часть спальни, образовывали узкий закуток. В полусне я встала, прошла вперед и забилась в этот угол.

Я снова погасила свет и, осторожно ступая, пошла к постели. Прежде чем заснуть, я подумала, что воскресить ювелира я, конечно, не смогу, но могу спасти или по крайней мере попытаться спасти служанку и сейчас нет ничего важнее этого. Теперь, когда я поняла, что я не такая уж добрая, какой считала себя, я обязана была сделать это во что бы то ни стало. Во всяком случае, моя доброта прекрасно уживалась с наслаждением, которое я испытывала от кровопролития, с восхищением перед насилием и даже с тем непонятным удовольствием, с которым я слушала рассказ о совершенном преступлении.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

На следующее утро я тщательно оделась, положила пудреницу в сумку и вышла из дома с намерением позвонить Астарите по телефону. Как ни странно, но я чувствовала себя очень легко, тоска, которую накануне вечером навеяла на меня исповедь Сонцоньо, окончательно исчезла. Позднее мне не раз приходилось убеждаться в том, что тщеславие — самый страшный враг человеколюбия и доброты. Именно тщеславие, а не ужас и страх испытывала я при мысли, что я — единственный человек во всем городе, которому известно, как произошло убийство и кто его совершил. Я говорила себе: «Я знаю, кто убил ювелира», и мне казалось, что я смотрю на людей и на вещи совсем иными глазами, чем вчера. Я подумала даже, что во мне, очевидно, тоже произошли перемены, я боялась, что на моем лице можно прочесть тайну Сонцоньо. Одновременно я испытывала сладкое, непреодолимое желание поведать кому-нибудь все, что я знала. Эта тайна переполняла мою душу, готовая вылиться наружу, как вода из тесного сосуда, и мне хотелось перелить ее в чью-то чужую душу. Думаю, что именно такое состояние толкает преступников на исповедь, они

рассказывают о своих преступлениях любовницам или женам, а те в свою очередь делятся секретом с близкими друзьями, те — со своими, и так далее, пока слух не дойдет до полиции, и тогда всему конец. А кроме того, сознаваясь в своих грехах, преступники пытаются таким образом взвалить часть невыносимой тяжести на других людей. Словно вина — это ноша, которую можно делить и делить на части и взваливать на плечи разных людей, пока она не станет совсем легкой и незначительной. А в действительности все происходит иначе: бремя неделимой ноши отнюдь не уменьшается от того, что его взваливают на чужие плечи, а, наоборот, становится все тяжелее, чем большее число людей принимают его на себя.

Шагая по улице в поисках телефона-автомата, я купила несколько газет, в которых впервые прочла сообщение об убийстве на улице Палестро. Но с того времени прошло уже несколько дней, и в газетах я обнаружила всего пять-шесть строк под заголовком: «Ничего нового об убийстве ювелира». Я поняла, что если Сонцоньо не наделает глупостей, то он может спать спокойно: преступление не раскроется. Полиции, которая ведет расследование, не так-то легко найти убийцу, поскольку ювелир сам занимался темными и незаконными сделками. Ювелир, как сообщали газеты, вел по большей части тайные дела с людьми всех слоев и всех сословий; убийца мог оказаться совсем незнакомым ему человеком и совершить преступление неумышленно. Это предположение было ближе всего к истине. И именно оно давало всем понять, что полиция вынуждена отказаться от поисков виновного.

Я зашла в кафе, где был телефон-автомат, и набрала номер Астариты. Прошло по меньшей мере месяца полтора, как я звонила ему в последний раз, и, должно быть, я застала его врасплох, потому что сперва он не узнал моего голоса и начал говорить тем непринужденным тоном, каким обычно разговаривал у себя в кабинете. В первую минуту у меня даже мелькнула мысль, что он вообще не хочет больше знать меня, и, откровенно говоря, сердце мое ёкнуло при мысли о служанке, сидевшей в тюрьме, и о роковом для меня стечении обстоятельств: именно теперь, когда я так нуждалась в Астарите, который мог вмешаться и спасти эту бедную женщину, он разлюбил меня. Однако я обрадовалась, что всерьез беспокоюсь о судьбе служанки, ведь это свидетельствовало о том, что я не утратила свою доброту, и доказывало, что я, несмотря на мою связь с убийцей Сонцоньо, в общем-то, осталась прежней Адрианой, кроткой и отзывчивой, как всегда.

Я робко назвала Астарите свое имя, и тотчас же, к великой моей радости, услышала, как изменился его голос, как он стал запинаться и что-то мямлить. Признаюсь, что я почувствовала к нему дружеское расположение, ведь такая любовь всегда льстит женщине, а сейчас она внесла в мою душу успокоение и наполнила чувством благодарности. Я говорила с ним непривычно ласково, назначила ему свидание, он пообещал непременно прийти, и я вышла из кафе.

Всю прошедшую кошмарную для меня ночь беспрерывно лил дождь. Сквозь сон я слышала, как назойливый шум дождя сливался со свистом ветра, отгораживая наш дом завесой непогоды, отчего еще безнадежнее становилось мое одиночество, еще сильнее сгущался вокруг меня мрак. Но к утру дождь прекратился, а ветер, собрав последние силы, разогнал тучи, и сразу же проглянуло прозрачное небо, свежим стал воздух, застывший в неподвижности. Поговорив по телефону с Астаритой, я пошла прогуляться по платановой аллее, любуясь первыми лучами солнца. После дурно проведенной, беспокойной ночи у меня осталось легкое головокружение, но от свежего воздуха оно скоро прошло. Я от души наслаждалась прекрасным утром, и все предметы, на которых задерживался мой взгляд, казались мне особенно привлекательными, очаровывали меня и радовали. Я любовалась влажными бороздками, которые окаймляли уже подсохшие каменные плиты мостовой; любовалась стволами платанов, их корой из белых, зеленых, желтых, коричневых чешуек, блестевших издали, как золото; любовалась фасадами домов, еще хранившими следы ночного омовения — большие мокрые пятна; я с удовольствием поглядывала на утренних прохожих, на мужчин, спешивших на работу, женщин с хозяйственными сумками, детишек с книгами и ранцами, их вели в школу родители или старшие братья. Я остановилась и подала милостыню старому нищему, и, пока я шарила в сумочке, ища мелочь, глаза мои с жалостью

разглядывали его потертую военную шинель, заплаты на локтях и на вороте. Заплаты были серые, коричневые, желтые, ярко-зеленые, и я загляделась на них и на крупные черные стежки, которыми были крепко пришиты заплаты; я вдруг подумала о той работе, которую этот нищий проделал в один из таких вот утренних часов: он вырезал ножницами порванный кусок, выкраивал заплату из какой-нибудь старой тряпки, прикладывал ее к дыре и старательно пришивал. Мне было приятно смотреть на эти заплаты, как приятен голодному вид только что испеченного хлеба, и, уходя, я оглянулась еще раз и посмотрела на нищего. В эту минуту я подумала: как было бы прекрасно, если бы вся жизнь стала похожа на это утро, такое ясное, чистое и радостное, если бы наша жизнь была отмыта от темных пятен и мы могли бы с любовью глядеть вокруг, пусть даже нашему взору открывались бы самые обыденные картины. От этих дум ко мне вернулось желание, так долго и молчаливо дремавшее в моей душе, желание спокойной семейной жизни с мужем в новом, светлом и чистом доме. Я поняла, что не люблю свое ремесло, хотя благодаря своей противоречивой натуре выбрала именно это занятие. Я подумала, что мое ремесло никак не назовешь чистым: вокруг меня, на моем теле, на моих пальцах, на моей постели как будто оставались следы пота, мужского семени, порочной страсти, липкой испарины, которые, сколько бы я ни мылась и как бы тщательно ни убирала комнату, казалось, всегда присутствуют здесь. И еще я подумала, что мои ежедневные раздевания и одевания на глазах разных клиентов мешают мне воспринимать свое тело с тем чувством радости и интимности, которое испытывала я еще девушкой, когда купалась или разглядывала себя в зеркале. До чего же приятно смотреть на свое тело как на нечто вечно новое, незнакомое, которое само по себе развивается, наливается силой и красотой; а я, стараясь каждый раз поразить этой новизной своих любовников, навсегда лишила себя этого удовольствия.

Под влиянием таких мыслей преступление Сонцоньо, коварство Джино, несчастье, случившееся со служанкой, и сеть интриг, опутавших меня, вновь показались мне прямыми последствиями моей неправедной жизни; последствия эти были лишены особого смысла, отнюдь не возлагали на меня вины, но с ними можно было покончить лишь в том случае, если бы я сумела осуществить все мои прежние мечты о семейной жизни. Мне ужасно захотелось быть праведной во всех отношениях: жить в мире с моралью, которая не позволяет заниматься моим ремеслом; жить в мире с природой, которая требует, чтобы женщина моего возраста имела детей; жить в мире с эстетическим вкусом, который требует, чтобы люди окружали себя красивыми вещами, одевались в новые изящные платья, жили в светлых, чистых и уютных домах. Но одно исключало другое, и если я хотела жить в мире с моралью, то не могла бы жить в мире с природой, а эстетический вкус одновременно противоречил и морали и природе. И при этой мысли я испытала привычную досаду, преследовавшую меня всю жизнь, я имею в виду вечное сознание своей нищеты, которую можно побороть, лишь только принеся в жертву самые светлые чаяния. Но кроме того, я поняла, что еще не окончательно примирилась со своею судьбой, и это вселило в меня новую веру в будущее; я подумала, что, как только мне представится случай переменить жизнь, он не будет для меня неожиданностью и я вполне сознательно воспользуюсь им без колебаний.

Я назначила свидание с Астаритой на полдень, в это время он как раз уходил со службы. В моем распоряжении было еще несколько часов, и я, не зная, чем заняться, решила навестить Джизеллу. Я уже давно не виделась с нею и подозревала, что в ее жизни кто-то занял место Риккардо, игравшего роль не то жениха, не то любовника. Джизелла, как и я, надеялась рано или поздно упорядочить свою жизнь, думаю, что это общая мечта всех женщин моей профессии. Меня вела к этому природная склонность, а Джизелла, которая придавала непомерно большое значение мнению людей, главным образом заботилась о соблюдении внешних приличий. Она стыдилась, что другим известно, кто она такая — в этом все дело, — хотя в отличие от меня привела ее к этому ремеслу более сильная, чем моя, склонность к такой жизни. Я же, наоборот, не испытывала никакого стыда, а лишь иногда, в редкие моменты чувствовала себя униженной и оскорбленной.

Дойдя до дома Джизеллы, я стала подниматься по лестнице. Но меня остановил голос

привратницы:

— Вы к синьорине Джизелле? Она здесь больше не живет.

— А куда она переехала?

— На улицу Касабланка, номер семь.

Улица Касабланка размещалась в новом районе.

— Приехал какой-то блондин на машине, они взяли вещи и уехали.

Я тотчас же подумала, что пришла сюда именно за тем, пришла услышать эти слова: Джизелла уехала с каким-то синьором. Не знаю почему, но я вдруг почувствовала сильную усталость, ноги подкосились, и я схватилась за дверной косяк, чтобы не упасть. Но я постаралась взять себя в руки и, подумав, решила разыскать Джизеллу по новому адресу. Я села в такси и попросила шофера отвезти меня на улицу Касабланка.

Машина увозила нас все дальше от центра города, от его узких улочек, где, тесно прижавшись друг к другу, стоят старинные дома. Улицы постепенно расширялись, разветвлялись, стекались воедино, образуя площади, затем опять расширялись, дома здесь были сплошь новые, и между ними проглядывали зеленые полоски бывших полей. Я понимала, что моя поездка к Джизелле носит невеселый, даже тягостный характер, и от этого мне делалось все грустнее и грустнее. И вдруг я вспомнила, как старалась Джизелла совратить меня с пути истинного и сделать такой, какой была сама; я невольно так же естественно, как кровоточит незажившая рана, начала плакать.

Когда я вышла из такси в самом конце улицы, глаза мои блестели и щеки еще были мокры от слез.

— Не надо плакать, синьорина, — сказал шофер.

Я только покачала головою и пошла к дому Джизеллы.

Передо мной выросло ослепительно белое современное знание, построенное совсем недавно, о чем свидетельствовали бочки, бревна и лопаты, сваленные в кучу в маленьком с жидкой растительностью садике, и пятна известки на решетчатых воротах. Я вошла в белый и пустой вестибюль, лестница тоже оказалась белой, а сквозь матовые стекла проникал мягкий свет. Привратник, молодой рыжий парень в рабочем комбинезоне, ничуть не похожий на обычных старых и грязных привратников, распахнул дверцы лифта, я вошла, нажала кнопку и начала подниматься вверх. В лифте приятно пахло свежим деревом и лаком. Даже в шуме лифта слышалось что-то новое, как в моторе, который работает недавно. Я поднималась на последний этаж, и по мере того, как лифт шел вверх, становилось все светлее и светлее, будто в доме вообще не было крыши, а лифт летел прямо в небо. Потом он остановился, я вышла в очутилась на ослепительно белой площадке, залитой ярким солнцем. Прямо передо мной была светлого дерева дверь с блестящей медной ручкой. Я позвонила, дверь открыла худенькая миловидная служанка, брюнетка в кружевной наколке и вышитом переднике.

— К синьорине Де Сантис, — произнесла я, — скажите ей, что пришла Адриана.

Служанка оставила меня одну, а сама направилась в конец коридора к двери с матовыми стеклами, такими же, как в окнах на лестнице. Этот коридор тоже был весь белый и пустой, как и вестибюль; я решила, что в квартире комнаты четыре, не больше. От калорифера шло приятное тепло, поэтому еще сильнее чувствовался резкий запах свежей штукатурки и масляной краски. Наконец стеклянная дверь в конце коридора распахнулась и служанка сказала, что я могу войти. Сперва, как только я вошла в комнату, я ничего не могла разглядеть, так как сквозь широкое окно, которое, казалось, занимало всю противоположную стену, врывался поток ослепительно ярких лучей зимнего солнца. Квартира находилась на самом верхнем этаже, и в окно глядело сверкающее голубое небо. На мгновение я словно забыла о цели своего визита и испытала такое удовольствие, что даже зажмурилась от этого золотистого, как старое вино, солнечного света. Но голос Джизеллы вывел меня из оцепенения. Она сидела возле окна у столика, уставленного флакончиками, а маленькая седая женщина делала ей маникюр. Джизелла с обычной своей наигранной непринужденностью воскликнула:

— Ах, это ты, Адриана… садись… обожди минуточку.

Я села возле двери и огляделась вокруг. Комната со стеклянной стеной была длинная и узкая. По правде говоря, мебели в ней было немного: только стол, буфет и несколько стульев светлого дерева, но зато все новое, а главное, все залито солнцем. Солнце придавало окружающему какое-то великолепие, и я невольно подумала, что только в богатых домах бывает такое солнце. Испытывая почти чувственное наслаждение и ни о чем не думая, я прикрыла глаза. Вдруг что-то тяжелое и мягкое вспрыгнуло ко мне на колени, я раскрыла глаза и увидела огромного кота неизвестной мне породы, с длинной и мягкой шелковистой шерсткой, серого, даже, пожалуй, голубоватого цвета, с крупной мордочкой, сердитое и важное выражение которой мне не понравилось. Кот принялся тереться о мое плечо, задрал кверху пушистый, как плюмаж, хвост и хрипло мяукнул. Наконец он свернулся у меня на коленях и замурлыкал.

— Какой красавец, — сказала я, — что это за порода?

— Это персидский кот, — гордо ответила Джизелла, — они очень дорогие… цена на них доходит до тысячи лир.

— Никогда еще не видела такого, — сказала я, гладя кота по спинке.

— Знаете, у кого точно такой кот? — вмешалась маникюрша. — У синьоры Радаэлли… и видели бы вы, как она за ним ухаживает… прямо как за ребенком. На днях она даже опрыскала его духами из пульверизатора… а педикюр будете делать?

— Нет, Марта, на сегодня хватит, — сказала Джизелла.

Маникюрша собрала свои инструменты и пузырьки в чемоданчик, попрощалась с нами и вышла из комнаты.

Мы остались одни и посмотрели друг на друга. Джизелла показалась мне тоже какой-то новой, как и весь дом. На ней был красивый красный свитер ангорской шерсти и бежевого цвета юбка, этих вещей я раньше у нее не видела. Она немного располнела, особенно в груди и бедрах. Веки у нее чуть-чуть припухли, и это придавало ей несколько угрюмый вид. Она была похожа на человека, который хорошо ест, много спит и ни о чем не думает. Она некоторое время разглядывала свои ногти, а потом в упор спросила:

— Ну, что скажешь? Как тебе нравится мой дом?

Я никогда не была завистливой. Но на сей раз впервые в жизни позавидовала и удивилась, как это некоторые люди могут всю жизнь таить в душе подобное чувство, которое казалось мне не только неприятным, но и унизительным. Мое лицо начало подергиваться, словно от нервного тика, оно сразу будто осунулось, и я не могла даже улыбнуться и сказать Джизел-ле обыкновенные вежливые слова. А сама Джизелла внушала мне непреодолимое отвращение. Мне хотелось сказать ей что-нибудь обидное, унизить ее, уколоть, в общем, хоть как-то омрачить ее радость.

«Что это со мною? — подумала я растерянно, машинально продолжая гладить кота. — Неужели это я?»

К счастью, это состояние продолжалось недолго. Из глубины души уже поднялось и бросилось на борьбу с завистью мое обычное добродушие. «Джизелла — моя подруга, — думала я, — ее судьба не может оставить меня равнодушной, я должна за нее радоваться». Я представляла себе, как Джизелла впервые вошла в этот новый дом и захлопала от радости в ладоши, и в ту же самую минуту холодное и сковывающее чувство зависти покинуло меня, я вновь ощутила тепло ласкового солнца, будто оно проникло в самую глубину моей души.

Я сказала:

— И ты еще спрашиваешь! Чудесный дом, просто душа радуется… но как все это произошло?

Очевидно, я произнесла эти слова искренне и даже улыбнулась, скорее себе, чем Джизелле, в награду за то, что преодолела свою зависть. Джизелла ответила важным, доверительным тоном:

— Помнишь Джанкарло, этого блондина, с которым я сразу же сцепилась? Ну, так он вернулся ко мне… он оказался куда лучше, чем можно было предположить с первого

взгляда… потом мы встречались… много раз… несколько дней тому назад он сказал: пойдем, я хочу сделать тебе сюрприз… я, признаться, решила, что он хочет купить мне какой-нибудь подарок, сумочку там или духи… но он посадил меня в машину, привез сюда, ввел в этот дом — он еще не был заселен… Я подумала, это его квартира… а он спросил меня, нравится ли мне тут. Я ответила «да», но, разумеется, ни о чем даже не подозревала… а он мне говорит: эту квартиру я купил для тебя… можешь себе представить, что со мною было!

Она рассмеялась и с гордостью огляделась вокруг. Я порывисто встала, подошла к ней и обняла:

— Я так рада… очень рада… По-настоящему рада за тебя.

Эти слова и жест окончательно рассеяли мою неприязнь. Я приблизилась к окну и выглянула наружу. Дом стоял на возвышении, внизу без конца и края тянулись ровные поля, пересеченные извилистой рекой, там и тут раскинулись рощи, риги, невысокие холмы. Только с одной стороны стояло несколько белых зданий, последний кусок городской окраины. Там на горизонте, где светлое небо сходилось с землей, четко вырисовывались голубые горы. Обернувшись к Джизелле, я сказала:

— Какой отсюда прекрасный вид!

— Тебе правда нравится? — спросила она, потом подошла к буфету, вынула два маленьких бокала, пузатую бутылку и поставила на стол. — Выпьешь немного ликера? — спросила она небрежно.

Чувствовалось, что роль хозяйки дома доставляла ей огромное удовольствие.

Мы сели за стол и молча начали тянуть ликер. Я понимала, что Джизелла смущена, и мне захотелось помочь ей выйти из затруднительного положения. Я ласково сказала:

— Однако ты не очень хорошо поступила со мною… почему ты мне ничего не рассказала?

— У меня времени не хватило, — торопливо ответила она, — потом, знаешь, в связи с переездом я была очень занята покупками, пришлось покупать самые необходимые вещи, мебель, белье, посуду… у меня не было ни одной свободной минутки… обставлять квартиру — это ведь не шутка.

Разговаривая, она жеманно поджимала губы, подражая синьорам из хорошего общества.

— Я тебя отлично понимаю, теперь, когда ты получила все это и устроилась хорошо, тебе неприятно встречаться со мною… ты меня стыдишься, — сказала я без всякого ехидства и обиды, будто речь шла о вещах, которые меня совершенно не касались.

— Ничуть я тебя не стыжусь, — ответила она с раздражением, и мне показалось, ее обидели не столько мои слова, сколько мой спокойный тон, — если ты так думаешь, значит, ты просто дурочка… Конечно, теперь мы не сможем встречаться, как раньше… я хочу сказать, не сможем ходить вместе и все такое прочее… если он узнает, мне придется худо.

— Будь спокойна, — все так же ласково сказала я, — больше ты меня не увидишь. Сегодня я пришла лишь для того, чтобы узнать, что с тобою случилось.

Она сделала вид, что не расслышала мои слова, и тем самым я укрепилась в своих предположениях. С минуту мы обе молчали. Потом она спросила меня с деланным участием:

— Ну, а как ты?

И тотчас же я почему-то подумала о Джакомо и сама удивилась своим мыслям. Прерывающимся голосом я ответила:

— Я? Ничего… как всегда.

— Как Астарита?

— Виделась с ним несколько раз.

— А Джино?

— С ним все кончено.

При мысли о Джакомо сердце мое сжалось. Но Джизелла по-своему поняла мое смущение, она, видимо, объясняла это тем, что я огорчена ее удачей и ее

пренебрежительным отношением ко мне. После недолгого размышления она сказала преувеличенно озабоченным тоном:

— И все же я уверена, что, если бы ты только пожелала, Астарита устроил бы тебе такой же дом.

— Но я не собираюсь иметь дело ни с Астаритой, ни с кем-либо другим, — спокойно ответила я.

Джизелла недоверчиво взглянула на меня.

— Почему? Ты не хочешь иметь такую же квартиру?

— Квартира прекрасная, — ответила я, — но я решила быть свободной.

— Я и свободна, — сердито бросила она, — свободнее тебя… целый день что хочу, то и делаю.

— Я имею в виду не такую свободу.

— А какую же?

Я поняла, что обидела ее уже тем, что мало восхищалась домом, предметом ее гордости. Но объяснять ей, что дело не в доме, что в действительности я не желаю связывать свою жизнь с нелюбимым человеком, значило бы снова обидеть ее, и даже сильнее прежнего. Я предпочла переменить разговор и поспешно сказала:

— Покажи-ка мне лучше квартиру… сколько у тебя комнат?

— А тебе-то на что? — огрызнулась она. — Ты сама же говорила, что не хочешь иметь такую квартиру.

— Я вовсе этого не говорила, — спокойно возразила я, — у тебя прекрасный дом, дай бог, чтобы у меня был такой.

Она молча сидела, опустив голову.

— Значит, ты не будешь показывать мне свой дом? — вяло проговорила я спустя минуту.

Джизелла подняла глаза, и я с удивлением увидела, что они полны слез.

— Какая же ты подруга? Видно, только прикидывалась, — внезапно воскликнула она, — ты… ты… готова лопнуть от зависти… и теперь хочешь опорочить мой дом, чтобы сделать мне больно!

Она захлебывалась рыданиями, все лицо ее было мокро от слез. Плакала она от досады, на сей раз мучилась завистью она сама, и эта бессмысленная зависть Джизеллы невольно оскорбляла мою безнадежную любовь к Джакомо и наш разрыв, который я так переживала; но именно потому, что я хорошо понимала Джизеллу, я пожалела ее. Я встала, подошла к ней, положила руку ей на плечо.

— Зачем ты так говоришь… я вовсе не завидую… мне просто хотелось другой жизни… вот и все… но я рада, что тебе хорошо, а теперь, — добавила я, обнимая ее, — покажи мне остальные комнаты.

Джизелла высморкалась и, уже успокаиваясь, сказала:

— Их всего четыре… они почти пустые.

— Пойдем посмотрим.

Она встала, пошла впереди меня по коридору и, открывая поочередно все двери, показала мне спальню, где стояли лишь кровать и кресло, показала пустую комнату, где собиралась поставить еще одну кровать — «для гостей», показала комнатку служанки, просто маленькую каморку. Все это она проделывала в каком-то раздражении, распахивала двери и кратко объясняла назначение каждой комнаты. Но ее досада уступила место гордости, когда дело дошло до ванной комнаты и кухни, облицованных кафелем, с новой электрической плитой и сверкающими кранами. Она объяснила мне, как пользоваться плитой, нахваливала ее преимущества перед газовой, уверяла, что она гораздо чище и удобнее; и хотя в душе мне все это было безразлично, я притворилась заинтересованной, выражая свое восхищение и удивление громкими возгласами. Джизелла, видимо, осталась довольна моим поведением и, когда мы закончили осмотр, предложила:

— А теперь вернемся… и выпьем еще по рюмочке.

— Нет, нет, — ответила я, — мне пора уходить.

— Куда ты так спешишь? Посиди еще немного.

— Не могу.

Мы стояли в коридоре. С минуту она колебалась, потом сказала:

— Ты обязательно приходи ко мне… знаешь, что мы с тобой устроим? Он часто уезжает из Рима, я тебя извещу, а ты приведешь двух своих дружков и мы славно повеселимся…

— А вдруг он узнает?

— Откуда он узнает?

Я ответила:

— Ладно… договорились.

Теперь я в свою очередь заколебалась, а потом осмелела и задала ей вопрос:

— Кстати, скажи… он тебе ничего не говорил о своем друге, с которым был в тот вечер?

— О том студенте? Почему ты спрашиваешь? Он тебя интересует?

— Нет, я просто так.

— Мы его видели вчера вечером.

Я не смогла скрыть волнения и сказала прерывающимся голосом:

— Послушай… если ты его увидишь… скажи, чтобы он зашел ко мне… Но это так, между прочим.

— Ладно, скажу, — ответила Джизелла и подозрительно взглянула на меня. А я смешалась под ее взглядом, ибо мне казалось, что на моем лице слишком явно написана любовь к Джакомо. По ее тону я поняла, что она и не подумает выполнить мою просьбу. В порыве отчаяния я открыла дверь, попрощалась с Джизеллой и быстро, не оглядываясь стала спускаться по лестнице. На втором этаже я вдруг остановилась, прислонилась к стенке и посмотрела вверх.

«Зачем я ей сказала? — подумала я. — Что со мною случилось?»

И, опустив голову, я пошла вниз.

Я назначила свидание Астарите у себя. Когда я добралась до дома, то была совершенно без сил, я уже отвыкла выходить по утрам, яркий солнечный свет и уличная суматоха утомили меня. Меня не огорчила встреча с Джизеллой, я уже выплакала все слезы, когда ехала к ней в такси. Дверь мне открыла мама и сказала, что Астарита ожидает меня уже около часа. Я вошла прямо в свою комнату и села на кровать, не обращая внимания на него; он стоял возле окна и смотрел во двор. С минуту я сидела неподвижно, прижав руку к груди и тяжело дыша: я слишком быстро поднялась по лестнице. Я сидела спиной к Астарите и рассеянно смотрела на дверь. Астарита поздоровался, но я не ответила. Он подошел, присел возле меня и обнял за талию, пристально глядя мне в глаза.

Из-за всех своих забот я совсем забыла, как он необуздан и пылок. Меня охватила острая неприязнь.

— А ты всегда этого хочешь? — начала я сдавленным голосом, отстраняясь от него.

Он ничего не ответил, но взял мою руку и, глядя на меня исподлобья, поднес ее к губам. Мне показалось, что я схожу с ума, и я вырвала руку.

— Ты всегда этого хочешь? — повторила я. — И даже утром?.. И после того, как все утро работал? И натощак? И перед обедом?.. Знаешь, ты просто какой-то необыкновенный.

Губы его задрожали, глаза расширились.

— Но я люблю тебя.

— Однако есть время для любви и есть время для всего прочего… я назначаю тебе встречу на час дня, надеясь, что ты поймешь, что речь идет не о любовном свидании, а ты… ты прямо ненормальный какой-то… и тебе не стыдно?

Он молча смотрел на меня. Мне вдруг показалось, что я слишком хорошо понимаю его состояние. Он был влюблен и ждал этого свидания бог знает сколько времени. Все эти дни, пока я выкарабкивалась из своих бед, он только и думал обо мне, о моих ногах, бедрах, о

моей груди, о моих губах.

— Итак, — сказала я немного мягче, — если я сейчас разденусь…

Он кивнул головой в знак согласия. Я рассмеялась, правда, беззлобно, но презрительно.

— А тебе не приходит в голову, что мне может быть грустно или просто не до этого… что я голодна или устала… или же меня беспокоят какие-то свои заботы… эти мысли тебе не приходят в голову, а?

Он смотрел на меня, потом вдруг кинулся ко мне, сильно прижался, зарывшись лицом в мое плечо. Он не целовал меня, а только прижимал голову к моему телу, как будто хотел вобрать в себя все его тепло. Он тяжело дышал, и время от времени судорожные вздохи вырывались из его груди. Я перестала сердиться на него, его поведение будило во мне обычную растерянность, жалость и грусть. Когда я решила, что он уж слишком долго вздыхает, я оттолкнула его и сказала:

— Я позвала тебя по делу.

Он взглянул на меня, потом взял мою руку и начал ее гладить. Он был упрям, и для него действительно не существовало ничего, кроме его желания.

— Ты ведь связан с полицией, верно?

— Да.

— Так вот, прикажи арестовать меня, посади меня в тюрьму. — Эти слова я произнесла твердо, в эту минуту я в самом деле хотела, чтобы он так поступил.

— Почему? Что случилось?

— Случилось то, что я воровка, — решительно ответила я, — вышло так, что я украла, а вместо меня арестовали невинную… Поэтому прикажи арестовать меня… я охотно пойду в тюрьму… вот чего я хочу.

Он не удивился, но лицо его выразило досаду. Недовольно поморщившись, он сказал:

— Успокойся… и объясни, что произошло…

— Я же тебе говорю, что я воровка.

И я коротко рассказала ему о краже и о том, как вместо меня была арестована служанка. Я рассказала об обмане Джи-но, но не назвала его имени, сказала просто, что это «слуга». Мне не терпелось рассказать ему и о Сонцоньо, о его преступлении, но я сдержалась. Закончила я словами:

— Теперь выбирай… либо ты освободишь эту женщину из тюрьмы… либо я сегодня же явлюсь в полицейский комиссариат с повинной.

— Успокойся, — повторил он, поднимая руку, — что за спешка?.. Она в тюрьме, но ее еще пока не осудили… подождем.

— Нет… я не могу ждать… она в тюрьме, и ее, наверно, бьют… не могу я ждать… ты должен сейчас же все решить.

Он понял по моему тону, что я говорю вполне серьезно, с недовольным видом поднялся и сделал несколько шагов по комнате. Потом, словно разговаривая сам с собою, он произнес:

— Между прочим, тут еще это дело с долларами.

— Но она ведь не призналась… ведь доллары нашлись… можно сказать, что кто-то подстроил все из мести.

— А пудреница у тебя?

— Вот она, — сказала я, вынув ее из сумочки и протягивая ему.

Но он отказался:

— Нет, нет… отдашь ее не мне. — Он с минуту, видимо, раздумывал, а потом добавил: — Я могу освободить эту женщину из тюрьмы. Но полиция должна иметь доказательства, что она невиновна… как раз пудреница и может послужить таким доказательством.

— На, возьми пудреницу и верни ее хозяйке.

Он расхохотался неприятным смехом.

— Сразу видно, что ты ничего не понимаешь в таких делах… если я возьму пудреницу, я обязан арестовать тебя… иначе спросят, как это удалось Астарите получить краденую вещь, от кого, каким образом и так далее и тому подобное… нет и нет… вот что нужно

сделать: доставить пудреницу в полицию, но не раскрывать своего имени.

— Можно послать ее по почте.

— По почте нельзя.

Он сделал несколько шагов по комнате, потом сел рядом со мною и сказал:

— Вот что ты должна сделать… знакома ты с каким-нибудь духовным лицом?

Я вспомнила о монахе-французе, которому исповедовалась после поездки в Витербо, и ответила:

— Да, у меня есть духовник.

— Ты до сих пор исповедуешься?

— Раньше исповедовалась.

— Итак, пойдешь к своему духовнику и расскажешь ему все, что рассказала мне… попроси его взять пудреницу и от твоего имени отнести в полицию… ни один духовник не откажется сделать это… он не обязан сообщать никаких данных, поскольку связан тайной исповеди… через день-другой я позвоню и все устрою… в общем, твою служанку освободят.

Я страшно обрадовалась и, не удержавшись, обняла его и поцеловала. Он продолжал говорить, но голос его уже снова дрожал от желания:

— Но не смей так больше поступать… если тебе нужны деньги, спроси у меня, и я…

— А когда пойти исповедаться, сегодня?

— Да, конечно.

Я долго сидела неподвижно, зажав пудреницу в руке и глядя в одну точку. На душе у меня стало легко, как будто я сама была на месте той служанки, и я подумала о том, какую огромную радость испытает служанка, когда ее выпустят на свободу, мне даже казалось, что это уже свершилось. Я не чувствовала больше печали, усталости и разочарования. Астарита тем временем гладил мою руку, пытаясь просунуть ладонь под рукав. Я обернулась к нему и, ласково глядя на него, спросила:

— Так уж тебе не терпится? — Он кивнул, не в силах произнести ни слова. — Ты не устал? — с притворной ласковостью, даже не стараясь скрыть издевки, спросила я, — не думаешь ли, что уже поздно… и не лучше бы было отложить до другого раза? — Он отрицательно покачал головой. — Итак, ты очень сильно любишь меня? — спросила я.

— Ты же сама знаешь, как я люблю тебя, — ответил он тихим голосом, пытаясь обнять меня.

Я вырвалась и сказала:

— Подожди.

Поняв, что я уступила, он тут же успокоился. Я встала, медленно направилась к двери и заперла ее на ключ. Потом подошла к окну, открыла его, прикрыла жалюзи и снова закрыла рамы. Он следил за мною взглядом, а я лениво и плавно двигалась по комнате, все время чувствуя на себе его взгляд и понимая, как должна была обрадовать его моя неожиданная уступка. Прикрыв окно и тихо напевая, с веселым и непринужденным видом я сняла пальто и убрала его в шкаф. Затем, не переставая петь свою тихую песню, я взглянула на себя в зеркало. Никогда еще я не казалась себе такой красивой, глаза блестели, ноздри трепетали, полуоткрытый рот обнажал белые ровные зубы. Я поняла, что все это потому, что я была довольна собой и чувствовала себя доброй; я запела громче, а сама тем временем расстегивала платье, начиная с нижних крючков. Напевала я очень глупую модную в то время песенку: «Люблю я эту песню, весь день ее пою: ля-ля, ля-ля, лю-лю, лю-лю…» — и этот нелепый припев казался мне похожим на нашу жизнь, которая тоже — в этом нет никакого сомнения — нелепа, но в какие-то минуты кажется нам приятной и волшебной. И вдруг, когда я уже расстегнула все крючки, кто-то постучал в дверь.

— Нельзя, — спокойно произнесла я, — погоди немного.

— Очень срочное дело, — ответил мамин голос.

У меня возникло смутное подозрение, я подошла к двери и, приоткрыв ее, выглянула наружу.

Мама сделала мне знак, чтобы я вышла и закрыла за собой дверь. В темной прихожей

она шепнула мне:

— Там пришел один человек, он хочет во что бы то ни стало тебя видеть.

— А кто это?

— Не знаю, молоденький брюнет.

Я осторожно приоткрыла дверь мастерской и заглянула туда. Прислонившись к столу, ко мне спиной стоял мужчина. Я тотчас же узнала Джакомо и быстро прикрыла дверь. Маме я шепнула:

— Скажи ему, что я сейчас приду… и не выпускай его из комнаты.

Мама ответила, что так и сделает, а я вернулась в спальню. Астарита все еще сидел на кровати.

— Скорее собирайся, — сказала я, — скорее… тебе, к сожалению, придется уйти.

Он заволновался и что-то пробормотал, очевидно протестуя против моего решения. Но я прервала его:

— Моя тетка шла по улице, и ей стало плохо… мы с мамой должны немедленно поехать в больницу… уходи скорей.

Ложь была слишком явной, но в ту минуту я не могла придумать ничего лучшего. Он ошалело смотрел на меня, почти не веря в свою неудачу. Я заметила, что он уже успел снять ботинки и стоял на полу в полосатых носках.

— Почему ты на меня так смотришь? Уходи, — настаивала я раздраженно.

— Хорошо… Ухожу… — сказал он и нагнулся за ботинками. Я стояла возле него, уже приготовив пальто. Но я понимала, что надо пообещать ему встретиться снова, если я хочу, чтобы он помог освободить служанку. И я сказала, помогая ему надевать пальто:

— Послушай… я совсем потеряла голову… приходи завтра вечером… после ужина… мы спокойно проведем время… сегодня все равно пришлось бы сразу тебя выпроводить… Так что все к лучшему.

Он молчал, и я довела его до двери, держа за руку, как будто он был здесь впервые, я просто боялась, что он войдет в мастерскую и увидит Джакомо. На пороге я сказала:

— Знаешь, я сегодня же схожу к духовнику.

Он кивнул головой, выражая свое согласие. На его застывшем лице было написано разочарование. Я не стала ждать его прощальных слов и, сгорая от нетерпения, захлопнула дверь перед самым его носом.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Подойдя к мастерской и уже взявшись за ручку двери, я внезапно остановилась, предчувствуя, что между мною и Джакомо непременно возникнут такие же ужасные отношения, какие существовали между мною и Астаритой. То чувство покорности, трепета и слепой страсти, которое Астарита питает ко мне, я сама испытываю к Джакомо; и хотя я отдавала себе отчет в том, что если я хочу заставить его полюбить меня, то должна вести себя совсем иначе, тем не менее, находясь рядом с Джакомо, я никак не могла отделаться от чувства зависимости, стеснения, беспокойства. Чем объяснялось такое унизительное состояние, сама не знаю; знай я это, я бы постаралась преодолеть его. Однако чутьем я понимала, что мы разные люди, я была тверже Астариты, но слабее Джакомо. И как что-то мешало мне любить Астариту, так и Джакомо что-то мешало полюбить меня. И как любовь Астариты ко мне, так и моя любовь к Джакомо началась несчастливо и закончится еще несчастливей. Сердце бешено колотилось в моей груди, мне не хватало воздуха, и я, еще не видя Джакомо и не говоря с ним, уже боялась сделать опрометчивый шаг, обнаружить перед ним свое беспокойство и свое желание понравиться ему и тем самым снова и безвозвратно потерять его. По-моему, самое страшное проклятие любви заключается в том, что она никогда не бывает взаимной: когда любишь, то не любят тебя, а когда любят тебя, то не любишь ты. Почти никогда сила любви и страсти двух влюбленных не бывает равной, хотя к этому идеалу стремятся все люди, каждый своим путем. Я знала это, и именно потому, что я

любила Джакомо, он не любил меня. И я знала также, хоть и не желала себе в том признаться, что, как бы я ни старалась, что бы ни делала, никогда мне не удастся заставить его полюбить меня. Все эти мысли промелькнули в моей голове, пока я в нерешительности и волнении стояла у двери мастерской. Я чувствовала себя выбитой из колеи, готова была совершить самые ужасные, самые глупые поступки, и это в высшей степени сердило меня. Наконец я решилась и вошла.

Он все еще стоял в той самой позе, в которой я увидела его в щель: спиной к двери, прислонившись к столу. Но, услышав мои шаги, он обернулся и, окинув меня долгим внимательным я критическим взглядом, произнес:

— Я шел мимо и решил зайти… Может быть, не следовало этого делать?

Слова он произносил медленно, будто, прежде чем выговорить фразу, хотел хорошенько приглядеться ко мне. Я с тревогой ждала конца осмотра, боясь, что покажусь ему сейчас совсем другой, менее привлекательной, чем тот образ, что жил в его памяти и привел его ко мне после столь долгой разлуки. Но я осмелела, вспомнив, что несколько минут тому назад, смотрясь в зеркало, я показалась себе очень красивой. Я проговорила прерывающимся от волнения голосом:

— Ничего подобного… ты поступил очень хорошо… я как раз собиралась идти обедать… давай пообедаем вместе.

— А ты узнаешь меня? — спросил он чуть насмешливо. — Знаешь, кто я?

— И ты еще спрашиваешь, — глупо вырвалось у меня, и, прежде чем успела подумать и сдержать свой порыв, я, глядя на него с любовью, схватила его руку и поднесла ее к губам. Он смутился, а я обрадовалась. Я спросила тревожным и ласковым голосом: — Почему ты пропал, как в воду канул? И как тебе не совестно!

Покачав головою, он ответил:

— Я был очень занят.

Я совсем обезумела. Поцеловав его руку, я прижала ее к своей груди и сказала:

— Слышишь, как бьется мое сердце?

А сама в это время кляла себя в душе, понимая, что не должна так вести себя и говорить подобные слова. Лицо его досадливо сморщилось, и тогда я, испугавшись, быстро произнесла:

— Пойду надену пальто, я сейчас же вернусь… подожди меня.

Я была так взволнована и так боялась потерять его, что в прихожей поспешно заперла входную дверь, а ключ вытащила, так что, если бы он даже захотел уйти, пока я одевалась, ему бы это все равно не удалось. Потом я вошла в свою комнату, приблизилась к зеркалу и кончиком носового платка стерла краску под глазами и губную помаду. Затем снова подкрасила губы, но только чуть-чуть. Я вышла в прихожую за своим пальто, с минуту я постояла в растерянности и только потом вспомнила, что повесила его в шкаф. Я снова вернулась в комнату, сняла пальто с вешалки и надела его. Снова взглянув на себя в зеркало, я решила, что у меня слишком вызывающая прическа. Я быстро причесалась и уложила волосы так, как я носила их тогда, когда была еще невестой Джино. Пока я причесывалась, я клятвенно обещала себе, что с этой минуты буду подавлять восторженные порывы и строго следить за всеми своими поступками и словами. Наконец я была готова. Я вышла в прихожую, заглянула в мастерскую и позвала Джакомо.

Мы собрались уходить, но я заперла входную дверь на ключ, а потом от волнения забыла ее отпереть и таким образом сама себя выдала.

— Боялась, что я сбегу, — прошептал он, пока я в смущении искала ключ в сумочке. Он взял ключ у меня из рук и сам открыл дверь, покачивая головою и глядя на меня с выражением дружеской укоризны. Мое сердце забилось от радости, я сбежала за ним по лестнице, взяла его под руку и с тревогой спросила:

— Ты на меня не сердишься?

Он ничего не ответил.

На улице, залитой ярким солнечным светом, мы под руку пошли мимо домов и лавок.

Идти рядом с ним казалось мне таким счастьем, что я совсем забыла о своих клятвах; и когда мы проходили мимо домика с башней, я сжала его пальцы, как бы повинуясь чьей-то чужой воле. Кроме того, я заметила, что все время забегаю вперед, чтобы заглянуть ему в лицо.

— Знаешь, я очень рада тебя видеть, — сказала я.

Скорчив свою обычную смущенную гримасу, он ответил:

— Я тоже рад. — Но в голосе его никакой радости не ощущалось.

Я до крови закусила губы и отдернула свою руку. Он, казалось, даже не заметил моего жеста и с рассеянным видом продолжал глядеть по сторонам. Но возле городских ворот он в нерешительности остановился и отрывисто бросил:

— Послушай, я должен тебе кое-что сказать.

— Говори.

— Я, по правде говоря, не думал заходить к тебе… и надо же случиться, что я как раз остался без гроша… поэтому давай-ка лучше распрощаемся. — И с этими словами он протянул мне руку.

Сначала меня охватил ужас. В растерянности я подумала: «Он сейчас уйдет от меня», и от страха потерять его я решила: единственное, что я могу сделать, — это повиснуть у него на шее и со слезами заклинать остаться. Но через минуту мои планы изменились: я решила воспользоваться тем самым предлогом, за который ухватился он, чтобы уйти от меня. Я подумала, что расплачусь за обоих сама. Мне даже понравилась эта мысль: платить за него, как другие платили за меня. Я уже не раз говорила о том чувственном трепете, который я испытывала, получая деньги. Теперь я обнаружила, что тратить их не меньшее удовольствие. И когда сталкиваются любовь и деньги — неважно, получаешь ты их или отдаешь, — то вопрос упирается не только в чистую выгоду.

— Да ты не беспокойся… я заплачу… смотри… у меня есть деньги! — горячо воскликнула я, открывая сумку и показывая ему ассигнации, которые положила туда накануне вечером.

— Но так не годится, — разочарованно сказал он.

— Да какое это имеет значение, ты вернулся, и я просто хочу отпраздновать твое возвращение.

— Нет… нет… лучше не надо. — Он хотел попрощаться со мною и уже собрался уходить.

На сей раз я взяла его за руку.

— Пойдем-ка и не будем больше говорить об этом. — Я решительно направилась к остерии.

Мы сели за тот самый столик, за которым сидели в прошлый раз, и все было как прежде, только теперь лучи зимнего солнца проникали сквозь стеклянную дверь и освещали столики и стены. Хозяин принес нам меню, и я заказала обед уверенным и покровительственным тоном, именно так вели себя мои кавалеры со мною. Джакомо тем временем сидел молча, опустив глаза. Я забыла заказать вино, так как сама его не пила, а потом, вспомнив, что в прошлый раз он пил, я снова позвала хозяина и приказала подать литр вина.

Как только хозяин удалился, я открыла сумку, вытащила бумажку в сто лир, сложила ее вчетверо и, оглядевшись по сторонам, протянула под столом своему спутнику.

Он вопросительно посмотрел на меня.

— Это деньги, — шепнула я, — после обеда расплатись.

— А-а, деньги, — произнес он медленно, взял купюру, развернул ее на столе, оглядел, потом снова свернул, открыл мою сумку и положил туда деньги. Все это он проделал с иронической серьезностью.

— Ты хочешь, чтобы я сама заплатила? — спросила я смущенно.

— Нет, платить буду я, — спокойно ответил он.

— Но зачем же ты тогда сказал, что у тебя нет денег?

Он помолчал, а потом с обидной откровенностью ответил:

— Я не случайно зашел тебя навестить… дело в том, что я уже около месяца собираюсь прийти к тебе… но, когда я встретился с тобою, мне опять захотелось уйти… вот я и решил сказать, что у меня нет денег… я надеялся, что ты пошлешь меня к черту, — он улыбнулся и провел рукой по подбородку, — но, очевидно, я ошибся.

Так он проделал со мною нечто вроде эксперимента. Я для него ничего не значила, или, вернее сказать, влечение ко мне боролось в нем с довольно сильным отвращением. Впоследствии я узнала, что эта его способность притворяться с целью испытать меня является одной из главных черт его характера. Но в ту минуту я растерялась, не зная, радоваться мне или огорчаться его обману и его поражению. Я машинально спросила:

— А почему ты хотел уйти?

— Потому что я понял, что не питаю к тебе никакого чувства… вернее сказать, испытываю только влечение, которое испытывал мой друг к твоей приятельнице.

— Ты знаешь, — спросила я, — что они сошлись?

— Да, — презрительным тоном ответил он, — вот уж действительно два сапога пара.

— Ты не питаешь ко мне никакого чувства, — сказала я, — и не хотел приходить… а все-таки пришел.

И хотя мои надежды на любовь не оправдались, что я, в сущности, предвидела заранее, я все-таки не без удовольствия уличила его в непоследовательности.

— Да, — ответил он, — потому что таких, как я, обычно называют слабохарактерными.

— Ты пришел, и этого мне довольно, — сказала я твердо.

Я положила руку на колени Джакомо, а сама внимательно смотрела на него и видела, что мое прикосновение волновало его, даже подбородок дрожал. Я почувствовала радость, но в то же время понимала, что, хотя его сильно влечет ко мне, он недаром, по его собственным словам, целый месяц раздумывал, в нем все-таки жило еще что-то враждебное мне, против чего я должна направить все свои усилия, побороть и уничтожить эту неприязнь. Я вспомнила, каким колючим взглядом он окинул мою голую спину в тот раз, когда мы впервые остались одни. Очевидно, тогда я совершила ошибку, поддавшись его замораживающему взгляду: стоило мне приложить еще немного усилий, и я погасила бы отчужденность этого взгляда так же, как сейчас смогла погасить и согнать с его лица гордое выражение.

Придвинувшись к столу, как будто собиралась говорить с ним вполголоса, я нежно гладила его колени, а сама тем временем, радостная и довольная, следила за его лицом. Он вопросительно и недовольно смотрел на меня своими огромными, черными, блестящими глазами с длинными, как у женщины, ресницами. Наконец он произнес:

— Если тебя устраивает то чувство, которое ты во мне вызываешь, ну что ж, дело твое…

Я сразу отпрянула назад. И в это время хозяин поставил на стол приборы и еду. Мы принялись молча и вяло есть. Потом он заметил:

— На твоем месте я попытался бы уговорить меня выпить вина.

— Зачем?

— Когда я пьян, то охотнее выполняю чужие желания.

Его фраза: «Если тебя устраивает то чувство, которое ты во мне вызываешь, ну что ж, дело твое», обидела меня, а последнее признание убедило меня, что все мои усилия напрасны. В отчаянии я воскликнула:

— Я хочу, чтобы ты делал только то, что ты считаешь нужным… если хочешь уйти, пожалуйста, уходи… вон дверь!

— Для того чтобы уйти, — ответил он шутливо, — я должен быть уверен, что я действительно хочу этого.

— Может, уйду я?

Мы смотрели друг на друга. От горя я говорила решительным тоном, что, кажется, взволновало его не меньше моих недавних ласк. Он с трудом выговорил:

— Нет, останься.

Мы снова принялись есть. Потом он налил себе большой бокал вина и залпом выпил его.

— Видишь, — сказал он, — я пью.

— Вижу.

— Скоро я опьянею и тогда, пожалуй, буду объясняться тебе в любви.

Его слова больно ранили мое сердце. Казалось, больнее и быть не может. Я взмолилась:

— Перестань, перестань мучить меня!

— Я тебя мучаю?

— Да, ты смеешься надо мной… сейчас я прошу тебя только об одном: не обращай на меня внимания… Я питаю к тебе слабость… но это пройдет, а пока оставь меня в покое.

Он молча выпил второй бокал вина. Я испугалась, что обидела его, и спросила:

— Что с тобой? Ты на меня сердишься?

— Я? Наоборот.

— Если тебе нравится смеяться надо мной, пожалуйста, смейся… я просто так сказала.

— Я вовсе не смеюсь над тобой.

— И если тебе приятно говорить мне гадости, — настаивала я, чувствуя, что желаю одного: без всяких уловок и хитростей малодушно покориться ему, — говори, не стесняйся. Я все равно буду любить тебя, даже сильнее, чем прежде… если бы ты избил меня, я стала бы целовать руку, которую ты поднял на меня.

Он внимательно и как-то странно взглянул на меня, очевидно, мое чувство смутило его. Потом он сказал:

— Хочешь, уйдем отсюда?

— Куда?

— К тебе домой…

Я была в таком отчаянии, что почти забыла причину, вызвавшую это отчаяние; и его неожиданное приглашение, последовавшее в самом начале обеда, скорее меня удивило, чем огорчило. Рассудком я понимала, что вовсе не любовь, а смятение, рожденное моими словами, заставляет его поскорее покончить с обедом.

— Тебе не терпится поскорее избавиться от меня, не так ли?

— Как ты догадалась? — спросил он.

Но эти слова, чересчур жестокие, чтобы быть правдой, неизвестно почему ободрили меня. Я ответила, опустив глаза:

— Есть вещи, которые говорят сами за себя… давай только кончим обед… а тогда пойдем.

— Как хочешь… но я опьянею.

— Можешь пьянеть… мне же лучше.

— А вдруг мне станет плохо… и тогда вместо любовника у тебя на руках окажется больной, за которым еще придется ухаживать.

Прикрыв ладонью его бокал, я имела неосторожность обнаружить свой страх.

— Тогда не пей.

Он рассмеялся и сказал:

— Вот ты и попалась.

— Почему попалась?

— Не бойся… От такого пустяка мне не будет плохо.

— Я ведь о тебе же беспокоюсь, — смиренно произнесла я.

— Обо мне беспокоишься… ах-ах-ах!

Он по-прежнему подшучивал надо много. Но в насмешках его было столько обаяния, что они меня мало задевали.

Он спросил:

— А ты почему не пьешь, скажи-ка?

— Не люблю вина… а потом после одной рюмки я пьянею.

— Ну так что же? Будем оба пьяные.

— Но пьяная женщина выглядит просто отвратительно… я не хочу, чтобы ты видел меня пьяной.

— Почему?.. Что же здесь отвратительного?

— Не знаю… Противно смотреть, как женщина качается, говорит глупости, делает неуклюжие движения… даже жалко становится… я и так жалка, я это знаю, и знаю, что ты тоже считаешь меня жалкой… А если я выпью и ты меня увидишь пьяной, то потом никогда больше не сможешь смотреть на меня без отвращения.

— А если бы я приказал тебе пить?

— Тебе, вероятно, хочется унизить меня, — сказала я грустно, — единственным моим достоинством является то, что меня нельзя назвать неуклюжей… ты действительно хочешь, чтобы я лишилась и этого достоинства?

— Да, я хочу, — порывисто сказал он.

— Не знаю, какое тебе от этого удовольствие, но если ты так хочешь, налей мне вина. — И я протянула свой бокал.

Он посмотрел на бокал, потом на меня и вновь разразился смехом.

— Я пошутил, — сказал он.

— Все-то ты шутишь.

— Итак, ты утверждаешь, что тебя нельзя назвать неуклюжей? — начал он снова после минутного молчания, внимательно глядя на меня.

— Во всяком случае, так говорят.

— Значит, по-твоему, и я так думаю?

— Откуда я знаю, что ты думаешь?

— Давай выясним… что, по твоему мнению, я о тебе думаю и какие чувства к тебе питаю?

— Не знаю, — тихо сказала я, объятая страхом, — конечно, ты не любишь меня так, как я тебя люблю… пожалуй, я нравлюсь тебе, как может мужчине нравиться женщина, которая недурна собой.

— Ах, так ты воображаешь, что недурна собой?

— Да, — с гордостью подтвердила я, — я даже знаю, что красива… но что мне пользы от этой красоты?

— Из красоты не следует извлекать пользу.

Мы кончили обедать и осушили по два бокала вина.

— Вот видишь, — сказал он, — я выпил и не пьян. — Но блеск его глаз и беспокойные движения рук противоречили этим словам. Я посмотрела на него, вероятно, с надеждой. Он продолжал:

— Ты хочешь идти домой, а?.. Венера, связанная со своей жертвой…

— Что, что?

— Ничего, одна строка, к слову пришлась… эй, хозяин!

Он всегда вел себя чуть-чуть вызывающе, но умел все обратить в шутку. И теперь он весело спросил у хозяина, сколько с нас причитается, сунул ему в нос деньги, не поскупившись на чаевые.

— Это вам.

Потом выпил остатки вина и последовал за мною.

Мне хотелось как можно скорее дойти до дома. Я знала, что он вернулся ко мне неохотно, знала, что он презирал и ненавидел себя за то чувство, которое против воли погнало его ко мне. Но я надеялась на свою красоту, на свою любовь к нему, и мне не терпелось поскорее сразиться этим оружием с его враждебностью. Я чувствовала, что мною вновь овладела задорная решимость, я верила, что моя любовь победит его отвращение, порыв моей страсти сломит его упорство и он тоже полюбит меня.

Я шла рядом с ним по опустевшей в это послеполуденное время улице.

— Обещай мне, — начала я, — что когда мы придем домой, ты не попытаешься сбежать.

— Обещаю.

— И ты должен пообещать мне еще одну вещь.

— Что именно?

Я колебалась несколько секунд, а потом сказала:

— В прошлый раз все было бы хорошо, если бы ты не смотрел на меня в ту минуту таким взглядом, что мне стало стыдно… обещай мне, что никогда не станешь так на меня смотреть.

— Как «так»?

— Не знаю… таким неприятным взглядом.

— Я не умею смотреть по заказу, — ответил он спустя минуту, — но, если хочешь, я вовсе не буду на тебя смотреть… закрою глаза… ладно?

— Нет, не надо, — твердо возразила я.

— Тогда как же я должен смотреть на тебя?

— Как я на тебя, — ответила я, взяла его за подбородок и, продолжая идти рядом, показала, как надо смотреть: — Вот так… с нежностью.

— Ха-ха… с нежностью!

Когда мы поднимались по темной и грязной лестнице нашего дома, я невольно вспомнила светлый, чистый, белый дом Джи-зеллы. Я сказала как бы про себя:

— Если бы я жила не в этом домишке и если бы не была такой жалкой, как сейчас, я нравилась бы тебе, конечно, больше.

Он вдруг остановился, обхватил меня за талию обеими руками и искренне сказал:

— Напрасно ты так думаешь… уверяю тебя, это неправда.

Мне показалось, что в его глазах промелькнуло что-то похожее на симпатию. Он нагнулся и стал искать губами мой рот. От него сильно пахло вином. Я не терплю запаха винного перегара, но в ту минуту этот запах показался мне таким невинным, приятным и даже трогательным, как будто он исходил из уст неопытного мальчика. Кроме того, я поняла, что мои слова помогли мне невольно нащупать его слабое место. В ту минуту мне показалось, что я зажгла в его душе искорку любви. Впоследствии я поняла, что, обнимая меня, он не столько повиновался страстному порыву, сколько из самолюбия вынужден был терпеть этот своего рода духовный шантаж. Потом я часто нарочно прибегала к этому способу, обвиняя его в том, что он презирает меня за мою бедность и за мое ремесло, и всегда таким образом я добивалась своего; и чем дальше, тем все яснее понимала, что Джакомо человек разочарованный во всем и крайне нерешительный.

Но в тот день я еще не знала его так хорошо, как узнала позднее. И этот поцелуй обрадовал меня, как будто я одержала решительную победу. Я ограничилась тем, что слегка коснулась его губ как бы в благодарность за его поцелуй и, взяв его за руку, сказала:

— Ну, бежим скорее наверх!

Я весело и порывисто тянула его вверх по лестнице. Он молча позволил тащить себя.

Почти бегом я влетела в свою комнату, волоча его, как куклу, за руку с такой силой, что он ударялся о стены коридора. Едва мы очутились в комнате, я сразу же подтолкнула его в угол, прямо на кровать. И тут только я впервые заметила, что он был не только пьян, как и предсказывал, а пьян так сильно, что ему вот-вот станет плохо. Он сильно побледнел, с рассеянным видом тер свой лоб, а взгляд его был мутный и сонный. Все это я поняла в одну секунду, и меня сразу охватил страх, что ему и в самом деле станет худо и таким образом наша вторая встреча кончится ничем. Двигаясь по комнате и снимая с себя одежду, я в душе горько раскаивалась, что позволила ему пить. Но любопытно то, что мне даже не приходило в голову отказаться от его столь желанной для меня любви. Наоборот, я надеялась только на одно: что ему не так уж плохо, он не останется холоден к моим ласкам и что если ему будет дурно, то только после того, как мое желание осуществится. Я любила его по-настоящему, но так боялась потерять, что любовь моя становилась эгоистичной.

Итак, я притворилась, что не замечаю его опьянения, и, раздевшись, села возле него на кровать. А он как вошел, так и оставался одетым. Я стала снимать с него пальто, а сама

разговорами отвлекала его, чтобы он не вздумал, чего доброго, уйти.

— Ты мне еще не сказал, сколько тебе лет, — начала я, стягивая с него пальто, а он послушно поднимал руки.

Спустя минуту он ответил:

— Мне девятнадцать лет.

— Значит, ты младше меня на два года.

— А тебе двадцать один?

— Да, и скоро исполнится двадцать два.

Мне никак не удавалось развязать его галстук. Медленно, неловким движением он отвел мою руку и сам развязал узел. Потом руки его опустились, и я сняла с него галстук.

— Какой у тебя старый галстук, — сказала я, — я тебе куплю другой… какой цвет ты любишь?

Он засмеялся, и я снова с радостью услышала его приятный и милый смех.

— Похоже, что ты хочешь взять меня на содержание, — сказал он, — то собиралась заплатить за обед… теперь собираешься подарить мне галстук.

— Глупыш, — ласково сказала я, — тебе-то что? Мне приятно подарить тебе галстук… а тебе от этого вреда не будет.

Я сняла с него пиджак и жилет, он сидел на краю постели в сорочке.

— А можно мне дать девятнадцать лет? — спросил он.

Ему нравилось говорить о себе, это я сразу поняла.

— И да и нет, — ответила я нерешительно. Я знала, что мои слова ему приятны, — особенно выдают тебя волосы, — добавила я, гладя его по голове, — у зрелых мужчин волосы не такие густые… но по лицу тебе можно дать больше.

— А сколько бы ты дала мне?

— Лет двадцать пять.

Он замолчал и закрыл глаза, как бы погрузившись в забытье. Я вновь испугалась, что ему плохо, и начала торопливо снимать с него сорочку, а сама тем временем говорила:

— Расскажи мне еще что-нибудь о себе… ты студент?

— Да.

— А что ты изучаешь?

— Право.

— Ты живешь с родителями?

— Нет… моя семья живет в провинции, в С.

— А ты где? В пансионе?

— Нет, в меблированных комнатах. — Он отвечал механически, с закрытыми глазами. — На улице Кола ди Риенцо, двадцать, комната восемь, у вдовы Медолаги… Амалии Медолаги.

Теперь он был обнажен до пояса. Я не могла сдержать желания погладить рукою его грудь и шею.

— Почему ты сидишь так? Тебе холодно? — спросила я.

Он поднял голову и посмотрел на меня. Потом рассмеялся и хриплым голосом сказал:

— Ты думаешь, что я ничего не замечаю?

— О чем это ты?

— О том, что ты преспокойно раздеваешь меня… Я пьян, но не так сильно, как ты думаешь.

— Ну и что же тут плохого? — ответила я смущенно. — Я тебе просто помогаю, раз ты сам не раздеваешься.

Он, казалось, не слышал моих слов.

— Я пьян, — продолжал он, покачивая головой, — но прекрасно знаю, что делаю и зачем я здесь… я не нуждаюсь в помощи, смотри.

И внезапно резким движением худых рук, придававших ему сходство с марионеткой, он расстегнул пояс и стал снимать брюки и все остальное.

— Я знаю также, чего ты ждешь от меня, — прибавил он, обняв меня.

Он сжимал меня своими сильными и нервными руками, на его лице появилось какое-то лукавое выражение. Позднее я не раз улавливала это выражение даже в те минуты, когда он, казалось, должен был бы отрешиться от всего на свете. Это доказывало, что он неизменно сохраняет ясность рассудка, что бы он ни делал, и это, в чем я, к несчастью, убедилась впоследствии, мешало ему по-настоящему любить меня.

— Ты ждешь вот этого, не так ли? — спрашивал он, все сильнее сжимая меня в объятьях. — И вот этого, вот этого…

И каждый раз после слова «этого» он принимался тискать меня, целовать, кусать, щипать там, где я этого меньше всего ожидала. Я со смехом вырывалась, стараясь защититься, и была до того счастлива видеть его таким, что не замечала, насколько искусственным и наигранным выглядело его поведение. Он причинял мне боль, как будто мое тело было для него предметом ненависти, а не любви. И в его глазах, казалось, горело не желание, а скорее злоба. Потом его страстный порыв угас так же внезапно, как и вспыхнул. Вероятно, опьянение снова одолело его, и он, закрыв глаза, растянулся на постели во всю свою длину, а я лежала возле него с таким странным ощущением, будто он и не двигался, не говорил со мною, не дотрагивался до меня и не обнимал, будто ничего не было и все только должно произойти.

Потом я долго неподвижно стояла возле него на коленях, волосы спускались мне на глаза, я смотрела на него и время от времени робко касалась кончиками пальцев его длинного худого тела, прекрасного и целомудренного. У него была белая кожа, и сквозь нее просвечивали кости. Плечи у него были широкие и худые, бедра узкие, ноги длинные, грудь покрыта волосами. Он лежал на спине, от этого живот ввалился и лобковая кость резче обозначилась под туго натянутой кожей. В любви я терпеть не могу насилия, и поэтому действительно мне показалось, что между нами ничего не было и все еще впереди. Потому я стала ждать, пока тишина и покой вернутся к нам после этого неестественного возбуждения, и когда я обрела свое обычное спокойное и ясное состояние духа, то осторожно, подобно тому, как в жаркие дни медленно входят в ласковое, тихое море, опустилась возле него, продела свои ноги между его ног, обняла его за шею и прижалась всем телом. На сей раз он не пошевелился, не проронил ни слова. Я называла его самыми нежными именами, дышала ему прямо в лицо, окутывала теплым и плотным покровом своих ласк, а он лежал на спине неподвижно, как мертвый. После я поняла, что эта безучастность и пассивность являлись у него высшим доказательством любви, на какую он был способен.

Поздно ночью я приподнялась на локти и стала смотреть на него с таким пристальным вниманием, что даже сейчас, спустя много времени, в моей памяти отчетливо встает эта грустная картина. Он спал, зарывшись головой в подушку, то обычно гордое выражение лица, которое он, видимо, старался любой ценой сохранить при всех обстоятельствах, теперь исчезло: сон придал искренность его чертам, осталась только молодость, свежесть и наивность, скорее приметы возраста, нежели свидетельство душевных качеств. Но я вспоминала, каким видела его совсем недавно: насмешливым, враждебным, равнодушным, ласковым, полным желания, и меня грызла тоска, тревога и неудовлетворенность, ибо эта насмешливость, эта враждебность, это равнодушие и это желание, все это — он сам, и это отличает его от меня и прочих людей и исходит из глубины души, которая до сих пор оставалась для меня далекой и непонятной. Я не требовала, чтобы он объяснял мне свои поступки, изучая и разбирая их, как части какого-то механизма, мне просто хотелось понять истинные мотивы этих поступков, которые я наблюдала в момент нашей любви, увы, мне это не удавалось. В той небольшой части его души, которая ускользала от меня, был он весь, а та, бóльшая часть, видная мне, не имела для меня никакого значения, да и была мне ни к чему. Мне были ближе и понятнее Джино, Астарита и даже Сонцоньо. Я смотрела на Джакомо, и мне было больно, что моя душа не смогла соединиться с его душою так, как только недавно соединялись наши тела. Моя душа овдовела и горько оплакивала упущенную возможность. Может, был момент, когда душа его раскрылась, и тогда хватило бы одного

жеста или слова, чтобы можно было войти в нее и остаться там навсегда. Но я не сумела уловить этот момент, а теперь было слишком поздно, он уже спал и снова отдалился от меня.

В то время как я смотрела на него, он открыл глаза и, не меняя позы, спросил:

— Ты тоже спала?

Мне показалось, что голос его изменился, стал доверчивее и задушевнее. И у меня вдруг появилась надежда, что во время его сна между нами каким-то таинственным образом выросла близость.

— Нет… я смотрела на тебя.

Он помолчал немного, потом продолжал:

— Я хочу попросить тебя об одном одолжении… но могу ли я положиться на тебя?

— Что за вопрос!

— Ты должна оказать мне услугу: подержи у себя дома несколько дней сверток, который я тебе дам… потом я приду и возьму его и, возможно, принесу еще один.

В другое время я проявила бы интерес к этим сверткам. Но в ту минуту меня больше всего занимали наши отношения и он сам. Я подумала, что это может послужить прекрасным поводом для нашей встречи, что я должна угодить ему, а если я буду задавать вопросы, он раскается и возьмет свои слова обратно. Я ответила беспечно:

— Только и всего?

Он опять долго молчал, как бы раздумывая, потом спросил:

— Ну, так согласна?

— Я тебе уже ответила, да.

— А тебя не интересует, что находится в этих свертках?

— Если не хочешь говорить, — ответила я, стараясь казаться безразличной, — значит, у тебя есть на то свои причины… и я тебя не спрашиваю.

— Но почем ты знаешь… может быть, это опасно?

— Ну и пусть.

— А вдруг там краденые вещи, — продолжал он, перевернувшись на спину, и в его глазах загорелся ребяческий задорный огонек, — а вдруг я вор?

Я вспомнила Сонцоньо, который был не только вор, но и убийца, вспомнила, как сама украла пудреницу и платок, и мне показалось странным это совпадение: он хотел выдать себя за вора передо мной, которая сама воровала и водила знакомство с ворами. Я ласково погладила его и сказала:

— Нет, ты, конечно, не вор.

Он нахмурился, он всегда был болезненно самолюбив и странно обижался на самые неожиданные вещи.

— Почему? Я мог бы быть вором.

— У тебя не такое лицо… конечно, всякое бывает, но именно ты не производишь впечатления вора.

— Почему? Какое же у меня лицо?

— У тебя лицо такого человека, какой ты есть на самом деле… Лицо юноши из хорошей семьи, студента.

— Это я сказал тебе, что я студент… но я мог быть и кем-то другим… И в действительности так оно и есть.

Я не стала с ним спорить. Ведь у меня самой, подумала я, не написано на лице, что я воровка, и мне вдруг страшно захотелось сказать ему, что мне приходилось воровать. Это искушение объяснялось главным образом его странными словами. Я всегда считала, что воровство достойно порицания, и вот нашелся человек, который, казалось, не только не осуждал подобные вещи, но даже находил в них что-то положительное, и это было для меня неразрешимой загадкой. Поколебавшись немного, я сказала:

— Ты прав… Я не считаю тебя вором, так как уверена в том, что ты не вор, а что касается лица, оно тут ни при чем, ты мог бы быть вором… не всегда по лицу можно узнать, что из себя представляет человек… например, я: разве я похожа на воровку?

— Нет, — ответил он, не глядя на меня.

— А вот я как раз воровка, — спокойно сказала я.

— Ты?

— Да, я.

— Что же ты украла?

Моя сумка лежала на тумбочке, я взяла ее, вынула пудреницу и показала ему.

— Вот это я взяла в одном доме, где была как-то раз, а однажды в магазине я украла шелковый платок и отдала его маме.

Не нужно думать, что я сделала эти признания из бахвальства. В действительности меня толкало желание приобрести в его лице близкого человека и сообщника; когда нет ничего лучшего, то даже признание в преступлении может сблизить людей и вызвать любовь. Я заметила, как лицо его внезапно стало серьезным и он внимательно посмотрел на меня. И тут я вдруг испугалась, что он осудит меня и, пожалуй, решит больше не встречаться со мною. Я поспешно добавила:

— Но ты не думай, что я горжусь этим… я уже решила вернуть пудреницу… сегодня же верну ее… правда, платок я не могу отдать обратно… но я раскаялась и дала себе слово больше не воровать.

В его глазах зажегся обычный лукавый огонек. Он посмотрел на меня и внезапно разразился смехом. Потом схватил меня за плечи, повалил на постель и начал щекотать меня и награждать шлепками, приговаривая с ласковой насмешкой:

— Воровка… ты воровка… ты воровка… воровка… воришка… воришка.

Я не знала, обижаться мне или радоваться. Но его состояние возбуждения в какой-то мере волновало меня и было мне приятно. Все-таки лучше, чем его обычное холодное безразличие. И я хохотала, извиваясь всем телом, потому что боюсь щекотки, а он настойчиво продолжал щекотать меня под мышками. Но при этом я прекрасно видела, что его лицо, склонившееся надо мною, искажено злобой, по-прежнему замкнуто и отчужденно. Потом он резко откинулся назад, на спину и сказал:

— А я вот не вор… совсем не вор… и в этих свертках не краденые вещи.

Ему, видимо, не терпелось сказать, что спрятано в свертках, и я поняла: в нем говорит тщеславие. В конце концов, это чувство мало чем отличалось от того, которое толкнуло Сонцоньо признаться мне в своем преступлении. Несмотря на то что все мужчины разные, у них есть много общего, и в глазах женщины, которую они любят или с которой просто близки, они всегда стараются показать себя в выгодном свете, будто совершили или готовы совершить бог весть какие важные и рискованные дела. Я сказала ласково:

— Ты, видно, умираешь от желания рассказать мне, что в этих свертках.

Он обиделся:

— Глупая… вовсе нет… но я обязан предупредить тебя, что в них, а ты уж решай сама, возьмешь ты их или нет… Так вот: в этих свертках материалы для пропаганды.

— Что это значит?

— Я принадлежу к группе людей, — тихо начал он, — которые, как бы это тебе объяснить… не любят нынешнее правительство… даже ненавидят его и хотят как можно скорее покончить с ним… в этих свертках находятся листовки, напечатанные тайно, в них мы объясняем людям, чем плохо это правительство и каким образом можно его свергнуть.

Я никогда не интересовалась политикой. У меня, как, наверное, у многих людей, никогда не возникал вопрос, хорошо или плохо нынешнее правительство. Но я вспомнила Астариту и его частые непонятные разговоры о политике. Я с тревогой воскликнула:

— Но ведь это запрещено… ведь это опасно!

Он посмотрел на меня с нескрываемым удовлетворением. Наконец-то я сказала ему те слова, которые ему приятно было услышать и которые льстили его самолюбию. Он напустил на себя излишне серьезный вид и подтвердил многозначительным тоном:

— Верно, это очень опасно… Теперь решай сама, сделаешь ли ты это для меня или нет.

— Но я имела в виду, что это опасно для тебя, а не для меня, — живо возразила я, —

если опасно для меня, я согласна.

— Смотри, — предупредил он, — это и в самом деле опасно… если их у тебя найдут, попадешь в тюрьму.

Я взглянула на него, и внезапно меня охватило сильное, непреодолимое волнение. Не знаю, было ли это волнение вызвано его словами или какой-то иной, неясной мне причиной. Глаза мои наполнились слезами, и я прошептала:

— Но неужели ты не понимаешь, что для меня это не имеет ровно никакого значения? Я пошла бы и в тюрьму… что тут такого? — Я тряхнула головой, и слезы побежали по моим щекам. Он удивленно спросил:

— Почему ты плачешь?

— Прости меня, — сказала я, — это ужасно глупо… сама даже не знаю почему… может быть, потому, что хочу, чтобы ты понял, как я люблю тебя и что готова для тебя на все.

Я еще не понимала тогда, что не следует говорить ему о своей любви. На лице Джакомо появилось то смущенное выражение и та отчужденность, которые я не раз наблюдала впоследствии. Он отвел взгляд и быстро пробормотал:

— Ну, ладно, договорились… через два дня я принесу сверток… а сейчас мне пора идти, уже поздно. — С этими словами он вскочил с постели и начал торопливо одеваться.

Я так и осталась сидеть на постели все еще во власти пережитого волнения, с мокрыми глазами, немного стыдясь не то своей наготы, не то своих слез.

Он быстро оделся, подняв с полу разбросанные вещи. Потом подошел к вешалке, снял пальто, надел его и подошел ко мне. Взглянув на меня с милой детской улыбкой, которая мне так нравилась, он сказал:

— Потрогай-ка вот тут.

Я увидела, что он показывает на карман пальто. Он наклонился так, чтобы я могла дотянуться до него рукой. Под тканью кармана я нащупала какой-то твердый предмет.

— Что это такое? — удивленно спросила я.

Он улыбнулся с довольным видом, опустил руку в карман и, пристально глядя на меня, медленно вытащил большой черный пистолет.

— Пистолет! — воскликнула я. — Но зачем он тебе?

— Как знать, — ответил он, — всегда может пригодиться.

Я растерялась, не зная, что думать, да он и не дал мне времени на размышление. Он положил оружие обратно в карман, нагнувшись, коснулся губами моих губ и сказал:

— Договорились, да?.. Я приду через два дня.

И не успела я опомниться, как его уже не было.

После я часто вспоминала это наше первое любовное свидание и горько упрекала себя за то, что не сумела понять, какой опасности подвергался он, занимаясь политикой. Правда, я никогда не имела над ним власти, но, если бы я знала все то, что открылось мне позднее, я по крайней мере помогла бы ему советом, а если бы и это не подействовало, то просто была бы рядом, чтобы поддержать его сочувствием и твердостью духа. Виновата, конечно, была я, или, вернее сказать, мое невежество, но ведь оно было результатом моего положения. Как я уже говорила, я никогда не интересовалась политикой, ничего в ней не смыслила и думала, что политика не имеет никакого отношения к моей жизни, будто все события разворачивались не вокруг меня, а где-то на другой планете. Когда я читала газету, то пропускала первую страницу, на которой печатались политические новости, ничуть меня не интересовавшие, а просматривала хронику, где сообщалось о происшествиях и преступлениях, которые по крайней мере давали хоть какую-то пищу моему уму и воображению. По правде говоря, моя жизнь напоминала существование тех светящихся рыб, которые, по словам ученых, живут на самом дне моря, почти в полном мраке и ничего не знают о том, что творится наверху, где сияет солнечный свет. Политика, как, впрочем, и многое другое, чему люди придают немалое значение, доходила до меня словно из далекого и незнакомого мира и казалась еще более смутной и неясной, чем солнечный свет мог

показаться простейшим животным, обитающим в подводных глубинах.

Впрочем, виноваты были не только я и мое невежество, но и сам Джакомо с его легкомыслием и тщеславием. Если бы я почувствовала, что в нем, помимо тщеславия, жило что-то другое, как это и было на самом деле, то я, вероятно, действовала бы иначе и постаралась, правда, не ручаюсь, насколько успешно, понять и вникнуть в то, чего я не знала в силу своего невежества. И тут уместно отметить еще одно обстоятельство, которое определило в какой-то мере мою беспечность: у меня создалось впечатление, что Джакомо постоянно разыгрывал скорее полукомическую роль, чем действовал всерьез. Казалось, он из кусков лепил своего идеального героя, в которого, однако, сам до конца не верил, и еще мне представлялось, что он все время почти механически старается подогнать свои поступки под образ этого героя. Эта бесконечная комедия производила впечатление игры, правилами которой он владел превосходно; но, как бывает в игре, он брался за дело слишком серьезно и одновременно внушал себе без всяких на то оснований уверенность, что для него все еще поправимо, что в самый последний момент, даже в случае поражения, его противник простит ему проигранную партию и дружески пожмет руку. А может быть, он действительно забавлялся, как забавляются чем попало дети благодаря присущему им неукротимому инстинкту; но противник его, как оказалось впоследствии, играл всерьез. Итак, когда партия была окончена, Джакомо внезапно остался безоружным и был выведен из игры, схваченный мертвой хваткой.

О всех этих и о других вещах, к сожалению еще более печальных и не менее сложных, я много думала впоследствии, стараясь разобраться в том, что же произошло. Но в тот день мне, конечно, и в голову не могло прийти, что эта история со свертками в какой-то мере повлияет на наши отношения. Я радовалась, что он вернулся, радовалась, что смогу оказать ему услугу и что мне наверняка представится случай увидеть его снова, а дальше этого мои мысли не шли. Помню, что смутно и мимоходом я подумала о его странной просьбе, а потом, тряхнув головой, сказала: «Все это ребячество» и стала думать о другом. Впрочем, я была так счастлива, что если бы даже захотела, то не смогла бы сосредоточиться на серьезных вещах.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Все, казалось, устроилось как нельзя лучше: Джакомо вернулся, я нашла способ освободить безвинно пострадавшую горничную и сама при этом избежала тюрьмы. В тот день, когда Джакомо ушел от меня, я по меньшей мере часа два безмятежно упивалась своим счастьем; я испытывала наслаждение, знакомое человеку, которому впервые попала в руки драгоценность или какая-нибудь изящная вещица, — он ошеломлен и растерян, не верит своему счастью и все-таки испытывает огромную радость. Вечерний благовест вывел меня из этой сладостной задумчивости. Я вспомнила, что Астарита посоветовал мне как можно скорее помочь арестованной женщине. Я быстро оделась и вышла из дома.

Как приятно зимним вечером, пришедшим на смену короткому дню, когда ты долго оставался наедине со своими мыслями, выйти прогуляться по центральным городским улицам, где движение более оживленное, где много прохожих, а витрины магазинов ярко освещены. На свежем, чистом воздухе, в суматохе и блеске городской жизни голова становится ясной, душа очищается и наполняется радостным, пьянящим возбуждением, все трудности сразу словно исчезают, и ты спокойно бродишь в толпе людей, беспечно созерцая то одну, то другую мимолетную сценку, которую представляет улица твоему праздному вниманию. Тогда действительно начинает казаться, что все «долги наша», как говорится в молитве, прощены нам, и прощены не за наши заслуги или по какому-нибудь другому счету, а единственно в силу общего таинственного закона всепрощения. Само собой разумеется, что для этого нужно пребывать в счастливом состоянии духа или по крайней мере быть довольным жизнью, иначе шум большого города навеет тоскливые мысли о тщетности суеты и абсурдности этой жизни. Но в тот день, как уже было сказано, я радовалась всему и

особенно остро ощутила это, добравшись до центра города, где и начала прогуливаться по тротуару среди прохожих.

Я знала, что мне надо пойти в церковь и исповедаться. И должно быть, именно потому, что мне дали такой совет и я охотно готовилась последовать ему, я не спешила, даже не думала больше об этом деле. Я медленно шла по улицам, время от времени останавливалась и рассматривала вещи, выставленные в витринах магазинов. Если бы я встретила знакомых, то они, конечно, решили бы, что я пытаюсь «подцепить» мужчину. Но на самом деле я никогда не была столь далека от подобной мысли. Я, пожалуй, согласилась бы пойти с каким-нибудь мужчиной, который понравился бы мне, но вовсе не из-за денег, а поддавшись озорному порыву, избытку жизненных сил. Но те мужчины, которые подходили ко мне, когда я стояла у витрин, и говорили мне привычные слова и делали привычные предложения составить компанию, не нравились мне. Поэтому я не отвечала им, даже не смотрела в их сторону и продолжала как ни в чем не бывало шествовать дальше важным, неторопливым шагом.

И неожиданно, все еще пребывая в задумчивом и счастливом настроении, я увидела церковь, где исповедовалась в последний раз, сразу после поездки в Витербо. Фасад церкви в стиле барокко с высоким фронтоном, увенчанным двумя ангелами, дующими в трубы, был зажат между сверкающими рекламами кинотеатра и ярко освещенной витриной чулочного магазина, погружен в темноту и задвинут, как кулиса, в глубь улицы. По нему скользили фиолетовые блики световой рекламы, и он показался мне похожим на темное, морщинистое лицо старушки, которая, накинув на голову старую шаль, доверительно кивает именно мне, а не прохожим, идущим мимо. Я вспомнила о красивом священнике-французе, падре Элиа, который успел внушить мне чувство симпатии, и мне показалось, что этот хоть и молодой, но опытный, умный и мало похожий на священника человек поможет мне вернуть пудреницу. Кроме того, падре Элиа уже немного знал меня, и мне будет легче покаяться ему во всех ужасных и позорных грехах, которые отягощали мою душу.

Я поднялась по лестнице, отодвинула полог, прикрывавший вход, и вошла в церковь, накрыв голову носовым платком. Когда я опускала пальцы в святую воду, меня поразило изображение, высеченное на чаше: обнаженная женщина с развевающимися по ветру волосами и воздетыми к небу руками бежала от мерзкого дракона с птичьим клювом, который, поднявшись на задние лапы, несся за ней вдогонку. Мне подумалось, что я похожа на эту женщину, я тоже убегаю от дракона, тоже бегу по кругу, но иногда кажется, что я, как и эта женщина, уже не убегаю, а сама преследую в страстном и радостном порыве своего мерзкого мучителя. Я отвернулась от чаши, перекрестилась и осмотрела церковь. Здесь ничего не изменилось, по-прежнему царил беспорядок, было темно и мрачно, как и в прошлый раз. Церковь все так же была погружена в сумрак, за исключением главного алтаря, где вокруг распятия горело множество свечей, и от их сияния тускло поблескивали медные канделябры и серебряные чаши. Придел Мадонны, у ног которой я в прошлый раз с такой глубокой и тщетной страстностью молилась, тоже был освещен; два ризничных сторожа, взгромоздившись на лестницы, прилаживали к архитраву какие-то красные с золотой бахромой украшения. Исповедальня падре Элиа была занята, я прошла и опустилась на колени перед главным алтарем возле беспорядочно сдвинутых стульев с плетеными сиденьями. Я не испытывала ни малейшего беспокойства, но мне не терпелось поскорее покончить со всем. Однако нетерпение мое было веселым, безудержным, легким, с примесью гордости, которая приходит вместе с решением осуществить долго вынашиваемое доброе дело; и я не раз замечала, что подобное нетерпение, идущее от самого сердца и отметающее всякое вмешательство рассудка, тем самым зачастую ставит под удар само доброе дело и иногда может принести куда больший вред, чем любое заранее обдуманное намерение.

Как только я увидела, что человек, который исповедовался, поднялся и вышел, я направилась к кабине, опустилась на колени и, не ожидая, пока священник заговорит со мной, начала:

— Падре Элиа, я пришла не просто исповедоваться… я пришла рассказать вам об

одном очень запутанном деле и попросить вас о милости, в которой, я уверена, вы мне не откажете.

По ту сторону решетки тихий голос сказал, что готов выслушать меня. Я была уверена, что за стенкой находится падре Элиа, даже ясно представляла себе его прекрасное спокойное лицо, склоненное к темному, с отверстиями щитку. И тут впервые с тех пор, как я вошла в церковь, меня охватил радостный и благочестивый восторг. Моя нагая и запятнанная душа как бы внезапно отделилась от тела и опустилась на ступени перед решеткой. Я действительно на какое-то мгновение уверилась, что я — душа без тела, свободная, прозрачная, как воздух: так, говорят, бывает после смерти человека. И падре Элиа, как мне казалось, освободил свою, в отличие от моей светлую, душу от телесной оболочки, предстал передо мною утешителем, разрушив решетку, стены, мрак исповедальни. Вероятно, такое чувство полагалось бы испытывать всякий раз, когда идешь на исповедь. Но никогда прежде я не переживала этого столь остро.

Я начала говорить и, закрыв глаза, прислонившись лбом к решетке, рассказала все без утайки. Рассказала о своем занятии, о Джино, об Астарите, о Сонцоньо, о краже и об убийстве. Я назвала себя, назвала имена Джино, Астариты и Сонцоньо. Указала место кражи, место преступления и свой адрес. Описала также внешность этих людей. Не знаю, что побудило меня к этому. Но своим рвением я напомнила хозяйку, которая после долгого перерыва наконец решилась навести порядок в доме и не может успокоиться до тех пор, пока не выметет все до последней пылинки и не выгребет остатки мусора из самых темных углов. И в самом деле, по мере того как я подробно рассказывала обо всем случившемся, мне начало казаться, что я освобождаю душу и разум и чувствую себя легче, чище.

Я говорила рассудительным и спокойным голосом. Духовник слушал, не произнося ни слова и не прерывая меня. Когда я кончила, на минуту воцарилось молчание. Потом я услышала, как ужасный, тихий, елейный, скрипучий голос произнес следующие слова:

— Ты поведала мне страшные и удивительные вещи, дочь моя. Рассудок отказывается верить этому… но ты поступила правильно, что пришла исповедаться… теперь я сделаю для тебя все, что в моих силах.

Довольно много времени прошло с тех пор, как я в первый и единственный раз исповедовалась в этой церкви. И я, возбужденная и гордая тем, что собираюсь совершить доброе дело, совсем забыла об одной характерной и приятной для меня черте: о французском акценте падре Элиа. А тот, кто исповедовал меня, говорил без малейшего акцента, на чистейшем итальянском языке, в том особом витиеватом стиле, который так присущ священнослужителям. Я осознала свою ошибку к вся оцепенела, так бывает, когда стремительно и доверчиво протягиваешь руку за прекрасным цветком, а пальцы твои наталкиваются на холодную и скользкую змею. К неприятному чувству неожиданности, что передо мной другой человек, прибавилось еще ужасное впечатление, которое производил на меня этот чужой и вкрадчивый голос. Я все же нашла в себе силы и прошептала:

— А вы действительно падре Элиа?

— Собственной персоной, — подтвердил незнакомый священник, — а почему ты спрашиваешь? Разве ты бывала здесь раньше?

— Всего один раз.

Священник помолчал немного, а потом продолжал:

— Все, что ты мне рассказала, следовало бы рассмотреть подробно, вопрос за вопросом… речь идет не об одном грехе, а о бесконечной цепи грехов, одни касаются тебя лично, другие — самых разных людей… Но поговорим о тебе, понимаешь ли ты, что совершила великое множество тяжких грехов?

— Да, понимаю, — прошептала я.

— И ты раскаялась?

— Думаю, что да.

— Если твое раскаяние чистосердечно, — продолжал он доверительным и покровительственным тоном, выдававшим любителя поговорить, — ты можешь, конечно,

надеяться на отпущение грехов… Но, увы, дело касается не только тебя… тут замешаны и другие лица, с их грехами и преступлениями… тебе стало известно о величайшем злодеянии… ведь был убит человек, и убит столь жестоким образом… не испытываешь ли ты побуждения во всеуслышание объявить имя виновного, чтобы он понес заслуженную кару.

Таким образом он внушал мне мысль донести на Сонцоньо. Как священник, он был по-своему прав. Но это предложение, произнесенное таким голосом и в такую минуту, лишь усугубило мое недоверие и мой страх.

— Если я скажу, кто он, — прошептала я, — то и мне не миновать тюрьмы.

— Люди, как и всевышний, — ответил он сразу же, — оценят твою жертву и твое раскаяние… закон не только карает, но и милует… и, пройдя через муки, которые ничто в сравнении с агонией невинной жертвы, ты восстановишь столь жестоко попранную справедливость… слышишь ли ты голос жертвы, тщетно молящий убийцу о пощаде?

Он продолжал наставлять меня, подбирая с явным удовольствием соответствующие выражения из лексикона, присущего его сану. Но меня охватило одно-единственное желание, превратившееся почти в навязчивую идею: поскорее уйти. И я торопливо сказала:

— Мне еще надо подумать… я приду завтра и сообщу вам о своем решении. Завтра я вас застану?

— Конечно, я буду здесь целый день.

— Хорошо, — смущенно заключила я, — а пока я прошу вас передать в полицию этот предмет.

Я замолчала. После короткой молитвы он снова спросил меня, действительно ли я раскаялась и твердо ли решила переменить образ жизни, и, получив утвердительный ответ, отпустил мне грехи. Я перекрестилась и вышла из исповедальни; в это же самое время он отворил дверцу и очутился передо мною. Те опасения, которые внушил мне его голос, сразу же подтвердились, как только я увидела его. Он был невысок, и его слишком большая голова клонилась набок, будто у него был прострел. Я не стала долго разглядывать его, так не терпелось мне поскорее уйти и так велик был ужас, который он внушил мне. Я лишь мельком увидела его смугло-желтое лицо с большим белым лбом, глубоко посаженные глаза, широкий курносый нос и огромный бесформенный рот с извилистой линией синеватых губ. Он, видимо, не был стар, а просто не имел возраста. Сложив руки на груди и покачивая головой, он произнес печальным голосом:

— Почему ты не пришла раньше, дочь моя? Почему? Сколько ужасных грехов ты избежала бы.

Я чуть было не ответила то, что думала: видно, бог не хотел, чтобы я сюда приходила, но удержалась и, вытащив из сумки пудреницу, сунула ее ему в руку и горячо проговорила:

— Прошу вас сделать это побыстрее. Не могу вам передать, как мне мучительно думать, что бедняжку держат в тюрьме из-за меня.

— Сегодня же передам, — ответил он, прижимая пудреницу к груди и покачивая головою с благочестивым и скорбным видом.

Я тихо поблагодарила его и, кивнув на прощание, быстро пошла к выходу. Он так и остался стоять возле исповедальни, скрестив руки на груди и покачивая головою.

Очутившись на улице, я попыталась хладнокровно все обдумать. Теперь, отбросив первые неясные страхи, я понимала: следует опасаться священника, он может нарушить тайну исповеди; и я старалась выяснить, на чем основаны мои опасения. Я знала, как знают все, что исповедь — таинство, и поэтому она священна. Каким бы подлым ни был духовник, он почти никогда не нарушит этого закона. Однако, с другой стороны, его совет донести на Сонцоньо навел меня на мысль, что, если я этого не сделаю, он может сам сообщить в полицию имя человека, совершившего преступление на улице Палестро. Но больше всего меня пугали его голос и внешность. Обычно я руководствуюсь больше чувством, нежели рассудком, и, подобно животным, инстинктивно чую опасность. Все доводы рассудка, за которые я цеплялась, чтобы успокоиться, не стоили ничего по сравнению с этим

подсознательным предчувствием.

«Правда, тайна исповеди нерушима, — рассуждала я, — но все равно только чудо может помешать этому священнику донести на Сонцоньо, на меня и на всех остальных».

И еще одно обстоятельство усиливало предчувствие смутной надвигающейся беды: то, что на месте моего первого духовника оказался другой человек. Очевидно, французский монах был не падре Элиа, хотя он и принимал меня в исповедальне, обозначенной этим именем; но кто же тогда он? Я пожалела, что не спросила о нем у настоящего падре Элиа. И одновременно я боялась, что вдруг бы этот уродливый священник ответил, что он ничего не знает о том красавце, и тогда образ молодого монаха, живший в моей памяти, станет еще более призрачным, В самом деле в нем было нечто таинственное: и то, что он отличался от всех прочих священников, и то, как он внезапно появился, а потом исчез из моей жизни. Я начала уже сомневаться, видела ли я вообще его когда-нибудь, вернее сказать, видела ли наяву или все это мне почудилось. Теперь я вспомнила, что он несомненно похож на Христа, каким его обычно изображают на фресках. И если это было так, если Христос действительно явился мне в тяжелую минуту и выслушал мою исповедь, а теперь вместо него меня исповедовал уродливый священник, то нет ли в этом дурного предзнаменования? Выходит, в самую тяжелую минуту бог покинул меня. Подобное разочарование, наверно, испытывает человек, который, открывая сейф с золотом, обнаруживает там вместо до зарезу нужных ему денег пыль, паутину и мышиный помет.

Я вернулась домой все с тем же предчувствием беды, которая должна последовать за моей исповедью, и тотчас, не ужиная, легла спать в твердом убеждении, что провожу дома последнюю ночь перед арестом.

Но я уже не испытывала ни страха, ни потребности избежать своей участи. Когда прошел первый испуг — как почти все женщины, я слабонервна, — то на душу мою снизошло если не успокоение, то желание покориться своей судьбе. Это была самая высшая степень отчаяния, и я почти упивалась этим состоянием. Мне казалось, что я ощущаю себя мишенью, избранной несчастьем; и я с какой-то радостью думала: нет ничего страшнее смерти для меня, но теперь я и ее не боюсь.

Однако на следующий день я напрасно ждала появления полиции. Прошел один день, другой, и не произошло ничего, что подтвердило бы мои страхи. Все это время я не выходила из дома, даже из своей комнаты. Наконец мне надоело думать о том, что может произойти из-за моей неосторожности. Я снова начала мечтать о Джакомо, мне захотелось повидаться с ним хотя бы еще раз, прежде чем донос священника — а в том, что он пойдет в полицию, я все еще не сомневалась — принесет свои плоды. К вечеру третьего дня я почти механически поднялась с постели, тщательно оделась и вышла на улицу.

Я знала адрес Джакомо и через двадцать минут оказалась возле его дома. Но как только я подошла к подъезду, я вспомнила, что не предупредила Джакомо о своем приходе, и меня охватила робость. Я боялась, что он неласково встретит меня, а то и вовсе прогонит прочь. Я замедлила шаги, сердце мое сжалось от боли, и я, стоя у витрины какого-то магазина, спросила себя, а не лучше ли вернуться домой и ждать, пока он сам придет. Я отлично понимала, что именно в первые дни наших отношений следует вести себя осторожно и предусмотрительно и ни в коем случае не показывать, что влюблена и жить без него не могу. С другой стороны, горько возвращаться домой ни с чем еще и потому, что после исповеди на душе у меня было тревожно, и, чтоб успокоиться, мне надо было повидаться с Джакомо. Мой взгляд упал на витрину магазина, возле которого я остановилась. Это был магазин мужских галстуков и сорочек; и я вдруг вспомнила, что обещала купить ему новый галстук. Влюбленный человек никогда не рассуждает, и я решила, что подарок явится прекрасным поводом для моего прихода, не понимая, что именно он-то и свидетельствует об унизительности и безнадежности моего чувства к Джакомо. Я вошла в магазин и, перебрав с десяток галстуков, остановила свой выбор на самом красивом и самом дорогом сером галстуке в красную полоску. Продавец с профессиональной назойливой любезностью, с какой обычно торговцы пытаются всучить свой товар, осведомился, кому предназначается

галстук, блондину или брюнету.

— Брюнету, — ответила я тихо и почувствовала, что произнесла это слово мягким, взволнованным голосом. Я даже покраснела при мысли, что выдала продавцу свои чувства.

Вдова Медолаги жила на четвертом этаже старого и мрачного дома, выходившего окнами на набережную Тибра. Я прошла восемь лестничных пролетов и позвонила, так и не успев отдышаться. Дверь почти тотчас же открылась, и на пороге появился Джакомо.

— А-а, это ты? — удивленно произнес он.

Вероятно, он кого-то ждал.

— Можно к тебе?

— Да… заходи.

Через темную прихожую он провел меня в гостиную. Здесь тоже было сумрачно: свет проникал сюда сквозь толстые круглые красные стекла, какие бывают в церкви. В комнате стояла мебель черного цвета, инкрустированная перламутром. Посредине находился овальный стол со старинным графином и рюмками для ликера из голубого хрусталя. На полу лежало несколько ковров и даже шкура белого медведя, правда весьма потертая. Все вещи казались старыми, но кругом была чистота и порядок, а глубокая тишина, казалось, с незапамятных времен царит в этом доме. Я прошла в другой конец гостиной и, сев на диван, спросила:

— Ты кого-то ждал?

— Нет… а зачем ты пришла?

Откровенно говоря, слова эти прозвучали не очень-то любезно. Но Джакомо, видимо, только удивил, но не рассердил мой приход.

— Я пришла с тобой попрощаться, — улыбнулась я, — потому что думаю, мы видимся в последний раз.

— Почему?

— Не сегодня-завтра меня заберут и отправят в тюрьму, я в этом уверена.

— В тюрьму… что за чертовщину ты несешь?

Он изменился в лице, и по его тону я поняла, что он испугался, может быть, даже подумал, что я донесла на него или каким-то образом выдала его, проболтавшись о его политической деятельности. Я снова улыбнулась:

— Не бойся… тебя это ни в коей мере не касается.

— Да нет, — быстро перебил он, — я просто не понял… как так в тюрьму? За что?

— Закрой дверь и садись сюда, — сказала я, показывая на диван.

Он закрыл дверь и сел рядом со мной. Тогда я очень спокойно рассказала ему всю историю с пудреницей, включая и исповедь. Он слушал, наклонив голову, не глядя на меня, и кусал ногти, что служило у него признаком внимания. В заключение я сказала:

— Я уверена, что этот священник непременно сыграет со мной какую-нибудь скверную шутку… а ты как думаешь?

Он покачал головой и, глядя не на меня, а на оконные стекла, сказал:

— Не может этого быть… я уверен как раз в обратном… пусть этот священник самый отвратительный урод, это еще ничего не значит…

— Видел бы ты его!.. — живо перебила я.

— Если хочешь знать, ужасен не он сам, а его ремесло… но всякое может случиться, — добавил он торопливо и улыбнулся.

— Итак, ты утверждаешь, что мне нечего бояться?

— Да… тем более что теперь уже ничего не поделаешь… это от тебя не зависит.

— Тебе хорошо говорить… люди боятся, потому что им страшно… это сильнее нас.

Внезапно он по-дружески обнял меня, встряхнул меня несколько раз за плечи и сказал улыбаясь:

— А ты ведь не боишься… не правда ли?

— Я же тебе говорю, что боюсь.

— Нет, ты не боишься, ты смелая.

— Уверяю тебя, я ужасно боялась, до того боялась, что легла в постель и два дня не вставала.

— Да… а потом пришла ко мне и все подробно и спокойно рассказала… нет, ты еще не знаешь, что такое страх.

— А что же я должна была делать? — спросила я с невольной улыбкой. — Не кричать же мне от страха.

— Нет, ты не боишься. — С минуту мы помолчали. Потом он спросил меня с какой-то особой интонацией, удивившей меня: — А этот твой друг, назовем его так, этот Сонцоньо, что он собой представляет?

— Такой, каких сотни, — неопределенно ответила я.

В эту минуту я не нашла более точного определения.

— А каков он из себя… опиши его.

— Уж не собираешься ли ты сам на него донести? — спросила я весело. — Запомни, что тогда и я угожу в тюрьму. — И потом прибавила: — Он блондин… небольшого роста… широкоплечий, лицо бледное, глаза голубые… в общем, ничего особенного… единственно, чем он выделяется, так это своей силой.

— Как так силой?

— С виду даже и не подумаешь… бицепсы у него прямо стальные.

Видя, что он слушает с интересом, я рассказала ему о ссоре Джино и Сонцоньо. Он не прерывал меня и, только когда я замолкла, спросил:

— А как ты думаешь, преднамеренным ли было преступление Сонцоньо… я хочу сказать, готовился ли он заранее, а потом хладнокровно исполнил задуманное?

— Какое там! — ответила я. — Никогда он ничего не замышляет заранее: за минуту до того, как он свалил Джино на землю ударом кулака, он, вероятно, и не собирался его бить… так же и с ювелиром.

— Тогда зачем же он убил?

— Так… это сильнее его… он как тигр… то он спокоен, а через минуту наносит удар лапой, и неизвестно почему.

Я рассказала всю историю моих отношений с Сонцоньо, о том, как он меня бил, и добавила, что в темноте он, конечно, мог бы убить меня; потом в заключение сказала:

— Он ни о чем таком и не думает… им вдруг овладевает какой-то неистовый порыв, и это сильнее его воли… тогда лучше держаться от него подальше… я уверена, что он пошел к ювелиру затем, чтобы продать пудреницу… а тот его оскорбил, и Сонцоньо убил его.

— Словом, это одна из разновидностей садизма.

— Называй как хочешь… возможно и так, — прибавила я, пытаясь разобраться в чувстве, которое внушает мне самой неистовство Сонцоньо-убийцы, — ведь нечто похожее толкает меня к тебе… Почему я тебя люблю? Одному богу известно… Почему на Сонцоньо иногда накатывает желание убить? Тоже одному богу известно… Мне кажется, что подобные вещи вообще необъяснимы.

Джакомо задумался. Потом он поднял голову и спросил:

— А как ты думаешь, что толкает меня к тебе? По-твоему, я способен любить тебя?

Я боялась услышать от него, что он меня не любит. И, зажав ему рот рукой, я взмолилась:

— Ради бога… не говори ничего о чувствах, которые ты ко мне питаешь.

— Почему?

— Потому что для меня это не имеет значения… я не знаю, как ты относишься ко мне, и знать не желаю… мне достаточно самой любить тебя.

Он покачал головой и сказал:

— Это ты по ошибке любишь меня… на самом деле тебе следовало бы любить такого человека, как Сонцоньо.

Я удивилась:

— Да ты что?! Любить преступника?

— Пусть он даже преступник… зато он способен на те порывы, о которых ты говорила… Я уверен, что, раз Сонцоньо испытывает желание убивать, ему доступно и чувство любви… самой простой любви без всяких выкрутасов… я же…

Я оборвала его:

— Не смей даже сравнивать себя с Сонцоньо… ты это ты, а он преступник, злодей… и потом ты неправ, ему недоступна любовь… такой человек не может любить… ему лишь нужно удовлетворить свою чувственность… со много или с любой другой женщиной — все равно!

Кажется, он не согласился с моими доводами, но ничего не возразил. Воспользовавшись молчанием, я засунула пальцы под рукав его сорочки, стараясь дотянуться до локтя.

— Мино, — шепнула я.

Он вздрогнул:

— Почему ты называешь меня Мино?

— Это ведь уменьшительное от Джакомо… разве мне нельзя тебя так называть?

— Нет, нет… можешь… просто так меня зовут дома… вот и все.

— Тебя так зовет твоя мать? — спросила я и, оставив его руку, просунула пальцы под галстук и коснулась сквозь разрез рубашки его груди.

— Да, так меня зовет мама, — подтвердил он с каким-то раздражением. И спустя минуту он прибавил странным тоном, в котором звучали одновременно и гнев и насмешка: — Впрочем, не только это роднит тебя с моей мамой… у вас почти на все одинаковые взгляды.

— Например? — спросила я.

Я была так возбуждена, что почти не слушала его. Расстегнув сорочку, я гладила его худое и милое мальчишеское плечо.

— Например, — ответил он, — когда я тебе рассказал, что занимаюсь политикой, ты сразу всполошилась и испуганно закричала: «Но это запрещено… это опасно…» — словом, сказала то же самое и тем самым голосом, как сказала бы мама.

Мне льстила мысль, что я похожа на его мать, во-первых, потому, что это была его мама, а еще потому, что она была настоящая синьора.

— Вот дурачок, — сказала я мягко, — что же тут плохого? Это значит, что твоя мать любит тебя так же, как и я… ведь заниматься политикой и вправду опасно… Я знала одного юношу, его арестовали, и вот уже два года он сидит в тюрьме… а потом, что толку? Ведь они намного сильнее, и, если ты будешь рыпаться, они упекут тебя в тюрьму… мне кажется, что можно прекрасно прожить на свете и без политики.

— Мама, вылитая мама! — восторженно и насмешливо воскликнул он. — Именно так говорит моя мама!

— Не знаю, что говорит твоя мама, — возразила я, — но, что бы она ни говорила, она желает тебе добра… брось политику… ведь ты по профессии не политический деятель… ты студент… а студентам полагается учиться.

— Учиться, получить диплом и добиться положения, — прошептал он, как бы говоря сам с собой.

Я ничего не ответила, а, приблизив к нему свое лицо, подставила губы. Мы поцеловались, но мне тут же показалось, что он раскаивается в том, что поцеловал меня: он смотрел на меня смущенно и неприязненно. Я испугалась, что он обиделся на меня из-за того, что я прервала наш разговор о политике поцелуем, и торопливо прибавила:

— Впрочем, поступай как знаешь… я в твои дела не вмешиваюсь… и поскольку я уж все равно пришла к тебе, дай мне тот сверток… я его спрячу, как мы договорились.

— Нет, нет, — быстро возразил он, — боже сохрани, не надо… Ты водишь дружбу с Астаритой, а он может у тебя увидеть его.

— Ну и что? Разве Астарита так опасен?

— Это один из самых страшных людей, — ответил он серьезно.

Мне почему-то захотелось подшутить над ним, задеть его самолюбие, впрочем не злобно, а дружелюбно.

— В конце концов, — заметила я с невинным видом, — ты никогда и не собирался доверить мне этот сверток.

— Зачем же я тебе о нем говорил?

— Просто так, извини меня и не обижайся… думаю, ты решил просто похвастаться передо мною… показать, каким серьезным, запретным и опасным делом ты занимаешься.

Он рассердился, и я поняла, что попала не в бровь, а в глаз.

— Вот глупости, — воскликнул он, — ты просто дурочка! — Но потом, внезапно успокоившись, он неуверенно спросил: — Но почему… почему ты так подумала?

— Не знаю, — ответила я улыбаясь, — весь твой вид… вероятно, ты не отдаешь себе в этом отчета… но ты не производишь впечатления человека, способного всерьез заниматься таким делом.

— Но в действительности это очень серьезно, — сказал он таким тоном, будто издевался сам над собою.

Он встал и, вытянув вперед руки, продекламировал с пафосом звонким голосом:

— «Дайте меч мне, дайте меч, я один пойду сражаться, я один паду в бою». — Он жестикулировал худыми руками, топал ногами, у него был очень комичный вид, он опять чем-то напомнил марионетку.

Я спросила:

— Что это такое?

— Ничего, — ответил он, — просто стихи.

Его возбуждение вдруг как-то странно сменилось мрачным и задумчивым настроением. Он снова опустился на диван и искренним тоном произнес:

— А я как раз наоборот… заметь это… все делаю серьезно… даже думаю, что меня в самом деле арестуют… и тогда я докажу всем, всерьез или не всерьез я занимаюсь политикой.

Я ничего не ответила, только ласково погладила его по щеке, потом сжала его лицо ладонями и сказала:

— Какие у тебя красивые глаза.

И правда, глаза у него были хороши — кроткие и большие, внимательные и наивные. Он снова взволновался, подбородок его задрожал.

— А почему бы нам не пойти в твою комнату? — прошептала я.

— Не смей и думать об этом… моя комната рядом с комнатой вдовы… а она целыми днями сидит у себя, держит дверь открытой и не спускает глаз с коридора…

— Тогда пойдем ко мне.

— Уже поздно… ты живешь далеко… а ко мне скоро должны прийти друзья.

— Тогда давай здесь…

— Ты с ума сошла!

— Уж лучше признайся, что просто боишься, — настаивала я. — Не боишься заниматься политической пропагандой… по крайней мере ты сам так говоришь… но боишься, что тебя застанут в этой гостиной с женщиной, которая тебя любит… да что, в конце концов, произойдет?.. Самое страшное, вдова выгонит тебя… и тебе придется искать другую комнату…

Я знала, что, задев его гордость, можно добиться от него чего угодно. И в самом деле я убедила его. Он, должно быть, испытывал такое же сильное желание, как и я.

— Ты с ума сошла, — повторил он, — запомни, что быть выгнанным еще неприятнее, чем быть арестованным… а кроме того, где мы устроимся?

— На полу, — горячим шепотом сказала я, — иди сюда… я покажу тебе, как это делается.

Он, кажется, был так возбужден, что не мог даже разговаривать. Я поднялась с дивана и не спеша растянулась на полу. Пол был покрыт коврами, а посреди комнаты стоял стол с

сервизом для ликера. Я лежала на ковре, а голова моя и грудь находились под столом, я потянула упирающегося Мино за руку и заставила лечь со мной. Я закрыла глаза, и запах пыли в ворсе ковра показался мне приятным и опьяняющим, будто я лежала на весеннем лугу и вокруг меня распространялся не запах грязной шерсти, а аромат цветов и трав. Под тяжестью тела Мино я ощущала твердый пол; я была рада, что он этого не чувствует и что мое тело служит ему ложем. Потом я почувствовала, как он целует меня в шею и в щеку, и это доставило мне огромную радость, потому что раньше он этого не делал. Я открыла глаза, лицо мое было повернуто вбок. Щеку мне колол ворс ковра, я видела кусок паркета, натертого воском, и дальше, в глубине, нижнюю часть двустворчатой двери. Я глубоко вздохнула и снова закрыла глаза.

Первым поднялся Мино, а я еще долго оставалась лежать в прежней позе: на спине, прикрыв лицо локтем, с задранным вверх платьем и раскинутыми ногами. Я была счастлива, я как бы растворялась в своем счастье, и могла бы еще долго лежать так, ощущая спиной жесткий паркет, вдыхая запах пыли. Кажется, на минуту я погрузилась в легкий, короткий сон, и мне приснилось, что я и в самом деле лежу на зеленом лугу, а над моей головой вместо крышки стола — небо, залитое солнечным светом. Мино, должно быть, решил, что мне стало плохо, так как вдруг я почувствовала, что он трясет меня за плечи и говорит тихим голосом:

— Да что с тобою? Что ты? Вставай скорее!

Я с трудом отняла руку от лица, медленно выбралась из-под стола и встала. Я чувствовала себя счастливой и улыбалась. Мино, ссутулившись, стоял, прислонившись к буфету, он тяжело дышал и смотрел на меня враждебным и растерянным взглядом.

— Не хочу больше тебя видеть, — наконец проговорил он.

Его сгорбившаяся фигура как-то странно и непроизвольно дернулась, будто он был игрушкой, внутри которой внезапно лопнула пружина.

Я с улыбкой ответила:

— Почему?.. Мы же любим друг друга… мы будем встречаться. — И, приблизившись к нему, я ласково погладила его по щеке.

Но он, пряча от меня свое бледное и искаженное лицо, повторил:

— Не хочу больше тебя видеть.

Я понимала, что его враждебность вызвана главным образом сожалением, что он уступил мне. Он никак не мог примириться с чувством, которое я вызывала в нем, оно всегда сопровождалось сопротивлением и раскаянием. Мино вел себя, как человек, решившийся на поступок, которого он не хочет и не должен совершать. Но я была уверена, что его раздражение скоро пройдет и страсть, которую он подавляет в себе и ненавидит, в конце концов пересилит его странное стремление к воздержанию. Поэтому я не придала особого значения его словам и, вспомнив о галстуке, который купила, подошла к столику, где бросила свою сумку и перчатки.

— Ну, не сердись… я сюда больше не приду… ты доволен? — сказала я.

Он ничего не ответил. В это время дверь отворилась и старая служанка ввела в комнату двух мужчин. Один из них произнес громогласным басом:

— Привет, Джакомо!

Я догадалась, что это, должно быть, его политические единомышленники, и принялась с любопытством разглядывать их. Тот, который поздоровался, казался настоящим великаном: ростом выше Мино, широкоплечий, он напоминал профессионального боксера. У него были растрепанные светлые волосы, голубые глаза, приплюснутый нос и красный некрасивый рот. Но лицо его было открытым и симпатичным, какая-то наивная застенчивость сквозила в нем, и это мне понравилось. Хотя стояла зима, он пришел без пальто, в одном пиджаке и белом свитере с высоким воротом, что увеличивало его сходство со спортсменом. Меня поразили его руки — красные и огромные, они высовывались из рукавов пиджака, поверх которых были вывернуты обшлага свитера. Он был очень молод, пожалуй, одного возраста с Джакомо. Второй человек выглядел лет на сорок и в отличие от

молодого, которого можно было принять за рабочего или крестьянина, выглядел и одет был, как интеллигент. Он был очень смуглый, невысокого роста, а рядом со своим товарищем казался просто коротышкой, пол-лица занимали большие, в черепаховой оправе очки. Из-под очков торчал маленький курносый носик, а рот был огромный, до ушей. Худые щеки, покрытые черной щетиной, потертый воротник сорочки, поношенная и грязная одежда, болтавшаяся на его жалком теле словно на вешалке, — все это производило впечатление самодовольной, вызывающей нищеты и неаккуратности. По правде говоря, меня удивил внешний облик этих двух людей, потому что сам Мино всегда одевался с небрежной элегантностью, да и вообще в нем чувствовалась принадлежность к совсем иному кругу. Если бы я не видела, как вошедшие поздоровались с Мино и как тот ответил на их приветствие, я никогда бы и не подумала, что они друзья. Но инстинктивно мне сразу же понравился великан, а маленького я невзлюбила. Смущенно улыбаясь, великан спросил:

— Может быть, мы пришли слишком рано?

— Нет, нет, — ответил Мино, качая головой. Он был растерян и старался овладеть собой. — Вы пришли точно в назначенное время.

— Точность — вежливость королей, — вставил маленький, потирая руки.

И вдруг неожиданно для всех он громко засмеялся, будто сказал что-то весьма остроумное. Потом так же внезапно стал серьезным, чересчур серьезным, даже не верилось, что только сию минуту он так весело хохотал.

— Адриана, — через силу сказал Мино, — познакомься, это мои друзья… Туллио, — добавил он, указывая на маленького, — а это Томмазо.

Он не назвал их фамилий, и я подумала, что имена тоже, должно быть, не настоящие. Я поздоровалась с ними за руку и улыбнулась. Великан больно стиснул мне пальцы, потом маленький пожал мою руку своей потной ладонью.

— Весьма счастлив, — проговорил маленький с явно преувеличенным восторгом.

— Очень приятно, — сказал большой.

И я снова с удовольствием отметила, как просто и приветливо он проговорил эти слова. В его произношении слышался легкий оттенок диалекта.

С минуту мы молча смотрели друг на друга.

— Если хочешь, Джакомо, — снова заговорил большой, — мы можем уйти… если ты сегодня занят, мы придем завтра.

Мино вздрогнул, посмотрел на него, и я поняла, что сейчас он скажет, чтобы они остались, а меня выпроводит. Я уже достаточно хорошо изучила его характер и понимала, что именно так он и поступит. Я вспомнила, что всего несколько минут тому назад отдавалась ему, еще до сих пор ощущала поцелуи и прикосновение его рук, сжимавших меня в объятиях. И не душа моя, всегда готовая уступить и смириться, а мое тело вдруг восстало, будто с ним обращались не так, как того заслуживала его щедрость и красота. Я шагнула вперед и громко произнесла:

— Да, будет лучше, если вы сейчас уйдете, приходите завтра… я еще должна кое-что сказать Мино.

— Но мне надо поговорить с ними, — с досадой и удивлением возразил Мино.

— Поговоришь с ними завтра.

— Ну, — добродушно проговорил Томмазо, — решайте же… хотите, чтобы мы остались, так и скажите… не хотите, мы уйдем.

— Нечего и спрашивать, — заключил Туллио и опять оглушительно рассмеялся.

Мино все еще колебался. И снова вопреки рассудку в моем теле родился агрессивный протест.

— Послушайте, — сказала я, повысив голос, — всего несколько минут назад я отдавалась Джакомо здесь на полу, вот на этом ковре, как бы вы поступили на его месте? Выгнали бы меня теперь вон?

Мне показалось, что Мино покраснел. Он с досадой отвернулся и смущенно отошел к окну. Томмазо бросил на меня быстрый взгляд и серьезно сказал:

— Понятно… мы уходим… встретимся завтра в это же время, Джакомо.

Но мои слова, видимо, поразили маленького Туллио. Разинув рот, он смотрел на меня широко раскрытыми глазами сквозь толстые стекла очков. Я уверена, что никогда ему не приходилось слышать, чтобы женщина говорила вот так откровенно, и, очевидно, в эту минуту тысяча самых грязных мыслей закружилась в его голове. Но большой окликнул его с порога:

— Пойдем, Туллио.

И тот, не отрывая от меня удивленного и похотливого взгляда, попятился к двери и вышел.

Я дождалась, пока они ушли, потом приблизилась к Мино, который стоял возле окна спиной ко мне, и обвила одной рукой его шею.

— Держу пари, что теперь ты меня окончательно возненавидел.

Он медленно обернулся и посмотрел на меня глазами, полными гнева, но, увидев мое лицо, на котором, вероятно, ясно можно было прочесть нежность, любовь и простодушие, он смягчился и сказал спокойным и грустным голосом:

— Ну что, довольна? Добилась своего.

— Да, я довольна, — сказала я, крепко обнимая его.

Он позволил себя обнять, а потом спросил:

— О чем это ты хотела со мной поговорить?

— Ни о чем, — ответила я, — просто хотела провести этот вечер с тобой.

— А я, — сказал он, — скоро должен идти ужинать… я ужинаю здесь… у вдовы Медолаги.

— Тогда пригласи и меня поужинать.

Он посмотрел на меня и улыбнулся моей дерзости.

— Ладно, — смирился он, — сейчас пойду предупрежу хозяйку… а как тебя представить?

— Как хочешь… скажи, что я твоя родственница.

— Нет… я тебя представлю как свою невесту… согласна?

Я боялась показать ему, как приятно мне это предложение, и ответила с напускной небрежностью:

— Мне все равно… лишь бы быть вместе… а там называй как хочешь: невестой или еще как-нибудь.

— Обожди, я сейчас вернусь.

Он вышел, а я отошла в угол гостиной и, приподняв платье, быстро поправила комбинацию, которую не успела привести в порядок из-за внезапного прихода друзей Мино. В зеркале, которое висело напротив меня на стене, я увидела свою длинную, красивую ногу, обтянутую шелковым чулком, и поняла, что выгляжу странно среди этой старой мебели, в этой душной и тихой комнате. Мне вспомнилось время, когда мы с Джино предавались любви на вилле его хозяйки и когда я украла пудреницу; и я невольно сравнивала те дни, кажущиеся теперь такими далекими, с сегодняшним днем. Тогда меня томило чувство пустоты и горечи, мной владело желание отомстить, может быть, не самому Джино, а всему свету, который в лице Джино так жестоко обидел меня. Теперь же я чувствовала себя счастливой, свободной и легкомысленной. И я снова убедилась, что по-настоящему люблю Мино, и меня мало беспокоило, что он не любит меня.

Я оправила платье, подошла к зеркалу и причесалась. Дверь отворилась, и вошел Мино.

Я надеялась, что он приблизится и обнимет меня, пока я верчусь перед зеркалом. Но он прошел мимо, сел на диван.

— Все в порядке, — сказал он, закуривая сигарету, — поставили еще один прибор… через несколько минут будем ужинать.

Я отошла от зеркала, села с ним рядом, взяла под руку и прижалась к нему.

— А эти двое, — спросила я, — тоже занимаются политикой?

— Да.

— Они, должно быть, не очень-то богаты.

— Почему ты так думаешь?

— Заметно по их внешнему виду.

— Томмазо — сын нашего управляющего, — сказал он, — а второй — школьный учитель.

— Он мне не понравился.

— Кто?

— Школьный учитель… Он какой-то грязный, а потом он таким сальным взглядом посмотрел на меня, когда я сказала, что я тут отдавалась тебе.

— Зато ты, видно, ему понравилась.

Мы долго сидели молча. Потом я сказала:

— Ты стыдишься представить меня как невесту… если хочешь, я уйду.

Я знала, что единственный способ вырвать у него ласковое слово — это притвориться, будто я думаю, что он стыдится меня. И в самом деле он тотчас же обнял меня за талию и сказал:

— Ведь я тебе сам это предложил… и почему я должен стыдиться тебя?

— Не знаю… но вижу, у тебя плохое настроение.

— Нет, у меня вовсе не плохое настроение, я просто подавлен, — наставительно произнес он, — и это все от занятий любовью… дай мне время прийти в себя.

Я заметила, что он все еще бледен и курит без особого удовольствия.

— Ты прав, — сказала я, — прости меня… но ты всегда так холоден, так безразличен, что я просто теряю рассудок… если бы ты вел себя иначе, то я не настаивала бы на том, чтобы остаться.

Бросив сигарету, он произнес:

— Это неверно, что я холоден и безразличен.

— И тем не менее…

— Ты мне очень нравишься, — продолжал он, пристально глядя на меня, — ведь я же не смог устоять перед тобой, хотя и пытался.

Мне было приятно слышать эти слова, и я молча потупила глаза. А он добавил:

— Однако ты все-таки права… Любовью это не назовешь.

Сердце мое сжалось, и я чуть слышно прошептала:

— А что же, по-твоему, любовь?

Он ответил:

— Если бы я тебя любил, то не стал бы несколько минут назад прогонять тебя… и потом не стал бы сердиться на тебя за то, что ты хочешь остаться.

— А ты рассердился?

— Да… я болтал бы с тобою, был бы весел, беспечен, обаятелен, остроумен… ласкал бы тебя, говорил бы тебе нежности, целовал бы тебя… строил бы планы на будущее… вот это, наверное, и есть любовь.

— Да, — тихо отозвалась я, — во всяком случае, это все признаки любви.

Он долго молчал, а потом сказал без всякой бравады, с какой-то покорностью:

— И во всем остальном я точно такой же… ничего не люблю и ни во что не вкладываю всю душу… рассудком я сознаю, как надо поступать, но порой, даже делая что-то, остаюсь холодным и безучастным… Так уж я устроен, и, наверно, мне не удастся себя переделать.

Я собрала все свои силы и ответила:

— Мне ты и такой нравишься… не беспокойся.

Я нежно обняла его. Но дверь отворилась, и старая служанка, заглянув в комнату, позвала нас к столу.

По коридору мы прошли в столовую. Я до мелочей запомнила и эту комнату и людей, так как мое восприятие в тот момент было столь обострено, что все отпечаталось в моей памяти, словно на фотопластинке. Мне казалось, я не действую, а грустно взираю со стороны на свои действия широко раскрытыми глазами. Возможно, в этом и состоит влияние,

оказываемое реальной действительностью, которая вызывает в нас чувство протеста, которая заставляет нас страдать и которую мы так хотели бы изменить.

Вдова Медолаги почему-то показалась мне очень похожей на черную инкрустированную перламутром мебель, стоявшую в ее собственной гостиной. Это была пожилая женщина внушительного вида, с обширным бюстом и массивными бедрами. Она была одета во все черное, ее широкое поблекшее лицо с темными кругами под глазами было подернуто как бы перламутровой бледностью и окаймлено черными, очевидно крашеными, волосами. Она стояла у стола и с угрюмым видом разливала суп. Лампа с противовесом была спущена вниз, к столу, освещая грудь вдовы Медолаги, похожую на огромный блестящий черный тюк; лицо же ее оставалось в тени. Поэтому глаза с темными кругами на белом лице производили впечатление карнавальной шелковой полумаски. Стол был небольшой, и с каждой стороны стояло по прибору. Дочь вдовы уже сидела на своем месте, и, когда мы вошли, она даже не встала.

— Синьорина сядет здесь, — заявила вдова Медолаги, — как зовут синьорину?

— Адриана.

— Смотрите-ка, так же, как и мою дочь, — небрежно заметила синьора, — итак, у нас две Адрианы.

Разговаривала она сдержанно, не глядя на нас, и было ясно, что мое присутствие пришлось ей не по вкусу. Я уже говорила, что я почти совсем не пользовалась косметикой, не красила волосы перекисью, одним словом, по моей внешности никак нельзя было догадаться о моей профессии. Но то, что я бедная девушка из народа, это, конечно, было заметно, да я и не собиралась этого скрывать.

«Кого это он приводит в мой дом? — должно быть, думала синьора Медолаги. — Притащил какую-то плебейку».

Я села и посмотрела на девушку, которую звали так же, как меня. Она была ровно вполовину меньше меня ростом, и соответственно меньше были ее голова, грудь, бедра и все остальное. Худенькая, с жидкими волосами, с маленьким овальным личиком, она смотрела на меня большими испуганными глазами. Я заметила, что под моим внимательным взглядом она потупила глаза и опустила голову. Я решила, что она стесняется, и, желая нарушить ледяное молчание, заговорила:

— Вы знаете, мне всегда кажется странным, что кого-то зовут так же, как и меня, и что я совсем не похожа на этого человека.

Сказала я это просто так, чтобы завязать разговор, и признаюсь, начала его не очень-то умно. К величайшему удивлению, я не получила ответа. Девушка вскинула на меня свои большие глаза, вновь склонилась над тарелкой и продолжала молча есть. Тогда внезапно и ярко в моем мозгу вспыхнула истина: девушка вовсе не смутилась, она испугалась. Испугалась меня. Ее испугала моя красота, которая вдруг вторглась в их затхлый, пыльный дом, подобно розе, расцветшей среди паутины, ее испугало мое присутствие в этой комнате, словно я занимала слишком много места, хотя сидела тихо и спокойно, но более всего ее испугало мое простое происхождение. Конечно, богатые не любят бедных, но не боятся их, а с высокомерным и самодовольным видом держатся от них подальше; но если бедняк благодаря воспитанию или происхождению обладает повадками богатого, то он боится и сторонится настоящих бедняков, как человек, который боится заразиться какой-либо болезнью от тех, кто уже поражен ею. Медолаги не были богатыми людьми, иначе они не стали бы сдавать комнаты; они были бедны, но не признавались в этом, и присутствие бедной девушки, которая не скрывала своего положения, казалось им и опасным и оскорбительным. Кто знает, какие мысли мелькали в голове дочери синьоры Медолаги? Возможно, она думала: ишь ты, разговорилась тут, хочет, видно, подружиться со мною, теперь от нее не отделаешься. Я сразу поняла это и решила не открывать рта до конца ужина.

Но мать держалась непринужденнее, скорее всего, просто из любопытства решила поддерживать беседу.

— Я и не знала, что у вас есть невеста, — сказала она, обращаясь к Мино, — давно это

случилось?

Она жеманно поджимала губы и разговаривала, выглядывая из-за своего огромного бюста, как из окопа.

— Месяц тому назад, — сказал Мино.

И правда, мы познакомились месяц назад.

— Синьорина из Рима?

— Не то слово! Семь поколений жили здесь.

— А когда вы поженитесь?

— Скоро… как только освободится дом, где мы собираемся жить.

— Ах… вы уже присмотрели дом?

— Да, небольшая вилла с садом… и с башенкой… очень уютная.

Мино насмешливым тоном описывал ту маленькую виллу, которую я ему показала на аллее возле нашего дома. Я сказала:

— Если мы будем ждать, пока освободится тот дом… то, боюсь, мы никогда не поженимся.

— Пустяки, — весело отозвался Мино. Он, кажется, окончательно пришел в себя, и даже лицо его чуть-чуть порозовело. — Ты ведь знаешь, что дом освободят в назначенный срок.

Я не люблю разыгрывать комедий, поэтому промолчала. Служанка переменила тарелки.

— Виллы, синьор Диодати, — начала вдова Медолаги, — имеют свои преимущества, но и свои неудобства… они требуют массу прислуги.

— Зачем нам прислуга? — сказал Мино. — В этом нет нужды… Адриана намерена сама выполнять работу кухарки, горничной, экономки… не правда ли, Адриана?

Синьора Медолаги смерила меня взглядом и произнесла:

— По правде сказать, синьоре некогда думать о кухне, об уборке комнат и постелей… У нее полно других забот… но если, конечно, синьорина Адриана привыкла… то тогда…

Она оборвала фразу и обратила свой взор на тарелку, которую ей протягивала служанка.

— Мы не знали, что вы придете… и смогли добавить к столу только несколько яиц.

Я сердилась на Мино, сердилась на эту женщину и чуть было не сказала: «Да, я привыкла… привыкла выходить на панель». А Мино был весел и возбужден, он непринужденно налил себе вина, потом мне (синьора Медолаги не спускала с бутылки беспокойного взгляда) и продолжал:

— Но Адриана ведь не синьора… и никогда ею не будет. Адриана всегда сама стелила постели и убирала комнаты… Адриана — девушка из народа.

Синьора Медолаги принялась разглядывать меня, будто только сейчас увидела впервые, потом заметила с оскорбительной вежливостью:

— Но я как раз и сказала: если синьорина привыкла…

Дочь снова уткнулась в свою тарелку.

— Да, привыкла, — продолжал Мино, — и я, конечно, не буду настаивать на том, чтобы она меняла столь полезные привычки… Адриана дочь белошвейки и сама белошвейка… не так ли, Адриана? — Он потянулся через стол, взял мою руку и повернул ее ладонью вверх. — Правда, она делает маникюр, но рука у нее рабочая: большая, сильная, простая… а волосы хоть и вьются, но все-таки непокорные и жесткие. — Он оставил мою руку и грубо потрепал меня по волосам, как гладят животных. — Одним словом, Адриана — достойная представительница нашего доброго, здорового и крепкого народа.

В его голосе звучал вызов, но никто его не принял. Дочь вдовы Медолаги смотрела на меня так, будто я была прозрачная, а она разглядывала предмет, находящийся позади меня. Мать приказала служанке сменить тарелки, а потом, повернувшись к Мино, вдруг спросила:

— А вы, синьор Диодати, уже видели новую комедию?

Я чуть было не расхохоталась — так неловко хозяйка попыталась переменить тему

разговора. Однако Мино ничуть не смутился:

— Не говорите мне об этой комедии… такая пошлость.

— А мы собирались завтра в театр… говорят, что актеры играют великолепно.

Мино возразил, что актеры играют не так уж блестяще, как утверждают газеты; синьора удивилась, как это газеты могут искажать истину; Мино спокойно ответил, что в газетах все, начиная от первой и кончая последней строчкой, — сплошная ложь, и весь разговор продолжался в том же духе. Как только собеседники исчерпывали очередную тему, синьора Медолаги тотчас же судорожно хваталась за другую. Мино, который, казалось, от души забавлялся, охотно принимал участие в игре и с готовностью отвечал на все вопросы. Сначала разговор шел об актерах, потом о ночной жизни Рима, о кафе, о кино, о театрах, о ресторанах и тому подобных местах. Мино и синьора Медолаги были похожи на двух игроков в тамбурелло,[3] которые перекидываются мячом и внимательно следят за тем, чтобы он не упал на землю. Но Мино проделывал все это с присущим ему чувством юмора, а синьорой Медолаги руководил страх и презрение ко мне и ко всему, что так или иначе было связано со мной. Этим поверхностным и чисто условным разговором она, казалось, хотела дать понять следующее: «Заявляю вам, что позорно жениться на девушке из народа и еще позорнее приводить ее в дом вдовы государственного служащего Медолаги». Дочь сидела ни жива ни мертва: она ужасалась и явно желала, чтобы ужин поскорее закончился и я ушла. Сперва меня забавляла эта словесная дуэль, но потом я устала и отдалась целиком той грусти, которая владела моей душой. Я понимала, что Мино не любит меня, и это сознание наполняло меня еще большей горечью. Кроме того, Мино бессовестно воспользовался моими сокровенными мечтами, чтобы разыграть комедию нашей помолвки, и я никак не могла взять в толк, хочет ли он посмеяться надо мной, или над собой, или же над этими двумя женщинами. А скорее всего, он издевался над всеми сразу, и в первую очередь над самим собой. Казалось, что он так же, как и я, лелеял мечту о нормальной, порядочной жизни и по каким-то причинам, правда несхожим с моими, мечте этой никогда не суждено осуществиться. С другой стороны, я понимала, что, расхваливая в моем лице девушек из народа, он отнюдь не льстил ни мне, ни народу; таким способом он хотел позлить свою хозяйку, вот и все. И я вынуждена была признать, что он не лгал, утверждая, что не способен полюбить всем сердцем. Тут я впервые поняла, что любовь — это главное, все зависит от нее. Только к иным людям любовь приходит, а к иным нет. И если уж она пришла, то ты распространяешь свою любовь не только на любимого человека, но на всех людей и на весь свет, как было со мной, а если любви нет, то не любят никого и ничего, как было с Мино. А недостаток любви рано или поздно превращает человека в бесполезное и слабое существо.

Со стола убрали посуду, и на скатерти, усеянной крошками и освещенной светом круглой лампы, появились четыре чашечки с кофе, терракотовая пепельница в виде тюльпана, а рядом легла большая белая рука с темными пятнышками, унизанная дешевыми кольцами, — рука синьоры Медолаги, сжимающая сигарету. Внезапно я поняла, что не могу больше находиться здесь, и встала.

— К сожалению, Мино, — сказала я, нарочно утрируя римский акцент, — я должна идти… у меня уйма дел.

Он положил свою сигарету в пепельницу и тоже поднялся. Звонким голосом, как и подобает «плебейке», я пожелала им «доброго вечера», слегка кивнув головой, на что синьора Медо-лаги ответила церемонным поклоном, а дочь вообще промолчала. Я вышла в коридор и сказала Мино:

— Боюсь, что синьора Медолаги после сегодняшнего вечера предложит тебе поискать другую комнату.

Он пожал плечами.

— Не думаю… комнаты дорогие, и плачу я аккуратно.

---

[3] Игра в мяч ракетками, на которые натянута кожа.

— Я ухожу, — сказала я, — этот ужин испортил мне настроение.

— Почему же?

— Потому что я убедилась в том, что ты действительно не способен любить.

Эти слова я произнесла с грустью, не поднимая глаз. Потом взглянула на него и увидела, что он побледнел. А может быть, это просто показалось мне в полутьме коридора. Внезапно мной овладело раскаяние.

— Ты обиделся? — спросила я.

— Нет, — с трудом выдавил он, — в конце концов, это правда…

Сердце мое наполнилось любовью, и я порывисто обняла его.

— Нет, неправда… я просто так сказала, от злости… и потом я все равно очень тебя люблю… посмотри-ка… я принесла тебе галстук.

Открыв сумку, я вытащила галстук и протянула ему. Он посмотрел на него и спросил:

— Украла?

Он пошутил, но эта шутка, как я поняла позднее, свидетельствовала о его расположении ко мне, пожалуй, больше, чем самые горячие слова благодарности. Однако тогда меня будто что-то укололо в самое сердце. Глаза мои наполнились слезами, и я прошептала:

— Нет, купила… в магазине, здесь, внизу.

Он заметил мое волнение и обнял меня:

— Глупышка… я же пошутил… впрочем, если бы ты украла его, я все равно был бы рад… и может быть, еще больше.

Я немного успокоилась и сказала:

— Подожди, я тебе сама его повяжу.

Он задрал подбородок, я развязала старый галстук, подняла воротничок и продела под него новый.

— А этот ужасный потертый галстук, — продолжала я, — я возьму с собой, его просто нельзя больше носить.

На самом же деле я хотела взять галстук себе на память.

— Итак, скоро увидимся, — сказал он.

— Когда?

— Завтра, после ужина.

— Хорошо.

Я схватила его руку в хотела ее поцеловать. Он отдернул руку, однако я успела прикоснуться к ней губами. Не оборачиваясь, я быстро стала спускаться по лестнице.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

После этого дня моя жизнь потекла по-прежнему своим чередом. Я по-настоящему любила Мино, и меня не раз охватывало желание бросить свое занятие, которое так не вязалось с истинной любовью. Но наше материальное положение не изменилось, у меня было все так же мало денег, и не было возможности заработать их каким-либо другим путем. А брать деньги у Мино я не хотела. Впрочем, у него и самого каждая лира была на счету, родители посылали ему ровно столько, сколько требовалось на жизнь в городе. Поэтому я все время испытывала непреодолимое желание самой расплачиваться в кафе, в ресторанах, словом, везде, где мы бывали с ним вместе. Мино неизменно отказывался от моих предложений, и каждый раз я испытывала горечь и разочарование. Когда у него не было денег, он водил меня в городские парки, мы сидели на скамейке, разговаривали и разглядывали прохожих, совсем как настоящие бедняки. Однажды я сказала ему:

— Если у тебя нет денег, все равно пойдем в кафе… заплачу я… ну, что тебе стоит?

— Это невозможно.

— Но почему же? Я хочу зайти в кафе и что-нибудь выпить.

— Тогда иди одна.

По правде сказать, мне не так хотелось пойти в кафе, как хотелось самой заплатить за него. Мое желание было сильным, страстным и упорным; еще с большим удовольствием я отдавала бы ему все деньги, которые я зарабатывала от близости со случайными мужчинами. Мне казалось, что только так я смогу доказать ему свою любовь; а кроме того, я надеялась таким образом привязать его к себе более крепкими узами, чем любовь. Как-то раз я призналась:

— Я с радостью дала бы тебе денег… и уверена, что это тебе доставило бы хоть небольшое удовольствие.

Он засмеялся, а потом ответил:

— Наши отношения, по крайней мере с моей стороны, основаны отнюдь не на удовольствии.

— А на чем же тогда они основаны?

Он заколебался, а потом ответил:

— На твоем желании любить меня и на моей неспособности сопротивляться этому желанию… но это отнюдь не значит, что моя неспособность сопротивляться беспредельна.

— Что ты хочешь этим сказать?

— Очень простую вещь, — спокойно пояснил он, — я тебе не раз говорил… мы вместе, потому что ты этого захотела… а я, наоборот, этого не хотел, да и теперь, по крайней мере теоретически, не хочу…

— Хватит, хватит, — оборвала я, — не будем говорить о нашей любви… зря я затеяла этот разговор.

Думая о его характере, я часто приходила к печальному выводу, что он меня совсем не любит и что я для него лишь объект для какого-то непонятного эксперимента. В действительности он всецело был поглощен только собой, но, как ни узок был круг его интересов, характер Мино оказался очень сложным. Происходил он, как я поняла, из вполне обеспеченной семьи, которая жила в провинции, и был очень деликатный, умный, образованный, воспитанный, серьезный юноша. Его семья, насколько я сумела понять из его скупых рассказов, ибо он не любил говорить об этом, была как раз такой семьей, в которой я, мечтавшая о тихой, нормальной жизни, хотела бы родиться. Это была довольно типичная семья: отец — врач и землевладелец, мать — еще не старая женщина, заботящаяся только о детях и муже, три младшие сестры и старший брат. Правда, отец — местный делец и заправила, мать — страшная ханжа, сестры — довольно пустые девицы, а старший брат — просто-напросто гуляка, вроде Джанкарло; но в общем-то все эти недостатки были пустяковыми, и мне, родившейся совсем в других условиях и среди иных людей, они даже не казались недостатками. Несмотря ни на что, семья жила дружно, родители, сестры и брат любили Мино.

Я считала его счастливчиком, ведь он родился в такой семье. Он же, наоборот, питал к своей семье необъяснимое отвращение, антипатию и неприязнь, которых я никак не могла понять. И подобное же отвращение, антипатию и неприязнь он, казалось, испытывал к самому себе, к своей жизни, к своим поступкам. Думаю, что эта ненависть к себе самому была лишь отражением ненависти к своей семье. Другими словами, он ненавидел в себе то, что связывало его с семьей, и то влияние, которое она, несмотря на эту ненависть, на него оказывала. Он, как я уже говорила, был хорошо воспитан, образован, умен, тонок, серьезен. Но он презирал все эти качества лишь за то, что обязан был ими семье и той среде, в которой родился и вырос.

— Но каким же, — спросила я однажды, — ты хотел бы быть? Ведь это прекрасные качества… ты должен благодарить небо, что обладаешь ими.

— Гм! На что мне все это? — отозвался он нехотя. — Я бы лично предпочел быть таким, как Сонцоньо.

Уж не знаю почему, история Сонцоньо произвела на него очень сильное впечатление.

— Ужас какой! — воскликнула я. — Да он же ведь злодей, неужели ты хочешь быть похожим на это чудовище!

— Разумеется, я не хочу быть похожим на него во всем, — спокойно объяснил он, — я назвал Сонцоньо лишь для того, чтобы ты поняла мою мысль… как бы то ни было, Сонцоньо создан для жизни в этом мире, а я не гожусь.

— А тебе интересно узнать, — спросила я, — какой бы я хотела быть?

— Ну, скажи.

— Я бы хотела быть, — медленно начала я, смакуя каждое слово, ибо в каждом из них была заключена моя сокровенная мечта, — именно такой, как ты, хотя тебе твое положение не нравится… я хотела бы родиться в богатой, как у тебя, семье, где бы мне дали хорошее воспитание… хотела бы жить в таком же прекрасном чистом доме, как твой… хотела бы иметь, как и ты, хороших учителей и гувернанток, которые учили бы меня иностранным языкам… хотела бы проводить лето, как ты, на море или в горах… иметь красивую одежду, ходить в гости и принимать гостей… потом хотела бы выйти замуж за честного, работящего, хорошо обеспеченного человека, который любил бы меня… хотела бы жить с этим человеком и иметь от него детей.

Мы разговаривали, лежа в постели. Внезапно, как это с ним часто бывало, он набросился на меня и начал тискать и тормошить, повторяя:

— Браво, браво, браво! Одним словом, ты хотела бы быть такой, как синьора Лобьянко.

— А кто эта синьора Лобьянко? — спросила я удивленно и немного обиженно.

— Злая фурия, она часто приглашает меня к себе в надежде, что я влюблюсь в одну из ее ужасных дочерей и женюсь на ней… потому что я, как принято говорить, прекрасная партия.

— Но я совсем не хочу быть такой, как синьора Лобьянко.

— И все-таки ты стала бы такой, если бы имела все то, о чем говоришь… синьора Лобьянко тоже родилась в богатой семье, и ей дали отличное воспитание, нанимали учителей и гувернанток, учили иностранным языкам, потом она училась в школе и даже, кажется, в университете… она как раз выросла в прекрасном чистом доме… она каждое лето ездила на море и в горы… она имела красивые туалеты, ходила в гости и принимала у себя гостей… Бесконечные приглашения и бесконечные приемы… она вышла замуж за честного человека, инженера Лобьянко, который трудится и зарабатывает много денег… наконец, она тоже имеет от мужа, которому, я думаю, она никогда не изменяла, кучу детей… а именно: трех дочерей и одного сына… и несмотря на это, она, как я уже сказал, злая фурия.

— Но она родилась фурией… при чем же тут среда?

— Нет, она такая же, как все ее знакомые и знакомые ее знакомых.

— Может быть, она и такая, — сказала я, пытаясь освободиться от его объятий, — но у каждого человека свой характер… возможно, синьора Лобьянко действительно злая фурия… но я уверена, что, живи я в таких условиях, я стала бы гораздо лучше, чем сейчас.

— Ты стала бы такой же ужасной, как синьора Лобьянко.

— Но почему, скажи, почему?

— Так уж…

— Нет, давай разберемся… свою семью ты тоже считаешь ужасной?

— Разумеется… самой что ни на есть ужасной!

— А сам ты тоже ужасный?

— Во мне ужасно все, что идет от семьи.

— Но почему… объясни.

— Так.

— Это не ответ.

— Точно такой ответ, — произнес он, — дала бы тебе синьора Лобьянко, если бы ты задала ей кое-какие вопросы.

— Какие вопросы?

— Неважно, — ответил он беспечно, — щекотливые вопросы… слово «так», особенно сказанное уверенным тоном, затыкает рот даже самым любопытным… так… без всякого объяснения… просто так.

— Не понимаю тебя.

— Какое имеет значение, понимаем мы друг друга или нет, если, по твоим словам, мы любим друг друга? — заключил он, обнимая меня с насмешливым видом, явно доказывавшим, что он-то меня вовсе не любит.

На том и закончился наш спор. И как Мино никогда целиком не отдавался чувству, оставляя скрытой какую-то, возможно самую важную, часть своей души, что лишало всякой прелести редкие проявления его любви, так он никогда не открывал мне своих сокровенных мыслей; всякий раз, когда мне начинало казаться, что я проникла в глубину его дум, он шуткой или насмешкой отталкивал меня, стараясь отвлечь от себя внимание. Он действительно ускользал от меня во всех смыслах. Я чувствовала себя низшим существом, неким подопытным и изучаемым объектом. И наверно, именно поэтому я любила его так сильно, так преданно и так беззаветно.

Впрочем, иногда мне казалось, что он ненавидит не только свою собственную семью и свою среду, но всех людей на свете. Однажды, не помню уж по какому поводу, он заметил:

— Богатые люди ужасны… но и бедные тоже не лучше, хотя совсем по другим причинам.

— Ты скоро объявишь, — сказала я, — что вообще ненавидишь всех людей без исключения.

Он засмеялся и ответил:

— В принципе, когда я один, я не чувствую к людям ненависти… Вернее, моя ненависть почти совсем исчезает, и я начинаю верить, что люди постепенно становятся лучше… если бы я не верил в это, я не стал бы заниматься политикой… но, когда я нахожусь среди людей, они наводят на меня ужас. — И внезапно с искренней болью добавил: — Люди, по правде говоря, немногого стоят.

— Мы с тобой тоже люди, — сказала я, — и потому ничего не стоим и не имеем права их судить.

Он снова рассмеялся:

— Да я и не осуждаю их… я их чувствую… или, вернее сказать, чую… как собака чует след куропатки или зайца… разве собака может осуждать? Я чую коварство, глупость, эгоизм, мелочность, фальшь, грубость, невежество, всю низость людей… я их чую, это ведь чувство… а разве ты можешь отрицать это чувство?

Я не знала, что ответить, и ограничилась тем, что заметила:

— У меня такого чувства нет.

В другой раз он сказал:

— Впрочем, я не знаю, хороши или плохи люди… но они, это мне ясно, бесполезные и никчемные существа…

— Что ты хочешь этим сказать?

— Я хочу сказать, что можно прекрасно обойтись без человечества… оно всего лишь безобразный нарост на теле земного шара… язва… земля выглядела бы куда лучше, если бы на ней не было людей, их городов, улиц, портов, их мелочной суеты… представь себе, как прекрасен был бы мир, если бы в нем остались только небо, море, деревья, земля, животные.

Я не могла удержаться от смеха.

— Какие странные идеи приходят тебе в голову!

— Человечество, — продолжал он, — не имеет ни начала, ни конца… но оно несет в себе резко отрицательные черты… история человечества — сплошная скучная ошибка… что толку в людях? Я прекрасно мог бы обойтись без них.

— Но ведь ты сам, — возразила я, — частица этого человечества… выходит, без тебя тоже можно обойтись?

— Без меня и подавно.

Была у него еще и другая навязчивая идея — идея воздержания, что казалось особенно странным, поскольку он не пытался применить ее на деле, и она служила ему лишь для того, чтобы отравлять себе жизнь. Он носился с этой идеей и как назло особенно охотно развивал

ее сразу же после нашей близости. Он говорил, что любовь — это всего лишь глупый и самый легкий способ освободиться от всех сомнений, изгоняя их из себя низменным путем, вдали от чужого глаза, как через черный ход выпроваживают неугодных гостей.

— А когда дело сделано, мужчина вместе со своей партнершей — женой или любовницей — как ни в чем не бывало отправляется гулять, и они готовы мириться с жизнью, какой бы ужасной она ни была.

— Я тебя не понимаю, — сказала я.

— Хотя бы это ты должна понимать, — ответил он. — Это ведь твоя специальность.

Я обиделась и ответила:

— Моя специальность, как ты выразился, любить тебя… Но если тебе угодно, между нами не будет больше близости… а я все равно буду любить тебя.

Он засмеялся и спросил:

— Ты в этом уверена?

В тот день мы больше не говорили на эту тему. Но впоследствии он не раз возвращался к этому вопросу, и я в конце концов перестала обращать внимание на его слова и принимала их без возражений, так же как и некоторые другие черты его противоречивого характера.

О политике, если не считать кое-каких туманных намеков, он не говорил со мной. Я и по сей день не знаю, к чему он стремился, каковы были его убеждения, к какой партии он принадлежал. Это неведение отчасти объяснялось тем, что он держал в секрете эту сторону своей жизни, а отчасти тем, что я ничего не смыслила в политике и из робости и безразличия не пыталась получить у него сведения, которые просветили бы меня. Я поступала неправильно, и одному богу известно, как я впоследствии раскаивалась. Но тогда мне было удобнее не вмешиваться в его дела, которые, как я считала, меня не касаются, я думала только о любви. Одним словом, вела себя точно так, как ведут себя сплошь и рядом женщины, неважно, жены или любовницы, не подозревающие, как заработаны деньги, которые мужчины приносят им. Не раз мне приходилось встречаться с теми двумя друзьями Мино, с которыми он сам виделся чуть ли не каждый день. Но и они никогда не говорили о политике в моем присутствии: они либо шутили, либо вели разговор о всяких пустяках.

Однако во мне жил постоянный страх, ибо я понимала, что затевать заговор против правительства — дело опасное. Больше всего я боялась, что Мино пойдет на какое-нибудь открытое столкновение: по невежеству я не могла представить себе заговора без стрельбы и крови. Между прочим, я вспоминаю один случай, когда я, хоть и бессознательно, почувствовала, что должна вмешаться и предотвратить опасность, грозящую Мино. Я знала, что оружие иметь запрещено и что за незаконное ношение оружия можно в два счета угодить в тюрьму. Кроме того, Мино иногда легко теряет выдержку, а оружие часто подводило людей, которые могли бы спастись, не будь оно у них под рукой. Все это натолкнуло меня на мысль, что пистолет, которым Мино так гордился, был ему не только не нужен, хотя сам он утверждал обратное, но мог навлечь на него беду в том случае, если Мино будет вынужден пустить его в ход или если у него просто найдут этот пистолет. Но я не осмеливалась сказать ему об этом, потому что знала: наш разговор ни к чему не приведет. В конце концов я решила действовать тайком. Как-то раз он объяснил мне устройство пистолета. И однажды, пока он спал, я вынула из кармана брюк пистолет, вытянула обойму и разрядила ее. Затем вставила обойму на место и снова засунула пистолет в карман. А патроны спрятала под белье в ящик комода. Все это я проделала в мгновение ока, а потом улеглась возле Мино. Через два дня я положила патроны в сумочку, вышла из дома и выбросила их в Тибр.

Как раз в это время меня навестил Астарита. Я почти забыла о его существовании, считая, что сделала все от меня зависящее для спасения служанки, и не хотела больше возвращаться к этому. Астарита сообщил мне, что священник принес пудреницу в полицию и что хозяйка, заполучив свою вещь, сняла по совету полиции свое обвинение против служанки, которую признали невиновной и освободили из тюрьмы. Должна заметить, что известие это было мне особенно приятно, потому что рассеяло горький осадок, оставшийся у меня после той исповеди. Я думала теперь не об освобожденной служанке, а о Мино и

решила, что после того как опасность доноса со стороны священника отпала, то ни мне, ни Мино теперь ничего не грозит. Поэтому не удержалась и радостно обняла Астариту.

— Неужели тебе так сильно хотелось, чтобы эту женщину освободили? — заметил он с сомнением в голосе.

— Конечно, тебе это должно казаться странным, ведь ты каждый день со спокойной совестью сажаешь десятки невинных людей за решетку… но я-то по-настоящему мучилась! — с притворным жаром воскликнула я.

— Никого я не сажаю за решетку, — пробормотал он, — я только выполняю свой долг.

— А ты видел священника? — спросила я.

— Нет… не видел… я позвонил по телефону… мне сообщили, что действительно какой-то священник принес пудреницу, которую получил во время исповеди… и мне оставалось только отдать распоряжение.

Мне почему-то стало грустно и я спросила:

— Ты в самом деле меня любишь?

Его взволновал этот вопрос, и, обнимая меня, он пробормотал:

— Почему ты спрашиваешь?.. Теперь-то ты должна бы это понять.

Он хотел поцеловать меня, но я увернулась и сказала:

— Я спрашиваю, потому что хочу знать, всегда ли ты будешь помогать мне… всякий ли раз, когда я тебя об этом попрошу… так же, как ты теперь помог мне?

— Всегда, — ответил он, дрожа всем телом. А потом, приблизив ко мне свое лицо, спросил: — А ты будешь ласкова со мною?

После того как Мино вернулся ко мне, я твердо решила не встречаться больше с Астаритой. Я отличала его от всех прочих случайных мужчин, хотя и не любила, а иногда даже испытывала отвращение к нему; вероятно, именно поэтому считала, что с ним я вроде бы изменяю Мино. Я собиралась сказать ему всю правду: «Нет, никогда я больше не буду ласкова с тобой», но потом внезапно передумала и промолчала. Ведь сила была на его стороне, а Мино могли в любой момент арестовать, и тогда мне придется обратиться к Астарите, чтобы он помог освободить Мино, поэтому мне невыгодно портить с ним отношения. Я смирилась и выпалила единым духом:

— Да, я буду ласкова с тобой.

— А скажи мне, — спросил он, осмелев, — скажи… ты меня хоть немного любишь?

— Нет, любить не люблю, — решительно ответила я, — это ты сам знаешь… я тебе уже десятки раз говорила.

— И никогда меня не полюбишь?

— Думаю, что нет.

— Но почему?

— Разве объяснишь это?

— Ты любишь другого?

— Это уж тебя не касается.

— Но я так нуждаюсь в твоей любви, — сказал он с отчаянием, уставясь на меня своим колючим взглядом, — почему… почему ты не хочешь хоть чуточку полюбить меня?

В тот день я позволила ему остаться у меня до поздней ночи. Он был безутешен, убедившись еще раз, что я не полюблю его, и, наверное, ему было трудно примириться с моими словами.

— Но я ведь не хуже прочих людей, — твердил он, — почему бы тебе не полюбить именно меня, а не другого?

По правде говоря, он вызывал во мне жалость, и так как он настойчиво выспрашивал, какие чувства я питаю к нему, и старался найти в моих словах хоть зерно надежды, то я почти поддалась искушению обмануть его, чтобы он мог создать себе хотя бы иллюзию чувства, которого так жаждал. В ту ночь он был особенно печален и расстроен. Казалось, он жестами и поведением своим хотел пробудить во мне хотя бы видимость любви, в которой ему отказывало мое сердце. Помню, что он попросил меня сесть обнаженной в кресло. Затем

он опустился передо мной, положил голову мне на колени, прижимаясь к ним лицом, и замер в такой позе надолго. А я в это время должна была ласково и нежно гладить его по голове. Он не впервые заставлял меня разыгрывать эту любовную пантомиму; но в тот день он, видимо, был в полном отчаянии. Он со стоном прижимался головой к моему животу, как будто хотел войти в мое чрево и остаться там. В такие минуты он казался мне не любовником, а ребенком, который уткнулся головой в теплые мамины колени. И я подумала, что многие люди хотели бы вовсе не родиться; в этом его бессознательном жесте было выражено смутное желание вновь оказаться внутри темного лона, из которого он с такой мукой был вытолкнут на свет.

Эта сцена коленопреклонения длилась так долго, что я в конце концов заснула, откинувшись на спинку кресла, рука моя так и осталась лежать на его голове. Не знаю, долго ли я проспала, а проснувшись, увидела, что Астарита уже поднялся с колен, сидит передо мной одетый и смотрит на меня своим колючим и печальным взглядом. А может быть, это только мне приснилось или привиделось. Когда я окончательно проснулась, Астариты уже не было, он ушел, оставив у меня на коленях, где лежала его голова, обычную сумму денег.

А потом в течение двух недель, которые были самыми счастливыми в моей жизни, я почти каждый день встречалась с Мино, и, хотя наши отношения не изменились, я радовалась уже тому, что наши встречи стали своего рода привычкой и что мы оба, казалось, пришли к какому-то согласию. Между нами установился молчаливый договор, из которого следовало, что он меня не любит, никогда не полюбит и во всех случаях предпочитает любви воздержание. Точно так же подразумевалось, что я его люблю, буду всегда любить, несмотря на его безразличие, и предпочитаю его такую ненастоящую и ненадежную любовь полному отсутствию любви. Я не была похожа на Астариту: я смирилась с тем, что нелюбима, и находила много радости в том, что сама люблю. Должна признаться, что в глубине моей души всегда теплилась надежда, что я заставлю Мино полюбить меня и добьюсь этого своей покорностью, терпением и нежностью. Но я ни в коей мере не позволяла этой надежде пустить глубокие корни, и это больше, чем что-либо другое, придавало горький привкус его неискренним и случайным ласкам.

Тем не менее я как бы невзначай старалась войти в его жизнь, и так как я не могла войти в нее с парадного подъезда, то пыталась проникнуть с черного хода. Вопреки всем его разговорам о ненависти к людям, которая, я думаю, была вполне искренней, он в то же время, как это ни странно и ни противоречиво, с неукротимой энергией проповедовал и действовал во имя того, что он считал благом для человечества. Правда, его часто охватывали внезапные приступы разочарования, и они тоже были искренними. В тот период он увлекался тем, что сам иронически именовал моим «просвещением». Как уже было сказано, я старалась привязать его к себе и всячески потакала этой затее. Однако эксперимент очень скоро провалился, и надо рассказать, как это произошло. Несколько вечеров подряд Мино приносил с собой книги; объяснив мне вкратце, о чем в них шла речь, он читал вслух то один отрывок, то другой. Читал он очень хорошо, меняя интонацию в зависимости от текста, с увлечением, и разрумянившееся его лицо становилось вдохновенным. Но читал он большей частью такие вещи, которые я при всем желании не могла понять, и очень скоро я вообще перестала вникать, а с ненасытным удовольствием следила за изменчивым выражением его лица. Когда он читал, он весь преображался, куда девались его застенчивость и ироничность, он как бы находился в своей стихии и не боялся показаться искренним. Этот факт весьма меня поразил, потому что до сих пор я считала, что любовь, а отнюдь не чтение наиболее благоприятствует раскрытию человеческой души. Но у Мино все было наоборот, никогда, даже в редкие минуты его открытого расположения ко мне, не видела я на его лице такого восторга и такой сердечности, с какими он, то возвышая свой голос и заставляя его звучать необыкновенно раскатисто и глубоко, то понижая его до тона задушевной беседы, читал мне своих любимых авторов. Бесследно исчезала театральная и шутовская наигранность, не покидавшая его даже в самые серьезные моменты и наводившая на мысль, что он все время исполняет придуманную и рассчитанную на

внешний эффект роль. Несколько раз я даже замечала, как глаза его увлажнялись. Потом он закрывал книгу и коротко спрашивал:

— Понравилось?

Обычно я отвечала утвердительно, не объясняя причин, да и не могла бы объяснить, потому что почти с самого начала оставила всякую надежду понять смысл книги. Но как-то раз он продолжил разговор:

— А скажи, почему тебе это понравилось… объясни.

— Откровенно говоря, — ответила я после минутного колебания, — я не могу объяснить, потому что ничего не поняла.

— Почему же ты мне об этом раньше не сказала?

— Я ничего не поняла, во всяком случае, поняла очень мало из того, что ты мне читал.

— И ты не остановила меня… не предупредила об этом…

— Я видела, что тебе нравится читать, и не хотела портить тебе удовольствие… впрочем, мне ни капельки не было скучно… на тебя так интересно смотреть, когда ты читаешь.

Он рассердился и вскочил с места:

— Что за черт, вот дура набитая… идиотка, а я-то из кожи лезу ради этой идиотки!

Он сделал движение, будто хотел запустить в меня книгой, но вовремя сдержался и продолжал бранить меня все в том же духе. Я дала ему выговориться, а потом заметила:

— Вот ты говоришь, что хочешь просветить меня, но для этого прежде всего надо создать такие условия, чтобы мне не приходилось зарабатывать себе на жизнь известным тебе способом… для того, чтобы завлекать мужчин, мне, откровенно говоря, незачем читать стихи и трактаты о морали… если бы я не умела ни читать, ни писать, все равно мужчины платили бы мне деньги.

Он насмешливо сказал:

— Ты хотела бы иметь прекрасный дом, мужа, детей, туалеты, автомобиль… но вся беда в том, что синьоры Лобьянко тоже не читают книг… правда, совсем по другой, по не менее непростительной, на мой взгляд, причине.

— Не знаю, чего я хотела бы, — ответила я сердито, — но эти книги для меня не годятся… это все равно что подарить дорогую шляпку нищенке и требовать, чтобы она надевала ее вместе со своими лохмотьями.

— Наверно, так оно и есть, — ответил он, — только я тебе больше ни строчки не прочту.

Я рассказываю об этой стычке, потому что она, как мне кажется, характеризует его взгляды и поступки. Однако сомневаюсь, что он продолжал бы просвещать меня, даже если бы я не призналась, что ничего не понимаю. И произошло бы это не столько из-за его непостоянства, сколько из-за роковой неспособности Мино — чисто физической, сказала бы я, — заниматься тяжелым трудом, требующим последовательности и искренней увлеченности. Он никогда не обсуждал со мной этого, но я поняла: та издевка над самим собой, которая проскальзывала в его словах, отвечала его истинному взгляду на себя. В общем, ему случалось загореться какой-либо идеей, и, пока пылал огонь восторга, идея представлялась ему конкретной и осуществимой. Потом внезапно этот огонь затухал, и Мино испытывал лишь скуку, досаду и, главное, считал свое поведение и свой порыв абсурдными. Тогда он поддавался ленивому, тупому равнодушию либо продолжал действовать, притворяясь — впрочем, довольно безуспешно, — будто огонь восторга еще пылает. Мне трудно объяснить, что с ним происходило: вероятно, наступал резкий упадок сил, словно кровь внезапно отливала от мозга, оставляя после себя лишь пустые и бесплодные мысли. Эта перемена всегда была внезапной, непредвиденной, бесповоротной, невольно я сравнивала такие взлеты и падения с поворотом электровыключателя: свет внезапно гаснет, и комната, за минуту до этого ярко освещенная, погружается во мрак; или с мотором, который внезапно глохнет, замирает, когда прекращается доступ энергии. С этой постоянной сменой настроений, которую я сперва уловила в том, как часто у Мино

состояние восторга и увлечения уступало место апатии и равнодушию, я в конце концов столкнулась непосредственно благодаря любопытному случаю, которому в то время не придала особого значения, но который позднее показался мне весьма знаменательным. В один прекрасный день он неожиданно спросил меня:

— А ты не хочешь ли что-нибудь сделать для нас?

— Для кого это для вас?

— Для нашей группы… не смогла бы ты, например, помочь нам распространять листовки?

Я охотно воспользовалась бы любым предлогом, лишь бы побольше сблизиться с ним и упрочить наши отношения. Я искренне ответила:

— Конечно, скажи только, что́ я должна делать, и я непременно вам помогу.

— А ты не боишься?

— Почему я должна бояться? Если ты этим занимаешься…

— Да, но прежде всего, — сказал он, — необходимо объяснить тебе, в чем дело… познакомить тебя с идеями, ради которых ты станешь подвергать себя риску.

— Ну так объясни.

— Тебе ведь это неинтересно.

— Почему? Во-первых, эти идеи сами по себе очень интересуют меня… а кроме всего прочего, мне это интересно, поскольку этим занимаешься ты.

Он посмотрел на меня, и вдруг его глаза заблестели, лицо вспыхнуло.

— Ладно, — сказал он поспешно, — сегодня уже поздно… но завтра я тебе все объясню… своими словами, поскольку книги наводят на тебя тоску… но смотри, это долгая история, и тебе придется внимательно слушать… даже если иногда тебе будет казаться, что ты не понимаешь.

— Постараюсь понять, — ответила я.

— Ты вроде бы должна понять, — пробормотал он, словно разговаривая сам с собою.

И он ушел.

Я ждала его на следующий день, но он не пришел. Спустя два дня он явился и, войдя в мою комнату, молча сел в кресло возле кровати.

— Итак, — сказала я весело, — я готова… и слушаю тебя.

Лицо у него было бледное, помятое, усталое, взгляд мутный, но я не желала обращать на это внимания. Наконец он ответил:

— Напрасно ждешь, ты ровно ничего не услышишь.

— Почему?

— Так.

— Признайся, — заявила я, — ты просто считаешь, что я слишком глупа или невежественна и ничего не пойму… что ж, благодарю!

— Ошибаешься, — ответил он с серьезным видом.

— А тогда почему?

Мы стали пререкаться, я хотела знать причину, а он уклонялся от ответа. Наконец он сказал:

— Хочешь знать почему?.. Да потому, что я сам не сумею изложить тебе эти идеи.

— Но как же так, ведь ты только об этом и думаешь.

— Верно, думаю постоянно, но со вчерашнего дня эти идеи стали мне не совсем ясны, я ничего не смыслю в них сам, и бог знает сколько времени это продлится.

— Вот тебе на!

— Постарайся понять меня, — продолжал он, — если бы два дня назад, когда я предложил тебе работать с нами, я стал излагать тебе эти идеи, уверен, что я сделал бы это так ясно и убедительно, что ты все отлично поняла бы… а сегодня я могу молоть языком, произносить какие-то слова… но все это механически, безучастно… сегодня, — закончил он, отчеканивая каждое слово, — я ничего сам не понимаю.

— Ничего сам не понимаешь?..

— Да, ничего сам не понимаю: идеи, понятия, факты, воспоминания, убеждения — все превратилось в сплошную мешанину… эта мешанина заполнила мою голову, — он ткнул себя пальцем в лоб, — всю голову… и мне так противно, будто там дерьмо.

Я смотрела на него удивленным, вопрошающим взглядом. Его била нервная дрожь.

— Постарайся понять меня, — повторил он, — не только идеи, а любая вещь, написанная, сказанная или задуманная, кажется мне сегодня непостижимой… абсурдной… например… ты знаешь молитву «Отче наш»?

— Да.

— Ну-ка, прочти ее.

— Отче наш, — начала я, — иже еси на небесех…

— Хватит, — перебил он меня. — Теперь подумай-ка, сколько раз в веках произносилась эта молитва… с какими различными чувствами… ну, а я ее не понимаю… совсем не понимаю… я мог бы прочесть ее задом наперед… и мне было бы все равно. — Он помолчал с минуту, а потом продолжал: — И не только слова оказывают на меня такое действие… но и вещи тоже… и люди… вот ты сидишь рядом со мною на подлокотнике кресла и, очевидно, воображаешь, что я тебя вижу… но я тебя не вижу, потому что я тебя не понимаю… Я могу дотронуться до тебя и все равно тебя не понимаю… Вот я трогаю тебя, — сказал он и в каком-то исступлении дернул меня за полу халата и обнажил мою грудь, — вот я дотрагиваюсь до твоей груди… я ощущаю ее форму, тепло, очертания, я вижу ее цвет, ее округлость. Но я не понимаю, что это… я твержу себе: вот округлый, теплый, мягкий, белый, выпуклый предмет с маленьким, круглым и темным соском посредине… Он создан, чтобы выкармливать молоком детей, он доставляет удовольствие, когда его ласкаешь… но я ничего не понимаю… я говорю себе: он прекрасен, он должен вызывать во мне желание… но я все равно ничего не понимаю. Теперь тебе ясно? — спросил он злобно и так сильно сдавил мою грудь, что я не смогла сдержать крика боли. Он тотчас же отпустил меня и задумчиво произнес:

— Вероятно, такое непонимание как раз и порождает жестокость… многие люди пытаются обрести связь с реальностью, причиняя боль другим.

На минуту воцарилось молчание. Потом я спросила:

— Если это действительно так, как же ты можешь заниматься всеми своими делами?

— Какими, например?

— Не знаю… но ты говоришь, что распространяешь листовки… что ты сам их пишешь… если ты не веришь, как же ты можешь писать и распространять их.

Он разразился громким саркастическим смехом:

— Я делаю вид, будто верю.

— Но это же невозможно.

— Почему невозможно? Почти все люди поступают так, кроме тех случаев, когда они едят, пьют, спят или занимаются любовью, почти все поступают так, то есть делают вид, будто верят… неужели ты этого до сих пор не заметила? — И он опять нервно рассмеялся. Я ответила:

— А я поступаю не так.

— Ты поступаешь не так, — повторил он вызывающе, — потому что ты как раз и довольствуешься тем, что ешь, пьешь, спишь и занимаешься любовью, когда пожелаешь, а для таких вещей не нужно притворяться… это уже много… но в то же время слишком мало.

Он рассмеялся и сильно похлопал меня по бедру, потом обнял меня и по своему обыкновению начал тормошить, повторяя:

— О, разве ты не знаешь, что наш мир построен на обмане? Не знаешь, что в этом мире все — от короля до последнего нищего — обманщики… везде обман, обман, обман…

Я молчала, ибо знала: в такие минуты не стоит на него обижаться, лучше ему не возражать, а ждать, пока он выговорится. Однако я твердо сказала:

— Я тебя люблю… Это единственное, что я знаю, и мне этого вполне достаточно.

Внезапно успокоившись, он просто ответил:

— Ты права.

Вечер прошел, как обычно, мы больше не говорили ни о политике, ни о неспособности Мино разъяснить свои идеи.

Оставшись одна, я после долгих размышлений пришла к выводу, что дело и впрямь обстояло так, как он говорил; но, скорее всего, он просто не хотел говорить со мною о политике, так как считал, что я ничего не пойму, а кроме того, вероятно, опасался, что я могу по неосторожности подвести его. Я не считала, что он обманул меня, по собственному опыту я знала, что человеку иногда начинает казаться, будто весь мир рушится, или, как сказал Мино, вдруг перестаешь что-либо понимать, даже молитву «Отче наш». На меня тоже, когда мне нездоровилось или когда я по той или иной причине бывала в плохом настроении, находила примерно такая же тоска, досада, притуплялись все остальные чувства. Но его отказ допустить меня в святая святых своей жизни, очевидно, объяснялся другими причинами: неверием, как я уже говорила, в мою способность понять его идеи или же боязнью, что я не смогу быть достаточно осторожной. Потом, много позднее, я поняла, что ошибалась: главная причина заключалась в том, что юная неопытность и слабохарактерность определяли все его поступки.

Но в то время я решила, что лучше всего мне стушеваться, не докучать ему своим любопытством; так я и сделала.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Не знаю почему, но мне прекрасно запомнилось, даже какая погода стояла в те дни. Февраль выдался холодный и дождливый, а в марте потеплело. Легкие белые облачка, словно сетью, опутывали все небо и слепили глаза, стоило только выйти из дома на улицу. Воздух был теплый, но в нем еще чувствовалось прохладное дыхание минувшей зимы. Я гуляла по улицам, наслаждаясь этим неярким, бледным убаюкивающим светом, порой я замедляла шаги и опускала веки, а иногда останавливалась надолго, как завороженная смотрела на самые обыденные вещи: на кошку, которая, усевшись на пороге дома, вылизывала свою белую в черных пятнах шерстку; на бессильно повисшую, сломленную ветром ветвь олеандра, которая все равно, наверно, зацветет; на пучок зеленой травки, пробившийся между плит тротуара. Любуясь зеленым мохом, который после зимних дождей расползся по цоколю домов, я испытала чувство покоя и веры в будущее; если на камне и на земле в узких прогалинах мостовой принялся этот чудесный изумрудный бархат, то и моя жизнь, имеющая столь же слабые корни, как мох, и столь же неприхотливая, жизнь, которую можно сравнить лишь с плесенью, покрывающей дома, вероятно, не прекратится и расцветет. Я была убеждена, что неприятности, приключившиеся со мной в последнее время, миновали; я никогда больше не увижу Сонцоньо, не услышу разговоров о его преступлении и отныне смогу спокойно наслаждаться своими отношениями с Мино.

При этой мысли я, кажется, впервые полностью ощутила истинный вкус к жизни, который есть не что иное, как сладостный покой, ощущение свободы и надежды.

Я начала даже помышлять о перемене образа жизни. Любя Мино, я охладела к другим мужчинам, так что в моих случайных встречах не было больше ни любопытства, ни чувственного влечения. Однако я считала, что все равно жизнь есть жизнь, поэтому не стоит прилагать слишком больших усилий, чтобы изменить ее, это должно случиться лишь тогда, когда у меня появятся новые привычки, чувства и интересы, следовательно, я стану совсем иной, чем была до сих пор, но это произойдет не по моему хотению, а в силу сложившихся обстоятельств и, главное, без резких и внезапных перемен. Другого способа изменить свою жизнь я не видела, потому что к этому времени уже забыла свои честолюбивые мечты о богатстве и не верила, что, изменив образ жизни, сама стану от этого лучше.

Как-то раз я поделилась своими мыслями с Мино. Он внимательно выслушал меня, а потом сказал:

— Мне кажется, ты противоречишь сама себе… разве ты не твердила все время, что

хочешь быть богатой, иметь красивый дом, мужа и детей? Все эти желания вполне законны, и, возможно, они сбудутся… но если ты будешь думать так, как сейчас, то никогда ничего не добьешься.

Я ответила ему:

— Вовсе я не говорила: хочу… а хотела бы… то есть если бы до рождения мне было дано право выбора, то я, конечно, не выбрала бы своей нынешней участи… но я родилась в этом доме, от этой матери, в этих условиях, и, в конце концов, я такая, какая есть.

— Ну и что?

— А то, что я считаю желание быть другой абсурдным… я хотела бы стать другой только в том случае, если, превратившись в другую, оставалась бы сама собою… одним словом, если бы я по-настоящему могла воспользоваться этой переменой… а быть другой просто ради того, чтобы ею быть, не стоит труда.

— Всегда стоит, — тихо заметил он, — если не для себя, то для других.

— А потом, — продолжала я, не обратив внимание на его слова, — все дело в поступках человека… ты думаешь, я не могла бы найти такого же богатого любовника, как Джизелла? Или же просто женить кого-нибудь на себе?.. Если я этого не делаю, значит, несмотря на всю свою болтовню, я этого действительно не хочу.

— Я женюсь на тебе, — шутливо сказал он, обнимая меня, — я ведь богатый… после смерти бабушки — а она, надеюсь, не заставит нас особенно долго ждать — я унаследую сотни гектаров земли, не считая загородной виллы и квартиры в городе… у нас, как положено, будет открытый дом, в определенные дни ты будешь принимать знакомых дам, мы наймем кухарку, горничную, купим кабриолет или автомобиль… и в один прекрасный день мы вдруг обнаружим — стоит только захотеть, — что мы знатного происхождения, и нас будут называть графами или маркизами…

— С тобою нельзя говорить серьезно, — сказала я, отталкивая его, — вечно ты шутишь.

Однажды мы с Мино пошли в кино. На обратном пути мы сели в переполненный трамвай. Мино собирался зайти ко мне, и мы решили поужинать в остерии возле городской стены. Он взял билеты и протиснулся вперед сквозь толпу пассажиров, загораживавших узкий проход. Я двинулась было за ним, но толпа разъединила нас, и я потеряла его из виду. И пока, прижатая к сиденью, я искала его глазами, кто-то дотронулся до моей руки. Я посмотрела вниз и увидела Сонцоньо, который сидел как раз возле меня.

У меня перехватило дух, я почувствовала, что бледнею, очевидно, выражение моего лица изменилось. Он смотрел на меня своим обычным пронзительным взглядом. Потом, немного привстав, спросил сквозь зубы:

— Не хочешь ли сесть?

— Спасибо, — пробормотала я, — мне скоро сходить.

— Да садись.

— Спасибо, — повторила я и села.

Если бы я не села, то, наверно, потеряла бы сознание.

Он встал рядом, как бы охраняя меня, одной рукой он держался за спинку моего сиденья, а другой — за спинку переднего. Он совсем не изменился, на нем был все тот же плащ, перетянутый в талии поясом, и все так же на щеке вздрагивал желвак. Я закрыла глаза, стараясь собраться с мыслями. Правда, взгляд Сонцоньо всегда был таким, но на сей раз в его глазах я прочла еще большую суровость. Я вспомнила свою исповедь и подумала: если священник рассказал обо всем в полиции, а Сонцоньо это стало известно, то жизнь моя теперь висит на волоске.

Однако не это страшило меня. Он сам наводил ужас, пугал или, вернее, гипнотизировал и подавлял меня. Я чувствовала, что не могу ни в чем отказать ему и что между нами существуют узы не любви, конечно, но, быть может, более сильные, чем чувство, связывающее меня с Мино. Он интуитивно догадывался об этом и на самом деле повел себя как хозяин. Он вдруг сказал:

— Пойдем к тебе домой.

И я тут же покорно ответила:

— Как хочешь.

Подошел Мино, которому с трудом удалось пробраться сквозь толпу, и молча встал прямо возле нас, держась рукой за ту самую спинку, в которую судорожно вцепился Сонцоньо, длинные худые пальцы Мино почти касались коротких, словно обрубленных, пальцев Сонцоньо. Рывок трамвая толкнул их друг на друга, и Мино учтиво извинился перед Сонцоньо. Я невыносимо страдала, видя, как они стоят рядом, совсем близко, ничего не подозревая; внезапно я сказала Мино, обращаясь к нему подчеркнуто громко, чтобы Сонцоньо не подумал, будто я разговариваю с ним:

— Знаешь, я вспомнила, что у меня сегодня вечером свидание с одним человеком… поэтому давай сейчас расстанемся.

— Если хочешь, я провожу тебя до дома.

— Нет… этот человек ждет меня на остановке трамвая.

Тут не было ничего нового, я продолжала приводить домой мужчин, и Мино знал об этом. Он спокойно ответил:

— Как угодно… тогда увидимся завтра.

В знак согласия я опустила веки, и он начал протискиваться сквозь толпу к выходу.

И в ту минуту, глядя, как он удаляется, я почувствовала страшное отчаяние. Сама не знаю почему, я подумала, что вижу его в последний раз.

— Прощай, — прошептала я, провожая его взглядом, — прощай, любовь моя.

Мне хотелось крикнуть ему: подожди, вернись ко мне, но у меня пропал голос. Трамвай остановился, Мино вышел, и трамвай снова тронулся.

Всю дорогу ни я, ни Сонцоньо не обмолвились ни единым словом. Я успокаивала себя тем, что священник, должно быть, ничего не рассказал в полиции. С другой стороны, немного подумав, решила: не так уж это плохо, что я встретила Сонцоньо. Мне представился таким образом случай раз и навсегда рассеять свои сомнения относительно исхода моей исповеди.

На остановке я встала, вышла из вагона и, не оглядываясь, направилась вперед. Сонцоньо шагал рядом со мною, и, чуть-чуть повернув голову, я разглядывала его фигуру. Наконец я не выдержала:

— Что тебе от меня надо? Зачем ты идешь ко мне?

В голосе его прозвучало удивление:

— Ты ведь сама разрешила.

И верно, но от страха я совсем об этом забыла. Сонцоньо приблизился ко мне и взял меня под руку, крепко прижав ее локтем. Я невольно задрожала всем телом.

— Кто это был? — спросил он.

— Один мой друг.

— Джино ты с тех пор видела?

— Ни разу не видела.

Он незаметно огляделся вокруг:

— Не знаю почему, но с некоторых пор мне чудится, что за мной следят… только два человека могут предать меня… ты и Джино.

— При чем здесь Джино? — чуть слышно спросила я, но сердце мое бешено колотилось.

— Он знал, что я понес пудреницу ювелиру… я ему даже назвал его имя… Джино не знает точно, что это я убил ювелира, но вполне мог догадаться.

— Для Джино нет никакого смысла доносить на тебя… Это все равно что донести на самого себя.

— Я тоже так думаю, — процедил он сквозь зубы.

— Что касается меня, — продолжала я самым спокойным голосом, — то можешь поверить, я никому ничего не говорила… что я, дура… ведь я тоже попаду в тюрьму.

— Я на тебя рассчитываю, — с угрозой произнес он и добавил: — С Джино я недавно виделся… он в шутку сказал мне, что многое знает… я неспокоен… Он такой мерзавец.

— В тот вечер ты действительно обошелся с ним нехорошо, и теперь он тебя ненавидит.

Когда я говорила это, я почти надеялась, что Джино и в самом деле донесет на него.

— Великолепный был удар, — подхватил Сонцоньо с мрачной гордостью, — после него у меня два дня болела рука.

— Джино не пойдет доносить на тебя, — заключила я, — ему это невыгодно… а потом он слишком тебя боится.

Мы шли рядом и разговаривали приглушенными голосами, не глядя друг на друга. Спускались сумерки, голубоватый туман окутывал темные городские стены, белесые ветви платанов, желтоватые дома и уходящую вдаль аллею. Когда мы дошли до подъезда, я впервые остро ощутила, что изменяю Мино. Я хотела было внушить себе, что Сонцоньо мне так же безразличен, как и все прочие мужчины, но я-то знала, что это не так. Я вошла в подъезд, прикрыла дверь и, остановившись там в полной темноте, обернулась к Сонцоньо:

— Послушай, — сказала я, — тебе лучше уйти.

— Почему?

Мне захотелось сказать ему всю правду, несмотря на ужас, который он внушал мне.

— Потому что я люблю другого и не хочу изменять ему.

— Кого? Того самого, который ехал с тобой в трамвае?

Я испугалась за Мино и поспешно ответила:

— Нет… другого… ты его не знаешь… а сейчас, пожалуйста, оставь меня и уйди.

— А если я не желаю?

— Разве ты не понимаешь, что не всего можно добиться силой?.. — проговорила я.

Но я не успела кончить фразу. Страшная пощечина ожгла мне лицо. Я не видела в темноте Сонцоньо, не видела, что он замахнулся, я даже не поняла, как это случилось. Потом он сказал:

— Иди!

Опустив голову, я быстро направилась к лестнице. Сонцоньо снова схватил меня под руку и помогал преодолевать каждую ступеньку, мне казалось, что он приподнимает меня над землей и я парю в воздухе. Щека моя горела, но сильнее всего меня удручало мрачное предчувствие. Эта пощечина будто оборвала счастливый период моей жизни, и для меня снова начиналось трудное и страшное время. Меня охватило отчаяние, и я решила во что бы то ни стало избежать той участи, которую смутно предугадывала. Сегодня же я уйду из дома, укроюсь у чужих, например у Джизеллы или в меблированных комнатах. Так, занятая своими мыслями, я не заметила, как вошла в квартиру, миновала прихожую и очутилась в своей комнате. Я пришла в себя, вернее, очнулась, уже сидя на краю постели, а Сон-цоньо в это время своими точными и размеренными движениями снимал с себя одежду и аккуратно складывал ее на стул. Гнев его прошел, и он спокойно сказал мне:

— Я хотел прийти раньше… да не мог… но я все время думал о тебе.

— Что же ты думал? — машинально спросила я.

— Что мы созданы друг для друга. — Он остановился, держа жилет в руках, а потом многозначительно добавил: — Я даже решил предложить тебе одну вещь.

— Какую?

— У меня есть деньги… давай поедем вместе в Милан, у меня там куча друзей… я думаю приобрести гараж… и там в Милане мы сможем пожениться.

У меня внутри словно бы все оборвалось, и я почувствовала такую слабость, что закрыла глаза. Впервые после Джино мне предлагали выйти замуж, и это предложение мне делал Сонцоньо. Я так мечтала о нормальной жизни с мужем и детьми, и вот теперь моя мечта могла осуществиться. Но эта нормальная жизнь сводилась к простой видимости, по сути же такая жизнь была бы ненормальной и безобразной. Я чуть слышно произнесла:

— Как же так? Мы почти не знаем друг друга, ты меня видел всего один раз…

Усевшись рядом со мною и обняв меня за талию, он сказал:

— Ты знаешь меня лучше всех… знаешь обо мне все.

Я подумала, что он, наверно, взволнован, так как хочет выказать мне свою любовь и ждет от меня взаимности. Но возможно, все это мне только почудилось, потому что внешне он никак не проявлял своего чувства.

— Я ничего о тебе не знаю, — тихо отозвалась я, — знаю только, что ты убил человека.

— А кроме того, — продолжал он, как бы разговаривая сам с собой, — я устал жить бобылем… когда человек один, он рано или поздно натворит глупостей.

После короткого молчания я промолвила:

— Так, сию минуту, я не могу сказать тебе ни да ни нет… дай мне время подумать.

К моему удивлению, он согласился, процедив сквозь зубы:

— Что ж, подумай, подумай… мне не к спеху.

Потом встал и снова принялся раздеваться.

Меня особенно поразили его слова: «Мы созданы друг для друга», и я все раздумывала, уж не был ли он прав. За кого же теперь я могла рассчитывать выйти замуж, как не за человека вроде Сонцоньо? И разве нас с ним не соединяли мрачные, такие страшные узы, существование которых я почти физически ощущала. Я поймала себя на том, что, горестно покачивая головой, тихо шепчу: «Бежать, бежать». Звонким голосом, от которого мой рот наполнился слюной, я произнесла:

— В Милан… а ты не боишься, что тебя будут искать?

— Я ведь просто так сказал… они даже не подозревают о моем существовании.

Внезапно слабость, охватившая меня, исчезла, и я почувствовала себя сильной, полной решимости. Я поднялась, сняла пальто и повесила его на вешалку. Затем по привычке заперла дверь на ключ, а потом медленно направилась к окну, чтобы притворить жалюзи. После этого, остановившись перед зеркалом, начала расстегивать платье, но тотчас же остановилась и повернулась к Сонцоньо. Он сидел на краю постели и, нагнувшись, расшнуровывал ботинки. Стараясь говорить обычным голосом, я произнесла:

— Обожди минутку… ко мне должен был прийти один человек, пойду предупрежу маму, чтобы она его не пускала.

Он ничего не ответил, да и не успел. Я вышла из комнаты и, закрыв за собой дверь, пошла к маме в мастерскую.

Мама возле окна шила на машине. С некоторых пор, желая как-то скоротать время, она снова взялась за работу. Я быстро прошептала:

— Позвони завтра утром Джизелле или Дзелинде, я буду там…

Дзелинда сдавала комнаты в центре города, куда я иногда приводила своих клиентов, и мама была с ней знакома.

— Почему?

— Я ухожу, — продолжала я, — когда этот человек, который сейчас в моей комнате, спросит тебя обо мне… скажи, что ничего не знаешь.

Мама смотрела на меня, открыв рот, а я сняла с гвоздя облезлую меховую жакетку, которую давно уже не носила.

— Главное, не говори ему, куда я ушла, — добавила я, — а то он чего доброго убьет меня.

— Но…

— Деньги лежат на обычном месте… я прошу тебя, молчи и позвони мне завтра утром.

Я быстро вышла, на цыпочках пробралась через прихожую и спустилась по лестнице.

Очутившись на улице, я бросилась бежать. Я знала, что в это время Мино дома ужинает, и мне хотелось повидать его, прежде чем он уйдет куда-нибудь со своими друзьями. Я добежала до площади, села в такси, назвала адрес Мино. Пока машина мчалась по улицам, я внезапно поняла, что я убегаю вовсе не от Сонцоньо, а от самой себя, так как смутно чувствовала, что меня влечет его сила и жестокость. Я вспомнила пронзительный крик ужаса и наслаждения, который вырвался у меня, когда я единственный раз лежала в

объятьях Сонцоньо, и я поняла, что в тот день он навсегда подчинил меня своей воле, чего до сих пор не удавалось сделать ни одному мужчине, даже Мино. Да, я не могла не согласиться, что мы действительно созданы друг для друга, но мы были как человек и пропасть, на краю которой кружится голова и темнеет в глазах и которая все-таки манит человека в свою роковую бездну.

Я поднялась по лестнице, перешагивая через две ступеньки, и тяжело дыша спросила у старой служанки, которая открыла мне дверь, дома ли Мино.

Она растерянно посмотрела на меня, а потом, не вымолвив ни слова, убежала, оставив меня одну на пороге, Решив, что она пошла предупредить Мино, я вошла в прихожую и закрыла за собой дверь.

В этот момент я услышала какое-то шушуканье за портьерой, отделявшей прихожую от коридора. Затем портьера отодвинулась, и в коридор выплыла вдова Медолаги. С тех пор как я ее видела в первый и единственный раз, я совсем о ней забыла. Черная огромная фигура, мертвенно-бледное лицо с черными глазами, сливавшимися в одно темное пятно, напоминавшее по форме карнавальную полумаску, сама не знаю почему, я почувствовала в эту минуту такой ужас, будто передо мной предстал призрак. Она остановилась и издали спросила:

— Вам нужен синьор Диодати?

— Да.

— Он арестован.

Я не поняла, в чем дело, и, почему-то подумав, что арест Мино связан с преступлением Сонцоньо, прошептала:

— Арестован… но он ведь тут ни при чем.

— Ничего не знаю, — сказала она, — знаю только, что пришли, устроили обыск и его арестовали.

По ее неприязненному тону я поняла, что она больше ничего не скажет; однако я не могла удержаться и спросила:

— Но за что?

— Синьорина, я уже сказала, что ничего не знаю.

— А куда его увезли?

— Не знаю.

— Но скажите мне хотя бы, он ничего не просил передать?

На этот раз она вообще ничего не ответила, а с видом оскорбленного и неприступного величия отвернулась и крикнула:

— Диомира!

Появилась старая служанка с испуганным лицом. Хозяйка указала на дверь, приподняла портьеру, собираясь уходить, и сказала:

— Проводи синьорину.

И портьера опустилась.

Только выйдя на улицу, я наконец поняла, что арест Мино и преступление Сонцоньо никак не связаны друг с другом. Единственное, что их объединяло, — мое смятение. В этом внезапном потоке бед проявилась особая щедрость судьбы, осыпавшей меня разом своими роковыми дарами, подобно тому как щедрая осень приносит нам самые разнообразные плоды. Недаром пословица гласит: беда никогда не приходит одна. И я скорее сердцем, чем умом, ощущала это, шагая по улице, низко наклонив голову и согнув плечи под тяжестью свалившихся на меня бед.

Понятно, что первым делом я решила обратиться за помощью к Астарите. Я помнила номер его служебного телефона, вошла в первое попавшееся кафе и позвонила. Абонент был свободен, но никто не подошел к аппарату. Я набирала номер несколько раз подряд и в конце концов поняла, что Астариты не было в кабинете. Он, вероятно, пошел ужинать и вернется позднее. Я знала об этом, но, как бывает в подобных случаях, почему-то надеялась, что именно на сей раз в виде исключения застану его в министерстве.

Я взглянула на часы. Было восемь, а раньше десяти Астарита не вернется. Я стояла на углу улицы, глядя на горбатый мост, по которому бесконечным потоком шли мрачные и торопливые прохожие в одиночку и группами, они обгоняли меня, словно сухие листья, гонимые нескончаемой бурей. По ту сторону моста тянулся стройный ряд домов, от их ярко освещенных окон и людей, которые жили и хлопотали за этими окнами, повеяло на меня каким-то покоем. Я подумала, что нахожусь недалеко от главного полицейского управления, куда, видимо, увезли Мино, и, понимая всю безнадежность своего поступка, все-таки решила зайти туда и навести справки. Я заранее знала, что мне ничего не скажут, но это меня не останавливало, мне не терпелось хоть что-нибудь сделать для Мино.

Я быстро направилась в полицию самым коротким путем, держась поближе к домам, и, дойдя до управления, поднялась по лестнице. В дежурной комнате, развалившись на стуле, сидел полицейский и читал газету, ноги он положил на другой стул, а фуражку кинул на стол. Он спросил меня, куда я иду.

— В комиссариат для иностранцев, — ответила я.

Так назывался один из отделов полиции, и однажды я слышала, не помню уж по какому поводу, как Астарита называл его.

Я не знала, куда идти, и стала наугад подниматься по грязной, плохо освещенной лестнице. Я то и дело натыкалась на служащих и полицейских, которые поднимались или спускались по лестницам с бумагами в руках; я держалась ближе к стенке, где было потемнее, и шла, низко опустив голову. На каждом этаже по грязным темным коридорам сновали взад и вперед люди, тускло горели лампочки и по обеим сторонам коридоров находились комнаты, бесконечные комнаты. Полицейское управление было похоже на жужжащий улей, но здешние пчелы не садились на цветы, и мед их, который мне пришлось отведать впервые, был затхлым, черным и горьким. На третьем этаже, отчаявшись окончательно, я свернула наобум в один из коридоров. Никто не глядел в мою сторону, никто не обращал на меня внимания. Вдоль коридора тянулись распахнутые двери, возле них на стульях с соломенными сиденьями сидели люди в полицейской форме, они курили, болтали. Все комнаты были похожи одна на другую: бесчисленные шкафы, забитые бумагами, стол, за ним сидел полицейский и что-то писал. Коридор был не прямой, а сворачивал в сторону, поэтому скоро я запуталась и уже не могла разобрать, где нахожусь. Время от времени приходилось спускаться либо подниматься на две-три ступеньки, иногда коридор пересекали точно такие же коридоры, с такими же распахнутыми дверьми, и опять такие же полицейские сидели у входа, освещенные тем же тусклым светом. Я совсем растерялась И подумала, что вернулась назад, в тот коридор, где уже была. Мимо меня прошел курьер, и я спросила:

— Где находится вице-полицеймейстер?

Он молча ткнул пальцем на темный проход, отходивший в сторону между двух дверей. Я пошла в указанном направлении, спустилась по четырем ступенькам вниз и оказалась в узком, с низким потолком коридорчике. В эту самую минуту там, где этот коридорчик, похожий на кишку, резко сворачивал, отворилась дверь и появились два человека, сразу же направившиеся в противоположном направлении. Полицейский держал какого-то человека за руку, и мне показалось вдруг, что это Мино.

— Мино! — крикнула я и бросилась туда.

Но я не успела их догнать, потому что кто-то схватил меня за плечо. Это оказался молодой полицейский с худым, смуглым лицом, в фуражке, надетой набекрень на густые черные волосы.

— Что вам надо? Кого вы ищете? — спросил он.

На мой крик те двое, что шли впереди, обернулись, и я поняла, что обозналась. Я ответила задыхаясь:

— Арестован один мой друг… я хотела узнать, не сюда ли его привезли.

— Как его зовут? — важно спросил полицейский, все еще не убирая руку с моего плеча.

— Джакомо Диодати.

— Чем он занимается?

— Студент.

— А когда его арестовали?

Внезапно я поняла, что он задает мне эти вопросы просто так, для форсу, а сам ничего не знает. Разозлившись, я воскликнула:

— Вместо того чтобы задавать мне вопросы, сказали бы лучше, где он находится!

Мы были в коридоре одни, он огляделся вокруг и, подойдя ко мне вплотную, прошептал с развязным видом:

— О студенте мы позаботимся… а ты пока поцелуй меня.

— Пустите… я и так с вами зря время потеряла! — со злостью крикнула я и, оттолкнув его, бросилась бежать в противоположную сторону. Тут я увидела открытую дверь и комнату, которая была больше прежних, в глубине ее стоял письменный стол, а за ним сидел мужчина средних лет. Я вошла и одним духом выпалила:

— Мне хотелось бы узнать, куда отвезли студента Диодати… его арестовали сегодня после полудня.

Мужчина бросил читать газету, лежащую на столе, и удивленно посмотрел на меня.

— Вы хотели узнать…

— Да, куда отвезли студента Диодати, арестованного сегодня после полудня.

— А кто вы такая… кто вам разрешил сюда войти?

— Это неважно… скажите мне только, где он.

— Да кто вы такая? — повторил он, возвысив голос и стукнув кулаком по столу… — Кто вам разрешил? Да знаете ли вы, где находитесь?

Внезапно я поняла, что ничего не выясню, а меня не дай бог тоже могут арестовать, тогда не состоится мой разговор с Астаритой, и Мино останется в тюрьме.

— Извините, пожалуйста, — пробормотала я, пятясь назад, — я ошиблась.

Эти слова окончательно разъярили полицейского. Но я была уже возле двери.

— При входе и выходе полагается отдавать фашистский салют, — заорал он, указывая на табличку, висевшую над его головой.

Я закивала, что должно было означать мое согласие с его словами, и, продолжая пятиться, выскочила из комнаты. Я прошла весь коридор и, немного поплутав, нашла наконец лестницу и быстро спустилась вниз. Миновав комнату дежурного, я вышла на улицу.

Единственным результатом моего вторжения в здание полиции было то, что я все-таки как-то убила время. Я рассчитала, что если не буду торопиться, то дойду до министерства минут за сорок пять, а то и за час. Потом где-нибудь поблизости посижу в кафе, а минут через двадцать позвоню Астарите и тогда, быть может, застану его.

Пока я брела по улицам, мне пришла в голову мысль, что Мино арестовал Астарита, желая мне отомстить. Он занимал важную должность именно в той самой политической полиции, которая задержала Мино; они, очевидно, давно вели слежку за Мино и знали о наших отношениях; вполне вероятно, что дело попало в руки Астариты, и он из ревности отдал приказ арестовать Мино. При этой мысли меня охватила злоба против Астариты. Я знала, что он все еще влюблен в меня, и решила, что он дорого заплатит мне за свой низкий поступок, если только мои подозрения подтвердятся. В то же самое время я с тревогой думала, что, скорее всего, дело совсем не в этом и мне предстоит бросить свои слабые силы на борьбу с неведомым безликим противником, больше напоминающим хорошо отлаженную машину, чем живое существо, которому не чужды человеческие слабости.

Добравшись до министерства, я отказалась от своего первоначального плана посидеть немного в кафе, а сразу же подошла к телефону. На сей раз после первого звонка трубку подняли, и мне ответил голос Астариты.

— Это я, Адриана, — выпалила я одним духом, — мне надо тебя увидеть.

— Сейчас?

— Немедленно… по очень срочному делу… я здесь, возле министерства.

С минуту он раздумывал, потом сказал, что я могу прийти. Второй раз в жизни я поднималась по лестницам министерства, но теперь я шла с совершенно иным чувством. В первый раз я опасалась шантажа со стороны Астариты, боялась, что он расстроит мою свадьбу с Джино, я ощущала тогда, как все маленькие люди, имеющие дело с полицией, что надо мной нависла смутная угроза. Я шла тогда с разбитым сердцем и внутренним трепетом. Теперь я явилась сюда в агрессивном настроении, с намерением в свою очередь шантажировать Астариту; я решила использовать любые средства, лишь бы вызволить Мино. Но агрессивность моя объяснялась не только любовью к Мино, но и моим презрением к Астарите, к его министерству, к политике, которой занимался Мино, и к самому Мино. Я ничего не смыслила в политике, и, вероятно, по этой причине мне казалось, что в сравнении с моей любовью к Мино политика — вздорная и ненужная вещь. Я вспомнила, как начинал заикаться и мямлить Астарита всякий раз, когда видел или только слышал меня, и я с удовлетворением подумала, что он, должно быть, не заикается, когда предстает перед своим начальством, будь это хоть сам Муссолини. С такими мыслями я шла по широким коридорам министерства и с презрением смотрела на служащих, попадавшихся мне на пути. Мне ужасно хотелось вырвать у них красные и зеленые папки, которые они зажимали под мышками, подбросить их вверх и развеять эти бумажки, содержащие всяческие запреты и несправедливые обвинения. Чиновнику, который в приемной подошел ко мне, я сказала повелительным тоном.

— Мне необходимо поговорить с доктором Астаритой… как можно скорее… у меня назначено свидание… и я не могу долго ждать.

Он удивленно взглянул на меня, однако возражать не посмел и пошел доложить о моем приходе.

Увидев меня, Астарита тотчас же поднялся мне навстречу, поцеловал мою руку и подвел меня к дивану, стоящему в другом конце комнаты. Точно так же он встретил меня и в прошлый раз, и думаю, что так он держался со всеми женщинами, приходившими к нему в кабинет. Пытаясь обуздать гнев, переполнявший мое сердце, я сказала:

— Берегись, если это ты велел арестовать Мино… сейчас же выпусти его на свободу… иначе запомни, что ты видишь меня в последний раз.

На лице его появилось выражение крайнего удивления и недоумения, я поняла, что он ровным счетом ничего не знает.

— Постой… какого Мино, черт возьми? — пробормотал он.

— Я думала, ты его знаешь, — ответила я.

И я в нескольких словах рассказала ему историю моей любви к Мино и добавила, что сегодня после полудня он был арестован у себя на квартире. Когда я говорила Астарите, что люблю Мино, он изменился в лице, однако я предпочитала сказать правду не только потому, что боялась ложью повредить Мино, но и потому, что мной овладело бешеное желание кричать всему свету о моей любви. Когда я узнала, что Астарита не имеет никакого отношения к аресту Мино, гнев, который до сих пор поддерживал меня, утих, и я вновь почувствовала себя безоружной и слабой. Свой рассказ я начала твердым возбужденным голосом, а закончила его почти жалобно. Слезы навернулись на мои глаза, когда я с болью проговорила:

— И кроме того, я не знаю, что с ним сделают… говорят, их там бьют.

Астарита перебил меня:

— Успокойся… если бы он был рабочий… а то ведь он студент.

— Но я не хочу… не хочу, чтобы он сидел в тюрьме! — кричала я рыдая.

Мы оба долго молчали. Я пыталась успокоиться, а Астарита смотрел на меня. Впервые он, казалось, не был расположен выполнить мою просьбу. И он не желал оказать мне услугу главным образом потому, что узнал о моей любви к другому человеку. Поэтому, взяв его за руку, я добавила:

— Если ты его освободишь… я обещаю сделать все, что ты захочешь. — Он

недоверчиво посмотрел на меня, и я, сделав над собой усилие, потянулась к нему и подставила губы. — Ну… исполнишь мою просьбу?

Он взглянул на мое мокрое от слез лицо и заколебался, ему, видимо, хотелось поцеловать меня, однако он понимал всю унизительность этого поцелуя, предложенного из чистой корысти. Потом, оттолкнув меня, он вскочил на ноги, велел мне ждать его и вышел.

Теперь я была убеждена, что Астарита распорядится освободить Мино. По своей неопытности в подобных делах я представляла себе, как он сейчас звонит по телефону и сердитым голосом приказывает подчиненному ему комиссару немедленно выпустить на свободу студента Джакомо Диодати. Я с нетерпением считала минуты, и, когда Астарита вошел, я поднялась с места, намереваясь поблагодарить его и побыстрее уйти, чтобы увидеться с Мино.

Но на искаженном лице Астариты было написано разочарование, смешанное с дикой злобой.

— Арестовали, говоришь? — резко произнес он. — Диодати стрелял в агентов и убежал… один из агентов при смерти лежит в больнице… теперь, если его поймают — а его, разумеется, поймают, — я уже не смогу ничем ему помочь.

Я так и застыла от удивления. Я же сама разрядила пистолет Мино, хотя он мог зарядить его снова. Но тут же меня захлестнула огромная радость, и эта радость, как я заметила, была вызвана самыми различными чувствами. Я была рада узнать, что Мино на свободе; меня радовало известие, что он убил агента, на что в глубине души я считала его неспособным, и это в корне меняло мое представление о характере Мино. Я удивилась тому, что отчаянный поступок Мино наполнил мою душу, которой раньше было чуждо всякое насилие, ликованием и каким-то воинственным пылом; такое же непреодолимое удовольствие испытывала я в свое время, когда мысленно рисовала картину преступления Сонцоньо, но на сей раз к удовольствию примешивалось своего рода моральное оправдание. Далее я подумала, что скоро разыщу Мино и мы вместе убежим и скроемся, быть может, даже уедем за границу, где, как я слышала, политические эмигранты находят убежище; и сердце мое наполнилась надеждой. И еще я подумала, что, пожалуй, для меня и впрямь начиналась новая жизнь, и обновлением этим я обязана мужеству Мино, которому была благодарна и которого полюбила еще сильнее, Астарита тем временем взволнованно шагал взад и вперед по комнате, иногда останавливался возле стола и перекладывал с места на место какие-то бумаги. Я сказала спокойным тоном:

— Должно быть, когда его арестовали, он набрался храбрости, стал стрелять и бежал.

Астарита остановился, посмотрел на меня, и лицо его исказила злобная гримаса.

— А ты довольна, да?

— Он правильно сделал, что убил агента, — откровенно заявила я, — тот ведь хотел отвезти его в тюрьму… и ты бы на его месте поступил точно так же.

Он резко ответил:

— Я политикой не занимаюсь… а тот агент исполнял лишь свой долг… у него есть жена и дети.

— Раз он занимается политикой, — ответила я, — то, видно, на это у него есть свои причины… а агент должен был понимать, что человек готов на все, лишь бы не попасть на каторгу… значит, он сам виноват.

Я была спокойна, ибо мне казалось, что я вижу, как Мино свободно разгуливает по улицам города, и я предвкушала ту минуту, когда он позовет меня гуда, где скрывается, и я увижу его снова. Мое спокойствие, казалось, бесило Астариту.

— Но мы его найдем, — вдруг заорал он, — неужели ты воображаешь, будто мы его не найдем?

— Не знаю… я просто рада, что он бежал, вот и все.

— Мы его найдем, и тогда, уж поверь мне, он так дешево не отделается.

Помолчав минуту, я спросила:

— Знаешь, почему ты так разозлился?

— Ничуть я не разозлился.

— Потому что если бы он был арестован, тебе бы удалось сделать великодушный жест, облагодетельствовать меня и его… а он сбежал… поэтому-то ты злишься.

Он раздраженно пожал плечами. Зазвонил телефон, и Астарита с облегчением схватил трубку, как человек, готовый воспользоваться любым предлогом, лишь бы прекратить неприятный разговор. После первых же слов я увидела, как злое и мрачное лицо его вдруг просветлело подобно тому, как в непогожий день случайный луч солнца внезапно освещает все вокруг; и эта перемена, сама не знаю почему, показалась мне дурным знаком. Телефонный разговор продолжался долго, но Астарита отвечал только «да» и «нет», и я не понимала, о чем шла речь.

— Очень сожалею, — сказал он, положив трубку, — но первое сообщение по поводу ареста того студента оказалось неточным… полиция для надежности послала агентов и к нему и к тебе домой… они рассчитывали таким образом схватить его наверняка… и действительно он арестован в доме вдовы, у которой снимал комнату… у тебя же агенты застали какого-то невысокого блондина, говорящего с южным акцентом, который, увидев полицейских, отказался предъявить документы, а начал стрелять и скрылся. Сперва подумали, что это и есть тот студент… но, очевидно, это был кто-то другой, у кого свои счеты с правосудием.

Я почувствовала, что вот-вот потеряю сознание. Итак, Мино в тюрьме; а в довершение ко всему Сонконьо теперь убежден, что это я на него донесла. Любой на его месте подумал бы то же самое: я убежала из дома, а затем явились агенты. Мино сидит в тюрьме, а Сонконьо разыскивает меня, желая отомстить. Я была настолько ошеломлена, что смогла только прошептать:

— Какая я несчастная! — и направилась к выходу.

Очевидно, я сильно побледнела, потому что с лица Астариты мигом слетело довольное и торжествующее выражение, он подошел ко мне и с тревогой проговорил:

— Садись-ка… давай поговорим… все еще можно исправить.

Я молча покачала головой и взялась за ручку двери. Астарита остановил меня и пробормотал:

— Послушай… я обещаю тебе сделать все от меня зависящее… я сам его допрошу… а потом, если не обнаружится ничего серьезного, я велю освободить его как можно скорее… идет?

— Идет, — ответила я слабым голосом. И добавила через силу: — Что бы ты ни сделал, знай, я буду благодарна тебе.

Теперь я была уверена, что Астарита и в самом деле поступит так, как говорит, и, если это будет в его власти, он освободит Мино; теперь я испытывала одно-единственное желание: поскорее уйти из этого страшного министерства. Но он с дотошностью полицейского снова начал допытываться:

— Между прочим… если у тебя есть основания опасаться того человека, которого застали в твоем доме… назови его имя… это облегчит его поимку.

— Не знаю я его имени, — ответила я и направилась к выходу.

— Во всяком случае, — продолжал он, — советую тебе пойти в комиссариат… и рассказать все, что знаешь… там тебе скажут, что, когда ты им понадобишься, они тебя вызовут, а потом разрешат уйти… если ты не пойдешь туда, тебе же будет хуже.

Я ответила, что последую этому совету, и попрощалась с Астаритой. Он не сразу закрыл за мною дверь, а, стоя на пороге, смотрел мне вслед, пока я шла через приемную.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Выйдя из министерства, я быстро, почти бегом добралась до соседней площади. Только когда я очутилась на самой площади, я поняла, что не знаю, куда идти и где мне найти приют. В первую минуту я подумала было о Джизелле, но она жила далеко, а у меня ноги

буквально подкашивались от усталости. Кроме того, я не была уверена, что Джизелла охотно меня примет. Оставалась Дзелинда, хозяйка меблированных комнат, о которой я сказала маме перед уходом из дома. Мы дружили с Дзелиндой, вдобавок дом ее находился совсем рядом, и я решила отправиться туда.

Дом Дзелинды, большой, выкрашенный в желтый цвет, вместе с соседними зданиями выходил фасадом на привокзальную площадь. Одной из особенностей этого дома была лестница, круглые сутки погруженная в кромешную тьму. Лифта не было, окон тоже, приходилось подыматься по лестнице в полной темноте, рискуя столкнуться с людьми, которые спускались вниз, цепляясь за те же самые перила. В доме безраздельно царил застарелый запах кухни, словно здесь уже давно не готовили, но этот смрад навечно повис в холодном и сыром воздухе.

С тяжелым сердцем я еле-еле взобралась по лестнице, по которой столько раз поднималась в обнимку с очередным нетерпеливым любовником, и заявила Дзелинде, открывшей мне дверь:

— Мне нужна комната… на сегодняшнюю ночь…

Дзелинда, женщина тучная, еще не очень пожилая, казалась старше своих лет именно из-за неимоверной полноты. Она страдала подагрой, на щеках рдел нездоровый румянец, голубые слезящиеся глаза смотрели тускло, а белокурые жидкие, вечно растрепанные волосы висели длинными, как кудель, сосульками, но, несмотря на все это, лицо ее светилось каким-то дружеским расположением, как светится даже стоячая вода в часы солнечного заката.

— Комната есть, — сказала она, — а ты одна?

— Одна.

Я вошла, она заперла дверь и зашагала передо мной вперевалку, маленькая, толстая, в старом халате; пучок волос расползся, пряди рассыпались по пленам, а шпильки торчали во все стороны. В квартире оказалось так же холодно и темно, как и на лестнице. Но запах кухни был совсем свежим, как будто здесь недавно варились вкусные и изысканные блюда.

— Я готовила ужин, — пояснила с улыбкой Дзелинда.

Дзелинда, сдававшая комнаты на несколько часов, любила меня, уж не знаю за что, и часто, когда мой клиент уходил, задерживала меня; мы болтали, и она угощала меня сладостями и ликером. Дзелинда была незамужняя, очевидно, ее никогда никто не любил, ибо полнота обезобразила ее еще смолоду, и в том робком и стыдливом любопытстве, с каким она расспрашивала меня о моих любовных похождениях, угадывалась целомудренная и чистая натура. Она была лишена зависти и лукавства, но думаю, в душе сожалела, что ей самой не довелось заниматься тем, чем занимались посетители ее квартиры; комнаты она сдавала не только ради денег, но и, пожалуй, из-за подспудного желания быть хотя бы косвенно причастной к запретному раю любовных отношений.

В конце коридора находились две хорошо знакомые мне двери. Дзелинда отворила левую и ввела меня в комнату. Она зажгла люстру с тремя белыми стеклянными плафончиками в виде тюльпанов и прикрыла жалюзи. Комната была большая, чистая. Но чистота еще беспощаднее подчеркивала убогость обстановки: дыры на коврике возле кровати, заштопанное тканьевое одеяло, темные пятна на зеркале, кувшин и таз с отбитой эмалью. Взглянув на меня, Дзелинда спросила:

— Ты плохо себя чувствуешь?

— Я чувствую себя прекрасно.

— Почему же ты тогда не ночуешь дома?

— Так, не хочется.

— Посмотрим, угадала ли я, — произнесла она с лукавым и добродушным видом, — ты, видимо, расстроена… ты ждала кое-кого, а он взял да и не пришел.

— Возможно.

— И этот кое-кто — тот самый чернявый офицер, с которым ты была здесь в прошлый раз.

Дзелинда не однажды задавала мне подобные вопросы. Я ответила как ни в чем не бывало, хотя в горле у меня стоял комок:

— Ты права… ну и что же?

— Ничего… но ты видишь, я тебя понимаю с полувзгляда… стоило мне посмотреть на тебя, как сразу же догадалась, что с тобой что-то стряслось… но ты не расстраивайся… раз он не пришел, значит, у него были на то свои причины… ведь военные, сама знаешь, народ подневольный.

Я ничего не ответила. Дзелинда смотрела на меня с минуту, а потом нерешительно, но сердечно предложила:

— Не хочешь ли составить мне компанию? У меня сегодня отличный ужин.

— Нет, спасибо, — быстро ответила я, — я уже поела.

Она опять посмотрела на меня и ласково потрепала по щеке. Потом многообещающим и таинственным тоном, каким говорят старые тетушки со своими молоденькими племянницами, сказала:

— Сейчас я угощу тебя кое-чем, и уж от этого ты, конечно, не откажешься. Она вынула из кармана связку ключей, подошла к комоду и, повернувшись ко мне спиной, отперла ящик.

Я расстегнула жакет и, положив руку на бедро и прислонившись к столу, смотрела, как Дзелинда шарит на дне ящика. Мне вспомнилось, что Джизелла тоже часто приходила сюда со своими любовниками, но Дзелинда не питала к ней ни малейшей симпатии. Она любила меня, потому что это была я, а не потому, что любила всех людей подряд. Это подбодрило меня. В конце концов, подумала я, на свете существуют не только полиция, министерства, тюрьмы и тому подобные страшные места. Дзелинда тем временем перестала шарить в своем ящике. Аккуратно прикрыв его, она подошла ко мне и повторила:

— От этого ты, конечно, не откажешься, — и положила что-то на ковровую скатерть стола. Я увидела пять сигарет хорошего качества с золотыми мундштуками, горсть карамелек в разноцветных обертках и четыре маленьких миндальных печенья в виде раскрашенных фруктов.

— Ну как, годится? — спросила она, снова потрепав меня по щеке.

— Да, спасибо.

— Пустяки, пустяки… если тебе что-нибудь понадобится, позови меня, не стесняйся.

Я осталась одна и почувствовала сильный озноб и беспокойство. Мне не хотелось спать, не хотелось ложиться в постель; но в этой ледяной комнате, где зимний холод, казалось, держится годами, как в церквах и в погребах, ничего другого не оставалось. Когда я приходила сюда раньше, такого вопроса не возникало: как мне, так и сопровождавшему меня мужчине но терпелось поскорее лечь в постель и заняться любовью; и хотя я не испытывала никаких чувств к своим случайным клиентам, тем не менее сами по себе любовные наслаждения захватывали и покоряли меня своей магией. Теперь мне не верилось, что я могла любить и быть любимой в этой мрачной обстановке, в этой холодной комнате. Чувственность каждый раз вводила в заблуждение и меня и моих спутников, придавая этим чужим и нелепым вещам интимный и милый характер. Я подумала, что если я никогда больше не увижу Мино, то моя жизнь станет похожа на эту комнату. Если взглянуть на мою жизнь объективно, без иллюзий, то в ней и впрямь нет ничего прекрасного и сокровенного, она, как и комната Дзелинды, вся заполнена потертыми, мерзкими, холодными вещами. Я содрогнулась всем телом и начала медленно раздеваться.

Простыня была ледяная и до того пропитана сыростью, что, когда я легла, мне показалось, будто она приняла форму моего тела, словно мокрая глина. Пока простыня медленно нагревалась, я лежала, погруженная в свои мысли. Случай с Сонцоньо захватил меня, и я принялась анализировать причины и следствия этого мрачного дела. Теперь Сонцоньо, конечно, решил, что я на него донесла; все обстоятельства самым роковым образом складывались против меня. Но только ли эти обстоятельства? Я вспоминала его фразу: «Мне кажется, что за мной следят»; и я задавала себе вопрос, уж не проговорился ли в конце концов священник. Очевидно, все-таки не проговорился, но это еще надо было

подтвердить.

Думая о Сонцоньо, я представляла себе все, что произошло дома после моего бегства: Сонцоньо наконец надоедает ждать меня, он одевается, тут внезапно входят два агента, Сонцоньо выхватывает пистолет, стреляет и спасается бегством. Как в прошлый раз, когда я думала о преступлении Сонцоньо, так и теперь картины эти будили во мне неясное и жадное удовольствие. Мое воображение снова и снова возвращалось к сцене стрельбы, и я тщательно перебирала и смаковала все подробности; разумеется, что в стычке между агентами и Сонцоньо я всей душой была на стороне последнего. Я дрожала от радости, представляя себе, как падает раненый агент, у меня вырывался вздох облегчения, когда я видела убегающего Сонцоньо, я с тревогой следила за ним, пока он спускался по лестнице, и успокоилась лишь тогда, когда он исчез за углом темной улицы. Наконец я устала от этих непрерывно сменявшихся, как кинокадры, видений и погасила свет.

Я еще раньше заметила, что моя кровать стояла возле запертой двери, ведущей в соседнюю комнату. Очутившись в темноте, я увидела, что створки двери закрывались неплотно и сквозь щель между ними пробивалась вертикальная полоска света. Я приподнялась, положила локти на подушку, просунула голову сквозь железные прутья спинки кровати и приложила глаз к щели. Меня толкало к этому не простое любопытство — ведь я заранее знала, что увижу и услышу там за дверью, — скорее, мною владел страх остаться наедине со своими мыслями и страх одиночества, и это побудило меня, хоть и таким недостойным образом, искать общества людей из соседней комнаты. Сперва я увидела только круглый стол; свет люстры падал на него сверху, а позади в тени я заметила зеркальный шкаф. Однако я слышала разговор: обычные слова, так хорошо мне знакомые, обычные вопросы о месте рождения, о возрасте, об имени. Голос женщины звучал спокойно и сдержанно, а голос мужчины — нетерпеливо и взволнованно. Они разговаривали в углу комнаты, должно быть, лежали уже в постели. Из-за неудобства позы у меня страшно заболел затылок, и я уже собралась было прекратить свои наблюдения, когда вдруг в поле зрения появилась обнаженная женщина и остановилась по ту сторону стола в тени у зеркала. Она стояла ко мне спиной, и я видела ее только до пояса. Вероятно, она была очень молода, курчавая копна волос спадала на худенькую, костлявую спину, обтянутую бледной кожей. Ей, наверное, нет еще и двадцати, подумала я, но у нее есть ребенок, и грудь уже, наверное, дряблая. Вероятно, она принадлежала к тому разряду голодных девиц, которые прогуливаются без пальто, простоволосые, грубо размалеванные и оборванные, обутые в огромные уродливые ботинки, по городским скверам, расположенным возле вокзала. И когда она улыбается, думала я, у нее, должно быть, видны десны. Все эти мысли приходили мне в голову как-то непроизвольно, потому что вид этой худенькой голой спины действовал на меня успокаивающе, мне даже казалось, что я люблю эту девушку и прекрасно понимаю те чувства, которые испытывает она в данную минуту, глядя на себя в зеркало. Но послышался грубый голос мужчины:

— Можно узнать, чем это ты там занимаешься?

Девушка отошла от зеркала. Я на мгновение увидела ее сбоку: покатые плечи и дряблая грудь, именно такой я ее себе и представляла. Потом она исчезла, и вскоре свет в комнате погас.

И в моей душе тоже погасло смутное чувство умиления, которое вызвала у меня девушка, и я вновь оказалась одна в этой холодной постели, окруженная мраком и старыми чужими вещами. Я подумала об этих двух людях, находящихся за стеной: они оба скоро заснут, она ляжет возле своего партнера, уткнется подбородком в его плечо, сплетет свои ноги с его ногами, ее рука обхватит его талию, кисть прикроет пах, а пальцы утонут в складках живота, подобно корням, которые ищут живительные соки глубоко в земле, и внезапно я почувствовала себя растением, вырванным с корнем и брошенным на гладкие камни мостовой, где этому растению суждено засохнуть и погибнуть. Мино не было рядом со мною, и, когда я вытянула вперед руку, мне показалось, что я физически ощущаю под ладонью огромное ледяное, безжизненное пространство, со всех сторон обступившее меня, в

центре которого находилась я сама, беззащитная, одинокая, сжавшаяся в комочек. Я испытывала горестное и непреодолимое желание прижаться к Мино; но его не было возле меня, и мне показалось, что я овдовела, я заплакала, протягивая руки вперед и воображая, будто обнимаю Мино. Не помню уж, как я заснула.

Сон у меня всегда был здоровый и крепкий, который можно сравнить с аппетитом человека, неприхотливого в еде и легко утоляющего свой голод. Так, на следующее утро, проснувшись, я с некоторым удивлением обнаружила, что нахожусь в комнате Дзелинды и лежу в постели, освещенной солнечным светом, который проникает сквозь щели жалюзи, стелется по подушке и по стене. Я еще не совсем очнулась, когда услышала из коридора телефонный звонок. Голос Дзелинды ответил что-то, я услышала свое имя, потом в дверь постучали. Я вскочила с постели и, как была в одной сорочке, подбежала к двери.

В коридоре никого не было, телефонная трубка лежала на столике. Дзелинда вышла на кухню. Я схватила трубку и услышала мамин голос. Она спросила:

— Адриана, это ты?

— Да.

— Почему ты ушла?.. Что тут было… ты могла бы по крайней мере предупредить меня… ой, какой ужас!

— Да, я знаю все… — торопливо ответила я, — можешь не объяснять.

— Я так волновалась за тебя, — сказала она, — а кроме того, у нас синьор Диодати.

— Синьор Диодати?

— Да, он пришел сегодня рано утром… и хочет во что бы то ни стало тебя повидать… он сказал, что подождет тебя здесь.

— Передай ему, что я сейчас приеду… скажи, что сию минуту буду.

Повесив трубку, я бегом вернулась в комнату и быстро оделась. Я никак не думала, что Мино так скоро освободят, и почему-то мне показалось, что, если бы я ждала его освобождения несколько дней или даже целую неделю, радость моя была бы полнее. Столь быстрое освобождение казалось мне подозрительным и невольно вызывало смутное опасение. Каждое событие должно иметь свой смысл, а смысл этого скоропалительного освобождения был мне неясен. Но я успокаивала себя тем, что, видимо, Астарите, как он и обещал, удалось добиться, чтобы Мино выпустили немедленно. Впрочем, я не чаяла снова увидеть Мино, и это нетерпеливое ожидание было все-таки счастьем, хотя и омрачалось тревогой.

Одевшись, я спрятала в сумку, чтобы не обидеть Дзелинду, сигареты, карамель и печенье, к которым даже не притронулась вчера вечером, и прошла на кухню попрощаться с хозяйкой.

— Теперь ты успокоилась, а? — спросила она. — Как твое настроение?

— Я вчера была утомлена… ну, до свидания.

— Иди, думаешь я не слышала твой разговор по телефону… синьор Диодати… да останься хоть на секунду… выпей чашку кофе.

Она говорила еще что-то, но я уже выбежала на лестницу.

В такси я села у самой дверцы, держа сумку в руках наготове, чтобы сразу же выскочить из машины, как только она остановится; я боялась увидеть возле нашего подъезда толпу людей, которые судачат по поводу выстрелов Сонцоньо. И еще я спрашивала себя, следует ли мне вообще возвращаться домой: ведь Сонцоньо может нагрянуть в любую минуту, чтобы расправиться со мной, но я отметила про себя, что это меня совсем не пугает. Если Сонцоньо решил отомстить, пусть мстит, я хочу увидеть Мино и не намерена прятаться от человека, перед которым ни в чем не виновата.

Возле дома не оказалось ни души, на лестнице тоже никого не было. Я стремительно влетела в мастерскую и увидела, что мама возле окна строчит на машинке. Солнце врывалось в комнату сквозь грязные стекла, на столе сидел кот и усердно облизывал лапы. Мама сразу же бросила шитье и сказала:

— Наконец-то ты пришла… могла бы меня по крайней мере предупредить, что идешь

за полицией.

— За какой полицией?! Что ты говоришь?

— Я пошла бы с тобой вместе… тут был такой ужас!

— Я вовсе не ходила за полицией, — сказала я раздраженно, — я просто ушла, вот и все… полиция искала кого-то другого… да, видно, у этого совесть была нечиста.

— Даже мне не хочешь сказать правду, — ответила она, укоризненно глядя на меня.

— Да что сказать-то?

— Я ведь не пойду языком болтать… но никогда я не поверю, что ты вышла просто так… и в самом деле, полиция явилась через несколько минут после твоего ухода.

— Но эти неправда, я…

— Впрочем, ты поступила правильно… какие только людишки не разгуливают на свободе… знаешь, что сказал один из полицейских?.. «Я его лицо где-то видел».

Я поняла, что разубедить ее невозможно, она думала, что я пошла и донесла на Сонцоньо, и с этим ничего нельзя было поделать.

— Ну, ладно, ладно, — резко оборвала я, — а раненый… как им удалось переправить его отсюда?

— Какой раненый?

— Мне сказали, что один агент при смерти.

— Тебя обманули… правда, одному из полицейских пуля поцарапала руку… я сама ему перевязала рану… и он ушел на собственных ногах… однако я слышала выстрелы… стреляли на лестнице… я думала, весь дом разлетится… потом меня допрашивали… но я сказала, что ничего не знаю.

— Где синьор Диодати?

— Там… в твоей комнате.

Я намеренно задержалась с мамой, главным образом потому, что не решалась встретиться с Мино, будто предчувствовала что-то недоброе. Я вышла из мастерской и направилась в свою комнату. Там было темно, и, прежде чем я успела повернуть выключатель, я услышала голос Мино:

— Прошу тебя, не зажигай свет.

Меня поразил странный звук его голоса, в котором, по правде говоря, не слышалось радости. Я прикрыла дверь, ощупью добралась до кровати и села на край. Он, видимо, лежал на боку, повернувшись ко мне лицом.

— Ты плохо себя чувствуешь? — спросила я.

— Я чувствую себя отлично.

— Ты, должно быть, устал, а?

— Нет, не устал.

Совсем другой встречи ждала я. Радость неотделима от света. А разве могли в этом мраке радостно сверкать мои глаза, весело звучать мой голос, даже руки мои не могли коснуться дорогого лица. Я долго выжидала, потом, наклонившись к нему, спросила:

— Что ты собираешься делать? Хочешь спать?

— Нет.

— Хочешь, я уйду?

— Нет.

— Мне остаться?

— Да.

— Хочешь, я лягу рядом с тобой?

— Да.

— Хочешь, будем любить друг друга?

— Да.

Этот ответ поразил меня, ибо, как я уже говорила, он некогда не испытывал настоящей потребности в любви. Я встревожилась и ласково спросила:

— А тебе нравится спать со мной?

— Да.

— И теперь всегда будет нравиться?

— Да.

— И мы всегда будем вместе?

— Да.

— Может быть, я все же зажгу свет?

— Нет.

— Неважно, разденусь и в темноте.

Я начала раздеваться, охваченная упоительным чувством победы. Ночь, проведенная в тюрьме, думала я, открыла ему, что он любит и не может жить без меня. Будущее покажет, как я заблуждалась; и хотя я угадывала, что эта внезапная уступчивость как-то связана с арестом, я не понимала, что такая перемена в его поведении ни в коей мере не должна обольщать меня или даже просто радовать. Но в ту минуту мне трудно было разобраться во всем этом.

Я сбрасывала одежду с тем ожесточением, с каким застоявшийся конь стремится освободиться от узды; я сгорала от нетерпеливого желания передать Мино всю свою страсть и всю радость от нашей встречи, чего не могла сделать несколько минут назад, обескураженная темнотой и его поведением.

Но как только я приблизилась к нему и наклонилась над кроватью, чтобы лечь с ним рядом, я вдруг почувствовала, что он обхватил руками мои колени, а сам до крови укусил меня в левый бок. Меня пронзила острая боль, и одновременно я поняла, какое безграничное отчаяние выражал этот жест, как будто мы были не любовниками, а двумя грешниками, которых ненависть, гнев и безысходность толкают на самое дно нового ада, поэтому они вцепляются друг в друга зубами. Этот укус показался мне бесконечно долгим, как будто он и в самом деле собрался вырвать из моего тела кусок мяса. И хотя я почти радовалась тому, что он это сделал, тем не менее я понимала, как мало любви в его поступке; в конце концов не выдержав боли, я оттолкнула его и сказала убитым, тихим голосом:

— Пусти… что ты делаешь?.. Мне больно.

Так разом рухнули все иллюзии относительно моей победы. Потом, слившись в любовном экстазе, мы не произнесли ни слова; но все равно я смутно догадывалась об истинной причине его отрешенности и страсти, которую он сам впоследствии объяснил мне. Я поняла, что до сих пор он презирал не столько меня, сколько ту часть самого себя, которая жаждала моих ласк; а теперь, наоборот, по какой-то одному ему известной причине он дал полную волю этой до сих пор столь ненавистной ему частице своей натуры: этим все и объяснялось. Я была здесь ни при чем, он, как и прежде, не любил меня. Я ли, другая — ему было все равно; и как раньше, так и теперь я была для него лишь орудием, с помощью которого он либо карал, либо вознаграждал себя. Все это я, лежа в темноте возле него, понимала не столько рассудком, сколько инстинктивно чувствовала всей своей плотью; так же как в свое время почувствовала, что Сонцоньо — убийца, хотя тогда еще ничего не знала о его преступлении. Но я любила Мино, и моя любовь была сильнее этого сознания.

И все же меня поразили неистовая сила и ненасытность его страсти, на которую раньше он был столь скуп. Я всегда считала, что он сдерживает себя еще и по причине своего не очень крепкого здоровья. Поэтому, увидев, что он тут же снова начал ласкать меня, я не удержалась и сказала ему:

— Мне-то ведь все нипочем… смотри, как бы тебе не было вреда.

Мне показалось, что он усмехнулся, и я услышала, как он прошептал мне на ухо:

— Отныне мне ничто не может причинить вреда.

Это слово «отныне» прозвучало зловеще, и поэтому моя радость сразу померкла, я с нетерпением ждала минуты, когда смогу поговорить с Мино и узнать все, что произошло. Потом он забылся, но вроде не заснул. Я некоторое время молча ждала и наконец, сделав над собой усилие, хотя сердце мое сжималось от страха, тихо попросила:

— А теперь расскажи мне, что с тобой случилось.

— Ничего не случилось.

— И все-таки что-то, должно быть, случилось.

Он помолчал с минуту, а потом, как бы разговаривая сам с собой, сказал:

— В конце концов, я считаю, что ты должна узнать об этом… так вот, случилось следующее: с одиннадцати часов прошлой ночи я — предатель.

От этих слов у меня мороз пробежал по коже, вернее, не столько от самих слов, сколько от звука его голоса. Я прошептала:

— Предатель? Почему?

Он ответил холодным и мрачно-насмешливым тоном:

— Синьор Мино был известен среди своих политических единомышленников твердостью взглядов и бескомпромиссностью… они смотрели на синьора Мино как на своего будущего руководителя… а синьор Мино пребывал в уверенности, что при любых обстоятельствах сумеет отличиться, и чуть ли не жаждал быть арестованным и подвергнуться испытанию… да, синьор Мино считал, что аресты, тюрьмы и другие страдания неизбежны в жизни политического деятеля, как неизбежны в жизни моряка опасные путешествия, штормы, кораблекрушения… но при первой же качке моряк сдал, как самая последняя баба… стоило синьору Мино предстать перед каким-то полицейским, как он, не дожидаясь угроз и пыток, выложил все… Одним словом, предал… итак, синьор Мино со вчерашнего дня оставил поприще политического деятеля и начал так называемую карьеру доносчика…

— Ты испугался! — воскликнула я.

Он спокойно ответил:

— Нет, пожалуй, даже не испугался… только со мною случилось то, что случалось уже однажды, когда я пытался объяснить тебе свои взгляды… внезапно все стало мне безразлично… а тот, который меня допрашивал, показался мне даже милым человеком… ему нужно было узнать некоторые вещи… а мне в этот момент не нужно было скрывать их, и я ему рассказал… просто так… или, вернее, — после минутного раздумья Мино прибавил, — не просто так… а усердно, торопливо, я бы сказал, рьяно… даже чересчур, так что ему пришлось умерять мой пыл.

Я подумала было об Астарите, но не мог же он показаться Мино милым человеком:

— А кто тебя допрашивал?

— Не знаю… какой-то черноглазый молодой человек, с желтым лицом, лысый… очень хорошо одетый… должно быть, важная шишка.

— И он тебе показался милым? — я не могла сдержать возгласа изумления, узнав в этом описании Астариту.

Он рассмеялся мне прямо в ухо:

— Успокойся… не он лично… а его действия… когда человек отрекается от самого себя или просто не способен быть тем, кем должен, то, как это ни странно, именно в подобных обстоятельствах проявляется его подлинная сущность… разве я не сын богатого собственника?.. А этот человек разве не стоит на страже моих интересов?.. Ну вот, мы поняли, что мы люди одной и той же породы… связаны одними и теми же узами… Ты думаешь, мне понравился лично он? Нет, нет… мне понравились его действия… я почувствовал, что это я содержал его и платил ему, я — человек, которого он защищал, человек, который был его хозяином, хотя я в стоял перед ним как обвиняемый.

Он смеялся, или, вернее сказать, захлебывался смехом, как кашлем, болезненно отдававшимся у меня в ушах. Я понимала лишь одно: произошло нечто непоправимое, и моя жизнь снова туманна и неопределенна. Спустя минуту он добавил:

— А может быть, я клевещу на себя… и я предал просто потому, что мне было безразлично… потому что внезапно все показалось мне нелепым и бессмысленным и я перестал понимать те вещи, в которые обязан был верить.

— Перестал понимать? — машинально переспросила я.

— Да… или, вернее, я понимал, как понимал всегда, только слова, а не поступки,

которые этими словами обозначаются… можно ли так страдать из-за слов? Слова состоят лишь из звуков, ведь это все равно, как если бы меня посадили в тюрьму из-за ослиного рева или скрипа колес… слова не имели для меня никакого значения, они казались мне нелепыми и бессмысленными, тому человеку были нужны слова, и я дал ему их столько, сколько он хотел.

— В таком случае, — возразила я, — если это только слова… что же тебе беспокоиться?..

— Да, но, к сожалению, слова, как только их произнесешь, перестают быть только словами и превращаются в поступки.

— Почему?

— Потому что я сразу начал мучиться… потому что, как только я их высказал, я тут же раскаялся… потому что я понял, почувствовал, что, произнеся эти слова, я совершил поступок, который обозначается словом «предательство»…

— Зачем же ты тогда их произнес?

Он вяло ответил:

— Почему люди разговаривают во сне? Может быть, я спал… а сейчас вот проснулся.

Таким образом, мы снова и снова возвращались к одному и тому же вопросу. Сердце мое сжалось от боли, и я, преодолев себя, сказала:

— Может быть, ты ошибаешься… тебе кажется, что ты натворил бог знает что, а на самом деле ты ничего и не сказал.

— Нет, не ошибаюсь, — коротко ответил он.

Немного помолчав, я спросила:

— Ну, а твои друзья?

— Какие друзья?

— Туллио и Томмазо.

— Я ничего о них не знаю, — ответил он с деланным безразличием, — их арестуют.

— Нет, не арестуют! — воскликнула я.

Я считала, что Астарита, конечно, не воспользуется этой минутной слабостью Мино. Но только теперь, услышав фразу об аресте двух его друзей, я по-настоящему поняла всю серьезность положения.

— Почему же их не арестуют? — спросил он. — Я назвал их имена… их наверняка арестуют.

— О Мино! — огорченно воскликнула я. — Зачем ты это сделал?

— Тот же вопрос задаю себе я сам.

— Но если их не арестуют, — ухватилась я за единственную оставшуюся у меня надежду, — тогда еще не все потеряно. Они никогда не узнают, что ты…

Он перебил меня.

— Да, но я-то буду знать… я-то буду знать всегда… буду знать всегда, что я уже не тот, каким был прежде, а другой человек, и этого человека породил я сам, когда заговорил, так же, как мать рождает своего ребенка… теперь, к сожалению, этот человек мне не по душе… в этом вся беда… ведь есть мужья, которые убивают своих жен, потому что жизнь с ними становится невыносимой… теперь представь себе, что в одном теле живут два существа, которые смертельно ненавидят друг друга… а моих друзей, конечно, арестуют.

Не удержавшись, я сказала:

— Если бы ты даже ничего не сказал, тебя все равно освободили бы… и твоим друзьям не грозит никакая опасность…

Тут я вкратце рассказала ему историю моих отношений с Астаритой, о том, как я пыталась вызволить его из тюрьмы и об обещании, данном мне Астаритой. Он молча выслушал меня, а потом проговорил:

— Час от часу не легче… итак, свободой я обязан не только своим заслугам в качестве доносчика, но и твоей любовной связи с полицейским.

— Мино, не надо так говорить!

— Впрочем, — добавил он через минуту, — я рад, что мои друзья счастливо отделались… по крайней мере хоть это не будет на моей совести.

— Видишь, — сказала я живо, — теперь, в сущности, нет разницы между тобой и твоими друзьями. Они тоже обязаны своей свободой мне и тому, что Астарита влюблен в меня.

— Пардон… есть разница… они-то никого не выдавали.

— Откуда ты знаешь?

— Я в них верю… однако разобщенность в таких случаях действительно малоприятная вещь.

— А ты веди себя так, будто ничего не случилось, — принялась я снова уговаривать его, — возвращайся к ним как ни в чем не бывало… что поделаешь? У каждого человека бывают минуты слабости.

— Да, но не каждому человеку выпадает случай умереть и все-таки остаться в живых, — ответил он, — знаешь, что произошло со мной в тот момент, когда я говорил? Я умер… просто умер… умер навсегда.

Тоска сжимала мое сердце, и я разразилась слезами.

— Почему ты плачешь? — спросил он.

— Потому что ты говоришь такие ужасные вещи, — ответила я и зарыдала еще громче, — будто ты умер… мне страшно.

— Тебе не нравится лежать с покойником? — насмешливо спросил он. — Однако это вовсе не так страшно, как тебе кажется… даже совсем не страшно… я умер не в прямом смысле… что касается моего тела, то оно живет, и еще как живет!.. Потрогай, жив ли я, ну, видишь, я жив. — Он взял мою руку, провел ею по своему телу, дошел до паха и надавил на него. — Я весь живой, а с тобой, поверь, я никогда не был таким живым, как сейчас… не бойся, что мы мало занимались любовью в то время, когда я был жив, зато мы все наверстаем теперь, когда я умер.

Он со злобным презрением отбросил от себя мою покорную руку. Я уткнулась лицом в ладони и разразилась громкими и горестными рыданиями, вкладывая в них все свое отчаяние. Мне хотелось плакать без удержу, плакать без конца, потому что я боялась, что наступит минута, когда иссякнут слезы и я, опустошенная и отупевшая, вновь окажусь перед лицом все тех же неразрешимых проблем, которые вызвали этот взрыв отчаяния. Так или иначе минута эта наступила, я вытерла мокрое от слез лицо краем простыни и лежала не шевелясь, глядя в темноту широко раскрытыми глазами. Вдруг он ласковым, задушевным голосом предложил:

— Давай-ка вместе подумаем, что мне делать.

Я быстро повернулась к нему, крепко обняла и начала говорить, почти касаясь губами его губ:

— Не думай больше об этом… не занимайся ты больше этим… что было, то было… вот что тебе надо делать.

— А потом?

— А потом возьмись за учение… получи диплом… возвращайся в свой город… пусть я больше тебя не увижу, лишь бы знать, что ты счастлив… начни работать, а когда придет время, женись на местной девушке, которая будет тебе ровней и которая будет тебя любить по-настоящему… На что тебе политика? Ты не создан для политики, ты поступил неправильно, когда занялся этим делом… это ошибка, но ведь всякий может ошибиться… в один прекрасный день ты сам удивишься, что занимался политикой… а я тебя, Мино, очень-очень люблю, другая женщина на моем месте не захотела бы расстаться с тобой… но, если надо, уезжай хоть завтра… если надо, я готова никогда больше с тобой не видеться… лишь бы ты был счастлив.

— Но я, — сказал он низким и печальным голосом, — никогда больше не буду счастлив… я — доносчик.

— Неправда, — возразила я, — вовсе ты не доносчик… и даже если бы это было так,

ты все равно будешь счастлив… есть люди, которые действительно совершили преступления, а они счастливы… с другой стороны, возьми, к примеру, меня… когда говорят: уличная девка, можно подумать бог знает что… а я такая же женщина, как все… и часто я даже чувствую себя счастливой… например, все последнее время, — добавила я с горечью, — я была так счастлива.

— Ты была счастлива?

— Да, очень… но я знала, что так не может продолжаться бесконечно, и правда… — Мне снова захотелось плакать, но я сдержалась и прибавила: — Ты вообразил себя совсем другим человеком, не таким, какой ты есть на самом деле… вот поэтому все так получилось… а теперь будь самим собой… и ты увидишь, что все сразу станет на свои места… в конце концов, ты страдаешь из-за того, что произошло, потому что стыдишься и боишься мнения других, мнения своих друзей… а ты перестань встречаться с ними, познакомься с другими людьми, ведь свет так велик… если они недостаточно любят тебя, чтобы понять твое поведение в эту минуту слабости, то оставайся со мной, ведь я тебя люблю, понимаю и не осуждаю… по правде говоря, — воскликнула я убежденно, — если бы ты совершил в тысячу раз худший поступок, ты все равно для меня остался бы моим Мино! — Он молчал. Я продолжала: — Я бедная, необразованная девушка, это верно, но в некоторых вещах я разбираюсь лучше, чем твои друзья, и даже лучше, чем ты… я тоже пережила нечто похожее на то, что переживаешь сейчас ты… после нашей первой встречи, когда ты не захотел прикоснуться ко мне, я вбила себе в голову, что ты меня презираешь… и внезапно я потеряла всякий интерес к жизни… я чувствовала себя такой несчастной… я хотела бы стать другой и в то же время понимала, что это невозможно, что я навсегда останусь такой, какая я есть… меня жгло клеймо позора, я тосковала и совсем отчаялась… я онемела, застыла, будто меня связали… иногда я думала, что лучше умереть… потом однажды я вышла из дома с мамой, зашла случайно в церковь, стала молиться и поняла, что мне в конце концов нечего стыдиться, и если я такая, какая есть, то это лишь божья воля, я не должна проклинать свою судьбу, а наоборот, принять ее с покорностью и надеждой; и если ты презирал меня, то в этом виноват ты, а не я… короче говоря, я много передумала, и наконец отчаяние мое развеялось, и мне снова стало весело и легко.

Он рассмеялся своим леденящим душу смехом.

— В сущности, я должен был бы смириться с тем, что сделал, и больше не возвращаться к этой теме… я должен был бы смириться с тем, кем я стал, и не бунтовать… да, возможно, в церкви и случаются подобные вещи… но помимо церкви…

— А ты пойди в церковь, — предложила я, хватаясь за эту новую надежду.

— Нет, не пойду я туда… я не верю в бога, и в церкви мне скучно… а потом, что это за разговоры?

Он снова рассмеялся и, вдруг перестав смеяться и схватив меня за плечи, начал изо всех сил трясти меня и кричать:

— Да ты понимаешь, что я наделал? Понимаешь? Понимаешь?

Он с такой силой тряс меня, что у меня перехватило дыхание, потом оттолкнул, и я услышала, как он вскочил с постели и начал в темноте одеваться.

— Не зажигай свет, — с угрозой в голосе сказал он, — нужно время, чтобы я снова мог смотреть людям в глаза… а пока еще рано… берегись, если ты зажжешь свет!

Но я боялась даже дохнуть. А потом все-таки набралась смелости и спросила:

— Ты уходишь?

— Да… но я вернусь, — сказал он и снова засмеялся, — не бойся, вернусь… я даже порадую тебя… я перееду к тебе жить.

— Сюда, ко мне?

— Да, но я не собираюсь тебе мешать… живи по-прежнему… впрочем, — добавил он, — мы могли бы прожить вдвоем на те деньги, которые мне присылают из дома… ведь я платил за комнату… но в своем доме на двоих вполне хватит.

Его намерение поселиться у нас скорее удивило меня, чем обрадовало. Однако я не

осмелилась что-либо сказать. Он молча одевался в кромешной тьме.

— Я вернусь сегодня ночью, — наконец проговорил он.

Я слышала, как он открыл дверь, вышел, захлопнул за собой дверь. Я осталась одна и долго смотрела в темноту открытыми глазами.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

В тот же самый день по совету Астариты я пошла в полицейский комиссариат нашего района, чтобы дать свидетельские показания по поводу случая с Сонцоньо. Я отправилась туда нехотя, потому что после того, что произошло с Мино, все связанное с полицией и полицейскими внушало мне смертельное отвращение. Но я покорилась своей участи: я понимала, что моя жизнь отравлена, и отравлена надолго.

— Мы ждали тебя с утра, — сказал полицейский комиссар, как только я объяснила ему причину своего визита.

Это был довольно крепкий мужчина, я знала его давно; и хотя он был отцом семейства и ему уже перевалило за пятьдесят, он, как я заметила с некоторых пор, питал ко мне нечто большее, чем простую симпатию. Особенно мне запомнился его огромный пористый, как губка, нос, придававший лицу грустное выражение. Волосы у него всегда были растрепанные, а глаза полузакрытые, будто он только что встал с постели. Эти светло-голубые глаза смотрели как бы сквозь прорези маски, потому что его полное, розовое, морщинистое лицо напоминало маску, а кожа напоминала корку поздних сортов апельсина: хотя они достигают огромных размеров, внутри у них дряблая мякоть.

Я ответила, что не могла прийти раньше. Он с минуту молча смотрел на меня своими голубыми глазами, которые ярко выделялись на его апельсиновом лице, а потом спросил с видом заговорщика:

— А теперь скажи, как его зовут?

— Откуда я знаю?

— Ну, будто бы не знаешь!

— Честное слово, нет, — ответила я, прижав руку к груди, — он остановил меня на Корсо… правда, он вел себя как-то странно… но я не обратила на это внимания.

— Как же так получилось, что он оказался один в твоем доме, а тебя не было?

— У меня было назначено срочное свидание, и я ушла.

— А он подумал, что ты пошла за полицией… ты знаешь об этом?.. И он кричал, что ты доносчица.

— Да, знаю.

— И что ты еще поплатишься за это.

— Поживем — увидим.

— Разве ты не понимаешь, — спросил он, пытливо глядя на меня, — что этот человек опасен и завтра, желая отомстить тебе за твой, как он предполагает, донос, он выстрелит в тебя так же, как стрелял в агентов?

— Конечно, понимаю.

— Тогда почему же ты не хочешь назвать его имя?.. Мы его арестуем, и ты будешь жить спокойно.

— Я же вам говорю, что не знаю его… хорошенькое дело… разве я могу знать имена всех мужчин, которых привожу домой?

— А нам, — внезапно произнес он громко, с театральным поклоном, — нам известно его имя.

Я поняла, что это ложь, и спокойно ответила:

— Если оно вам известно, чего вы пристаете ко мне? Арестуйте его, и дело с концом.

Он с минуту молча смотрел на меня, и, заметив, что его нерешительный и беспокойный взгляд все чаще останавливался на моей фигуре, я поняла, что служебное усердие помимо его воли уступило место давнишнему вожделению.

— И нам известна еще одна вещь, — продолжал он, — раз он стрелял и смылся, он, видно, имел на то причину.

— В этом я тоже уверена.

— И ты знаешь эту причину.

— Ничего я не знаю… раз мне неизвестно его имя, как же я могу знать все остальное?

— Мы прекрасно знаем и все остальное, — сказал он. Он произносил все это как-то механически, видимо думая о чем-то другом; я была уверена, что сейчас он поднимется с места и подойдет ко мне.

— Мы знаем его прекрасно и скоро поймаем… это вопрос всего нескольких дней… а может быть, и часов.

— Тем лучше для вас.

Он встал, как я и предполагала, обошел вокруг стола, приблизился ко мне и, взяв меня за подбородок, сказал:

— Ну-ну… ты же все знаешь, но не хочешь сказать… чего ты боишься?

— Ничего я не боюсь, — ответила я, — ничего не знаю… и уберите-ка руки.

— Ну-ну, — повторил он, но все же вернулся к своему столу и продолжал. — Твое счастье, что ты мне нравишься, я знаю, ты хорошая девушка… а известно ли тебе, как поступил бы другой на моем месте, чтобы заставить тебя говорить? Запер бы тебя в холодную на порядочный срок… или приказал бы отправить в тюрьму Сан-Галликано.

Я поднялась со стула и сказала:

— Ну, мне некогда… если у вас больше нет ко мне вопросов…

— Ладно, ступай… да будь осторожна в подборе клиентов… политических и прочих.

Я сделала вид, что не расслышала его последних слов, сказанных с явным намеком, и поспешно вышла из этого противного помещения.

На улице я опять стала думать о Сонцоньо. Комиссар подтвердил то, о чем я догадывалась: Сонцоньо убежден, что на него донесла я, поэтому он наверняка захочет мне отомстить. Я испугалась, но не за себя, а за Мино. Сонцоньо жесток, если он застанет Мино со мной, он не задумываясь убьет и его. Признаюсь, что меня, как это ни странно, даже прельщала мысль умереть вместе с Мино. Я живо представила себе эту картину: Сонцоньо вынимает пистолет, стреляет, я бросаюсь между ним и Мино, чтобы защитить Мино, и пуля попадает в меня, а не в него. Но мне также нравилась мысль, что и Мино сражен выстрелом: мы умираем рядом, и кровь наша сливается воедино. Однако, думала я, если нас убьют в одну и ту же минуту, это будет не так трогательно, как если бы мы вместе покончили жизнь самоубийством. Лишить себя жизни одновременно с возлюбленным, казалось мне, — самый достойный финал большой любви. Это все равно что сорвать цветок, прежде чем он успеет завянуть, все равно что замкнуться в тишине, прослушав прекрасную музыку. Я нередко мечтала о таком самоубийстве, что сможет остановить время, прежде чем оно погубит в опошлит любовь, на этот шаг решаешься в радостном экстазе, забывая о страхе перед болью. В те минуты, когда мне казалось, что я люблю Мино так сильно, что не смогу любить его и дальше с той же страстью, мысль о самоубийстве вдвоем возникала у меня столь же естественно, легко и непроизвольно, как возникало желание целовать и ласкать его. Но я никогда не говорила Мино об этом, ибо знала: для того, чтобы одновременно покончить с собой, надо в одинаковой мере любить друг друга. Но Мино меня не любил, а если и любил, то не до такой степени, чтобы лишить себя жизни.

Я шла домой, погруженная в эти мысли. Внезапно у меня закружилась голова, меня затошнило и я ощутила смертельную слабость во всем теле. Я едва успела войти в молочную. До дома оставалось всего несколько шагов, но у меня не хватало сил, чтобы преодолеть даже это короткое расстояние; я боялась упасть.

Я села за столик возле стеклянной двери и, охваченная дурнотой, закрыла глаза. Я все еще чувствовала тошноту и головокружение, и состояние это усугублялось от звуков фыркающего паром кофейника, доносящихся как будто издалека, но отзывающихся странной болью в сердце. На лице и на руках я ощущала теплое дыхание спертого и

нагретого воздуха, и все же мне казалось, что я зябну. Хозяин молочной знал меня, он крикнул, не выходя из-за стойки:

— Выпьете чашку кофе, синьорина Адриана?

Не открывая глаз, я кивнула в знак согласия.

Наконец я пришла в себя и выпила чашку кофе, которую хозяин молочной поставил передо мною на столик. По правде говоря, в последнее время я не раз испытывала подобное недомогание, но все это было в более легкой, едва заметной форме. Я не обращала на это внимания еще и потому, что необычайные и грустные события полностью занимали мои мысли. Но теперь, размышляя и сопоставляя это недомогание с известным нарушением моего физического состояния, которое подтвердилось именно в этом месяце, я поняла, что подозрения, которые я гнала от себя и которые все-таки жили где-то в глубине моего сознания, оказались верными.

«Нет никакого сомнения, — внезапно подумала я, — у меня будет ребенок».

Я расплатилась за кофе и вышла из молочной. Чувство, которое я испытывала в тот момент, было весьма сложным, и даже теперь, по прошествии долгого времени, мне трудно объяснить его. Я уже говорила, что беда никогда не приходит одна; и эта новость, которую в другое время и в других условиях я встретила бы радостно, теперь, при нынешних обстоятельствах, показалась мне огромным несчастьем. Но надо признать, я устроена так, что, повинуясь какому-то неодолимому и таинственному движению души, умею находить приятное даже в самых неприятных вещах. На сей раз это было не так уж трудно, мое сердце наполнилось надеждой и радостью, которыми наполняется сердце любой женщины, когда она узнает, что у нее будет ребенок. Правда, мой ребенок родится не в таких хороших условиях, как мне хотелось бы; но все-таки это будет мой ребенок, я рожу его, воспитаю и буду им гордиться. «Дитя есть дитя, — подумала я, — и ни бедность, ни трудности, ни смутное будущее не могут помешать женщине, даже самой бедной и одинокой, радоваться тому, что она даст жизнь ребенку».

Эти размышления настолько успокоили меня, что после минутной тревоги и малодушного уныния я снова почувствовала себя, как всегда, спокойно и уверенно. Тот самый молодой врач из дежурной аптеки, к которому давным-давно потащила меня мама, чтобы выяснить, переспала я с Джино или нет, теперь принимал пациентов в кабинете недалеко от молочной. Я решила пойти к нему. Время приема еще не наступило, в прихожей пациентов не было; врач хорошо знал меня и встретил радушно. Закрыв за собой дверь, я тут же твердо заявила:

— Доктор, я почти уверена, что забеременела.

Он рассмеялся, потому что знал, чем я занимаюсь, и спросил:

— Ты огорчена?

— Ничуть не огорчена, наоборот, рада.

— Посмотрим.

Задав несколько вопросов насчет моего недомогания, он велел мне лечь на клеенчатую кушетку, осмотрел меня, а потом весело сказал:

— На сей раз попалась.

Я была рада, что его слова, подтвердившие мои подозрения, не вызвали во мне ни тени досады, я выслушала их со спокойной душой и сказала:

— Я так и знала… а пришла только для того, чтобы лишний раз удостовериться.

— Тогда можешь не сомневаться.

Он радостно потирал руки, словно сам был отцом ребенка, и переминался с ноги на ногу, весело и сочувственно глядя на меня. Но меня мучило одно сомнение, и я хотела его разрешить.

— А какой срок?

— Да около двух месяцев… чуть меньше, чуть больше… а зачем тебе?.. Хочешь знать, кто отец?

— Я уже и так знаю, — ответила я, направляясь к выходу.

— Если тебе что-либо понадобится, пожалуйста, приходи, — сказал он, открывая дверь, — а когда настанет время… ручаюсь тебе, родишь превосходного малыша.

Как и полицейский комиссар, он питал ко мне симпатию. Но в отличие от комиссара он мне нравился. Это был, как я уже говорила раньше, красивый молодой человек, смуглый, здоровый, сильный, с черными усиками, блестящими глазами, белыми зубами, резвый и веселый, как охотничий пес. Я часто ходила к нему на осмотр, по крайней мере раз в полмесяца, и два или три раза из благодарности, так как он не желал брать с меня денег, отдавалась ему на этой самой клеенчатой кушетке, на которой он только что осматривал меня. Но он был тактичен и никогда, разве что в шутливой и дружеской форме, не настаивал на этом. Он давал мне разные советы; думаю, что по-своему он даже был немного влюблен в меня.

Я сказала доктору, что знаю, кто отец моего ребенка. На самом же деле в тот момент я скорее интуитивно чувствовала это, а точно не знала. Но когда я шла по улице, роясь в памяти и считая дни, мое предчувствие превратилось в уверенность. Я вспомнила, что именно около двух месяцев назад я испытала одновременно чувство ужаса и наслаждения, и это исторгло из моей груди протяжный жалобный крик, крик агонии и экстаза, раздавшийся в темной спальне, и я пришла к заключению, что отцом ребенка мог быть только Сонцоньо. Конечно, страшно было сознавать, что я зачала ребенка от Сонцоньо, от этого беспощадного и жестокого убийцы, и особенно страшно, что ребенок может стать похожим на отца и унаследовать его характер. С другой стороны, я должна была признать, что Сонцоньо имеет право на это отцовство. Сонцоньо был единственным из всех близких мне мужчин, которому удалось по-настоящему овладеть мною, затронуть самую сокровенную и темную сторону моей плоти, не вызывая при этом никакого отклика в моем сердце. И тот факт, что я, испытывая ужас и страх перед ним, отдалась ему помимо своей воли, не опровергал, а, наоборот, подтверждал всю силу и сложность его власти надо мною. Ни Джино, ни Астарита, ни даже Мино, к которому я питала совершенно особое чувство, не пробудили во мне ощущения столь естественной, хотя и ненавистной мне, власти. Все это казалось мне странным и в то же время жутким; но так уж устроена жизнь: чувства — это единственное, что бесполезно отрицать, их ни отвергнешь, ни проанализируешь до конца. В заключение я пришла к выводу, что для любви нужны одни мужчины, а для зачатия детей — другие, и если верно то, что отец моего ребенка — Сонцоньо, то не менее верно и другое: я ненавидела его, избегала, а любила лишь одного Мино.

Я медленно поднялась по лестнице, думая о той жизни, которую отныне носила в своем чреве. Войдя в переднюю, я услышала разговор, доносящийся из большой комнаты. Я заглянула туда и, к своему удивлению, увидела Мино, он сидел за столом и спокойно беседовал с мамой, которая собиралась шить. В самом центре комнаты горела лампа, положение которой можно было изменить с помощью противовеса, а бóльшая часть мастерской была погружена в темноту.

— Добрый вечер, — сказала я, медленно входя в комнату.

— Добрый вечер, добрый вечер, — произнес Мино хриплым и нетвердым голосом. Взглянув на него, я заметила, как блестят его глаза, и решила, что он пьян. На одном конце стола была расстелена скатерть, стояли два прибора, а так как мама всегда ела на кухне, я поняла, что второй прибор предназначался для Мино. — Добрый вечер, — повторил он, — я принес свои вещи… они там… и я успел подружиться с твоей мамой… не правда ли, синьора, мы на редкость хорошо понимаем друг друга?

При звуках этого насмешливого и мрачно-игривого голоса сердце мое сжалось. Я в изнеможении опустилась на стул и на минуту прикрыла глаза. Я услышала мамин ответ:

— Это вы говорите, что мы понимаем друг друга… но если вы будете плохо отзываться об Адриане, то мы никогда не столкуемся.

— А что я такого сказал? — воскликнул Мино с притворным удивлением. — Что Адриана создана для жизни, которую она ведет… что Адриана чудесно приспособилась к этой жизни… что же тут худого?

— Вот это-то и неверно, — услышала я возражение мамы, — Адриана не создана для такой жизни… при ее красоте она заслуживает лучшей участи, самой лучшей… известно ли вам, что Адриана одна из красивейших девушек в нашем квартале, а может быть, и во всем Риме?.. Многие во сто раз хуже ее, а живут лучше… а у Адрианы, которая прекрасна, как королева, ничего нет… и я знаю почему.

— Почему?

— Потому что она слишком добрая… вот почему… потому, что она красивая и добрая… если бы она была красивой и злой, все было бы иначе.

— Хватит, хватит, — сказала я, раздосадованная этим спором и особенно тоном Мино, который, видимо, подшучивал над мамой, — я голодна… ужин еще не готов?

— Готов, я сейчас.

Мама положила шитье на стол и поспешно вышла. Я поднялась и пошла вслед за ней на кухню.

— Разве мы открыли пансион? — проворчала она, как только я приблизилась. — Явился сюда… как хозяин… поставил чемоданы в твоей комнате… дал мне денег на расходы.

— Ты что, недовольна?

— Я предпочитаю, чтобы все было по-старому.

— Ну, ладно, считай, что мы жених и невеста… а кроме того, это временно, всего на несколько дней, не останется же он здесь навсегда.

Я сказала еще что-то в том же духе и, желая задобрить маму, обняла ее и вернулась в комнату.

Надолго запомню я этот первый ужин Мино в нашем доме. Он беспрестанно шутил, однако не забывал о еде и ел с большим аппетитом. Но его шутки казались мне холоднее льда и горше полыни. Было ясно, что лишь одна мысль владела им, она впилась в мозг, подобно терниям, вонзающимся в тело; шутки только бередили рану и еще глубже проникали в нее своим жалом, всякий раз вызывая новую острую боль. Это была мысль о том, что он проболтался Астарите: по правде говоря, я никогда не видела человека, который бы так раскаивался в своем поступке. Еще в детстве священники внушили мне, будто раскаяние снимает вину, но в отличие от этого раскаянию Мино, казалось, не будет конца, оно никогда не иссякнет, не принесет облегчения. Я понимала, что он ужасно страдает, и сама страдала вместе с ним в равной мере, а быть может, даже больше, ибо не в силах была развеять или хотя бы смягчить эти страдания.

Мы молча съели первое. Потом мама, которая подавала нам и стояла возле стола, сказала что-то о ценах на мясо, и тогда Мино, подняв голову, произнес:

— Не беспокойтесь, синьора… отныне это моя забота, я не сегодня-завтра получу очень хорошее место.

Эти слова вселили в меня надежду. Мама спросила:

— Что это за место?

— В полиции, — ответил Мино с подчеркнутой и удручающей серьезностью, — меня устроит один друг Адрианы… синьор Астарита. — Я отложила нож и вилку и внимательно посмотрела на него. А он продолжал: — Они находят, что у меня есть все качества для службы в полиции.

— Может, это и так, — сказала мама, — но я никогда не любила полицейских… сын прачки, которая живет внизу, тоже стал полицейским… знаете, что заявили ему парни, которые работают здесь рядом, на цементном складе? «Держись-ка теперь от нас подальше, мы тебя и знать не желаем…» И потом в полиции мало платят.

Презрительно скривив рот, мама сменила ему тарелку и поставила перед ним блюдо с мясом.

— Но речь идет не о такой работе, — возразил Мино, накладывая себе жаркое, — в данном случае речь идет об одном важном месте… деликатном… секретном… э-э, черт возьми!.. Разве зря я учился?.. Ведь я почти закончил университет… я знаю языки… в

полицейские идут бедняки, а не такие люди, как я.

— Может, это и так, — повторила мама. — Ешь, — прибавила она, положив мне в тарелку самый большой кусок мяса.

Мино сказал:

— Не может, а так оно и есть. — Помолчав немного, он снова заговорил: — Правительству известно, что повсюду есть злоумышленники… не только среди бедных людей, но и среди богатых… чтобы следить за богатыми, нужны образованные люди, которые и разговаривают, как они, и одеваются, как они, и имеют те же манеры, одним словом, умеют войти в доверие… вот мне и поручают это дело… я буду зарабатывать большие деньги, жить в фешенебельных отелях, разъезжать в вагонах первого класса, обедать в лучших ресторанах, одеваться у знаменитого портного, отдыхать на модных курортах, в самых шикарных горных пансионатах… черт возьми… за кого вы меня принимаете?

Теперь мама слушала его, широко раскрыв рот. Весь этот блеск просто ослепил ее.

— Если так, — проговорила она наконец, — мне сказать нечего.

Я перестала есть. Внезапно я поняла, что не могу больше присутствовать при разыгрывании этой мрачной комедии.

— Я устала и иду к себе, — резко сказала я, поднялась и вышла из мастерской.

В спальне я села на кровать, съежилась и тихо заплакала, закрыв лицо руками. Я думала о беде, которая приключилась с Мино, о ребенке, который должен у меня родиться, и мне казалось, что и беда и ребенок росли независимо от меня, я никак не могла повлиять на них, они существовали сами по себе, и ничего уж тут не поделаешь. Немного погодя вошел Мино, я сразу же встала и принялась ходить по комнате, чтобы не показывать ему своих слез и незаметно вытереть глаза. Он закурил сигарету и лег на постель. Я села возле него и сказала:

— Мино, прошу тебя… не разговаривай так с мамой.

— Почему?

— Потому что она-то ничего не понимает… а я все понимаю, и каждое твое слово для меня — нож в сердце.

Он ничего не ответил и продолжал молча курить. Я вынула из ящика комода свою сорочку, взяла иглу и катушку шелковых ниток, села на кровать возле лампы и принялась штопать белье. Я не хотела разговаривать, боясь, что он опять заведет речь все о том же, и надеялась, что в тишине он отвлечется от своих горьких дум. Шитье требует внимательных глаз, но оно не занимает ума, всем, кому приходилось заниматься шитьем, это известно. Я шила, а в голове лихорадочно метались мысли, и, когда я быстро втыкала иголку в материю и делала стежок за стежком, мне казалось, что я пытаюсь сшить воедино обрывки своих мыслей. Теперь меня, как и Мино, преследовало то же наваждение, я не могла не думать о том, что́ он сказал Астарите, и о тех последствиях, которые вызовет его поступок. Но я старалась отвлечься, потому что в силу необъяснимого воздействия боялась направить его мысли на тот же самый предмет и таким образом поневоле заставить его еще острее почувствовать свое несчастье. Поэтому я решила думать о чем-нибудь светлом, веселом, приятном и всей душой обратилась к мыслям о ребенке, которого ждала и который действительно был единственным светлым пятном в моей печальной жизни. Я представила себе его в двух-трехлетнем возрасте; это самый приятный возраст, в это время дети бывают особенно забавны и милы; и, представляя себе, что он будет делать и говорить и то, как я буду воспитывать его, я и в самом деле повеселела и даже на какое-то время забыла о Мино и его несчастье. Я кончила зашивать сорочку и, взявшись за починку следующей, подумала, что, если я начну понемногу готовить приданое для ребенка, это разрядит напряженную атмосферу тех долгих часов, которые мы будем проводить вместе с Мино. Однако необходимо сделать это так, чтобы никто ничего не заметил, или же надо найти какой-нибудь благовидный предлог. Я решила, что скажу Мино, будто делаю приданое в подарок нашей соседке, которая действительно ждала ребенка, и моя выдумка показалась

мне удачной, тем более, что я уже говорила Мино об этой женщине и о ее бедственном положении. Эти мысли настолько захватили меня, что я незаметно для себя начала тихонько напевать. У меня хороший слух, хотя голос не очень сильный, но его приятный тембр угадывается даже в разговоре. Я пела популярную в то время песенку «Грустная вилла». Когда, откусывая нитку, я подняла глаза от шитья, то заметила, что Мино в упор смотрит на меня. Я испугалась, что он упрекнет меня за то, что я пою в такую тяжелую для него минуту, и замолчала.

Он все еще смотрел на меня, а потом сказал:

— Спой еще.

— Тебе нравится, что я пою?

— Да.

— Но ведь я плохо пою.

— Неважно.

Я снова взялась за шитье и начала петь уже для Мино. Как все девушки на свете, я заучивала песни, и мой «репертуар» был довольно обширен, ибо у меня прекрасная память и я помню даже те песни, которые слышала в детстве. Я пела песню за песней и, кончив одну, сразу же заводила другую. Сперва я пела тихо, потом, увлекшись, стала петь громко, вкладывая в пение все чувство, на которое была способна. Песня сменяла песню, одна была непохожа на другую, и я, не допев одной, уже думала о следующей. Мино внимательно слушал меня, лицо его было спокойно, и я радовалась, что отвлекаю его от грустных мыслей. И тут я вспомнила, как однажды в детстве я потеряла свою любимую игрушку и долго плакала, мама, желая успокоить меня, присела ко мне на кроватку и начала петь те песни, которые знала. Пела она плохо, фальшиво, и все-таки я сперва успокоилась и слушала ее вот так же, как Мино слушал меня. Но немного погодя мысль о потерянной игрушке снова вернулась ко мне и отравила то сладкое состояние забытья, в котором я находилась под влиянием маминого пения, так что в конце концов я не выдержала и опять разревелась, а мама, потеряв терпение, погасила свет и ушла, оставив меня плакать в темной комнате, сколько мне вздумается. Я знала, что, когда пройдет обманчивое чувство облегчения, вызванное моим пением, к Мино снова вернутся его муки и рядом с моими легкомысленными и чувствительными песенками они покажутся ему вдвойне невыносимыми; и я не ошиблась. Я пела почти целый час, потом он резко оборвал меня:

— Хватит… надоели мне твои песни.

Он повернулся ко мне спиной и поджал ноги, будто собирался спать.

Я предвидела такой исход и ничуть не обиделась. Впрочем, отныне я уже не ждала ничего, кроме неприятностей, и удивилась бы, если бы все пошло хорошо. Я поднялась и уложила в ящик заштопанные вещи. Потом молча разделась и, откинув одеяло, легла в постель рядом с Мино. Так мы долго лежали, повернувшись друг к другу спиной, и молчали. Я знала, что Мино не спит и думает все о том же, и это сознание, а главное, острое ощущение моего бессилия вызывали целый вихрь беспокойных и отчаянных мыслей. Лежа на боку и продолжая размышлять, я взглянула в угол комнаты. Там стоял один из двух чемоданов, которые Мино принес с собой из дома вдовы Медолаги; старый чемодан из желтой кожи был весь оклеен разноцветными ярлыками гостиниц. Среди этих ярлыков выделялся один, прямоугольный, на нем было изображено голубое море, большая красная скала и ниже написано: Капри. В полумраке комнаты среди тусклых и темных вещей это голубое пятно как бы светилось и казалось мне уже не пятном, а окошком, сквозь которое я видела берег далекого моря. Меня вдруг охватила тоска но веселому морю, в живой воде которого каждый предмет, даже самый безобразный и бесформенный, очищается, шлифуется, округляется, уменьшается в размере, становится красивым и чистым. Я всегда любила море, даже такое знакомое и кишащее людьми, как в Остии; при виде моря меня всегда охватывает чувство свободы, море услаждает не столько мой взор, сколько мой слух своей волшебной и бесконечной музыкой волн. Я думала о море, и мне ужасно хотелось окунуться в его прозрачные воды, которые очищают не только тело, но и душу, наполняют

ее радостью и легкостью. Если удастся увезти Мино к морю, то, пожалуй, эта безграничность, это вечное движение и этот вечный шум сделают то, чего я не сумела добиться своей любовью. Внезапно я спросила:

— Ты бывал на Капри?

Не поворачиваясь ко мне, он ответил:

— Да.

— Там красиво?

— Да… очень красиво.

— Послушай, — сказала я, повернувшись К нему и обняв его за шею, — почему бы нам не поехать на Капри… или в какое-нибудь другое место на море?.. Здесь, в Риме, ты будешь все время думать о неприятных вещах… а если ты переменишь обстановку и уедешь, я уверена, ты на все будешь смотреть совсем иначе… ты бы увидел много такого, чего сейчас просто не замечаешь… думаю, что это принесло бы тебе большую пользу.

Он ничего не ответил, казалось, он обдумывал мои слова. Потом сказал:

— Мне нет нужды ехать на море… я бы мог и здесь, как ты говоришь, смотреть на вещи совсем иначе… для этого нужно, чтобы я, как ты советуешь, смирился с тем, что я сделал… и тогда действительно я смог бы наслаждаться небом, землей, тобой, всем остальным… ты думаешь, я не понимаю, что мир прекрасен?

— Ну тогда, — сказала я тревожно, — смирись… что тебе стоит?

Он рассмеялся.

— Надо было так думать и прежде… как ты… смириться с самого начала… нищие, которые греются на солнышке, сидя на церковной паперти, смирились с самого начала… а мне уже поздно.

— Но почему?

— Есть люди, которые смиряются, а есть такие, которые не смиряются… очевидно, я принадлежу ко вторым… — Я молчала, не зная, что сказать. Немного погодя он прибавил: — А теперь погаси свет… я разденусь… пора спать.

Я повиновалась, он разделся в темноте и лег возле меня. Я хотела было обнять его. Но он молча оттолкнул меня и свернулся калачиком на самом краю постели ко мне спиной. Меня огорчила его грубость, и я тоже, поджав ноги и ощущая в душе ужасную пустоту, стала ждать, когда наконец придет сон. Я снова начала думать о море, и мне захотелось утонуть. Мучение, вероятно, продлится всего лишь один миг, а потом мое бездыханное тело еще долго будет носиться по волнам, а надо мною раскинется бескрайнее небо. Чайки выклюют мне глаза, солнце выжжет грудь и живот, рыбы обгложут мою спину. В конце концов я уйду под воду, опрокинусь вниз головой и меня затянет какое-нибудь голубое и холодное течение. И оно будет носить меня в глубинах моря много месяцев и много лет среди подводных скал, рыб и водорослей, и прозрачная соленая вода, непрестанно лаская мой лоб, грудь, ноги, будет уносить частицы моего тела, постепенно шлифуя его и уменьшая в размере. И наконец в один прекрасный день волна с шумом выбросит на берег то, что останется от меня: горстку белых и хрупких костей. Мне было приятно представлять, как течение утянет меня за волосы туда, на дно морское, приятно было думать, что я стану лишь горсткой размытых и потерявших очертания человеческого скелета белых костей, которые будут лежать среди гладких камешков на берегу моря. И быть может, какой-нибудь человек нечаянно наступит на мои кости и превратит их в белую пыль. Упиваясь этими печальными картинами, я наконец заснула.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Сколько ни старалась я убедить себя в том, что отдых и сон благотворно подействуют на Мино, я сразу же поняла на другой день: ничто не изменилось. Более того, положение еще ухудшилось. Как и накануне, мрачные часы упорного молчания сменялись у него безудержной, полной сарказма болтовней о каких-то пустяках; но как на бумаге проступают

водяные знаки, так во всех его разговорах проскальзывала одна и та же мысль, которая преобладала над остальными. А ухудшение, на мой взгляд, состояло в ленивом равнодушии, апатии, небрежности, что для него, человека деятельного и энергичного, было ново и, по-видимому, указывало на то, что он все больше и больше удаляется от вещей, которыми занимался прежде. Я открыла чемоданы и переложила в свой шкаф его костюм и белье. Когда же дошла очередь до его книг и учебников, я предложила поместить их пока что на мраморную доску комода возле зеркала, но он огрызнулся:

— Оставь их в чемодане… мне они больше не понадобятся.

— Почему же? — спросила я. — Разве тебе не нужно сдавать выпускные экзамены?

— Не буду я больше сдавать никаких экзаменов.

— Ты не хочешь больше учиться?

— Не хочу.

Я не стала настаивать, так как боялась, что он снова заговорит о вещах, которые его мучили, и оставила книги в чемодане. Я заметила также, что он не моется и не бреется. Раньше он всегда отличался чистоплотностью и аккуратностью. Весь второй день он провел в моей комнате: то валялся на постели и курил, то задумчиво шагал взад-вперед, заложив руки в карманы. За обедом он, как и обещал мне, не заговаривал с мамой. Вечером он сказал, что не будет ужинать дома, и ушел, а я не осмелилась пойти вместе с ним. Не знаю, куда он ходил, я уже собиралась ложиться спать, когда он вернулся, и я тотчас же заметила, что он пьян. Он с насмешливым видом неуклюже обнял меня и захотел овладеть мною, я была вынуждена уступить, хотя понимала, что теперь для него любовь, как и вино, была той малоприятной обязанностью, исполняемой через силу, с единственной целью утомить себя и забыться. Я сказала ему:

— Тебе все равно, я или другая женщина.

Он рассмеялся и ответил:

— Верно, мне все равно… но ты тут, под рукой.

Слова эти меня не просто обидели, они ранили меня, ибо доказывали, как мало он меня любит, а вернее, и вовсе не любит.

Потом внезапно меня словно осенило, и я, повернувшись к нему, сказала:

— Послушай… пусть я всего-навсего простая бедная девушка, но ты постарайся полюбить меня… прошу тебя об этом для твоего же блага… если тебе удастся меня полюбить, то в конце концов ты полюбишь и самого себя, поверь мне.

Он посмотрел на меня, потом громко и с издевкой пропел:

— Любовь, любовь, — и погасил свет.

Я еще долго сидела в темноте с широко раскрытыми глазами, огорченная, недоумевающая, не зная, что и подумать.

Последующие дни не принесли никаких перемен, все шло по-старому. Взамен прежних привычек у него вдруг появились новые, только и всего. Раньше он занимался, посещал университет, встречался со своими друзьями в кафе, читал. Теперь он валялся на постели, курил, шагал по комнате, вел все те же странные и многозначительные разговоры, напивался, а потом спал со мной. На четвертый день я впала в полное отчаяние. Я понимала, что его боль нисколько не притупилась, и мне казалось, что жить дальше с такой болью невозможно. Моя комната, полная табачного дыма, представлялась мне фабрикой скорби, которая работает круглые сутки без перерыва; сам воздух, который я вдыхала, стал для меня сгустком грустных и отчаянных мыслей. В такие минуты я проклинала свою глупость и свое невежество и мучилась при мысли, что мама еще глупее и невежественнее меня. В тяжелые периоды жизни первым делом возникает желание обратиться за советом к старым и более опытным людям. Но я не знала таких людей, а просить помощи у мамы было все равно что просить помощи у детей, играющих в нашем дворе. С другой стороны, мне не удавалось до конца постичь боль Мино, многое оставалось мне непонятным; постепенно я пришла к выводу: больше всего его мучила мысль, что весь разговор с Астаритой остался зафиксированным на бумаге и хранится в архиве полиции как вечное свидетельство его

минутной слабости. Кое-какие его фразы подтвердили мои догадки. Однажды я сказала ему:

— Если тебя волнует, что они записали твой разговор с Астаритой… Астарита сделает для меня все… я уверена, если я его попрошу, он уничтожит протокол допроса.

Он посмотрел на меня и спросил каким-то странным тоном:

— Почему тебе пришла в голову такая мысль?

— Ты же сам говорил об этом на днях… я посоветовала тебе забыть, а ты мне ответил, что если ты сам забудешь, то полиция все равно не забудет.

— А как ты его попросишь?

— Очень просто… позвоню ему по телефону и пойду в министерство.

Он не ответил ни да ни нет. Я продолжала настаивать:

— Ну хочешь, я его попрошу?

— Что ж, попроси.

Мы вышли из дома и направились в молочную позвонить по телефону. Я застала Астариту на месте и сказала ему, что мне необходимо с ним поговорить. Я спросила у него, могу ли я прийти к нему в министерство. А он необычно строгим для него, хотя и заикающимся, голосом ответил:

— Или у тебя дома, или нигде.

Я поняла, что он хочет получить вознаграждение за услугу, оказанную мне, и я попыталась увильнуть.

— Встретимся в кафе, — предложила я.

— Или у тебя дома, или нигде.

— Ну, ладно, — согласилась я, — приходи ко мне. И добавила, что буду ждать его сегодня же вечером. — Я знаю, чего он хочет, — сказала я Мино, когда мы возвращались домой. — Он хочет переспать со мной… но никто не может принудить к этому женщину, если она того не хочет… правда, он однажды уже прибегнул к шантажу, но тогда я была совсем неопытна, теперь это ему не удастся.

— А почему ты не хочешь спать с ним? — спросил он небрежно.

— Потому что я люблю тебя.

— Однако, — сказал он все тем же небрежным тоном, — если ты не захочешь спать с ним, он возьмет и откажется уничтожить протокол допроса… и что тогда?

— Уничтожит, не бойся.

— А если он согласится уничтожить его только при одном условии?

Мы поднимались по лестнице, я остановилась и проговорила:

— Тогда я поступлю так, как ты скажешь.

Он обнял меня за талию и медленно произнес:

— Так я скажу вот что: ты пригласишь Астариту и введешь его в свою комнату, будто собираешься с ним спать… я буду стоять за дверью и, как только он войдет, убью его выстрелом из пистолета… потом мы затолкаем его под кровать, а сами будем предаваться любви всю ночь напролет.

Глаза его блестели, впервые с них спала мутная пелена, застилавшая их все эти дни. Я испугалась потому, что предложение его внешне выглядело логичным, и еще потому, что теперь я постоянно ждала каких-то ощутимых жутких событий, и даже это преступление стало казаться мне вполне реальным.

— Пощади меня, Мино! — воскликнула я. — Не говори об этом даже в шутку.

— Не говори даже в шутку, — повторил он, — но ведь я действительно пошутил.

Я подумала, что, может быть, он и не шутит, но меня успокаивала мысль, что его пистолет разряжен, я, как уже говорила, без его ведома вынула оттуда патроны.

— Будь спокоен, — продолжала я, — Астарита сделает все, что я пожелаю… но только не говори таких вещей… мне страшно.

— Уж будто и пошутить нельзя! — легкомысленно отозвался он и вошел в квартиру.

Как только мы очутились в мастерской, им вдруг овладело какое-то волнение. Он принялся шагать взад и вперед по комнате, засунув по своей привычке руки в карманы. Но

движения его изменились, стали более энергичными, чем обычно, лицо выражало глубокое и ясное раздумье, а не прежнее отвращение и апатию. Он, несомненно, испытывает облегчение при мысли, что компрометирующие его документы скоро будут уничтожены, подумала я, и в моем сердце вновь родилась надежда, Я сказала:

— Вот увидишь, все уладится.

Он вздрогнул всем телом, взглянул на меня, как будто увидел впервые, а потом машинально повторил:

— Да, конечно… все уладится.

Я выпроводила из дома маму, попросив ее купить что-нибудь к ужину. Внезапно меня охватила радость. Я подумала, что все действительно уладится, быть может, все устроится даже лучше, чем я предполагаю. Астарита сделает — если уже не сделал — все, о чем я его попрошу, а Мино постепенно избавится от угрызений совести и снова почувствует интерес к жизни, опять будет с надеждой смотреть в будущее. Всем людям, когда с ними случается беда, хочется лишь одного: чтобы она поскорее прошла; и как только им почудится, что ветер переменился, они тут же начинают строить самые невероятные, самые честолюбивые планы. Два дня назад я считала, что готова отказаться от Мино, лишь бы знать, что он счастлив; но теперь, когда я надеялась вернуть ему счастье, я не только не собиралась с ним расставаться, но старалась найти способ покрепче привязать его к себе. Я понимала, что мною в данном случае руководит не расчет, а какое-то непонятное состояние души, в которой всегда теплится надежда и которая не может долго выносить беспокойства и отчаяния. Мне казалось, что при нынешнем положении вещей у нас есть только два выхода: либо мы расстанемся, либо соединим навсегда наши судьбы; и так как я не желала даже и думать о разлуке, то я судорожно искала средства поскорее осуществить свой план совместной жизни. Я не люблю лгать и считаю, что одним из немногих моих достоинств является правдивость, иной раз даже излишняя. И если в тот момент я солгала Мино, то лишь потому, что была уверена, будто я говорю правду… правду, которая правдивее самой правды, правду, которая идет из глубины души, а не от реальных фактов. Впрочем, я ни о чем и не думала, на меня как будто нашло вдохновение.

Он все еще шагал взад и вперед по комнате, а я сидела у стола. Неожиданно я сказала:

— Послушай… да остановись ты… я должна сказать тебе одну вещь.

— Что такое?

— С некоторых пор я чувствую себя неважно… на днях я пошла к врачу… я беременна…

Он остановился, посмотрел на меня и повторил:

— Беременна?

— Да… и я твердо уверена, что ребенок твой.

Мино был умен, и он тотчас же прекрасно понял, что́ побудило меня сделать это признание, хотя, конечно, не мог догадаться об обмане. Он взял стул, сел возле меня, ласково погладил по щеке и сказал:

— Полагаю, что это и есть самый главный довод, самый убедительный довод, который должен заставить меня забыть все, что произошло, и жить дальше… не так ли?

— Что ты хочешь этим сказать? — спросила я, делая вид, что не понимаю его слов.

— Я превращаюсь в pater familias,[4] — продолжал он, — и то, чего я не желал делать ради твоей любви, теперь я обязан буду сделать, как обожаете говорить вы, женщины, ради этого создания.

— Поступай как знаешь, — сказала я, пожав плечами, — я сказала только потому, что это правда… вот и все.

— В детях, в конце концов, — продолжал он рассудительным тоном, будто думал вслух, — быть может, заключен весь смысл жизни… многие люди, почти все, и не требуют

---

[4] Отец семейства (*лат.*).

большего… ведь дети служат прекрасным оправданием… позволительно даже красть и убивать ради детей.

— Но кто тебя просит красть и убивать? — перебила я его с негодованием. — Я хочу только, чтобы тебя это радовало, если не радует — что поделаешь.

Он посмотрел на меня и снова ласково погладил по щеке:

— Если ты довольна, то и я доволен… А ты довольна?

— Я да, — уверенно и гордо ответила я, — во-первых, я люблю детей, а во-вторых, это твой ребенок.

Он рассмеялся и сказал:

— А ты хитрая…

— Почему хитрая… велика хитрость забеременеть!

— Действительно не велика… но признайся, что в такой момент, при таких обстоятельствах это смелый ход… я беременна, итак…

— Итак?..

— Итак, ты обязан смириться с тем, что сделал, — неожиданно закричал он, вскочил на ноги и замахал руками, — итак, ты должен жить, жить, жить!

Невозможно передать, каким тоном он произнес эти слова. Сердце мое сжалось от боли, а глаза наполнились слезами. Я прошептала:

— Поступай как знаешь… если хочешь, оставь меня, да я и сама могу уйти.

Он, видимо, раскаялся в своем поступке, подошел ко мне и, приласкав, сказал:

— Прости меня… не обращай внимания на мои слова… думай о своем ребенке, а обо мне не беспокойся.

Я взяла его руку, провела ею по своему лицу и, оросив ее слезами, прошептала:

— О Мино… как же я могу не беспокоиться о тебе?

Мы долго молчали. Он стоял возле меня, а я прижимала его руку к своему лицу, целовала ее и плакала. И тут мы услышали звонок в дверь.

Мино отпрянул от меня и сильно побледнел; но в ту минуту я не поняла причины этого волнения и не стала его расспрашивать. Я вскочила на ноги и сказала:

— Ну… вот и Астарита… уходи скорее.

Он вышел на кухню, неплотно прикрыв дверь. Я торопливо вытерла слезы, поставила на место стулья и пошла в прихожую. Я снова была совершенно спокойна и уверена в себе, и в темной прихожей я даже подумала, что сообщу Астарите о своей беременности: он оставит меня в покое, и если не захочет из любви ко мне оказать ту услугу, о которой я его попрошу, то окажет ее из жалости.

Я открыла дверь и отступила назад: на пороге стоял не Астарита, а Сонцоньо.

Он держал руки в карманах, я было попыталась прикрыть дверь, но он небрежным толчком плеча распахнул ее настежь и вошел. Я пошла вслед за ним в мастерскую. Он остановился возле стола, спиной к окну. Как всегда, он был без шляпы, и, войдя в комнату, я сразу же почувствовала на себе его пристальный и колючий взгляд. Я закрыла дверь и с притворным равнодушием спросила:

— Зачем явился?

— Ты на меня донесла, а?

Пожав плечами, я села за стол и сказала:

— Я на тебя не доносила.

— Ты оставила меня здесь, а сама вышла из дома и побежала за полицией.

Я была спокойна. Если я и испытывала какие-то чувства, то скорее гнев, чем страх. Он уже не внушал мне ужаса, и я чувствовала, как во мне поднимается злоба против всех, кто так же, как и он, мешали мне быть счастливой. Я сказала:

— Я оставила тебя одного, а сама ушла, потому что я люблю другого и не хочу больше иметь с тобой ничего общего… но я не вызывала полицию… доносами я не занимаюсь… полицейские пришли сюда сами… они искали совсем другого человека.

Он подошел ко мне вплотную, схватил меня за щеки двумя пальцами и так сильно

сжал, что я невольно раскрыла рот и наклонилась в его сторону. Он произнес:

— Благодари бога, что ты женщина!

Он все сильнее сжимал мое лицо, от боли я скорчила гримасу, чувствуя, какой у меня нелепый и уродливый вид. Мною овладела ярость, я вскочила на ноги, оттолкнула его и закричала:

— Пошел вон, сумасшедший!

Он снова заложил руки в карманы, пододвинулся ко мне и вперил в меня свой пристальный взгляд. Я снова закричала:

— Сумасшедший… пошел вон, убирайся, кретин, противны мне твои мускулы… твои голубые глазки… твоя бритая башка!

Он и впрямь сумасшедший, подумала я, видя, как он все так же молча, но с едва заметной улыбкой, кривившей его тонкие губы, надвигался на меня, по-прежнему держа руки в карманах и пристально глядя мне в глаза. Я отбежала к другому концу стола, схватила тяжелый портновский утюг и закричала:

— Уходи вон, кретин… не то вот эта штука полетит тебе в морду.

Он на минуту остановился в раздумье. В этот момент дверь за моей спиной отворилась и на пороге появился Астарита. Очевидно, он увидел, что дверь не заперта, и вошел. Я повернулась к нему и крикнула:

— Скажи этому типу, чтобы он ушел… не знаю, что ему от меня надо… скажи ему, чтобы он ушел!

Я почему-то обрадовалась, когда увидела элегантно одетого Астариту. На нем было двубортное серое совсем новое пальто и шелковая белая в красную полоску сорочка. Серебристо-серый галстук красиво выделялся на фоне синего костюма. Он посмотрел на меня — я все еще сжимала в руке утюг, — потом перевел взгляд на Сонцоньо и произнес спокойным голосом:

— Ведь синьорина сказала тебе, чтобы ты ушел, чего же ты ждешь?

— Мне и синьорине, — тихо, почти шепотом ответил Сонцоньо, — надо кое о чем поговорить… лучше уйдите вы.

Войдя, Астарита сразу же снял серую фетровую шляпу с полями, отороченную шелковой лентой. Он не спеша положил шляпу на стол и двинулся в сторону Сонцоньо. Меня поразило его поведение. Его черные обычно грустные глаза вдруг загорелись задорным огоньком, большой рот растянулся, и углы губ приподнялись в довольной и вызывающей улыбке, обнажив зубы. Отчеканивая каждое слово, он произнес:

— А-а, ты не хочешь уходить… а я тебе говорю, что ты уйдешь, вот увидишь… и сию же минуту!

Сонцоньо отрицательно замотал головою, но, к моему удивлению, сделал шаг назад. И тогда я особенно отчетливо вспомпила, кем был Сонцоньо. Я испугалась, но не за себя, а за Астариту, который в своем неведении бесстрашно бросал ему вызов. И я испытывала то же чувство тревоги, которое охватывало меня в детстве, когда я бывала в цирке и видела, как щуплый укротитель с хлыстом в руке смело шел навстречу огромному рычащему льву и дразнил его.

«Осторожно, — хотела было крикнуть я, — это убийца, злодей».

Но у меня не хватило сил произнести эти слова. Астарита повторял:

— Итак, уйдешь ты… да или нет?

Сонцоньо снова отрицательно покачал головой, но сделал еще один шаг назад. Астарита тоже шагнул вперед. Теперь они стояли друг против друга, оба были почти одного роста.

— Между прочим, кто ты такой? — спросил Астарита все с той же усмешкой. — Как тебя зовут? А ну-ка отвечай быстро!

Сонцоньо ничего не ответил.

— Не хочешь сказать, а? — произнес Астарита почти ласковым голосом, как будто молчание Сонцоньо доставляло ему даже какое-то удовольствие. — Не хочешь назвать себя

и не хочешь уходить… не так ли?

Он обождал минуту, потом поднял руку и дважды ударил Сонцоньо сперва по одной щеке, затем по другой. Я поднесла кулак ко рту и впилась в него зубами: «Теперь Сонцоньо убьет его», — подумала я и зажмурила глаза. Но тут я услышала голос Астариты:

— А теперь убирайся… да поскорее, ну, живо!

Когда я открыла глаза, то увидела, как Астарита, ухватив Сонцоньо за шиворот, подталкивал его к двери. Щеки Сонцоньо еще горели от пощечин, но он, кажется, не сопротивлялся и позволял тащить себя, пребывая в какой-то растерянности. Астарита вытолкал его из мастерской, потом я услышала, как с силой захлопнулась входная дверь, и Астарита вновь появился на пороге.

— Кто он такой? — спросил Астарита, машинально снимая ворсинку с рукава и оглядывая себя, как будто опасался, что в этой схватке пострадало его элегантное пальто.

— Я не знаю фамилии… знаю только, что его зовут Карло, — солгала я.

— Карло, — повторил он, усмехаясь и покачивая головой.

Потом он подошел ко мне. Я стояла возле окна и смотрела на улицу. Астарита обнял меня за талию и спросил уже изменившимся голосом.

— Как поживаешь?

— Я живу хорошо, — ответила я, не глядя на него.

Он пристально смотрел на меня, потом сильно прижал к себе, не говоря ни слова. Я мягко отстранилась от него и добавила:

— Ты был очень добр ко мне… я позвонила тебе, чтобы попросить тебя еще об одной услуге.

— Ну, говори, — сказал он, глядя на меня, но казалось, не слышал моих слов.

— Тот юноша, которого ты допрашивал… — начала я.

— Ах да, — перебил Астарита поморщившись, — опять он… да, он вел себя отнюдь не как герой.

Мне захотелось узнать правду о допросе Мино, и я спросила:

— Почему?.. Он струсил?

Астарита ответил, покачав головой:

— Не знаю, струсил или нет… но при первом же вопросе он все выложил… если бы он стал отрицать, я ничего не смог бы с ним сделать… улик-то ведь не было.

«Выходит, — подумала я, — все было именно так, как рассказывал Мино. На него внезапно нашло какое-то затмение, будто он рухнул в бездну, хотя ему не предъявляли никаких улик, ни к чему не вынуждали и у него не было оснований поступить так».

— Очевидно, вы записали все, что он сказал, — продолжала я, — я хочу, чтобы ты уничтожил все записи.

Астарита усмехнулся:

— Это он заставил тебя обратиться ко мне, а?

— Нет, я сама, — ответила я и торжественно поклялась: — Пусть я умру на месте, если лгу.

Он сказал:

— Все люди хотели бы, чтобы протоколы исчезли… полицейские архивы — это их нечистая совесть… если исчезнут протоколы, исчезнут и угрызения совести.

Я подумала о Мино и ответила:

— В общем, это, пожалуй, верно… но в данном случае боюсь, что ты ошибаешься.

Он снова притянул меня к себе, мы стояли друг против друга, он смущенно и тихо спросил:

— А что я получу взамен?

— Ничего, — просто ответила я, — на этот раз действительно ничего.

— А если я откажусь?

— Ты причинишь мне огромное горе, потому что я люблю этого человека… все, что переживает он, переживаю и я.

— Но ведь ты обещала, что будешь ласкова со мной…

— Я обещала… но теперь передумала.

— Почему?

— Так… безо всякой причины.

Он опять обнял меня, начал лихорадочно умолять меня шепотом, чтобы я в последний раз уступила его желанию. Не могу повторить все то, что он говорил мне, потому что вперемежку со словами мольбы он описывал непристойные подробности, которые говорят таким женщинам, как я, и которые такие женщины, как я, говорят своим любовникам. Он тщательно подбирал слова, но произносил их без того радостного подъема, которым обычно сопровождаются такие вспышки, а, наоборот, с мрачным смакованием, словно одержимый. Я видела однажды в больнице сумасшедшего, который говорил санитару, каким пыткам он его подвергнет, если тот попадется ему в руки, безумец описывал все так же подробно и серьезно, как Астарита шептал мне свои скабрезности. В действительности же это была его манера выражать любовь — страстно и мрачно в одно и то же время; со стороны его волнение можно было принять за простую похоть, но я-то знала, насколько сильно, глубоко и по-своему чисто его чувство ко мне. Астарита всегда вызывал во мне главным образом жалость; несмотря на все его странности, я догадывалась, что он одинок и никак не может освободиться от этого одиночества. Я сказала:

— Я не хотела говорить тебе, но ты сам меня вынуждаешь… Поступай как знаешь… но я не могу быть прежней… я беременна.

Он не удивился, но и не отказался от своего намерения:

— Ну… и что?

— Я хочу жить по-другому… я выйду замуж.

Я сказала ему о своем состоянии главным образом для того, чтобы смягчить отказ. Но в то время как я говорила, я заметила, что произношу вслух именно то, о чем думаю, и слова мои идут от самого сердца. Вздохнув, я прибавила:

— Когда мы с тобой познакомились, я ведь тоже хотела выйти замуж… и не я виновата в том, что все получилось иначе.

Он продолжал обнимать меня за талию, но это объятие уже стало слабее, потом он отстранился от меня и сказал:

— Будь проклят тот день, когда я встретил тебя.

— Почему? Ты ведь любил меня.

Он плюнул и снова сказал:

— Будь проклят тот день, когда я встретил тебя, в будь проклят тот день, когда я родился. — Он не кричал, не выражал бурных чувств, а говорил спокойно и уверенно. Потом прибавил: — Твоему другу нечего опасаться… допрос не был запротоколирован… мы не придали никакого значения его словам… в деле он до сих пор значится как политически неблагонадежный… прощай, Адриана.

Я стояла возле окна и, увидев, что он собирается уходить, кивнула ему. Он взял со стола шляпу и не оборачиваясь вышел.

Тотчас же дверь из кухни отворилась и вошел Мино с пистолетом в руке. Я с удивлением, устало и молча посмотрела на него.

— Я думал убить Астариту, — сказал он улыбаясь. — А ты и в самом деле поверила, что для меня так уж важно уничтожить протокол допроса?

— Почему же ты его не убил? — спросила я рассеянно.

Он покачал головой:

— Он так хорошо проклинал день своего рождения… пусть проклинает этот день еще несколько лет.

Что-то угнетало меня, но, сколько я ни старалась, не могла понять, что же именно.

— Во всяком случае, — сказала я, — я добилась того, чего хотела… никакого протокола не существует.

— Я слышал, слышал, — перебил он, — я все слышал… я стоял за дверью, а она была

закрыта неплотно… я даже видел… он вел себя смело, — небрежно произнес он, — твой Астарита… бац-бац… влепил Сонцоньо две прямо-таки великолепные пощечины… ведь пощечины можно давать по-разному… а эти пощечины были пощечинами высшего — низшему… пощечины хозяина или человека, который чувствует себя хозяином, своему слуге… а как Сонцоньо себя вел! Даже не пикнул.

Он рассмеялся, засовывая пистолет в карман.

Я была немного растеряна от таких похвал в адрес Астариты. И нерешительно спросила:

— Как ты думаешь, что теперь будет делать Сонцоньо?

— Гм, кто знает?

Было уже поздно, и в комнате стало темно. Он потянулся, включил лампу с противовесом; середина мастерской осветилась, а в углах залегла темнота. На столе валялись мамины очки и карты для ее пасьянсов. Мино сел, собрал карты, перетасовал их и, обращаясь ко мне, сказал:

— Давай сыграем в карты… перед ужином.

— Чего это вдруг! — воскликнула я. — Играть в карты?

— Да, в брисколу,[5] иди сюда.

Я повиновалась, села напротив него и машинально взяла карты, которые он мне протянул. Мысли мои путались, а руки почему-то дрожали. Мы начали играть. Мне казалось, будто в картах заключен зловещий и мрачный смысл: валет пик весь черный, злой, с черными глазами и с черным цветком, зажатым в кулаке; дама червей — сладострастная, развратная, яркая; бубновый король — пузатый, холодный, равнодушный, бессердечный. Мне казалось, что в нашей игре была какая-то очень важная ставка, но какая именно, я не знала. Я чувствовала смертельную тоску и, продолжая играть, время от времени потихоньку вздыхала, желая удостовериться, не свалился ли с моей души тяжелый камень. И ощущала, что эта тяжесть увеличивается с каждой минутой.

Мино выиграл первую партию, потом вторую.

— Да что с тобой? — спросил он, мешая карты. — Ты играешь из рук вон плохо.

Я бросила карты:

— Не мучь меня, Мино… у меня действительно нет настроения играть.

— Почему?

— Не знаю.

Я встала и прошлась по комнате, украдкой ломая руки. Потом предложила:

— Пойдем в нашу комнату, хочешь?

— Пойдем.

Мы вышли в прихожую, и здесь, в темноте, он обнял меня и поцеловал в шею. И тогда, пожалуй, впервые в жизни мне показалось, что на любовь можно смотреть именно так, как Мино смотрел на нее: как на средство, которое не лучше и не хуже любого другого помогает забыться и ни о чем не думать. Я сжала его лицо ладонями и крепко поцеловала. Так, обнявшись, мы вошли в мою комнату. Здесь было темно, но я не обратила на это внимания. Красная, как кровь, пелена застила мне глаза; и каждое наше движение исторгало искры из того жаркого и внезапного пламени, которое сжигало нас. Иногда кажется, что начинаешь видеть в темноте каким-то шестым чувством, всем телом, и тогда во мраке ощущаешь себя так же свободно, как и при солнечном свете. Но подобное видение связано с тем состоянием, в котором находились мы; я видела лишь два наших тела, выхваченные из мрака ночи, похожие на тела двух утопленников, выброшенные черной морской волной на берег.

Неожиданно я очнулась. Я лежала на постели, свет лампы падал на мой обнаженный живот. Я вся сжалась, то ли от холода, то ли от стыда, и руками прикрыла живот. Мино посмотрел на меня и сказал:

---

[5] Карточная игра.

— Теперь твой живот начнет расти… с каждым месяцем он будет расти все больше и больше… и однажды боль заставит тебя раздвинуть ноги, которые ты так сильно сжимаешь… покажется голова ребенка, уже покрытая волосиками, и ты вытолкнешь его на свет божий, его возьмут и подадут тебе на руки… и ты будешь счастлива… появится еще один человек… Будем надеяться, что он не станет повторять то, что говорит Астарита.

— А что он говорит?

— «Будь проклят день, когда я родился».

— Астарита несчастный человек, — ответила я, — а мой ребенок, я в этом уверена, будет счастливым и везучим.

Потом я укрылась одеялом и, кажется, задремала. Но упоминание об Астарите вновь оживило в моей груди то чувство тяжести, которое мучило меня после его ухода. Внезапно я услыхала незнакомый голос, который громко закричал мне прямо в ухо: «Бах-бах», так кричат, когда хотят изобразить звук пистолетных выстрелов; в страхе и тревоге я быстро вскочила и уселась на постели. Лампа все еще горела, я торопливо встала и пошла к двери, чтобы удостовериться, хорошо ли она заперта. Но я наткнулась на Мино, он был уже одет и, стоя возле двери, курил. Растерянная, я вернулась назад и села на край постели.

— Как ты думаешь, — спросила я, — что теперь будет делать Сонцоньо?

Он посмотрел на меня и ответил:

— Откуда мне знать?

— Я его знаю, — произнесла я, наконец-то сумев выразить словами ту внутреннюю тревогу, которую испытывала все время, — он позволил выгнать себя из комнаты и не сопротивлялся, но это еще ничего не значит… он способен убить Астариту… а ты как думаешь?

— Все бывает.

— Ты думаешь, он его убьет?

— Всякое может случиться.

— Нужно предупредить Астариту, — закричала я, вскочив с постели, и начала одеваться, — я уверена, он его убьет… ах, почему я раньше об этом не подумала?

Я торопливо одевалась и продолжала говорить о своем страхе и предчувствии беды. Мино ничего не отвечал, а только курил и ходил вокруг меня. Наконец я сказала:

— Я иду к Астарите… в это время он всегда дома… а ты обожди меня здесь.

— И я с тобой.

Я не стала возражать, в конце концов, я была рада, что он идет со мною, так как боялась, что от сильного волнения мне станет плохо. Надевая пальто, я сказала:

— Возьмем такси… так быстрее.

Мино тоже надел пальто, и мы вышли.

Я шла быстро, почти бежала, а Мино пытался не отставать, держа меня под руку и тоже ускоряя шаг. Немного пройдя, мы нашли такси, я поспешно села в машину и назвала адрес Астариты. Он жил на одной из улиц в Прати, я никогда не была там, но знала, что это недалеко от Дворца Правосудия.

Такси тронулось, и я, наклонившись вперед, невольно начала следить за движением машины, разглядывая улицы поверх плеча шофера. Вдруг я услышала позади себя тихий голос Мино, который говорил как будто сам с собой:

— Что тут особенного? Одна змея сожрала другую.

Но я не обратила внимания на эти слова. Когда мы оказались перед Дворцом Правосудия, я велела шоферу остановиться, вышла из машины, а Мино расплатился. Мы бегом пересекли дорожки сквера, усыпанные гравием, со скамейками в деревьями. Улица, на которой жил Астарита, внезапно предстала перед нами — длинная и прямая, как шпага, освещенная вереницей больших белых фонарей, она тянулась далеко, насколько хватало глаз. Здесь стояли большие здания, магазинов не было, и улица казалась пустынной. Судя по порядку номеров, дом Астариты находился в самом конце. Улица была такой тихой, что я сказала:

— Может быть, все это мои фантазии… как бы то ни было, но это необходимо проверить.

Мы миновали несколько зданий, пересекли несколько поперечных улиц, и тут Мино спокойным голосом сказал:

— Однако что-то случилось… посмотри-ка.

Я подняла глаза и неподалеку увидела черную толпу людей, собравшихся у одного из подъездов. Люди стояли на тротуаре и смотрели вверх, в темное небо. Я сразу же подумала, что здесь живет Астарита, и бросилась вперед, мне казалось, что Мино бежит за мной.

— Что такое… что случилось? — спросила я, тяжело дыша, у кого-то из людей, столпившихся возле подъезда.

— Да ничего не разберешь, — ответил тот, к кому я обратилась, белокурый паренек без шапки и без пальто, державший за руль велосипед, — какой-то человек бросился в лестничный пролет, не то его столкнули туда… полицейские поднялись на крышу и ищут убийцу.

Энергично работая локтями, я протиснулась сквозь толпу и вошла в просторный и светлый вестибюль дома, который был битком набит людьми. Белая лестница с литыми чугунными перилами круто шла вверх и повисала над головой. Меня неудержимо влекло вперед, и, протиснувшись, я увидела, заглядывая поверх голов, свободное пространство под лестницей. На круглом пилястре из белого мрамора стояла крылатая обнаженная фигура из золоченой бронзы, в высоко поднятой руке она держала светильник из матового стекла, внутри которого горела лампочка. Как раз тут на полу лежал человек, накрытый простыней. Все смотрели в одну точку, я тоже посмотрела и поняла, что они смотрят на ноги, обутые в черные ботинки, торчащие из-под простыни. В эту самую минуту несколько голосов разом закричало: «Назад… вон отсюда, ну… назад». И меня вместе с другими вытеснили на улицу. Тяжелые двери сразу же захлопнулись.

Слабым голосом я сказала, оборачиваясь:

— Пойдем домой, Мино.

И увидела перед собой незнакомого человека, удивленно смотревшего на меня. Толпа, пошумев в знак протеста еще немного и поколотив кулаками в запертые двери, постепенно разбрелась по улице, продолжая обсуждать происшествие. Со всех сторон подбегали люди, две-три машины и несколько велосипедистов остановились узнать, что произошло. Я начала бродить в толпе, тревожно заглядывая в лица встречных, не решаясь заговорить. Заметив издали знакомый затылок и плечи, я решила, что это Мино, и стремительно протиснулась сквозь толпу, но увидела чужое удивленное лицо. Люди надеялись, что им удастся поглядеть на труп, и потому все еще не отходили от подъезда. Они стояли тесной толпой с терпеливым и серьезным видом, как стоят люди в очереди у входа в театр. Я ходила и ходила вокруг и вдруг поняла, что уже видела всех этих людей, это были все те же лица. Мне послышалось, что в одном конце толпы произнесли имя Астариты, но меня это уже не волновало, теперь вся моя тревога сосредоточилась на Мино. Наконец я убедилась, что его здесь нет. Должно быть, он ушел, когда я протиснулась в подъезд. Я ведь, в сущности, все время ожидала этого исчезновения и удивилась, что не подумала об этом раньше. Собрав последние силы, я еле-еле доплелась до площади, села в такси и назвала свой адрес. Я надеялась, что Мино потерял меня в толпе, а потом один отправился домой. Но я была почти уверена, что это не так.

Дома его не оказалось, он не пришел ночевать, не вернулся он и на следующий день. Я заперлась в своей комнате, меня охватило такое сильное беспокойство, что я дрожала всем телом. Но это был не озноб: я жила где-то вне самой себя, в необычной и ни на что не похожей обстановке, любой взгляд, любой шум, любое прикосновение причиняли мне боль и заставляли сердце сильно колотиться. Ничто не могло отвлечь меня от мыслей о Мино, даже подробные описания нового преступления Сонцоньо, заполнившие все газеты, которые приносила мне мама. Преступление было характерным для Сонцоньо: вероятно, они несколько минут боролись на площадке, возле двери в квартиру Астариты, потом Сонцоньо

прижал Астариту к перилам, приподнял его и сбросил вниз в пролет лестницы. Все это было слишком жестоко: никто, кроме Сонцоньо, не мог бы убить таким образом. Но как я сказала, мною владела только одна мысль. Во мне не вызвали интереса даже сообщения о том, как глубокой ночью Сонцоньо был подстрелен, когда он, как кошка, перебирался с крыши на крышу. Я испытывала отвращение к любому занятию, к любому делу, даже просто к мыслям, отвлекавшим меня от Мино, хотя думы о Мино наполняли меня безудержной тоской. Несколько раз я вспоминала Астариту, его любовь ко мне и его печальную судьбу, и меня вновь охватывала жалость к нему, я думала, что если бы не была так озабочена исчезновением Мино, то оплакивала бы Астариту и помолилась бы о спасении его души, которая никогда не знала счастья и была так преждевременно и так безжалостно разлучена с телом.

Так прошел весь день, вся ночь, весь следующий день и вся следующая ночь. Я либо лежала на кровати, либо сидела в кресле. Я крепко сжимала в руках пиджак Мино, который обнаружила на вешалке, и время от времени нежно целовала его грубую ткань или же кусала ее, чтобы заглушить свое беспокойство. И когда мама заставляла меня поесть, я брала кусок хлеба одной рукой, а другой продолжала судорожно сжимать пиджак. Когда наступила вторая ночь, мама решила уложить меня в постель, и я позволила ей раздеть меня. Но когда она хотела забрать у меня пиджак, я так пронзительно вскрикнула, что испугала ее. Она ничего не знала, но поняла, что я в отчаянии из-за отсутствия Мино.

На третий день я придумала для себя новую версию и с самого утра ухватилась за нее, хотя невольно чувствовала всю ее несостоятельность. Я решила, что Мино испугался, узнав о моей беременности, захотел уклониться от обязанностей, к которым вынуждало его мое положение, и уехал домой в провинцию. Как ни ужасна была эта версия, но мне было легче считать Мино подлецом, чем искать какое-либо другое объяснение его бегства. Все мои мысли были грустны, казалось, что их мне подсказывали те печальные обстоятельства, которые сопровождали это исчезновение.

В тот же самый день часов около двенадцати мама вошла в мою комнату и бросила мне на постель письмо. Я узнала почерк Мино, и меня охватила радость. Дождавшись, когда мама выйдет и когда утихнет мое волнение, я вскрыла письмо. Вот оно:

Дорогая Адриана,

в ту минуту, когда ты получишь это письмо, я буду уже мертв. Когда я открыл затвор пистолета и обнаружил, что он разряжен, я сразу понял, что это сделала ты, и подумал о тебе с огромной нежностью. Бедная Адриана, ты плохо знакома с устройством оружия и не знаешь, что в стволе есть еще одна пуля. Тот факт, что ты не заметила этой пули, и укрепил меня в моем решении. Впрочем, есть немало способов покончить с собой.

Как я уже говорил тебе, я не могу примириться с тем, что сделал. В эти последние дни я понял, что люблю тебя; но если рассуждать логично, то должен бы тебя ненавидеть, ибо все, что я ненавижу в себе и что открылось мне во время допроса, есть в тебе, и еще в большей мере, чем во мне. В сущности, это был момент, когда рухнул образ того человека, каким мне надлежало быть, а я оказался лишь тем, кем был в действительности. Это не трусость и не предательство, а только лишь странное расслабление воли. Впрочем, возможно, это состояние не так уж странно, но оно могло бы завести меня слишком далеко. Убивая себя, я ставлю вновь все на свои места.

Не бойся, во мне нет ненависти к тебе, я, наоборот, так люблю тебя, что при одной мысли о тебе готов примириться с жизнью. Будь это возможно, я, конечно, остался бы жить, женился бы на тебе, и нам было бы, как ты часто говорила, очень хорошо вдвоем. Но это, откровенно говоря, неосуществимо.

Я подумал о ребенке, которого ты ждешь, и написал в связи с этим два письма, одно — моим родителям, а другое — своему другу адвокату. В конце концов, они неплохие люди, и, хотя не следует строить иллюзий относительно их чувств к тебе, я уверен, что они исполнят свой долг. Если же, паче чаяния, они

откажут тебе в помощи, без всяких колебаний прибегни к защите закона. Мой друг адвокат разыщет тебя, и ты спокойно можешь довериться ему.

Вспоминай иногда обо мне. Обнимаю тебя.

Твой Мино.

P. S. Имя моего адвоката — Франческо Лауро. Адрес его: улица Кола да Риенцо, дом 3.

Прочитав письмо, я укрылась одеялом, зарылась головой в подушку и дала волю слезам. Не знаю, сколько времени я плакала. Каждый раз, когда казалось, что слезы уже иссякли, горечь с новой силой поднималась в моей груди, и я опять разражалась рыданиями. Я не кричала, хотя мне хотелось кричать, я боялась привлечь внимание мамы. Я плакала тихо и чувствовала, что плачу в последний раз в жизни. Я оплакивала Мино, оплакивала самое себя, все свое прошлое и все свое будущее.

Наконец я встала и, не переставая плакать, обессилевшая и подавленная, начала поспешно одеваться, глаза мои ничего не видели из-за слез. Потом я умылась холодной водой, кое-как напудрила красное и опухшее лицо и потихоньку вышла, ничего не сказав маме.

Я побежала в полицию и обратилась к комиссару. Он выслушал мой рассказ и сказал скептическим тоном:

— У нас в районе ничего подобного не произошло… вот увидишь, он передумает.

Как мне хотелось, чтобы он оказался прав! Но в то же самое время, не знаю почему, его слова меня страшно рассердили.

— Вы говорите так, потому что не знаете его, — резко произнесла я, — вы воображаете, что все люди похожи на вас!

— Короче говоря, чего ты хочешь? — спросил он. — Чтобы он был жив или мертв?

— Я хочу, чтобы он был жив, — закричала я, — хочу, чтобы он жил, но боюсь, что он умер.

Комиссар немного подумал, а потом сказал:

— Успокойся… в тот момент, когда он писал это письмо, он, быть может, и хотел убить себя… но потом передумал… он ведь человек… с каждым может такое случиться.

— Да, человек, — прошептала я.

Я уже не понимала, что говорю.

— Во всяком случае, зайди сюда сегодня вечером, — сказал он в заключение, — тогда я смогу что-нибудь сообщить тебе…

Прямо из полиции я пошла в церковь. Это была та самая церковь, где меня крестили, где состоялась моя конфирмация и где я приняла свое первое причастие. Церковь была старая, большая и пустая, по обе стороны шли два ряда колонн из грубого, нешлифованного камня, а пол из серых плит был покрыт пылью; за колоннами в темных боковых нефах виднелись богатые, сверкающие золотом приделы, похожие на глубокие пещеры, полные сокровищ. Один из них — придел Мадонны. Я опустилась в темноте на колени перед бронзовой решетчатой дверью, закрывавшей придел. На большом темном образе, перед которым стояли вазы с цветами, была изображена Мадонна. Она держала на руках младенца, а у ног ее стоял на коленях святой в монашеском одеянии, молитвенно сложив руки на груди. Склонившись до самой земли, я больно ударилась лбом об пол. Я принялась целовать каменные плиты, начертила на пыльном полу крест, а потом обратилась к деве Марии и в душе произнесла клятву. Я обещала, что никогда в жизни не позволю мужчинам, даже Мино, приблизиться ко мне. Любовь была единственной вещью на свете, которой я дорожила и которая мне нравилась, и поэтому я считала, что ради спасения Мино нельзя принести большей жертвы. Потом, стоя на коленях и прижавшись лбом к каменному полу, я долго молилась без слов и мыслей, молилась сердцем. Но как только я поднялась, на меня нашло просветление: мне показалось, что плотная темнота, окутывавшая придел, внезапно

озарилась сиянием, и в этом свете я ясно увидела Мадонну, которая смотрела на меня ласковыми, добрыми глазами и все-таки отрицательно качала головой, будто говоря, что не принимает моей молитвы. Это продолжалось всего один миг. Потом я очутилась возле решетчатой двери напротив алтаря. Как во сне я перекрестилась и пошла домой.

Я прождала весь день, отсчитывая секунды и минуты, а вечером опять пошла в полицию. Полицейский комиссар как-то странно посмотрел на меня, я почувствовала, что вот-вот потеряю сознание, и сказала слабым голосом:

— Значит, правда… он убил себя.

Полицейский комиссар взял со стола фотографию и протянул ее мне:

— Человек, личность которого не установлена, покончил жизнь самоубийством в гостинице возле вокзала… посмотри, он ли это.

Я взяла фотографию и сразу же узнала Мино. Его сфотографировали до пояса, он, видимо, лежал на кровати. Из простреленного виска темными струйками стекала по лицу кровь. Но под этими струйками крови лицо было спокойно, таким я его никогда не видела в жизни.

Тихим голосом я сказала, что это он, и поднялась. Полицейский комиссар хотел еще что-то добавить, желая, видно, успокоить меня, но я не стала слушать его и вышла не оглянувшись.

Я пришла домой и сразу бросилась в объятия мамы, но не плакала. Я, конечно, знала, что она женщина темная, но ведь она была единственным человеком, с которым я могла поделиться своим горем. Я рассказала ей обо всем, о самоубийстве Мино, о нашей любви и о том, что я беременна. Но я не сказала, что отцом ребенка был Сонцоньо. Я сказала ей и о своей клятве и о решении переменить образ жизни, сказала, что либо опять примусь за работу белошвейки вместе с нею, либо пойду в услужение. Сперва мама пыталась успокоить меня какими-то не очень умными, но искренними словами, а потом сказала, что не следует торопиться: нужно подождать, что предпримет семья Мино.

— Это касается только ребенка, — ответила я, — а не меня.

На следующее утро неожиданно явились два друга Мино: Туллио и Томмазо. Они тоже получили письмо от Мино, он сообщал им, что кончает жизнь самоубийством, признавался в том, что называл предательством, и предостерегал их.

— Не бойтесь, — сухо сказала я, — опасаться вам нечего, успокойтесь… с вами ничего не случится.

И я рассказала им об Астарите и о том, как погиб этот единственный человек, который знал все, добавив, что допрос не был зафиксирован и, таким образом, они не были изобличены. Мне показалось, что Томмазо искренне огорчен смертью Мино, а Туллио никак не мог прийти в себя от испуга. Немного погодя он сказал:

— Однако в хорошенькую историю он нас впутал… как можно верить полиции? Никогда ничего нельзя знать наперед… это все-таки настоящее предательство.

Он потер руки и разразился своим скрипучим смехом, как будто разговор и вправду шел о чем-то веселом.

Я встала и с негодованием произнесла:

— Какое тут предательство, какое предательство?.. Он убил себя, чего же вам еще надо? Ни у одного из вас не хватило бы мужества сделать то же самое… и еще я вам скажу: вы оба ничуть не лучше его, хотя вы и не совершили предательства… потому что вы оба просто несчастные бедняки, у вас никогда не было ни гроша, и ваши родители тоже несчастные жалкие бедняки, и, если дело обернется по-вашему, вы наконец получите то, чего никогда не имели, вам и вашим родным будет хорошо… а Мино был богат, он родился в богатой семье, он был синьор, и если он занимался этим, то только потому, что верил в свое дело, а не потому, что ждал чего-то для себя… он бы все потерял, точно так же как вы бы все приобрели… вот что я хотела вам сказать… и вам должно быть стыдно, что вы пришли сюда говорить о его предательстве.

Низенький Туллио разинул свой огромный рот, словно собирался ответить, но его друг,

который понял меня, жестом остановил Туллио и сказал:

— Вы правы… успокойтесь… что касается меня, то я всегда буду думать о Мино только хорошо.

Он был взволнован, и я почувствовала к нему симпатию, ибо он и в самом деле по-настоящему любил Мино. Потом они попрощались со мной и ушли.

Оставшись одна, я почувствовала, что с той минуты, когда я все высказала этим двум людям, на душе у меня стало как будто легче. Я начала думать о Мино и о своем ребенке. Отец его убийца, а мать — проститутка, думала я, но ведь такое может произойти с любым человеком: мужчина может стать убийцей, а женщина может продавать себя за деньги; пусть только ребенок родится вовремя и вырастет здоровым и сильным. Я решила, что если это будет мальчик, то я назову его Джакомо в честь Мино. А если девочка, я назову ее Летиция,[6] так как хотела бы, чтобы жизнь ее в отличие от моей была радостной и счастливой, и я верила, что при поддержке родных Мино такой она и будет.

---

[6] Летиция — по-итальянски радость.